# Сэйобо там ниже

# Ласло Краснахоркаи

Перевод Льва Шкловского

*Либо уже ночь, либо нам не нужен свет.*

— Телониус Монк — Томас Пинчон

1

КАМО-ХАНТЕР

Все вокруг движется, как будто это единственный раз и только один раз, как будто послание Гераклита пришло сюда каким-то глубоким течением, из далей целой вселенной, несмотря на все бессмысленные препятствия, потому что вода движется, течет, прибывает и ниспадает; время от времени колышется шелковистый бриз, горы дрожат в палящем зное, но и само это тепло движется, дрожит и вибрирует на земле, как и высокие разбросанные острова травы, травы, травинка за травинкой, в русле реки; каждая отдельная мелкая волна, падая, перекатывается через низкие плотины, а затем каждый немыслимый мимолетный элемент этой спадающей волны и все отдельные отблески света, вспыхивающие на поверхности этой мимолетной стихии, эта поверхность внезапно возникает и так же быстро рушится, со своими каплями света, гаснущими, сверкающими и затем разбегающимися во все стороны, невыразимыми словами; собираются облака; беспокойное, резкое синее небо высоко вверху; солнце сконцентрировано с ужасающей силой, но все еще неописуемо, простираясь на все мимолетное творение, безумно яркое, ослепительно сияющее; рыбы, лягушки, жуки и крошечные рептилии находятся в реке; машины и автобусы, от номера 3, идущего на север, до номера 32

до цифры 38, неумолимо ползут по дымящимся асфальтовым дорогам, проложенным параллельно по обеим набережным, затем быстро движущиеся велосипеды под волнорезами, мужчины и женщины, прогуливающиеся вдоль реки по тропинкам, которые были построены или выгравированы в пыли, и заграждающие камни, также уложенные искусственно и асимметрично под массой скользящей воды: все в игре или живет, так что вещи происходят, движутся вперед, мчатся вперед, погружаются, поднимаются, исчезают, снова возникают, бегут, текут и мчатся куда-то, только он, Ооширосаги, совсем не движется, этот огромный снежный

Белая птица, открытая для нападения всех, не скрывающая своей беззащитности; этот охотник, она наклоняется вперед, ее шея складывается в форме буквы S, и она вот вытягивает свою голову и длинный твердый клюв из этой формы и напрягает все, но в то же время она напрягается вниз, ее крылья плотно прижаты к телу, ее тонкие ноги ищут твердую точку под поверхностью воды; она устремляет свой взгляд на текущую поверхность воды, на поверхность, да, в то время как она видит, кристально ясно, то, что лежит под этой поверхностью, внизу в преломлении света, как бы быстро оно ни прибыло, если оно действительно прибыло, если оно окажется там, если рыба, лягушка, жук, крошечная рептилия прибудет с водой, которая булькает, когда поток прерывается и снова вспенивается, одним единственным точным и быстрым движением птица ударит клювом и поднимет что-то вверх, даже невозможно увидеть, что это такое, все происходит с такой молниеносной скоростью, это невозможно увидеть, только узнать, что это рыба — амаго, аю, хуна, камоцука, мугицуку или унаги или что-то еще — и вот почему она стояла там, почти посреди реки Камо, на мелководье; и вот оно стоит, в едином времени, неизмеримое в своем течении, и все же, вне всякого сомнения, существующее, единое время, не идущее ни вперед, ни назад, но просто кружащееся и никуда не движущееся, словно непостижимо сложная сеть, заброшенная во время; и эта неподвижность, несмотря на всю ее силу, должна быть рождена и поддерживаться, и было бы уместно схватить ее одновременно, но именно это, это одновременное схватывание, не может быть осознано, поэтому оно остается невысказанным, и даже вся полнота слов, которые хотят ее описать, не появляется, даже отдельные слова; и все же птица должна опереться на один-единственный момент сразу и, делая это, должна воспрепятствовать всякому движению: совсем одна, в самой себе, в безумии событий, в самом центре абсолютного, кишащего, кишащего мира, она должна остаться там, в этом изгнанном моменте, так что этот момент как бы смыкается над ней, и тогда

мгновение закрывается, чтобы птица могла замереть своим белоснежным телом в самом центре этого яростного движения, чтобы она могла запечатлеть свою неподвижность против ужасных сил, обрушивающихся на нее со всех сторон, потому что лишь гораздо позже она снова примет участие в этом яростном движении, в тотальном безумии всего и тоже двинется в молниеносном ударе вместе со всем остальным; но сейчас она остается внутри этого охватывающего мгновения, в начале охоты.

Она происходит из мира, где правит вечный голод, поэтому утверждать, что она охотится, означает, что она участвует во всеобщей охоте, ибо повсюду вокруг каждое живое существо нападает на свою предписанную добычу в вечной охоте: нападает на нее, нападает на нее, приближается и хватает ее, хватает ее за шею, ломает ей позвоночник или ломает ее пополам, затем щиплет ее, обнюхивает ее, облизывает ее, прокалывает ее, сосет ее, опустошает ее, обнюхивает ее, кусает ее, глотает ее целиком и так далее; поэтому и птица пребывает в неисчерпаемости охоты, принужденная к цели охоты, потому что таким и только таким образом она может получить пропитание в этом вечном голодании, в обязательной охоте, распространяющейся соответственно на всех: охота здесь исключительно, или, скорее, в этом особом случае, обогащена также и другим значением —

как птица занимает свое место, то есть как она опускает ноги в воду и, так сказать, застывает: значение, которое это слово обычно не передает, и поэтому, цитируя знаменитые три предложения Аль-Захада ибн Шахиба, теперь с большей сложностью: «Птица летит домой по небу. Кажется, она устала, у нее был трудный день. Она возвращается с охоты, на нее охотились»; что ж, нам нужно как-то это изменить, немного сместив акцент; что хотя у нее была прямая цель, у нее не было отдалённой, она существовала в пространстве, в котором любая отдалённая цель, любая отдалённая причина были по сути невозможны, тем не менее, делая тем плотнее переплетение

непосредственные цели и причины, из-за которых он был отброшен и от которых однажды он обязательно погибнет.

Однако его единственный естественный враг — человек.

— существо, изгнанное в повседневные чары Зла и Лени там, на набережной, — не наблюдает за ней, как по тропинкам, выгравированным в пыли по обе стороны русла реки прямо сейчас, оно идет, бегает трусцой, едет на велосипеде домой или от нее, или, соответственно, просто сидит на скамейке, проводя там свой обеденный час со своими нигири — то есть рисовыми треугольниками, завернутыми в водоросли, купленными в ближайшем 7-Eleven, — не сейчас оно ее наблюдает, не сегодня; может быть, завтра или в другое время, если будет какая-то причина; но даже если бы кто-то смотрел, птица даже не обратила бы на нее особого внимания, она привыкла к людям на набережной, так же как они привыкли к большой птице, стоящей посреди мелководной реки; Сегодня, однако, этого не происходит ни на одной из сторон реки, никто не обращает внимания на другую, хотя кто-то мог бы заметить, что вот она, посреди Камо, вода почти доходит ей до колен, отсюда и действительно довольно мелкая плотина, усеянная небольшими травянистыми островками, отсюда и действительно своеобразная, если не самая причудливая река на земном шаре, и птица просто стоит, не шевелясь, ее тело вытянуто вперед, ожидая ошеломляюще долгие минуты дневной добычи, вот уже десять минут, затем проходит еще полчаса; в этом ожидании, внимании и неподвижности время жестоко тянется, и все же она не двигается, стоит точно так же, в точно такой же позе, ни одно перышко не дрожит, она стоит, наклонившись вперед, ее клюв согнут под острым углом над зеркалом журчащей воды; никто не смотрит, никто не видит его, и если его не видно сегодня, то его не видно целую вечность, невыразимая красота, с которой он стоит, останется скрытой, неповторимое очарование его царственной тишины останется невоспринятым: здесь, с ним, среди Камо, в этой неподвижности, в этом снежном

белая напряженность, что-то теряется, даже не имея возможности появиться, и не будет никого, кто засвидетельствовал бы признание того, что именно оно придает смысл всему окружающему, придает смысл вращающемуся, бурлящему миру движения, сухому, палящему зною, вибрациям, каждому кружащемуся звуку, запаху и картине, потому что это совершенно уникальная особенность этой земли, непреклонный художник этого пейзажа, который в своей эстетике непревзойденного

неподвижность,

как

то

выполнение

из

непоколебимое художественное наблюдение возвышается раз и навсегда над тем, чему оно придает смысл, возвышается над ним, над неистовой кавалькадой всех окружающих вещей и вносит своего рода бесцельность — и прекрасную —

над локальным смыслом, пронизывающим все, а также над смыслом собственной актуальной деятельности, потому что какой смысл быть красивым, особенно когда это всего лишь белая птица, стоящая и ожидающая, когда что-то появится под поверхностью воды, что она затем пронзит своим безжалостно точным клювом и волей.

Всё это происходит в Киото, а Киото — Город Бесконечного Поведения, Трибунал Приговорённых к Правильному Поведению, Рай Поддержания Правильного Отношения, Исправительная Колония Бездействия. Лабиринт этого города возникает из лабиринта Поведения, Поведения, Отношения, из бесконечной сложности условий сродства с вещами. Нет дворца и сада, нет улиц и внутренних пространств, нет неба над городом, нет природы, нет момидзи, окрашивающихся осенью в багрянец в далёких горах, окружающих и обнимающих город, или жемчужницы во дворах монастыря, нет сети сохранившихся шёлкоткацких мастерских Нисидзин, нет квартала гейш с Фукудзуру-сан, спрятанным рядом со святилищем Китано-Тэнмангу; нет Кацура Рикю с его чистой архитектурной дисциплиной, нет Нидзё-дзё с блеском картин семьи Кано, смутного воспоминания о мрачной обстановке Расёмона; нет

милый перекресток Сидзё-Каварамачи в центре города сумасшедшим летом 2005 года, и нет очаровательной арки Сидзёбаси — моста, ведущего в вечно элегантный и загадочный Гион, — и нет двух очаровательных ямочек на личике одной из танцующих гейш Китано-одори: есть только Колоссальное Скопление Условий, этикет, который функционирует надо всем и распространяется на все; этот порядок, который, однако, не может быть полностью постигнут человеком, эта Тюрьма Сложности — одновременно неизменная и изменчивая — между вещами и людьми, людьми и людьми, и, более того, между вещами и вещами, ибо только так, посредством этого, может быть даровано существование всем дворцам и садам, улицам, выровненным в сетчатом узоре, и небу, и природе, и кварталу Нисидзин, и Фукудзуру-сан, и Кацура Рикю, и месту, где был Расёмон, и тем двум очаровательным ямочкам на маленьком личике гейши Китано-одори, когда эта гейша, рожденная для очарования, отводит веер от своего лица всего на долю мгновения, чтобы все могли увидеть

— но на самом деле только на одно мгновение — эти две вечно прекрасные ямочки, эта непосредственная, чарующая, пленительная и развращающая улыбка перед публикой, состоящей из низких взглядов грязных богатых покровителей.

Киото — это город бесконечных аллюзий, где ничто не идентично себе и никогда не могло быть идентичным, каждая отдельная часть указывает назад к великому коллективу, к некой несохраняемой Славе, откуда берет начало ее собственное сегодняшнее «я», Слава, которая существует в туманном прошлом или которую создал сам факт прошлого, так что ее даже невозможно уловить в одном из ее элементов или даже увидеть ее в чем-то, что есть здесь, потому что тот, кто пытается заглянуть в город, теряет даже самый первый его элемент: кто, как и посетитель, сошедший на монументальной станции Киото с высокоскоростного поезда Синкансэн, прибывшего из старого Эдо, если, выйдя, он найдет правильный выход и войдет в

подземные переходы, напоминающие по своей сложности парк развлечений, прогуливаются в начало Карасуми-дори и мельком видят, скажем, слева от дороги, ведущей прямо на север, длинные желтые внешние стены, внушающие уважение, буддийского храма Хигаси-Хонгандзи, уже видимого со станции; в этот самый момент он уже покинул пространство возможности, возможности того, что он мог бы увидеть Хигаси-Хонгандзи сегодняшнего дня, поскольку Хигаси-Хонгандзи сегодняшнего дня не существует; как взглянешь на него, сегодняшний Хигаси-Хонгандзи немедленно погружается в то, что было бы крайне неточно обозначено как прошлое Хигаси-Хонгандзи, ибо у Хигаси-Хонгандзи никогда не было прошлого, или вчерашнего дня, или позавчерашнего дня, есть только тысячи и тысячи намёков на неясное прошлое Хигаси-Хонгандзи, так что создаётся самая невозможная ситуация, что нет, так сказать, никакого сегодняшнего Хигаси-Хонгандзи, так же как никогда не было Хигаси-Хонгандзи, только Намек, внушающий уважение, есть один, был один, и этот Намек плывёт по всему городу, когда в него вступаешь, когда шагаешь по этой удивительной империи чудес, от храма То-дзи до Энряку-дзи, от Кацура Рикю до То-фуку-дзи, и, наконец, достигая заданной части Камо

— в основном на той же высоте, что и святилище Камигамо —

в точке, где журчит река, где он, Ооширасаги, стоит: единственный, для кого особым образом существует столько же настоящего, сколько и прошлого, в том смысле, что у него нет ни того, ни другого: ибо в действительности он никогда не существовал во времени, двигаясь вперед или назад, — ему предоставлена возможность наблюдать художника, чтобы он мог представлять то, что устанавливает оси места и вещей в этом призрачном городе, чтобы он мог представлять непостижимое, немыслимое — поскольку оно нереально — иными словами: невыносимую красоту.

Птица, ловящая рыбу в воде: для равнодушного наблюдателя, если бы он заметил, возможно, это было бы все, что он увидел бы — однако ему пришлось бы не просто заметить, но и

знать в расширяющемся понимании первого взгляда, по крайней мере знать и видеть, насколько эта неподвижная птица, ловящая рыбу там, между травянистыми островками мелководья, насколько эта птица была проклято лишней; в самом деле, он должен был бы осознать, немедленно осознать, насколько беззащитно это огромное белоснежное достойное существо — потому что оно было лишним и беззащитным, да, и как это часто бывает, одно удовлетворительно объясняло другое, а именно, его избыточность делала его беззащитным, а его беззащитность делала его излишним: беззащитная и излишняя возвышенность; вот, таким образом, Ооширосаги на мелководье Камогавы, но, конечно, равнодушный наблюдатель никогда не появляется; Там, на набережной, ходят люди, проезжают велосипеды, едут автобусы, но Ооширосаги просто стоит невозмутимо, устремив взгляд под поверхность пенящейся воды, и непреходящая ценность его собственного непрестанного наблюдения никогда не меняется, поскольку акт наблюдения этого беззащитного и лишнего художника не оставляет сомнений в том, что его наблюдение поистине непрестанно, все равно, появится ли рыба, крошечная рептилия, жук или краб, которых он сразит безошибочным, беспощадным ударом в этот единственный возможный момент, так же как несомненно, что оно пришло сюда откуда-то с рассветного неба с тяжелым, медленным и благородным взмахом крыльев, и что оно вернется туда же, если начнут сгущаться сумерки, с таким же взмахом; несомненно также, что где-то там есть гнездо, а именно, что-то есть за ним, так же как теоретически что-то может быть и до него: история, событие, следовательно, последовательность событий в его жизни; просто, ну, непрерывность его наблюдения, его бдительность, его неподвижная поза выдают, что все это даже не стоит упоминания, а именно, что в его, Ооширосаги, случае такие вещи не имеют никакого веса, являются ничем —

они — пена, брызги, брызги и шлак — потому что для него существует только его собственное непрерывное наблюдение, только это имеет

вес; его история, которая уникальна; он полностью одинок, что также означает, что неподвижное наблюдение этого художника — единственное, что делало и делает его Ооширосаги, без этого он не смог бы даже принять участие в существовании, нереальной вершиной которого он является; вот почему он был отправлен сюда, и вот почему однажды он будет отозван обратно.

Нет даже малейшего дрожания, указывающего на то, что в какой-то момент оно перейдет из состояния полной неподвижности в этот молниеносный пронзающий удар, и именно поэтому до сих пор эта полная неподвижность решительно создает впечатление, что здесь, на том месте, которое оно занимает на Камогаве, нет белоснежной большой цапли, что там стоит небытие; и все же это небытие так интенсивно, это наблюдение, это наблюдение, эта непрерывность; это совершенное небытие, с его полным потенциалом, явно тождественно всему, что может случиться, я могу сделать что угодно, предполагает оно, стоя там, в любое время и по любой причине, но даже если то, что оно делает, будет чем угодно, где угодно и по любой причине, для него, однако, это будет не переворотом, а лишь резким мгновенным наклоном, так что из этого огромного пространства — пространства возможностей

— что-то будет; мир наклонится, потому что что-то произойдет из абсолютного характера его неподвижности, из этой неподвижности, напряженной до предела, следует, что в один прекрасный момент эта бесконечная концентрация лопнет, и если непосредственной причиной будет рыба — амаго, камоцука или унаги — цель состоит в том, чтобы проглотить ее целиком, сохранить ее собственную жизнь, пронзив ее копьем, вся сцена уже далеко за пределами самой себя; здесь, перед нашими глазами, будь то в автобусе номер 3, идущем на север, или на потрепанном велосипеде, или прогуливаясь внизу по тропинке, выгравированной в пыли берегов Камо; тем не менее, мы все слепы: мы идем рядом с ней, привыкнув к ней, и если бы нам задали вопрос, как она может жить, мы бы сказали, что мы за пределами всего этого; теперь остается только надежда, что время от времени может быть кто-то

из нас, кто мог бы бросить взгляд туда просто так, совершенно случайно, и там его взгляд был бы прикован, и некоторое время он даже не отводил бы глаз; он как бы вмешивался во что-то, во что ему особенно не хотелось бы вмешиваться, а именно в этот взгляд — интенсивность его собственного взгляда извивается, конечно, в вечных волнообразных движениях — он смотрит на него; просто невозможно удерживать человеческий взгляд в таком состоянии непрестанного напряжения, которое, однако, было бы сейчас очень необходимо, — а именно, практически невозможно поддерживать один и тот же пик интенсивности, и из этого следует, что в определенной точке застоя в ложбине волны наблюдения, в так называемой самой нижней, может быть, даже в самой нижней части волны внимания —

копье обрушивается вниз, так что, к сожалению, пара глаз, случайно бросивших взгляд туда, ничего не видит, лишь неподвижную птицу, наклонившуюся вперед, ничего не делающую: такой человек, с мозгом в корыте наблюдения, был бы единственным среди нас — и, возможно, он никогда больше ничего не увидит и останется таким на всю свою жизнь, и то, что могло бы придать его жизни смысл, будет пропущено, и из-за этого его жизнь будет печальной, нищей, изнуренной, тоскливой от горечи: жизнью без надежды, риска или величия, без ощущения какого-либо высшего порядка — хотя все, что ему нужно было бы сделать, это бросить взгляд в автобусе номер 3, идущем на север, или на потрепанном велосипеде, или прогуливаясь по тропинке, выгравированной в пыли берегов Камо, бросить взгляд и увидеть, что там, в воде, увидеть, что делает там большая белая птица, неподвижно, вытянув вперед шею, голову, клюв, она пристально смотрит на покрытая пеной поверхность воды.

В мире нет другой такой реки, если кто-то видит ее впервые, он просто не может поверить своим глазам, он просто не может поверить в это, и стоя на одном из мостов —

скажем, Годзё-охаси — он спрашивает своего спутника, если таковой имеется, что именно находится здесь, под нами, в этом широком

русло реки, где сначала вода, но только в самых узких жилках, сочится тут и там между совершенно нелепо выглядящими островками; потому что вот в чем вопрос, может ли кто-то поверить тому, что он видит или нет; Камогава — сравнительно широкая река, в которой так мало воды, что в русле реки маленькие островки, сотни из них, образованы из ила, островки теперь заросли травой, вся Камогава полна таких беспорядочных илистых островков, заросших травой, по колено или по грудь, и именно между ними извивается маленькая водичка, как будто на грани полного высыхания; что здесь произошло, спрашивает человек своего спутника, если таковая произошла; может быть, какая-то катастрофа или что-то еще, почему река так сильно высохла? —

он, однако, должен быть доволен ответом, что о, Камо была очень бурной рекой, и красивой, и, конечно, ниже по течению от Сидзё-охаси она все еще такая, и иногда здесь также, когда наступает сезон дождей, даже сейчас ее можно наполнить водой, до 1935 года она регулярно разливалась, на протяжении веков они не могли ее контролировать, даже в Хэйкэ Моногатари описывается, как они не могли ее контролировать, затем Тоётами Хидэёри приказал отрегулировать реку, и некий Суминокура Соан и его отец Рёи начали это делать; действительно, Рёи завершил канал Такасэ, и затем его русло было выпрямлено, а затем к 1894 году был завершен канал Бива, но, конечно, все еще были наводнения, и в последний раз, именно в 1935 году, наводнение было настолько сильным, что были разрушены почти все мосты, и было много смертей и невыразимых разрушений; Ну, в тот момент было решено, что они наконец положат конец его разрушительной силе, они решили, что построят это и построят то, и не только вдоль насыпей, но и там, внизу, в русле реки, своего рода систему нерегулярных дамб из камней-блоков, которые затем прервут поток воды, которая была чрезмерно бурной, когда она падала потоками с северо-западных гор; и вот они ее прорвали, говорит местный товарищ,

если он есть, как это ясно видно, они смогли сломить его силу, больше нет наводнений, больше нет смертей, больше нет разрушений, только эти капельки; эти преграждающие камни, эта система плотин работают очень эффективно и, ну, птицы — из середины Годзё-охаси — местный товарищ указывает вверх и вниз, на много километров вдаль, и в сторону русла реки; эти бесчисленные птицы, они прилетают с озера Бива; но даже он не знает точно, откуда, а ведь здесь есть всё —

Юрикамоме,

Кавасеми,

Магамо,

Онагагамо

и

Хидоригамо, Медзиро и Кинкурохадзиро — на самом деле все разные, и те, и эти, и маленькие стрекозы порхают тут и там, только о белоснежной большой цапле местный спутник, если таковой имеется, не упоминает; не упоминает, потому что не видит ее, указывая туда, из-за ее постоянной неподвижности, все к ней так привыкли, она всегда там, внизу, ее даже не замечают, и все же она там, как будто ее и нет, она стоит неподвижно, даже ни одно перышко не трепещет, она наклонилась вперед, обхватывая взглядом пенистую струйку воды, белоснежную непрерывность Камо, ось города, художник, которого больше нет, который невидим, который никому не нужен.

Лучше бы тебе повернуться и уйти в густые травы, туда, где один из тех странных травянистых островков в русле реки полностью покроет тебя, лучше бы ты сделал это раз и навсегда, потому что если ты вернешься завтра или послезавтра, не будет вообще никого, кто бы понял, некому было бы посмотреть, даже ни одного из всех твоих естественных врагов, который смог бы увидеть, кто ты на самом деле; лучше бы тебе уйти сегодня же вечером, когда начнут сгущаться сумерки, лучше бы тебе отступить вместе с остальными, если начнет спускаться ночь, и не возвращайся, если завтра или послезавтра наступит рассвет, потому что для тебя будет гораздо лучше, если не будет ни завтрашнего дня, ни послезавтрашнего; так что спрячься

теперь в траве, опустись, упади на бок, дай глазам медленно закрыться и умри, ибо нет смысла в той величественности, которую ты несешь, умри в полночь в траве, опустись и упади, и пусть так и будет — испусти последний вздох.

2

ИЗГНАННАЯ КОРОЛЕВА

Онлайн-викторина «I Quiz Biblici», поддерживаемая сайтом La Nuova Via, осенью 2006 года предложила своим читателям следующий кроссворд, который в номере 54 по горизонтали заставил читателей сделать решающий вывод:

КРУЦИВЕРБА 21

Горизонтали:

1 Э Сулла.. . e sulla coscia porta scritto questo name: RE

DEI RE, SIGNOR DEI SIGNORI

5 Il marito di Ada e Zilla

10 Синьор.. . trarre и pii dalla tenazione 11. .. на этом этапе я вернулся, и Сара нашла фигуоло 12. La legge è fatta not per il giusto, ma per gl'iniqui ei Ribelli, per gli empî ei peccatori, per gli scellerati e gl'..

., для того, чтобы помочь отцу и матери

15 Poiché egli fu crocifisso для вашей помощи; ма...

per la potenza di Dio

17 Re d'Israele

19 Perciò pure per mezzo di lui si pronunzia l'.. . алла слава ди Дио, в Грации дель ностро министерио 20 Una testa d'asino vi si vendeva

ottanta sicli d'argento, e il quarto d'un.. . ди стерко ди

Колумби, пять лет назад, 23 года, Perché mille anni, agli occhi tuoi, sono Come il Giorno d'.. . когда пассато

24 Quando sono stato in grandi pensieri dentro di.. ., le tue consolazioni han rallegrato l'anima mia 25 Фиглиуоло д'Элеазар, фиглиуоло д'Ааронн 26. .. Америка dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze 27 Allora l'ira di Elihu, figliuolo di Barakeel il Buzita della tribù di.. ., доступ

28 Questi sono i figliuoli di Dishan: Uts e. ..

29 Персио Иддио ли ха отрекся от страстной позорности: poiché le loro femmine hanno mutato l'uso naturale in quello che è contro natura; и похожие друг на друга руки, когда я нахожусь в естественном состоянии от Донны, си соно инфиаммати о лоро либидина гли уни для гли альтри, комметтендо ты мини с тобой.. ., и рисовандо в Лоро Стесси ла Конденья Мерседе дель Пропио Тавиаменто

32 Элькана и Анна иммолароно иль игра, и менароно иль фанчиулло ад...

33 Io do alla tua progenie questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Efrate; я Кеней, я.. ., я Кадмоней

35. .. dal primo Giorno Toglierete ogni Lievito dale vostre Case

37 Давиде Римасе в пустыне в Луоги Форти; e se ne stette nella contrada montuosa del Deserto di...

38 Или Авенир, фиглиуоло ди.. ., capo dell'esercito di Saul 40 Фиглиуоли ди Тола:. . ., Рефайя, Джериэль, Джамай, Джбсам и Самуэле

42 Фа' престо.. . аккордо col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui

45 Questi Tornò Jzreel для фарси Curare delle Ferite che Avea Risvute dai Sirî a...

47. .. n'è di quelli che Strappano dalla mammella l'orfano

48. .. la si ottiene в Камбио д'Оро

49 Non han più ritegno, m'umiliano, rompono ogni freno in. .. презентация

50 Мой друг — я схватил ципро делле вино д'..

.-Геди

51 Город слухов в пустыне, Коллина и Торре Саран для вечной радости в пещере, в Луого-ди

спасение для гли онагри и пасколо.. .' Греджи 52 Il suo capo è orofinissimo, le sue chiome sono crespe,. .. иди, иль корво

54 Царица Вашити ха.. . Non Solo Verso il Re, ma Anche Verso Tutti i Principi e Tutti i Popoli che Sono во всей провинции дель Ре Ассуэро

56. .. dunque, figliuoli, ascoltatemi, e non vi dipartite dale parole della mia bocca

57 Il cuore allegro rende.. . иль вольт

58 Махла, Тиртса, Хогла, Милка и Ной, фиглиуоле ди Целофахад, си маритароно, как фиглиуоли деи Лоро...

60 Один доблестный воин на службе Давиде. 61 Пусть ты остаешься, чтобы пройти в пределы Моава,. .. Ar 63 Могли ди Ахав, в Израиле

64 Суда Израиля за 23 года, эпоха трибу Исакара

Вертикали:

1 Ma quella che si dà ai piaceri, скамейка.. ., è morta 2 Sansone disse loro: «Io vi proporrò un...

3 Перше Иддио.. . gli occhi aperti sulle vie de' Mortali, и все это и все пасси

4 Фиглиуоло ди Джуда, фиглиуоло ди Джакоббе 5. .. Porte della morte ti son esse statescoperte?

6. .. соло, чтобы поговорить со мной, но убидито 7. .. рендоно-мужчина за благо; derelitta и l'anima mia 8 Gli uomini saranno.. ., Аманти дель Данаро, Ванаглориози

9 О Монте ди Дио, о Монте ди Басан, о Монте далле Молте.. ., о Монте ди Басан

10. .. rallegrino i cieli e gioisca la terra 13 Io ho veduto gli sleali e ne ho provato...

14. .. внимание к моему гридо, перше сын ридотто в очень плохом состоянии

16 Или я capi sacerdoti e gli scribi stavan la, acusandolo con. ..

18 Фиглиуоли ди Калеб фигуло ди Гефунне:. . ., Эла и Наам, и фиглиуоли д'Эла и Кеназ

20 Rimpiangete, costernati, le schiacciate, d'uva di. . .-

Харесет!

21 Prima vi abitavano gli Emim: popolo grande, numeroso, alto di statura com gli...

22 E non dimenticate di esercitar la...

25 E l'Eterno gli Disse: “.. . ты почувствуешь раздражение, потому что?»

26 E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse:. ..

привет, Маэстро!

27 Для трибу Бениамино: Палти, фиглиуоло ди...

30 Эфраим ebbe per figliuola Sceera, che edificò Beth-horon, la lowere e la Superiore, изд.. .-Sceera 31 Uno dei capi di Edom

34. .. notte e giorno, e non sarai sicuro della tua esistenza

36 Давиде спосо и Ахиноам ди...

37 Essa gli partorì questi figliuoli: Jeush, Scemaria e. ..

39 Dio in lingua ebraica

41 Допо ди Лоро Цадок, фигуоло д'.. ., lavorò dirimpetto alla sua casa

43 Я дормиглиони и андран вестити ди...

44 Quand'hai fatto un.. . Дио, не indugiare ad adempierlo

46 Amica mia io t'assomiglio alla mia cavalla che s'attacca.. . Кэрри ди Фараоне

51 Non sapete voi che un.. . ' ди левито фа левитаре все макароны

52 Ли Ханно гли Уччелли дей Чели

53 E i suoi piedi eran simili a terso.. ., arroventato в одной силе

55 E questi sono i figliuoli di Tsibeon:. .. e Ана 59 Или Амрам присутствует для moglie Iokebed, sua...

60. .. vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno

62 Ecco, io ti. .. di quelli della sinagoga di Satana Примерно в то же время фирма, зарегистрированная по адресу Митчелтон 4053, Квинсленд, Австралия, обновила свою интернет-страницу vashtiskin.com, чтобы соответствовать новому духу времени, и, как можно почувствовать, этот поступок не пустяк, ибо, как они пишут, Вашти Чисто

Natural Skin Care, отдалённо связанный с сайтом www.3roos.com/forums/showthread.php?t=194376, предлагает уникальный ассортимент средств для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, используя дары природы для синергии, омоложения тела и духовного подъема. Их продукция, включая очищающие средства для кожи, лосьоны для тела, лосьоны для волос и детские товары, изготавливается вручную из лучших растительных ингредиентов, которые имитируют естественные компоненты кожи, уменьшают воздействие свободных радикалов, способствуют увлажнению, кровоснабжению и восстановлению клеток. Кроме того, компания Vashti сообщает, что использует только качественные ингредиенты, и что её продукция на 100% подходит веганам, что компания уважает людей, избегая использования синтетических ингредиентов, искусственных красителей и ароматизаторов. И наконец, компания добавляет, что уважает животных, не проводя на них испытаний.

Радикальный ущерб

Она никогда не была особенно любима при персидском дворе; ее превозносили и ей завидовали, ее хвалили и осуждали; она очаровывала всех, и о ней говорили, что она, соответственно, не так уж и красива, но она была прекрасна, очень красива, превосходя все меры, известные до тех пор, и, следовательно, более ослепительна, чем кто-либо другой: но любовь была скрыта от нее: никому не приходило в голову приблизиться к ней с любовью; ни те, кто мог быть в ее присутствии, ни те, кто только слышал о ней, а все в Сузах знали — не меньше, чем все во всей империи Ахеменидов, — что она живет во дворце императора под бременем вечного лишения любви, и это было даже до того, как она стала супругой великого царя, потому что в самый момент ее рождения ее судьба была решена, ибо ошибочно утверждалось, что она является потомком Бел-сарра-узура, погрязшего в религиозном безумии, и Набу-кудурри-ушура, щедрого царя-разбойника; и с самого начала они относились к ней, независимо от ее возраста, как к человеку, которого ждет большое будущее, хотя они могли

не подозревал, насколько великое будущее это будет, до конца времен, потому что, когда повелитель гигантской империи Персов сделал ее своей первой женой, выбрав ее и объявив о браке, так случилось, что царственная корона была возложена на ее великолепную голову, голову Вавилона — так, Великий Царь не мог найти никого подходящего среди дам Персии, пробормотала Парисатида в ярости; нет, Великий Царь кратко ответил, и действительно, это было так, потому что для него не существовало никого другого, кроме царицы Вашти; Он никогда не видел такой красоты, какую усмотрел в ней с того самого первого взгляда, ни до этого, ни где-либо еще с тех пор, и все же со времен Кира Великого Империя выросла довольно большая, ибо она, несомненно, была величайшей во всем мире в пределах разумного, и где, если быть точным, не было недостатка в красавицах: мидяне, скифы, парфяне, лидийцы, сирийцы и иудеи, невозможно перечислить, сколько именно народов и сколько видов красоты, но ни один из них даже близко не стоял с божественной красотой, исходящей от вавилонской царицы; Великий Царь влюблен, шептали при персидском дворе, который постоянно перемещался между Пасаргадами, Персеполем, Экбатанами и Сузами, в зависимости от сезона; если он находится в присутствии царицы, говорили о государе в Пасаргадах, то он словно лишился рассудка; если он хотя бы взглянет на царицу, шептали в Персеполе, он не может отвести от нее глаз; Если он находится вблизи царицы, повторяли дома иностранные послы, вернувшись из Суз, он не обращает внимания, и с ним невозможно ни о чем говорить; и все это соответствовало действительности; порою, если Великий Царь присутствовал на роскошном ужине в зенане, он почти забывал о еде, ибо он только смотрел на Царицу и не мог оторваться от вида ее великолепных, густых, золотистого цвета волос, как они ниспадали косами ниже изящного затылка на спину, — он тоже восхищался ею, хвалил ее, превозносил ее, и ему было не по себе, когда придворные

Слухи о том, что он влюблен, достигли его ушей, ибо он не знал, что именно связывало его — крепко или некрепко — с этим чувством, силой которого он чувствовал, что должен восхищаться ею, восхвалять ее и превозносить ее. Великий Царь был беспомощен, но все же был счастлив и горд и мог голыми руками убить любого, кто осмелился бы произнести ее имя — не только свою мать, Парисатиду, что было бы естественно, не только женщин, обитающих в уединенном мире дворцовой зенаны, что само по себе было традицией, но даже покоренных принцев и царей — если бы они осмелились заговорить о его чудесной Царице, сказав, что она чрезмерно горда при дворе, что она чрезмерно ищет милости народа, он бы, со всей уверенностью, убил этого человека, ибо, кроме того, то, что они говорили, было не так уж далеко от истины; ибо Вашти на деле оказалась затворницей во время празднеств зенана, заказанных для царя, и Вашти была счастлива только тем, что могла участвовать в процессии в Персеполе, или Экбатанах, или Пасаргадах, или, в зимние месяцы, перед народом Суз, завоевав, таким образом, неизмеримую популярность; все более популярную, отметила мать государя, которая была ее злейшим врагом в кругу царских советников, с убийственно сверкающими глазами; все более популярную, беспокойно роптала персидская свита, мрачнея при одной мысли о том, что в самое ближайшее время должен появиться преемник мужского пола, который благодаря своей матери будет наполовину вавилонянином; все более популярную, как было доложено великому царю, который, услышав эту новость, был в таком приподнятом настроении, как будто видя, как народ радуется его собственному сокровищу, веря, что эта популярность просияет и на него; однако это было не так, эта популярность относилась только к царице; необузданный энтузиазм, который, помимо того, что шествие царицы Персидской империи не было обычаем и, следовательно, невозможным, возник из-за ощущения этого народа, что царица Вашти использует каждую возможность, чтобы принять участие в шествии в ее

позолоченную карету перед ликующей толпой, потому что она любила их, народ; однако Великая Королева, как ее называли по указу и по их чувствам, хотела только видеть, как они ее любят; хотя это было неправдой, ибо если они радовались при виде ее, если они кричали от радости, что могли мельком увидеть ее, то на самом деле народ был очарован только тем, что мог ее видеть, мог мельком увидеть ее, что в действительности было далеко от завидных желаний Великой Королевы; но она ничего не замечала, народ ликовал и кричал, и все же двор трепетал; прежде всего мать Великого Царя, Парисатиду, которая во всем этом чувствовала предчувствие больших, более коварных перемен и которая с радостью обратила бы в пепел сотню крестьян Вавилонской Империи, просто из устрашения, если не саму Великую Царицу — по крайней мере, на данный момент, сказала она своим самым доверенным лицам; невозможно, обвиняла она в присутствии Великого Царя, как эта бродячая вавилонянка имела наглость пренебрегать условностями Империи при каждой возможности, будь то под предлогом принесения жертвы Митре или выражения благодарности Анахите, выходить в толпу, покидать кварталы зенаны, чтобы чернь чествовала ее; так пусть же чествуют ее, заметил Великий Царь с сияющими глазами, она единственная во всей Империи, сказал он, указывая на зенану, которая заслуживает чествования, на что Парисатида громко фыркнула и убежала, а Великий Царь лишь улыбнулся про себя и не заботился о своей матери, его единственной заботой была Великая Царица, и в своих указах он поддерживал культ Митры и Анахиты, в то время как сам он, в соответствии с традицией, подчинил себя почитанию и поклонению Всевышнему, Ахура Мазде; отпустите ее, объявил он своим приближенным, и приносите жертвы Митре и Анахите, как она пожелает, это не повредит ни Империи, ни народу, и это не повредит в частности ему самому, если он сам не примет участия в этих царственных

процессий, ему было достаточно представить себе, как среди своих самых ослепительных украшений, в своем самом ослепительном одеянии она бросала напоказ свою несравненную красоту народу по пути к святилищу Митры; это было угодно Великому Царю, это великолепие и это расточительство, так как она, так сказать, расточала неподражаемое великолепие своей собственной персоны на тех, кто этого недостоин, это в особенности восхищало Великого Царя, этот дерзкий каприз, ибо он не имел ни малейшего понятия, почему Вашти чувствовала ненасытное желание быть любимой; и среди ликования и криков толп в Сузах и Персеполе она могла представить, что здесь, по обе стороны священного пути, находятся люди, исполненные любви к своей царице, — ликование и крики, которые она слышала и сейчас, в мучительной тишине, когда началось представление ее гибели, и в соответствии с судом и обычаем она была вынуждена покинуть дворцовые покои одна, лишенная своих драгоценностей, без сопровождения, через двор царицы к Северным воротам, ко всем остальным закрытым.

Сандро сказал, что во время его отсутствия они должны принимать даже самый незначительный заказ; мастерская работала всего полтора года, то есть была ещё неизвестна, и, кроме того, сам уважаемый сосед, синьор Джорджо Антонио Веспуччи, прислал к ним почтенных евреев в кафтанах, в то время как другие этого не сделали, так что, намекнув на отсутствие главного художника мастерской, Алессандро Баттиджелло, который в настоящее время работал по просьбе синьора Томмазо Содерини для Sei della Mercanzia — то есть для Торговой палаты, — Филиппо ди Филиппи Липпи объяснил, что он, следовательно, будет вести с ними переговоры, и с большим уважением пригласил их сесть; они, однако, только недоумённо переглянулись, не зная, что делать, они вряд ли могли обсуждать этот вопрос с таким мальчишкой, явно всего лишь подмастерьем, но он, понимая, какую игру здесь затевают,

во взглядах, сообщил им, что каким бы молодым он ни казался, он не ученик, не слуга в этой живописной мастерской и не какой-нибудь лентяй, а Филиппино Липпи, самый полноправный собрат-мастер синьора Алессандро ди Мариано Филипепи, более известного как Сандро Баттиджелло, и — как они могли догадаться по его имени, он не кто иной, как единственный сын прославленного Фра Филиппо Липпи, чтобы они могли наконец собраться и сесть и рассуждать со всем спокойствием о деле, которое привело их сюда, он будет помогать им, насколько это возможно, и они только смотрели на ловкого юношу; затем старший из них оглядел его немного, а затем улыбнулся, кивнул остальным, и так получилось, что заказ на изготовление двух форзиеров был выполнен Филиппино сам, один и полностью; это был самый первый заказ такого рода для мастерской; будет свадьба, долго объяснял старый еврей, теребя свою седую бороду, бракосочетание — и тут следовало имя, которое Филиппино, даже когда он попросил повторить его, не смог разобрать, — в одной семье, и на этот раз они, по совету младшей сестры синьора Веспуччи, обратились в мастерскую синьора Алессандро ди Мариано, чтобы спросить, возьмется ли он за этот заказ, который должен был быть выполнен к последнему дню года; ах, два forzieri, кивнул Филиппино очень серьезно, но вдруг замолчал и поджал губы, как человек, который размышляет, сможет ли его мастерская взять еще один заказ среди стольких других, да, ответил старик, и с этого момента он более решительно посмотрел на фигуру четырнадцати- или пятнадцатилетнего юноши; с обычными размерами, сказал он, но не обычной техникой; он поднял свой длинный указательный палец, ибо они — то есть семья — имея в виду семью невесты, продолжал он, медленно формулируя слова, хотели, чтобы эта пара форзиеров не была резной, как это часто случалось, но она

необходимо было расписать, и именно поэтому они пришли к синьору Сандро ди Мариано: они хотели, чтобы молодой мастер написал историю Эсфири из еврейской Библии на двух форзиери; поверхности длинной и короткой сторон сундука должны были быть использованы, но не крышка, а задняя часть также должна была остаться нетронутой, так как она будет прислонена к стене в спальне молодоженов, так что, короче говоря, всего было две длинные прямоугольные поверхности и две приблизительно квадратные, объяснил старик, и это означает, что синьор Сандро ди Мариано, принимая все во внимание, имеет в своем распоряжении две большие и четыре меньшие поверхности, но, конечно, — старик оглядел несколько беспорядочную мастерскую, не скрывая своих сомнений, — всю работу должен был выполнить мастер, так что ему придется организовать также столярное дело и ювелирное дело; Это вообще не проблема, прервал его Филиппино, ведь для ювелира не найти никого лучше, чем старший брат хозяина Антонио, а что касается плотницкого дела, то они много лет работали вместе с Джулиано да Сангалло, знаменитым мастером-плотником, на что старик поднял свои кустистые брови, да, ответил Филиппино как можно более решительно, они были знакомы с его работой уже давно и были ею весьма довольны, но тут вся семья — в основном младшие члены, которые сидели сзади, у входа, прислушиваясь к разговору оттуда

— начал улыбаться; так не будет ли любезен господин сначала сообщить, какой размер форзиеры он имеет в виду, — спросил Филиппино, наклоняясь к старику с серьезным взглядом, так как ему не нравилось это всеобщее веселье; ну, старик сделал жест обеими руками, примерно такого размера; отлично, — сказал Филиппино, кивнув на измерение; он схватил довольно длинную деревянную планку, сделал на ней зарубку и подал ее старику, — это та длина, которую вы предполагаете получить, — спросил он; измерив руками длину, которую он только что получил

продемонстрировали мальчику, старик был явно поражен, так как это явно соответствовало длине, прорезанной на планке; затем, как бы начав говорить серьезно и направляя мальчика назад перед собой своими изысканными бровями, он жестом назад указал на одного из младших членов семьи, и в тот же миг в его руке появился кусок ткани с рисунком на нем, ясно показывающим искомую форциеру, указывающим точные размеры, — ну что ж, посмотрим, и теперь старик пристально посмотрел в глаза Филиппино, повтори мне в точности то, что мы хотим, так как потом тебе придется повторить это твоему... собрату-маляру, если он вернется; затем он немного откинулся назад на своем стуле, у которого, однако, не было спинки, так как это был всего лишь простой деревянный табурет, какие использовались в таких мастерских; Филиппино усмехнулся на мгновение, но затем немедленно и торжественно начал говорить, сказав, что высокие гости одиннадцатого августа, в год Господа нашего 1470, в мастерской Сандро Баттиджелло заказали изготовление двух форзиций в пропорциях, указанных на разрезе домотканой ткани и, как я вижу, продолжил он, поднося кусок ткани ближе к глазам, она будет из самой лучшей древесины тополя, поэтому все столярные работы, а также работы по золочению будут объединены с этим конкретным заказом, согласно которому мастерская обсуждаемого мастера должна нарисовать историю всей Книги Эсфири на двух передних панелях и боковинах форзиций; дата завершения, однако, должна быть обозначена как последний день года, так что пусть это будет также и дата получения обусловленного вознаграждения в пятнадцать золотых флоринов за штуку, таким образом — тут старый еврей, подхватив разговор, посмотрел на мальчика со все возрастающим удовлетворением, но как будто не услышал рекомендации относительно цены; он рекомендовал, чтобы на одной главной панели было изображение Эсфири, молящей о пощаде перед царем, а на другой — изображение

благодарность еврейского народа; боковые панели, однако, должны изображать главных героев — Ахашвероша, Амана, Мордехая, естественно, с Эсфирью на переднем плане; конечно, — холодно ответил Филиппино, строго нахмурившись, — конечно, Сандро Баттиджелло первым придумает, каким образом, как можно будет передать одну целую книгу Священного Писания на в общей сложности шести панелях, так, чтобы была передана суть, это он должен решить; В этот момент старик, который более или менее ожидал такого ответа, улыбнулся, оглянулся на остальных, поклонился Филиппино и ответил ему, сказав: «Да, мой дорогой мальчик, я так и представлял себе», — и с этими словами он поднялся со своего места и, бросив на мальчика теплый взгляд, сделал знак остальным, вышел на Виа Нуова, затем, покачав головой, невозмутимо пробормотал себе под нос: «Что же еще, сорванец, пятнадцать золотых флоринов, да еще и за штуку!» — затем он сцепил руки за спиной и в сопровождении своего многочисленного семейства, которое уже громко переговаривалось, весело анализируя, что это за мастерская, он удалился от палящего солнца, так что вся компания под его руководством продолжала медленно исчезать в тени церкви Оньисанти.

Хотя Персидская империя была основана Киром Великим и расширена Дарием, она стала по-настоящему великой только благодаря Артаксерксу Мнемону II, этому — по мнению его современников, а позднее и историков — слабому, восприимчивому, изнеженному и поначалу деликатному и великодушному человеку, которого первоначально на его родном языке звали Отаксакой, а затем греки называли Артацесом, и который долго не мог оправиться от того, что ему пришлось похоронить евнуха Тиридата, юношескую любовь своей юности, перед

— как, возможно, заметил Геродот, — у него был шанс выйти из детства; его горе было так велико, что он приказал принять и практиковать глубочайший траур по всей империи, в котором его мать, в

надежды положить этому конец, бросила все свои силы на создание брачного союза, благоприятного для Империи, посредством которого она также хотела помешать ему, Артацесу, занять трон, ибо в ее сердце — если в случае Парисатиды мы вообще можем говорить о таком понятии, как сердце —

она предназначала трон своему второму ребенку, но тщетно, ни один из ее планов не осуществился, ибо ей пришлось увидеть, как ее любимец, страстный Кир Младший, созданный для правления, умер в Кунаксе, и это был именно презираемый первенец, а затем снова вавилонская блудница, назначенная для брака, не только не затруднила восхождение Артаксеркса II на престол, но фактически прямо ускорила его, ибо эта проклятая чужеземная змея, как называла ее Парисатида в кругу своих ближайших почитателей, стала настолько популярной практически с самого первого своего публичного появления, когда в процессии за своим мужем-императором она смогла принять участие в большом празднестве, посвященном Ахура Мазде, что народ хотел немедленно увидеть ее на троне царицы, и там они ее увидели, потому что император хотел видеть ее там же, и мидийские волхвы возложили корону на ее голову, и она стала Великой Царицей могущественной Империи, и она стала также той для которой император одним быстрым ударом мог забыть свою утрату по Тиридату, ибо достаточно было взглянуть на Вашти, и он был околдован; Парисатида испробовала против нее все, что только было в человеческих силах, воспользовавшись услугами жен, уединенных в зенане, в частности, ревнивой ионийки Аспарии, отодвинутой на серый фон зенаны из-за Вашти; она использовала все махинации зенаны-интриг, она использовала жрецов веры Мардука и жрецов, выступавших против веры Мардука, а также так называемые «мужские общества», созданные для сопротивления самодержавию Ахура Мазды, а также антипатии зороастрийских жрецов, которые отвергали эти «мужские общества»,

она все перепробовала, но безрезультатно, ее первенец, и не высокородный, был ослеплен вавилонской красавицей, которая

восседала на троне и носила корону на своих прелестно вьющихся льняных волосах, как будто она всегда восседала на этом троне, и как будто эта корона всегда была предназначена для нее; проще говоря, ничто не могло коснуться ее, ничто во всем дарованном Богом мире, положение Вашти становилось все более прочным, параллельно с Империей, которая, в свою очередь, только укрепляла положение Великой Царицы, поскольку она росла и становилась все более могущественной, никогда не было Империи таких размеров во всем мире в пределах досягаемости разума, кроме того, жители Империи наслаждались великим миром после великих войн, который они приписывали личным талантам Императора, считая это равным доказательством того, что верховное Божество Небес, Ахура Мазда, было счастливо видеть Великого Царя на троне; короче говоря, Вашти казалась неуязвимой; Царица-мать томилась в своих покоях, обезумев от бессилия своей ярости, только теперь будучи в состоянии верить, что произойдет что-то, что приведет к концу — как это обычно и случалось —

к этому тошнотворному миру в Империи и этому плачевному роману в царском дворце, она смотрела на Великого Царя, который становился все толще, и ее осаждали раскалывающиеся головные боли, она смотрела на сияющую вавилонскую шлюху, и ее тошнило, но в настоящее время она ничего не могла сделать, просто продолжать смотреть, сказала себе Парисатида между головной болью и тошнотой, однажды и этому придет конец, потому что Ахура Мазда на небесах пожелал этого, и так оно и случилось, и ее ожидание и ее мучения не были напрасны, ибо конец наступил, так легко, так самоочевидно, что она сама, Парисатида, была удивлена больше всех, когда услышала после окончания официального празднования восшествия монарха на престол, что Великого Царя даже самые близкие его преданные считают неспособным на самые пустяковые решения, и слух начал распространяться также в покоренных провинциях, что Император слаб; Артаксеркс мог бы разрешить все, что угодно, но не это,

так что после празднеств, длившихся 180 дней, было приказано устроить семидневный праздник для старых и недавно побежденных князей, старых и недавно побежденных царей, на противоположном берегу реки, в Ападане, построенной как бы напротив дворца Дария в Сузах, чтобы продемонстрировать достоинство его права на трон и его силу, — но с этого момента все стало очень запутанным, и даже Парисатида могла следить за событиями лишь с трудом, так как на некоторое время поверила, что Великий Царь не способен на истинный гнев; Первые сообщения об этом уже поступили, единственная проблема заключалась в том, что обычай не позволял ей самой приближаться к Ападане, чтобы своими глазами увидеть это так называемое празднество, перешедшее в пьяное буйство, этот гнев, во всяком случае, во втором сообщении говорилось о неистовой ярости, евнухи практически летали между зенаной и Ападаной, у Императора пена у рта, шептали ей на ухо, он тараторит и кричит, воет и ревёт, и все гости в шоке; празднество развалилось и закончилось; во дворцах Суз сообщили о неожиданных событиях; и Парисатида снова была счастлива, потому что простое отталкивающее, но, по-видимому, неопровержимое ощущение Императора, что между ним и Вашти не может быть никаких проблем, по каким-то глупым и грязным причинам, взволновало её, так что и головная боль, и тошнота немедленно исчезли; она чувствовала себя великолепно, глаза ее блестели, лоб не хмурился, спина выпрямилась, снова приняв то неподвижное лицо, которого так боялись все окружающие, в то время как сама Вашти металась между гордым достоинством и уязвленным унижением, сидя в зале аудиенций в покоях Царицы, убежденная в справедливости своего ответа, и ждала его, того самого, о котором и от которого приходили такие ужасающие вести, она ждала Великого Царя, но он не приходил, только все новые и новые вести, и Вашти все глубже и глубже впадала в шок, и становилась унылой, и

она уже могла знать, что последует, потому что ничего другого последовать не могло, она знала, как совет —

о созыве которого ее, по традиции, немедленно известили, — решила бы, как и они, пьяная и жаждущая рокового скандала, что ей придется проследовать из королевских покоев через заброшенный дворец к запретным воротам, ей придется следовать вековому предписанию и сделать первые шаги изгнания, чтобы в конце концов оказаться всего лишь погребенной в пепле, как собака, которая ослушалась.

Они утверждали всё, а затем они утверждали и обратное; просто невероятно, что в случае практически «нового» шедевра — ансамбля панно, изображающих историю Эсфири, было всего пятьсот лет — так мало было известно, и всё же они ничего не знали; это не вопрос «широкой публики» —

даже при том, что этот термин охватывает все меньше и меньше людей, этот недостаток знаний идет бок о бок с эрудицией — а скорее бесконечных орд экспертов, которые пожертвовали многочисленными научными трудами, чтобы доказать, что, конечно, Сандро Боттичелли написал серию панелей, изображающих историю Эсфири, а также других, доказывающих, что Сандро Боттичелли их не писал; затем доказать, что, возможно, он нарисовал только существенные части, и то не даже это; может быть, он просто сделал черновой набросок для Липпи, чтобы показать ему, что ему предстоит написать, а затем панель под названием «La Derelitta» — одно из самых загадочных произведений искусства кватроченто — была, конечно же, четвертой частью, одной из боковых панелей, ранее считавшихся утраченными, из cassoni, как назывались forzieri — то есть два больших сундука, которые семья невесты дарила в качестве приданого, чтобы хранить свадебное приданое и другие ценные вещи; затем позже появился кто-то другой, который развеял все сомнения —

хм — выдвинул гипотезу, что знаменитая «La Derelitta» была работой Боттичелли, но она не была сформирована и никогда не была

сформировали часть кассони, о которых неизвестно, кто их заказал, или когда был отдан заказ тем лицом, которое их заказало, и которые позже были разбросаны в стольких же направлениях, сколько было отдельных частей: есть свидетельство того, что в галерее Палаццо Торриджани в девятнадцатом веке шесть панелей все еще были размещены вместе, но затем отдельные секции оказались по самым загадочным маршрутам в шести различных музеях, от Шантильи до Фонда Хорна; затем наступил двадцатый век, когда — теперь, обладая ранее неизвестными технологическими возможностями — можно было надеяться, что исследователи, изучающие этих форциери или кассони, что-нибудь придумают, ну, они придумали тот факт, что Филиппино Липпи, рожденный от запретной страсти бывшего монаха Фра Филиппо Липпи и бывшей монахини Лукреции Бути, мог иметь к этому какое-то отношение, а именно, что молодой ребенок, унаследовавший поистине удивительным образом весь гений своего отца, был учеником — возможно, в возрасте четырнадцати лет, вскоре после смерти отца в 1470 или 1471 году — в мастерской Боттичелли, который сам ранее был помощником в мастерской своего отца, так что — как полагали современные эксперты — весьма вероятно, что юный Липпи работал над серией панелей, изображающих историю Эсфири; позже, однако, мы узнали от Эдгара Винда и Андре Шастеля, что, ну, не совсем; они написали панели вместе, но было невозможно сказать, кто что написал, и, предположительно, Боттичелли действительно сыграл некоторую роль в их создании, и мы можем прочитать в самой последней многообещающей монументальной монографии, опубликованной в 2004 году некой Патрицией Самбрано, которая, несомненно, входит в число величайших мастеров абсолютного ничего не говорить, сама пришла к выводу, что и Боттичелли, и Липпи могли написать панели, возможно, они работали вдвоем, или таким образом, что Боттичелли каким-то образом работал над картинами, возможно, на стадии планирования или черновых набросков, а затем

Липпи написала картину; или, наоборот, Липпи работала совершенно одна — гибкость, если можно так выразиться, с которой госпожа Самбрано охватывает все возможности, невероятна — и можно даже сказать, что заслуживает высокой похвалы то, что она сумела соединить в один единый этюд все гипотезы, возникшие в сложном вопросе атрибуции со времен кватроченто и до наших дней; короче говоря, мы ничего не знаем, как это всегда и было; это как если бы в этом вопросе теперь существовало своего рода согласие, что «La Derelitta», по крайней мере, была написана одним Боттичелли, что совершенно очевидно — поскольку мы смотрим на саму картину — и невозможно понять предполагаемую трудность отделения ее от творчества Липпи, или как можно установить, что она никоим образом не была частью панелей Эсфири, другими словами, мы можем оставаться в бесплодной степи последнего описательного научного вклада, то есть работы Альфреда Шарфа, опубликованной в 1935 году, который неловко и кропотливо размышляет о дате создания панелей, но — к счастью —

ничего более, поскольку автор вынужден просто продемонстрировать то, что можно увидеть на отдельных картинах, и как все это связано с другими подобными форзициями, созданными Липпи, и, в более общем плане, как они связаны с делом жизни Липпи, и это уже все, этого достаточно, 1935, Альфред Шарф, и мы закончили, потому что, в конце концов, какой смысл возиться с обсуждениями ученых, если ведро, в котором они варят свое варево, совершенно пусто; и поэтому разве недостаточно, не заслуживает достаточного благоговения тот факт, что в ужасающих и неизвестных махинациях случая и случайности эти панели действительно дошли до нас? — ибо после всех этих размышлений, по крайней мере, невозможно сомневаться в их существовании, противоречить факту их существования.

Ибо так называемые исторические исследования поставили под сомнение существование Вашти, существование Эстер, историю Вашти и историю Эстер; так было с самого начала.

С самого начала и даже сегодня существует некое подозрение относительно всего этого, относительно Есфири и особенно Вашти, Ахашвероша, Мордехая, Амана и пира императора, подозрение, что все, что там произошло, не было, потому что, как пишут историки, все, что стоит в Книге Есфири, настолько недоказуемо, настолько нелокализуемо, настолько неопознаваемо и вымыслительно, что просто не может устоять; так что было бы лучше, если бы мы думали об этом как о басне — мы должны думать об Эстер, Вашти, Ахашвероше, Мордехае и Амане как о персонажах басни или, может быть, немного более возвышенно, мифа, поскольку — как утверждается, и люди, которые понимают эти вопросы, в основном согласны с этими утверждениями — вся Книга Эстер, а также Вашти, которая играет в ней лишь незначительную роль, просто не имеют под собой никакой основы в реальности, так что, если это «нет» даже не является сутью Пурима, его истоки, по крайней мере, неясны, и можно предположить, что связь Книги Эстер с еврейским текстом, как и с греческим каноном, произошла только позже, ибо дело начинается с того, что историческая наука не может убедительно идентифицировать главного героя — насколько его вообще можно считать таковым — Ахашвероша, поскольку долгое время царило убеждение, что этот самый Ахашверош на самом деле был Ксерксом I, и вся басня доходит вернуться к вавилонскому пленению, и эта точка зрения даже сегодня временами поднимает голову, но все тщетно, поскольку все больше и больше — естественно, среди тех, кого тревожит неясное происхождение Пурима, то есть, что мы вообще празднуем во время Пурима, — кто хранит молчание перед лицом непревзойденной компетентности аргументов, изложенных в исследовании Якоба Хошандера 1923 года: например, отождествление Ахашвероша с Ксерксом и, таким образом, датирование истории Эсфири временем вавилонского пленения является ошибкой, потому что Ахашвероша — не кто иной, как сам Артаксеркс II, выдвинувшийся в качестве ведущей фигуры в период упадка династии Ахеменидов —

Артаксеркс Мнемон II, правитель, упомянутый до своей коронации как царь под греческим именем Артасес — неизбежный убийца своего младшего брата, победитель в битве при Кунаксе, зачинщик заговора в шедевре Ксенофонта «Анабазис», верный первенец своей матери, увековеченный как злая интриганка Парисатида, у которой была восхитительно красивая жена Статиера, которую Хошандер, и не просто так, без каких-либо рассуждений, отождествляет с Вашти; так хладнокровно, так неоспоримо убедительно идет его аргументация, что ее едва ли опровергают — ни христианские исследователи Библии, ни более нейтральные историки; даже не по раввинской традиции, и хотя, конечно, между этими двумя группами по этому вопросу есть некоторые расхождения, согласие более заметно, даже если формулировки раввинских ученых более строгие, то есть даже если они отклоняются по более строгой траектории от анализа Хошандера, который принимает конфликт между старой и новой верой как достаточное объяснение фона Книги Эстер, а именно, например, что Вашти, поскольку история правдива, на самом деле не выполнила повеление царя — суть которого состояла в том, что она должна была явиться среди пьяно шумящих князей и царей, перед Великим Царем, который желал красотой своей жены подтвердить непревзойденность своей собственной Империи; а именно, его приказ был таков, что она должна была покинуть свое собственное собрание, устроенное для прославленных дам персидского двора в зале для аудиенций апартаментов царицы в зенане, которое в соответствии с традицией происходило одновременно с недельным празднованием Императора, предписанным в таких случаях персидской и даже более древней традицией, и во время которого она не должна была отсутствовать, и на котором она сидела до его окончания, ее лицо было полностью закрыто, — ну, если все это действительно правда и так оно и было, но с другой стороны — то есть по словам раввинских комментаторов — это было не так, причиной была не гордость Великой Царицы, а болезнь

что Вашти уже несколько недель скрывалась от императора, так что безрезультатно, как сообщают еврейская и христианская Библии, ей шептали и шептали на ухо, что она должна покинуть женский пир и немедленно явиться к императору, безрезультатно евнухи повторяли это нервно, встревоженные тем, что увидели в глазах императрицы, ибо в этих несравненных глазах они увидели, что, что касается поистине необычной просьбы императора — вопреки всем придворным приличиям — которая предписывала ей явиться в одной только короне, то есть без одежд, демонстрируя свою красоту перед мужским собранием, превратившимся в пьяную толпу, что она не собирается ее выполнять, безрезультатно они убеждали ее и шептали ей на ухо причины, точно так же, как традиция тоже тщетно пытается запечатлеть эту картину в памяти, ибо в действительности, как утверждают эти толкователи, с внезапной резкостью и лишенной Из милосердия, Вашти была прокажена, и болезнь, хотя и в начальной стадии, изуродовала ее лицо и все тело, и именно по этой причине она не осмелилась показаться своему царю, чтобы не потерять его любовь и восхищение, и именно это знание ранее достигло ушей Парисатиды, которая сразу почувствовала, что при таком развитии событий настало время расплаты; поэтому она отправила послание императору в подходящее время, что было едва ли неслыханно или не соответствовало обычаю; Однако она отправила послание, в котором говорилось, что если он сейчас позовет свою восхитительную царицу, она непременно откажет ему в его просьбе, поскольку она слишком горда, чтобы появиться в такой компании, и в этот момент Артаксеркс, измученный многодневным пьяным кутежем и вечно борющийся с неопределенностью своего достоинства как государя, немедленно отдал приказ евнухам, в том роде, что — со всей логической иррациональностью, вытекающей из ситуации — она должна прийти, она должна прийти немедленно во всей своей красе, а именно, что она не должна

носить что угодно, кроме короны на голове — Парисатида, как говорят, ликовала; Вашти понимала, что это конец; однако Артаксеркс в своей горечи допускал все советы и соглашался со всем, потому что все, о чем он мог думать, было то, что если Вашти, как она делала неделями, опозорит его и снова отречется от него, то Империя также отречется от своего последнего Великого Императора, и хотя в своем тусклом, медленном, пьяно мерцающем мозгу он понимал, какой приговор он выносит той, которую любил больше всего на свете, он также чувствовал, что судьба Вашти —

и здесь еврейские комментаторы текста понижают голос, — было зеркалом судьбы Империи, и что если Вашти будет потеряна, то вся колоссальная Персидская империя будет потеряна, потеряна навсегда.

Он уже умел рисовать Мадонну, даже прежде чем узнал, что такое Мадонна, но не только в этом он проявил необыкновенный талант, но и почти во всем остальном, ибо он умел читать и писать, владел навыками плотницкого дела, владел инструментами мастерской, в совершенстве растирал и смешивал краски, золотил рамы так, что никому не приходилось его учить, так что в Прато отец всегда следил за его успехами с хвалебным вниманием, не упуская из виду ни одного его движения, и ласкал мальчика только тогда, когда маленькому Филиппино хотелось сесть к нему на колени, и этот период как-то очень быстро пролетел, ребенку едва исполнилось шесть лет, как отец стал замечать, что он не любит, когда его трогают, что ему не нужно, чтобы его обнимали, более того, — если говорить прямо — он их терпеть не мог, хотя и в доме отца, и в мастерской с ним обращались с особой любовью; семья, многочисленные и часто меняющиеся ряды помощников и учеников, даже уважаемые покровители, если они приходили вести переговоры со знаменитым мастером, никогда не упускали возможности похвалить его, говоря, какой красивый ребенок, так же как они никогда не упускали возможности изумленно разинуть рты (хотя они и не верили по-настоящему, что эта крошечная крошка сделала

рисунок, который мастер так гордо выставлял напоказ); поэтому он вырос в самой теплой обстановке, которую только можно себе представить, но это все же не утихомирило беспокойство его родителей, ибо им было достаточно тяжело с самого момента его рождения думать о том, какая проклятая жизнь будет у человека, рожденного греховно, принимать во внимание обстоятельства, при которых один из родителей был монахом-кармелитом, капелланом в монастыре Санта-Маргерита, а мать, к их еще большему стыду, была монахиней в том же монастыре во время зачатия, настолько они были поистине грешниками, явными грешниками в скандале, который месяцами обсуждался по всей Флоренции, пусть и относительно обычными грешниками, но все же грешниками, которые оставались бы таковыми еще долгое время, возможно, даже до самых врат ада, если бы необыкновенный гений Филиппо Липпи, известный по всей Италии, не добился под давлением Медичи папского отпущения грехов от Пия II, который разрешил дело следующим образом: «отменяя их», то есть освобождая их от монашеских обетов, — но он мог только спасти их, он больше не помогал ребенку, так что печать навсегда осталась на маленьком Филиппо, которого его отец, напрасно, осыпал любовью, всеми знаками страстной любви; он никогда не мог освободиться от тревоги о том, что станет с ребенком, когда он вырастет, и эта тревога сохранялась годами и годами, пока ребенок не начал показывать, что нет нужды беспокоиться за него, потому что он сможет стоять на своих собственных ногах, и его талант компенсирует его нечистое происхождение, ибо он проявлял такую беспримерную умственную чувствительность и был таким искусным в учении, что просто ошеломлял всех вокруг; можно было увидеть, что этот мальчик станет великим человеком, как и его отец; однако он никогда не получал наставлений — ни от отца, ни от кого-либо другого; вместо этого он только наблюдал, непрерывно, независимо от того, кто что делал в мастерской, или дома, или на улице, как ребенок наблюдал

молча и задавал вопросы, и когда он увидел, что его отец начинает рисовать, он тоже начал рисовать, он взял деревянную доску и немного угля и точно копировал каждое движение, наблюдая, как его отец делал большую размашистую дугу углем, и дуга на его рисунке изумительно изгибалась таким же образом, но так было со всем, ребенок наблюдал за всем тщательно, он мог молча сидеть до часа рядом с кузнецом в Прато и смотреть, как подковывают, может быть, три пары лошадей, он мог проводить долгие часы на берегу ручья, наблюдая за рябью на воде и светом на рябистой поверхности, короче говоря, когда ему исполнилось шесть лет, его родители больше не беспокоились о нем; его отец был уверен, что плод его глубоко страстной любви, греховной и все же предопределенной, взят под защиту Господа, он брал сына с собой, куда бы ни мог, даже в Сполето, где тот работал над собором; На стройке ребёнок, наряду с главным писцом, исполнял обязанности своего рода помощника, ибо был способен и на это, подтверждая свои способности везде и во всём, и, кроме того, поражал всех своей мягкостью и чуткостью, хотя из-за этого его родители подвергались иному виду беспокойства, а именно, что здоровье ребёнка было не в порядке; он постоянно простужался, одевался недостаточно тепло; у него уже распухло горло, и он был прикован к постели на несколько дней, так что проблема заключалась в состоянии его здоровья; родители так и не смогли достаточно напомнить ему, что он должен быть очень осторожен, даже в 1469 году, когда его отец лежал на смертном одре, и поручили мальчику закончить фреску Святой Девы, которую тот начал в соборе; нет, даже тогда, и даже там, он не забыл напомнить сыну, чтобы тот одевался очень тепло во время работы, так как в соборе всегда было слишком холодно, и ни в коем случае нельзя было пить холодную воду во время работы; и, конечно, что мог сделать Филиппино, кроме

обещал держаться слова отца, но потом не сдержал его, и в принципе ему было всё равно, потому что если он вдруг задумывался о своём здоровье и одевался как следует в очень холодный зимний день, то простого короткого проветривания мастерской было достаточно, чтобы снова оказаться прикованным к постели; решения не было, он никогда не мог быть достаточно осторожен, ибо он был подвержен болезням, как ему выражались, даже Баттиджелло — его старший друг, служивший вместе с ним учеником в мастерской отца, который позже открыл свою собственную мастерскую во Флоренции, куда Филиппино последовал за ним —

даже он так сказал, Баттиджелло — это имя пристало к нему с такой несправедливостью, потому что на самом деле это была насмешка над его тучным старшим братом Джованни, который торговался с покупателями в ломбарде, — словом, даже он, этот Баттиджелло, которому вскоре суждено было стать одним из величайших художников Флоренции и всей Италии, даже он указал Филиппино, что если он не будет следить за собой, то, когда разразится серьезная эпидемия, это будет конец, она возьмет его с собой, и тогда он сможет оглянуться назад; Филиппино был просто бессилен, это был крест, который он нес, и, возможно, это была плата за его чувствительность с самого начала, на духовном уровне, как говорил его отец, потому что на самом деле это было то, что отделяло его от своих сверстников: пока они играли на улице, Филиппино сидел внутри, с удовольствием читал, и он читал все, что Баттиджелло вкладывал ему в руки, а что касается того, что Баттиджелло вкладывал ему в руки, то это было все, и очень часто такие произведения, которые действительно не следовало бы вкладывать в руки одиннадцати-двенадцатилетнего юноши — Фичино и Пико делла Мирандола и Аньото Полициано, например, — и, может быть, Филиппино не понимал, как он вообще понимал фразы, но дух мыслей, стоящих за ними, достигал его, и этот дух наводил на него задумчивость, даже тогда он начал часами размышлять под окном мастерской, забившись в угол, если в его руках случайно не было книги, а когда ему исполнилось четырнадцать, даже сам Баттиджелло был вынужден

признать его способность интуитивно постигать все, так что примерно в то время, когда Баттиджелло стали называть Боттичелли, а молодого мастера начали упоминать и восхвалять по всей Флоренции, он однажды сообщил Филиппино, что больше не считает его учеником, да тот и никогда им не был; Филиппино должен считать себя скорее коллегой по мастерской, каковым он, строго говоря, уже давно был, может быть, даже с того самого дня, как, переступив порог мастерской Баттиджелло, начал с ним работать; потому что для растирания красок, обжига древесины на уголь, вываривания пропитки и так далее всегда находился один или два настоящих помощника; Баттиджелло всегда давал Филиппино такие поручения, как: ну, видишь эту Мадонну, напиши Младенца на руках у нее с двумя ангелами, ладно? — хорошо, отвечал Филиппино, и на картине появлялись Младенец и два ангела, так что никто никогда не смог бы сказать, что Баттиджелло не написал их сам; этот Филиппино обладал невероятной способностью интуитивно проникать во всё; ему нужно было только наблюдать, например, за движениями руки Баттиджелло, за его мыслями, за его красками и рисунками, за его темами, за его фигурами и за его фоном — всё это выходило за рамки живописного мира его отца —

и с этого момента он мог писать любые картины Баттигелло в любое время; так что он, Баттигелло, — когда он получил заказ от нового мастера Гильдии купцов написать аллегорию одной из семи добродетелей, и этот заказ отнимал все его время, — он поручил Филиппино подготовить от начала до конца все остальные проекты меньшей важности в мастерской, и так случилось, что заказ на панели, изображающие историю Эсфири, двух форциери был дан Филиппино, который, обсудив способ разработки темы с Баттигелло, завершил их к величайшему удовлетворению заказчика, и даже вовремя, действительно закончил их за день до согласованной даты, что было поистине не

характерно для Баттигелло или большинства мастеров во Флоренции вообще, и, возможно, даже не для Филиппино, но, что ж, это был свадебный подарок, и не могло быть и речи о задержке, и сам заказ, первый по-настоящему серьезный заказ мастерской в этом отношении, стимулировал Филиппино необычайно, так что он работал над ним день и ночь, и две большие панели были готовы через два месяца, и он уже написал вторую боковую панель, когда мастер Сангалло закончил делать два сундука, а Антонио подготовил золотые изделия; Баттигелло был доволен и похвалил работу Филиппино, но тактично избегал высказывать мысль, что все выглядит так, как будто он сам, Баттигелло, это написал; Филиппино, однако, не обманулся этим, потому что, когда наступило начало последнего месяца года, и оставалась только одна панель, которую нужно было написать и положить в сундук, он решил, что будет работать не в духе Баттигелло, а согласно велению собственного воображения; а именно, он завершил заказ, создав картину-партнер боковой панели «Эсфирь прибывает во дворец Сузы», чтобы не нарушить равновесие всей работы, но он написал главную фигуру картины, царицу Вашти, как он считал нужным, и он счел нужным написать ее таким образом, чтобы это изгнание отражало каждое унижение, каждое презрение, каждое падение человека, и чтобы, более того, в этом унижении, в этом презрении, в этом падении царица Вашти не потеряла ни капли своей необычайной красоты, ибо, как чувствовал Филиппино, только с глубочайшей красотой можно было выразить это унижение, презрение, падение —

Это было совсем не похоже на то, что Баттигелло видел до сих пор, настолько все было иначе, и накануне последнего дня года покровитель приехал со своей большой и веселой семьей, а также с повозкой, арендованной для двух тяжелых сундуков, и в этот раз — поскольку должен был состояться и подсчет счета — Баттигелло должен был присутствовать, поэтому он прибыл на несколько часов раньше и, ожидая, осмотрел

сундуки еще раз, наконец, в последний раз, включая последнюю боковую панель, и Филиппино мог бы сказать, как он был поражен так же онемел, как и тогда, когда он рассматривал их в первый раз, и затем он смотрит на него, Филиппино, грустным, бесконечно скорбным взглядом, и как будто его слова больше не были обращены к его спутнику, когда он отводит от него взгляд, и затем он говорит своим собственным бархатистым, нежным голосом: если бы только однажды я мог найти такую красоту в ком-нибудь, Филиппино, если бы только однажды я мог найти ее тоже.

Они назвали его «Царица Вашти lascia il palazzo Reale».

то есть «Царица Вашти покидает царский дворец», но изначально у неё вообще не было названия, если не считать названием то обозначение, которое Филиппино дал ей незадолго до этого во время обсуждения, когда пришло время представить forzieri, закончив презентацией плотницких работ и поистине великолепного ювелирного дела семье, которая была явно очень довольна; он объяснил, переходя от одной картины к другой, от одной сцены к другой, какая картина и какая сцена изображены на боковых панелях; возможно, это было название, которое позже дал ей сам глава семьи, когда в момент торжественности на самой церемонии бракосочетания он объяснил молодой паре — Саре и Гвидо, — что на боках сундука для приданого, который они только что получили в подарок, изображена не что иное, как история Эсфири согласно еврейской традиции, которая — по крайней мере, по мнению главы семьи — иллюстрирует супружескую верность, а также более глубокое значение Пурима, и сохраняет её в памяти —

но, конечно, эти случайные обозначения никогда не могли квалифицироваться как титулы, не было даже никакого смысла в предоставлении титула, потому что в последующие времена, где бы ни появлялись два форзиера, их везде считали тем, чем они были, двумя очень красиво расписанными сундуками для приданого, а позже, когда в них хранились только деньги и драгоценности, их видели просто как два старых сейфа, которые, как выразилась одна владелица — жена торговца тканями из Феррары, — были «украшены приятно нарисованными сценами» — титул

только тогда они стали нужны, когда сундуки развалились, прекрасная медная обшивка была снята, и их стоимость стала определяться отдельно, как и стоимость картин, конечно, цена которых неожиданно взлетела до небес по прошествии времени и из-за не очень беспристрастного увлечения кватроченто; одним словом, когда картины начали свое существование как отдельные картины, то есть после Торриджаны, тогда, конечно, каждая из них должна была иметь название; одно было нужно в Шантильи для Музея Конде, и одно было нужно в Вадуце для коллекции Лихтенштейна, и одно было нужно также в Париже, и главным образом одно было нужно во Флоренции для Фонда Хорна, именно здесь потому, что именно этим названием они надеялись выразить, что определение картины как объекта теперь закрыто, и что отныне панель с изображением Вашти должна будет носить название «Царица Вашти покидает королевский дворец», и это все; Под этим названием она прошла как часть огромной выставки Боттичелли в Париже, в Большом дворце, которая для многих была и осталась незабываемым опытом, и хотя, по словам ученого из Фонда Хорна, ей было предоставлено довольно недостойное место, все же, кто имел глаза, чтобы видеть — прижатой к боковой двери — видел внутри работы величие, которое было вокруг Боттичелли, другими словами, величие Филиппино Липпи; все еще совершенно непризнанный, гений, беспокойные, яркие мазки, напряженная вибрация, взрывная сила, прото-барокко Липпи-младшего, и вместе с этим фигура Вашти, сломленная страданиями, окончательно шагнула в ту таинственную Империю, которая была еще более загадочной, чем та, из которой пришла главная фигура на картине; в Империю, где эта фигура, измученная страданиями и сломленная душой, выступающая через королевский дворец — нет, теперь он был больше похож на крепость —

Северные ворота, оказывается на террасе, которая никуда не ведет, и там она останавливается, пейзаж

прежде чем эта крепость будет почти поставлена под сомнение ее красотой и ее болью, ее сияющим существом и ее покинутостью, что следует делать с этим очарованием, воплощенным в человеческом облике, с этим суверенным благородством, в опустошении его собственной мрачности, — но это только поставлено под сомнение, нет нужды в ответе, и все Сузы молчат, ибо все знают, что произойдет сейчас перед дворцом, потому что за этим последует не изгнание, это было лишь вступление в суд согласно традиции Мардука, но позади Вашти появится огромный палач, приведенный из Египта, он схватит ее и потащит обратно в назначенный двор дворца, и там он задушит ее под пеплом легенды, он раздавит эту молочно-белую нежную шею своей сильной, как бык, правой рукой, пока эта молочно-белая нежная шея не сломается, и ноги, извивающиеся внизу, не прекратят свой танец смерти, и тело, наконец, не рухнет, раз и навсегда, распростершись на земле.

3

СОХРАНЕНИЕ

БУДДЫ

Ради вящей славы Господа нашего Иисуса Христа Инадзава знает всё, но Инадзава — это, очевидно, промышленный город, где присутствие монастыря, который почти никогда не посещают туристы, не имеет никакого значения, и сегодня утром он закрыт, то есть ворота не открываются, чтобы монахи, в якобы тайном ритуале, могли попрощаться с одним из своих Будд; статуей, которая — по мнению комитета, отвечающего за культурное наследие префектуры — представляет особую ценность, однако её состояние за прошедшие века сильно ухудшилось, и реставрация — как решили настоятель и руководство пяти главных храмов риндзай —

больше нельзя откладывать; Инадзава просто нисколько не интересуется тем, что происходит в этом дзенском монастыре, несколько уединенном от города; интерес вызывают лишь самые экстравагантные зрелища: например, ежегодный Хадака Мацури, во время которого мужчины, почти полностью обнаженные, за исключением фундоси — то есть небольшой набедренной повязки, — пьяно кутят на улицах по тропе Голого Человека; следуя традиции, которая теперь совершенно устарела, каждый февраль жители должны протянуть руку и прикоснуться к ним, чтобы уберечь город от Зла; да, это здесь необходимо, этот синтоистский цирк, это развлечение, потому что это единственное событие, которое не только завалено туристами, но за которым следит даже NHK в Токио, транслируя в это время многолюдную сцену в течение нескольких долгих минут; нет, воображение жителей Инадзавы не трогает ни один незначительный храм риндзай, и уж тем более этот, этот Дзэнгэн-дзи, — если у них вообще есть какое-либо воображение, ибо даже их мозги уже привыкли к индустриальной серости; жизнь здесь, и всё, что можно о ней вообразить, однообразна — Дзэнгэн-дзи,

на самом деле, так же серо и безжизненно, как и всё остальное здесь, люди пожимают плечами в сторону текстильных фабрик или сборочных линий, и так оно и останется, это всеобщее отсутствие интереса, даже в самую последнюю неделю, никакого любопытства не возникает; однако там, внутри, в монастыре, ощутимо волнение, наконец-то что-то произойдёт, монахи —

по понятным причинам исключенные из Хадака Мацури — думают про себя, наконец-то конец этим монотонным дням, неделям и месяцам, если не годам, грядет внезапная и необычайная перемена — ведь это можно в конце концов назвать внезапной и необычайной, если смотреть изнутри, если статуя Амиды из Дзэнгэндзи, которая, по мнению экспертов и храмового духовенства, имеет гораздо большую ценность, чем заявлено в документах, выданных комитетом префектуры, после долгой проволочки, решающей причиной которой является мучительно трудное обеспечение огромных расходов на реставрацию, а также организация доставки, которая оказалась столь же сложной, и в меньшей степени то, что они не рады перемещать самую святыню святынь с ее места; короче говоря, это сокровище, во много раз превышающее его предполагаемую и оценочную стоимость, было бы просто поднято и перевезено, ну, это действительно считается чрезвычайным событием, хотя понятно, что даже самые мудрые из них не принимали такого решения добровольно, более того, некоторые лица, подыскивая подходящую дату между летом и зимой, намеренно откладывали перевозку, ибо действительно такое событие было настолько редким — они качали головами —

Здесь, в монастырях префектуры Айти, никто не мог припомнить ни одного подобного случая, и, по правде говоря, даже настоятель — сам обладатель обширного опыта — и наиболее уважаемые монахи какое-то время не знали, какими на самом деле будут ритуальные требования; что бы ни требовалось сделать, они, конечно, сделают; одно было несомненно: ведущим властям потребовались месяцы, чтобы ознакомиться с ритуальными положениями, предписанными для таких обстоятельств, и это

следует признать, что они были готовы к трудной задаче, требующей большой осторожности, но не к такой изнурительной, сложной и запутанной; такой, которая вдобавок требовала практики; то есть, всех насельников монастыря нужно было обучить, чтобы всё шло по плану, начальству приходилось вдаваться в мельчайшие подробности в своих объяснениях; даже если в отношении монахов низшего ранга им приходилось объяснять, кто что и когда должен делать; не стоило даже касаться вопроса о сути церемонии и её разнообразных деталях, достаточно было того, указал настоятель главе администрации храма, если они правильно пели сутры и декламировали мантры, если музыканты точно знали, когда бить, а когда молчать, и вообще было бы достаточно, если бы все ясно понимали структуру ожидающего их ритуала, и если бы его составляющие могли быть выполнены безупречно, этого было бы действительно достаточно; ну, то есть — настоятель потер свою стриженую макушку, поскольку назначенный день приближался, — ну, это тоже немало, потому что он, конечно же, видел, что именно здесь и кроется самое трудное: не может быть никаких ошибок, никем, от роси до деси, ничего недозволенного, их приход и уход, стояние и стояние на коленях, чтобы начинать и заканчивать священное песнопение, когда это необходимо, — вот что было самым трудным, сказал настоятель, снова раздраженно потирая зудящий череп; он уже многое видел и знал, что это не получится, не будет идеально, кто-то всегда ошибается, вставая слишком поздно, или слишком поздно опускаясь на колени; даже он порой был неясным, то начиная немного медленнее, чем нужно, то слишком быстро, то на мгновение запинаясь: куда теперь, налево? — или, может быть, даже... направо? О нет, простонал настоятель вечером накануне назначенного дня, когда специальный фургон для переезда, заказанный для доставки сюда Бидзюцу-ин — то есть Национальным институтом сокровищ по реставрации деревянных статуй — уже прибыл из Киото, и водитель,

после того, как были сняты размеры статуи и изготовлен большой транспортный ящик из дерева кири, счастливо похрапывал в одной из гостевых комнат, о нет, что же теперь, как же мы теперь выполним свои обязательства должным образом, настоятель обеспокоенно потер свою бритую голову, но затем подавил в себе тревогу; если он не смог в тот день полностью подавить свое волнение, во всяком случае, когда он встал на следующий день, то есть сегодня, в четыре утра под звук большого колокола, оганэ, и быстро умылся, он не почувствовал ни тревоги, ни какого-либо волнения, только обязанность выполнить ожидавшие его дела, просто порядок вещей, которые нужно сделать: первое, затем второе, так что просто не оставалось времени на размышления о таких вещах, как то, как, будучи дзюсёку — то есть настоятелем храма — или просто монахом дзен, как он мог вообще тревожиться или волноваться в последние недели и дни, потому что теперь, когда все это начиналось, он не мог уделять внимание ни чему другому, кроме как сделать следующий шаг, затем следующий за ним и так далее, и так оно и есть, и поэтому было бы правильно, чтобы день начался с одновременной отдачи приказа закрыть — то есть не открыть — ворота; проверить события дня, прикрепленные к доске кику, убедившись, что все записано правильно, посмотреть, идет ли работа на кухне и на месте, назначенном для упаковки статуи рядом с фургоном; посмотреть, начали ли монахи свою процессию с дзикидзицу впереди в дзэндо; посмотреть, спросили ли музыкантов в последний раз, знают ли они точную последовательность событий; все эти приказы должны быть отданы немедленно, и в то же время за ними нужно было следить: сначала закрыть, то есть не открывать ворота — в этом вопросе он хотел увидеть это своими глазами — то есть сначала пойти к Санмону, главным воротам, затем по очереди поискать остальные, даже подтолкнув их рукой, действительно ли они закрыты, только это убедит его, только так он поверит, что да, монастырь закрыт, и

все же было едва ли половина пятого, или, может быть, без четверти пять утра, и монастырь был герметично запечатан, ни войти, ни выйти, отмечает про себя настоятель, все оставшиеся на территории храма знают это, все, кто мог, а также те, кто должен был оставаться внутри, знают, но это чувствуют и те, кто пытается следить за так называемыми тайными событиями снаружи, потому что по этой причине несколько человек стоят там, на улице, у одних ворот, пытаясь подслушать, понять, как-то, что происходит внутри, небольшие группы верующих мирян, набранные случайно просто из местных стариков, страдающих бессонницей, стоят у монастырских ворот, которые расположены в соответствии с четырьмя направлениями; или есть те, кто не настолько ленив, чтобы одеться и прийти сюда на рассвете, настолько терзаемые любопытством — наверняка ничего подобного никогда раньше не случалось, — они бормочут перед воротами, вместо того, чтобы открыть ворота, они их закрывают, или, скорее, ворота закрыты — и вот они стоят, и они не захотели бы уйти оттуда ни за какие деньги, они пытаются уловить какой-то смысл в полуслышимых голосах того, что происходит там прямо сейчас, ну, и даже если что-то подобное возникает, они не могут уйти слишком далеко с такими звуками, даже если они слышат издалека безмолвное шарканье, доносящееся изнутри, когда монахи, после того как отсеивается пение сутр, идут процессией, в ритме мокугё и колокольчиков, от дзэндо куда-то, на самом деле, как они в основном сходятся у каждых ворот, они, скорее всего, идут к Залу Будды, хондо, и даже если они слышат это, даже если они могут согласиться, что да, это Зал Будды, они могут идти только к Большому Залу, где находится Будда Амида, они ничего не знают о самой церемонии, и это действительно так, потому что здесь слушатели, у всех ворот, ошибаются, когда дело доходит до этого, потому что весь монашеский коллектив, после декламации сутр в дзэндо, на самом деле не направляется к

Великий Зал Будды, но в противоположном направлении, подальше от него, как можно дальше от Зала Будды, фактически в свои покои, чтобы уединиться и ждать: поскольку во время так называемой тайной церемонии, начиная с действительно тайных ритуалов ее начала, никто другой не может присутствовать, только дзюсёку и два старших роси, а также дзикидзицу и три дзёкэя всего — это три помощника-монаха, выбранных для этого случая, которые держат инструменты Зала Будды

— только они, всего семеро, так что не только любопытная толпа снаружи, но даже они, постоянные члены ордена, тщетно прислушиваются к звукам кэйсу, рина или мокугё, доносящимся время от времени, тщетно доносится до их ушей, напрасно кажущаяся знакомой фраза из одной из сутр, они не имеют и никогда не будут иметь ни малейшего представления о секретной части церемонии, и они никогда не смогут даже составить о ней представление, ибо только последующие разделы ритуала Хаккэн Куё, следующие за этим поистине секретным началом, касаются их, только тогда они могут принять участие, и при всем при этом они должны делать это с великой преданностью и великим чувством долга, когда они снова соберутся, выйдя из своих покоев и направившись вместе в одном направлении, к хондо, потому что тогда их шаркание действительно означает, что они идут на звук дэнсё, большого барабана, идут к хондо, в Большой зал, где восседает Будда, — и когда они, Монахи, обитатели Зенгэндзи, занимают свои места перед бесконечно сияющим взором Будды, произошло нечто непоправимое.

Что-то с ним случилось, они сразу же это чувствуют, садясь на свои места в Большом Зале лицом к лотосовому трону, но, конечно, им и в голову не приходит, что этого бесконечно рассеивающегося взгляда больше нет, они вообще об этом не думают, даже потому, что не осмеливаются взглянуть на него; их головы склонены, все сосредоточены только на том, чтобы не наступать на ноги

монах перед ним, или не натолкнуться на кого-то другого, когда тот монах внезапно останавливается впереди, или по завершении движения — хотя в общем, если и умеренное замешательство — именно тогда, когда его нужно завершить, головы всегда склонены, каждое движение как можно бесшумнее; монастырь уже привык к этому и уже умеет, в частности, бесшумно меняться местами, вставать и преклонять колени, шагать вперед и назад, стоять дисциплинированно, сидеть дисциплинированно и ходить дисциплинированно, когда это необходимо, в то время как их дисциплина, как всегда, простирается не только на это, но и на то, чтобы они не задавали себе вопросов, потому что даже если они думают о том, что что-то произошло, они никак не спрашивают что, даже в самых сокровенных своих мыслях; самое большее, вновь прибывшие, маленькие начинающие дэси, спрашивают себя, например, о том, произошло ли уже в рамках тайной церемонии глубочайшее значение ритуала Хаккен Куё, то есть временное удаление, отход, изменение направления Света, исходящего из глаз Будды, — как им было ранее сказано, что эта церемония, позволяющая вообще переместить Священную Статую, произойдет, пока они ждут в своих покоях; так что же тогда представляет собой церемония, которая следует за ней, или, выражаясь более по-детски, в чем смысл всего этого фокуса-покуса после этого, который должны совершить все они, весь Дзэнгэн-дзи, собравшийся здесь, в хондо, ученики храма все еще задают себе этот вопрос, но затем каким-то образом в общей тишине и преданности вопрос угасает даже в них, ибо вместе с другими, этого, безусловно, достаточно для их маленьких душ, они проникнуты сознанием того, насколько возвышающе даже просто принять участие в церемонии, для того, чтобы они смогли принять свою роль в Хаккэн Куё, и этого достаточно — те, кто снаружи, в конце концов, не могут этого испытать, непосвященные любопытствующие, встающие на рассвете за воротами, они слышат только доносящиеся звуки; один из них громко и с большой гордостью

объявляя остальным, что это теперь Гимн Зажжения Благовоний или Амида-кё, теперь Призыв, теперь Тройной Обет, теперь приветствие Бодхисаттвы Дзэнгэн-дзи, теперь Молитва Сангхарамы, ну же, хватит уже, другие шикают на него, мы видим, что вы действительно знаете, что там происходит, они насмехаются над ним, но мы уже слышали достаточно, так что говорящий отступает в уязвленное молчание; только звуки большого барабана и рина, затем кэйсу, который есть гонг и мокугё, доносятся из-за ворот; а утро еще не наступило, они все еще стоят в темноте, они стоят и пытаются слушать, терпеливо, однако, как люди, которые чего-то ждут, но просто не знают, чего именно они ждут; некоторые из них, в основном те, кто живет поблизости, на время отвлекаются, чтобы выпить чашечку горячего чая, потому что в середине марта на рассвете еще прохладно, могло бы быть теплее, но в этом году весна почему-то наступает позже обычного, только огромные бледно-розовые цветы магнолии пока распустились, свидетельствуя о том, что зима определенно закончилась — глоток-другой горячего чая, и они возвращаются, те, кто только что исчез из группы, стоящей перед воротами; они, однако, не будут нисколько мудрее, ибо снаружи только звуки сутр, затихая, просачиваются сквозь ворота, и даже этого не происходит, внутри будет великая тишина, долгая неподвижная тишина, во время которой те, кто снаружи, ждут нового звука или движения, но тщетно, потому что абсолютно ничего не слышно, так как все внутри хондо теперь поворачиваются к Будде Амида, затем преклоняют колени один раз, встают, преклоняют колени во второй раз и снова встают, и преклоняют колени в третий раз и, наконец, встают, таким образом завершая церемонию, происходящую внутри, Хаккэн Куё достиг своей цели, статуя может быть перемещена с лотосового трона, даже если она не перемещается немедленно, ибо монахам сначала нужно покинуть пространство зала, и только тогда, только когда последний достигает

двор и все они, по сигналу времени приема пищи, направляют свои шаги к дзикидо, когда внутри остаются только настоятель, два роси и дзикидзицу и четыре сильных молодых дзёкэя, выбранных заранее, затем жесты дзюсёку юношам, которые, приблизившись к статуе и поклонившись три раза, с большой осторожностью поднимают Амиду с лотосового трона, делая крошечные шаги под огромным весом, они выносят статую из хондо на указанное место рядом с фургоном для перевозки, и с этого момента все быстро разыгрывается, появляется уже связанный ящик кири, его дно покрыто силиконовым гелем, бескислотной бумагой и тканью, тело статуи, в свою очередь, плотно обматывается толстым влаговпитывающим батистом, вся упаковка тщательно закрепляется, и затем Будду опускают в ящик; они начинают заполнять пустое пространство между телом статуи и стенками ящика с еще большей неторопливостью, чем прежде, так что — пока монастырь заканчивает завтрак в дзикидо — Дзэнгэн-дзи Амида Будда уже находится внутри грузового отсека фургона для перевозки, искусно привязанный, неподвижный, и ничего не остается, как дать сигнал водителю отправляться сейчас же в Киото, а затем вернуться ненадолго в хондо и временно прикрыть пустое пространство, где был Будда, вышитой оранжево-красной шелковой тканью, вот и все; и настоятель может по крайней мере сказать себе, что Хаккэн Куё завершен, Хаккэн Куё шёл так, как и должен был, и что теперь остаётся только ждать, ждать вот так одиннадцать или двенадцать месяцев, чтобы Будда вернулся в обновлённом виде, а остальное зависит от водителя, который в этот момент осторожно выезжает сквозь круг счастливчиков-любопытствующих у западных ворот Дзэнгэндзи и сворачивает на улицу, ведущую из города, чтобы быстро добраться до шоссе в направлении Итиномии, а оттуда выехать на скоростную автомагистраль Мэйсин, потому что он действительно чувствует себя уверенно там, на этом шоссе в колоссальном потоке машин, направляющихся в сторону Киото, он чувствует себя так, как будто это

не сам управляя фургоном, а как будто им движет какая-то высшая сила, вместе с бурлящим потоком бесчисленных машин на скоростной автомагистрали Мэйсин, он чувствует себя действительно уверенно здесь, в этом безумно плотном потоке движения, движущемся в одном направлении; он знает, что его драгоценный груз в полной безопасности, хотя в любом случае нет никаких причин для беспокойства, это не первый раз, когда он перевозит что-то подобное, это его работа, он не новичок, он совершал поездки с предметами, которые, как говорят, представляют исключительную национальную ценность, на закрытой платформе, возможно, сотни раз, и все же, несмотря на это, на этот раз, как и всегда, он чувствует небольшое волнение, когда проезжает маркеры расстояния, или, скорее, своего рода приятное напряжение, которое закончится только — как он уже знает по опыту — когда груз заберут у него в Киото; До этого момента, ну, был только съезд на Сэкигахара, затем Майбара и Хиконэ, весь маршрут в 170 километров до Оцу, потому что в Оцу он чувствует себя как дома, с этого момента все знакомо, въезжать в город, сокращая путь, и после Фудзиномори, через район Фукакуса, прямо до перекрестка Такэда, потому что там ему нужно повернуть направо, ровно под углом 90 градусов, на Такэда Кайдо, от которого обычно дорога занимает всего полчаса

— в этот час движение — добраться до больших ворот рядом с Национальным музеем у Сандзюсангэн-до и помахать привратнику, который уже вскакивает и открывает ворота; он может остановиться прямо перед входом доставки Бидзюцу-ин, потому что с этого момента это уже не его дело, он подписывает бумаги, передает их, а остальное — для работников Бидзюцу-ин, на этом его работа здесь закончена, он может забрать следующую партию, рабочие снимают ящик, затем загружают его в лифт и поднимают на антресоль, где позже произойдет распаковка ящика, но не сегодня, сегодня на это нет времени, у Бидзюцу-ин так много работы, что материал Инадзавы, как его называют

с этого дня остается нераскрытой в течение нескольких дней; там она находится в огромном пространстве Бидзюцу-ин с его открытыми галереями, идущими вдоль каждого этажа, отставленная в сторону в углу, и на данный момент только сама статуя знает, что ее рост составляет один метр, тридцать семь сантиметров и два миллиметра, что она сделана из кипрея хиноки, известна как дзёсэки-дзукури — то есть собрана из многих частей, имеет полое внутреннее пространство, скреплена маленькими железными гвоздями и укреплена кусками ткани, пропитанной лаком — статуя предположительно датируется началом эпохи Камакура, и можно перечислить, где диадемы по отдельности помещаются в голову, где их также можно по отдельности снять с головы, а также и уши, и грудь, все это; и стройное тело восседает в позе лотоса, покрытое складками ткани, вырезанными с чудесной чуткостью, хотя, конечно, самое драгоценное в статуе — это глаза, и это также то, что делает ее столь знаменитой в глазах знатоков, — полуопущенные веки или, по-другому, единственные полуоткрытые глаза, чудесные, поразительные; они придают статуе и каждой статуе Амиды, как ее суть, бесконечное указание на один бессмертный взгляд, влияния которого невозможно избежать; это вопрос в целом, об этом одном единственном взгляде; так что скульптор где-то около 1367 года пожелал изобразить, запечатлеть своим непостижимым гением художественной техники тот единственный взгляд, и это изображение и это запечатление, даже в самом сдержанном смысле слова, удалось — вот оно сидит в углу, и это грозный мастер реставраторов Бидзюцу-ин — вечно сварливый, вечно раздражительный и недовольный и ворчливый и мрачный и сухой и лишенный юмора, Фудзимори Сэйити — который решит, что означает никакого подглядывания из любопытства; статуя останется завернутой в батист, пока он не даст четких указаний; никто не сможет вмешиваться в нее, то есть никто не сможет смотреть на нее; позже, если придет время, мастер Фудзимори нахмурит свои густые брови, просто продолжай

вы заняты работой, которая перед вами сейчас, здесь есть сроки, которые нужно уложиться, он шагает взад и вперед среди различных составных частей статуй Фугандзи, Манджушри и Шакьямуни, сложенных на полу и на столах, а также среди реставраторов, на их лицах маски дисциплины, они, кажется, слегка удивлены, — но все равно есть срочные сроки; он пристально смотрит на мастеров из-под густых бровей, и сроки должны быть соблюдены, и работа должна быть закончена, и не должно быть никаких возни с этой статуей Дзэнгэн-дзи, как бы она ни была знаменита, как бы ни была соблазнительна, она остается в углу, повторяет он снова, чтобы после этого ни у кого в этом просторном высоком зале мастерской не возникло желания нарушить запрет, в любом случае время действительно придет, тихо замечают между собой реставраторы, как оно и приходит в действительности, ибо меньше чем через две недели, когда все они заканчивают свою часть работы, однажды, после завтрака, мастер мастерской, с выражением еще более мрачным, чем обычно, нервно поправляя косой пробор в своих редких волосах, говорит, ну, давайте теперь снимем батист, и все знают, что он думает о Дзэнгэн-дзи Будде Амида, давайте снимем его, повторяет мастер Фудзимори, и это означает

— что давайте снимем это — что они должны это снять, его подчиненные должны снять батист, потому что Фудзимори Сэйити всегда говорит в первом лице множественного числа, но думает в повелительном наклонении; поэтому они снимают это, осторожно, почти нить за нитью, основа за утком, чтобы ни один клочок пигментации или кусочек дерева, прилипший к поверхности, если таковой имеется, не отвалился, здесь каждая отдельная деталь имеет значение, здесь ничто не может быть потеряно, даже крошечная пылинка, потому что — как не устает повторять мастер-мастер во время страшных и ужасно скучных еженедельных совещаний — даже эта пылинка может относиться к периоду Хэйан, а пылинка периода Хэйан стоит больше — мастер в этот момент, во время совещаний, возвышает голос — чем вы сами,

то есть реставраторы в этой мастерской, все вместе взятые, и поэтому, конечно же, они знают, что он наблюдает за ними в этом духе, поэтому уровень осторожности особенно высок, осторожность, которая сохраняется даже в его отсутствие, поскольку все реставраторы в этой мастерской благословлены особым качеством совести, все они из самых важных в стране мастерских по реставрации древних скульптур, мастера с особыми талантами и особой подготовкой, которые прекрасно знают, без каких-либо подсказок, значение пылинки Хэйан.

Администрация должна в исключительных случаях и немедленно

— чтобы у них едва оставалось время посмотреть и увидеть, что находится под слоями батиста — создать описание общего состояния статуи для так называемого Синего досье, они должны создать описание практически всего, что они о ней видят, касающееся, возможно, мельчайших деталей, обстоятельств и даже впечатлений; соблюдая, однако, последовательность, указанную Управлением культурных ценностей, чтобы уже в самом начале они должны были предоставить отчет о материале, из которого создана работа, и ее структуре, размеры с точностью до волоска, можно ли различить следы прежних реставрационных работ, какие конкретно повреждения были нанесены, чтобы сформулировать план для их последующего исправления, и, наконец, сколько все это приблизительно будет стоить; но затем они должны дать отчет о процессе доставки, который они просто берут из общих записей водителя и настоятеля Дзэнгэндзи, одновременно отмечая, в каком году, в какой день, в какой час и в какую минуту они завладели статуей, с какими защитными мерами, от кого и с какой намеченной целью, затем следует запись года, месяца, дня, часа и минуты распаковки ящика, Мастер Фудзимори в своей стихии, он очень хорошо знает это, эту обязательную административную последовательность, так что его слова вырываются с трудом — вопросы здесь, утверждения там — все это входит

«Голубое досье», рабочая тетрадь, с которой обращаются и которую почитают почти так же, как если бы она была священной сутрой, ибо именно ее, именно эту «Голубую досье», — если в соответствии с заранее установленным графиком будет проведена так называемая надзорная инспекция — высокоуважаемое и еще более могущественное Управление культурных ценностей может изучить как единственное реальное доказательство проводимой здесь работы, ибо токийские власти, конечно же, не сталкиваются, или, по крайней мере, почти никогда не сталкиваются с самой работой; только ознакомившись с содержанием «Голубого досье», они могут составить экспертное мнение о том, что здесь происходит, если все идет как следует, исключительно на основе «Голубого досье», значение которого, соответственно, огромно; и Мастер Фудзимори знает это лучше, чем кто-либо другой, все зависит от того, что содержится в «Голубом досье», от того, что специальная комиссия — они методичны и обладают высочайшим авторитетом — прочтет из «Голубого досье»; Неудивительно, что описание обстоятельств происходящих здесь вмешательств почти смехотворно в своей кропотливой мельчайшей подробности; мастер Фудзимори диктует или задает вопросы; или он задает вопросы, одновременно делая заявления, или делает заявления, одновременно задавая вопросы, в то время как другие — присевшие и окружившие его и статую, теперь поставленную на пол — очень быстро кивают, один за другим, в знак согласия, и бормочут и одобряют, и всегда хором, как сейчас, говоря да, безусловно, конечно, самые серьезные следы внешних повреждений видны на первый взгляд на правой стороне груди, на шее, руках, затылке, на коленях фигуры и на основании статуи, это правда, все они говорят «да» и твердо кивают, реставраторы хором; это должно быть отмечено, и это также отмечено в Синем досье; и проходят часы, как бы невероятным это ни казалось, буквально часы, пока они не закончат регистрировать этот административный прием в «Синем досье», ведь диагноз должен определять не только симптомы, но и предполагаемые причины,

уже почти полдень, когда статую осторожно поднимают и устанавливают на гидравлический стол, и реставраторы начинают фотографировать статую со всех мыслимых ракурсов; это тоже будет частью обязательной документации: как выглядело произведение искусства — во всей своей полноте — когда его забрали на реставрацию; затем процедура завершается, фотографирование, в целях безопасности используется также вторая камера, и затем с величайшей осторожностью они снимают статую с гидравлического стола и несут ее прямо в камеру фумигации, где Амида Будда получает свою первую так называемую общую дефумигацию, придуманную специально для таких случаев, ибо всегда или почти всегда это на самом деле первый порядок дел, если деревянную статую приносят в Бидзюцу-ин, даже просто для защиты полчищ национальных сокровищ, уже находящихся здесь на реставрации, потому что никто не может припомнить ни одного случая, когда бы повреждение паразитами не было фактором — порой решающим — в материальном распаде статуи; Насекомые и бактерии всегда являются фактором, здесь прошли столетия, чаще всего объекты, нуждающиеся в спасении, которые привозят сюда, датируются периодом Эдо или, альтернативно, ранней династией Камакура; поскольку это спасение, его необходимо умертвить газом, и с этого, после осмотра, регистрации текущего состояния и фотодокументирования всей статуи, начинается собственно Операция, так что, как предписано буквой и духом закона №.

318 — Закон о защите культурных ценностей, принятый 24 декабря 1951 года и изменяемый или дополняемый каждый год или два вплоть до настоящего времени —

«Дайте ей сильный бромистый метил», — подает команду Мастер Фухимори, когда статую помещают в камеру для окуривания, поскольку уже после первого осмотра стало ясно, что здесь, как и во многих случаях, они сталкиваются с так называемыми насекомыми, вызывающими сухую гниль, из семейств Lyctidae, Bostrichidae, Anobiidae и Cerambycidae, и прежде всего ей необходим хороший газовый душ, поскольку окуривание в

камера называется, сначала все сразу; затем следует процедура, фактически самая деликатная часть, в которой они разбирают Амида Будду из Дзенген-дзи на его мельчайшие компоненты на гидравлическом столе, отделяя мельчайшие возможные части от остальных, так что, разбирая их беспорядочно, можно исследовать и определить повреждения деталей, таким образом, указав

— коллективно, всегда со всей группой реставраторов, но, конечно, под руководством мастера мастерской —

методы, материалы, последовательность и сроки устранения повреждений, всегда следуя букве и духу закона от 24 декабря 1951 года, то есть никогда не упуская из виду тот факт, что их задача здесь, в Бидзюцу-ин, заключается не в восстановлении тщательно охраняемых национальных сокровищ, а в их материальной консервации, не ВОССТАНОВЛЕНИИ, а СОХРАНЕНИИ; Мастер Фудзимори настолько серьезно относится к этому разделу закона от 1951 года, что, когда он произносит его, он по сути кричит; его подчиненные убеждены, что причина в том, что он боится этого слова; не наша задача исправлять ошибки, заявляет Мастер Фудзимори, и его голос в такие моменты уже повышается, а скорее закрепить нынешнее сохранившееся состояние, это наша задача, и здесь он повторяет это, он повторяет это несколько раз, делая такое сильное ударение на каждом слоге, что слоги почти запинаются в ударениях, точно так же, как и сами реставраторы, и вот лежит разбросанный повсюду на гидравлическом столе весь в кусках Амида Будда, в то время как над их головами только что прокричанное СОХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА затихает; они наклоняются над гидравлическим столом, и каждый поднимает по одному кусочку, или в более деликатных случаях наклоняется очень близко, чтобы осмотреть и решить, какой именно ущерб здесь произошел, и что с этим следует сделать; то есть, чудесный взгляд Будды Амиды лежит в кусках на гидравлическом столе, это очень деликатный момент, и всегда является очень деликатным моментом в жизни реставратора, Будда Амиды так хорошо разложен, точно так же, как этот из Дзэнгэндзи сейчас, прекрасно разложен на большой поверхности, так

что все это можно прекрасно дифференцировать, прекрасно различить в будущей фотодокументации, и где же этот прославленный взгляд? — вот деликатный вопрос; на который, конечно же, у Фудзимори-сана есть ответ, а именно, что он нигде больше, и нигде больше на протяжении всего процесса реставрации, как в душах реставраторов; прекрасно, следует их ответ, потому что даже если они и могут это почувствовать, и они действительно чувствуют, что в их душах есть что-то, когда они видят это впервые, и несомненное уважение, испытываемое в их душах, не исчезает в течение всего хода работы до ее завершения, но... когда целое лежит здесь в мелких частях, вряд ли можно сказать, что оно целое есть, то есть целое, собранное здесь по частям, отсутствует, есть только части, а целое нигде не находится, так что, как всегда, в этом вопросе есть определенная неловкость, поскольку они завершают разборку и тщательно отделенные части документируются, то есть фотографируются сверху камерой, установленной на рельсах и поэтому легко регулируемой, на верхнем этаже, а также, конечно, используя подъемный механизм гидравлического стола, они делают полный обзорный снимок сверху, ясно показывающий каждую отдельную часть, потому что в Синем досье каждая отдельная составная часть должна быть отмечена соответствующим символом и обозначена так, чтобы в конце — после повторной сборки — они могли продемонстрировать с помощью новой фотодокументации, а также чертежей внутренней конструкции, где находились части и в каком состоянии они находятся; соответственно, возникает беспокойство, некая неустроенность в душе, то есть в том месте, где, по мнению Фудзимори Сэйити, должен был находиться Будда Амида; все идет гладко, реставраторы — люди не болтливые, они привыкли к молчанию, и даже если среди них случайно окажется разговорчивый тип, то и он через год-другой привыкает к отсутствию разговоров; работа, весь процесс разборки статуи происходит почти в полном

тишина, и то же самое касается автоматизированной фотосъемки статуи сверху; а затем различные разобранные компоненты снова небольшими группами несут в газовую камеру, и эти группы компонентов подвергаются второму газовому душу, интенсивность и количество которого измеряются специально для них, соответственно, пока различные специалисты не начнут уносить отдельные части на свои рабочие столы и пока не начнется специализированная реставрация отдельных компонентов — до этого момента в их душах, если они случайно взглянут друг на друга, присутствует оттенок беспокойства, легкое беспокойство; Но почему-то, когда мастер Фудзимори определяет конкретные задачи, это остается неясным, и каждый может наконец удалиться со своим собственным куском статуи к рабочему столу, потому что с этого момента единственный интерес заключается в задаче, которую нужно выполнить: установить размеры трещин, сколов, внутренних структурных повреждений, вызванных сверлениями вредителей, количество отслоившейся краски, решить — конечно, после достижения соглашения с директором мастерской —

каков наилучший курс действий для реставратора... для сохранения статуи, будет ли эффективнее ввести муги-уруси или различные синтетические смолы и эмульсии путем инъекций, или втирать их в трещины той или иной меньшей или большей полости маленьким ножом с тонким лезвием; или нам следует сейчас снять шпон периода Эдо с поверхности и оставить оригинальный камакурский; следует ли нам использовать фунори или другой вид клея на основе животных для склеивания или оставить клей периода Эдо и стабилизировать его; одним словом, дело пошло, и все идет гладко, и мастер Фудзимори — в той мере, в какой это вообще позволяет его душа, напряженная в постоянной готовности, — с определенным удовлетворением отмечает, что работа началась и идет своим чередом и своим чередом, жизнь в Бидзюцу-ин продолжается, и, конечно, приносят все больше и больше статуй, а это значит, что внимание мастерской должно

быть разделены на различные виды деятельности, но это нисколько не заботит Мастера Фудзимори, каждая статуя, которую сюда привозят, получает свое заслуженное внимание, и работа идет параллельно, проходит лето, а затем осень, мягкая зима наступает в декабре, только январь и февраль необычайно холодные, холод стоит долго, отмечают они в конце того или иного дня, выходя из здания Бидзюцу-ин во двор, снова зима длилась слишком долго, в прежние времена такого не было, бормочут они друг другу, когда несколько человек отправляются в путь, пройдя часть пути вместе, к автобусу номер 206 или 208; в прежние времена не только магнолии уже цвели в середине февраля, но и сливы тоже, не говоря уже о том, что в это время года — в прежние времена — было достаточно куртки, а не пальто, как сегодня, как-то все летит к чертям, реставраторы бормочут друг другу на холодном ветру, направляясь к автобусной остановке; если в такие моменты некоторые из них вместе отправляются куда-то после обычного дня, никто не думает о том, что в то же время они несут, садясь в автобус и отправляясь домой, согласно изначальному консенсусу, душу Будды Амиды в своих собственных душах, которую они затем несут домой, дают ей что-нибудь съесть на ужин, садятся с ней перед телевизором, затем ложатся с ней отдыхать и, наконец, на следующий день приносят ее обратно в Бидзюцу-ин, продолжая свою кропотливую работу над порученным им разделом; например, реставратор с увеличительным стеклом, привязанным к голове, чья задача состоит в том, чтобы сохранить и защитить резную руку, делающую жест «Мида но дзёин», думает именно так, и именно так он объясняет это своему семилетнему сыну дома, конечно же, мальчик начинает делать дерзкие замечания и задавать глупые вопросы, на которые невозможно ответить, так что реставратор раздражается, прогоняет ребенка и продолжает усердно работать в Бидзюцу-ин, так что качество резной руки, делающей жест «Мида но дзёин», будет отчетливо различимо, потому что именно там

проблема в следующем: границы соприкосновения кончиков пальцев и контуры тыльной стороны ладони полностью размыты, так что вы с трудом можете сказать, в какой мудре находится рука; это особенно важно в статуе Будды Амиды, Мастер Фудзимори упоминает в таких случаях — три или четыре раза в день — стоя за спиной реставратора, что, конечно, невероятно раздражает, потому что ему приходится все время отводить взгляд от увеличительного стекла, чтобы посмотреть на руководителя мастерской, и не только это, но и продолжать согласно кивать ремешком на лбу, который может в любой момент спасть, потому что он уже некоторое время не может как следует затянуть его; но все же его положение счастливо; именно молодого реставратора, некоего Коиноми Сюнзо, мастер Фудзимори мучает больше всего, которому поручена реставрация глаз статуи, как одному из, несомненно, самых талантливых, — что ж, нервы у этого Коиноми еле выдерживают, в декабре уже ясно видно, что он не выдерживает постоянного приставания, непрерывного надзора, вечных напоминаний и тревожных замечаний, и, что еще важнее, мастер Фудзимори каким-то образом умудряется перемещаться, находиться в мастерской таким образом, что где бы он ни находился, создается впечатление, что именно он, Коиноми, является постоянным объектом его внимания: если он находится у газовой камеры, потому что ему нужно что-то там сделать в этот момент, то как будто наблюдает оттуда; если он находится у окна во двор, то оттуда; действительно, у этого Коиноми есть ощущение, что если Фудзимори-сан выходит из мастерской, чтобы сделать что-то на втором или третьем этаже, или если он идет к административному менеджеру Бидзюцу-ин, он все равно каким-то образом оставляет себя позади; Коиноми едва может сосредоточиться на своей работе, он постоянно моргает, глядя на толстую раздвижную дверь мастерской, на ручку, ожидая, что она в следующий момент повернется и вернется начальник мастерской, то есть он не может расслабиться, даже если Фудзимори оставляет его заниматься своим делом

выходить ненадолго, но только если Фудзимори вообще не выйдет, потому что тогда он, по крайней мере, не сможет обманывать себя, говоря, что его здесь нет, наконец-то сможет вздохнуть с облегчением, ведь возможность того, что он может вернуться в любой момент, гораздо хуже, чем когда он здесь, прогуливается среди них, заложив руки за спину, так что именно этот Коиноми страдает больше всех, хотя он и выполняет свою задачу — прирожденный окулист, вот как они его называют — с необычайным мастерством, и это как раз то, что так необходимо, поскольку все прекрасно знают значение того, что произойдет с глазами Будды Амиды здесь, в мастерской, потому что в день прибытия знаменитый взгляд, если рассмотреть его вблизи, казался лишь немного поблекшим; вся мастерская ожидает от Коиноми очень многого, чего именно, им сложно выразить словами, но это очень много, они даже говорят ему это в качестве поощрения, если он идет с ними домой по дороге к остановке автобуса № 206 или 208, но в любом случае не в пределах слышимости директора мастерской, то есть они никогда не осмелятся позволить Мастеру Фудзимори подслушать такое поощрение, потому что тогда создастся впечатление, что работники мастерской открыто бросают ему вызов, тогда как такой вызов, тем более открытый, выражать нельзя; Мы не в Америке живём, один из коллег в какой-то момент повышает голос, решительно нет, все кивают в знак согласия, не произносится ни слова, и всё остаётся по-прежнему, то есть, с одной стороны, коллеги Коиноми работают на основе опережающего, обнадеживающего доверия, с другой стороны, среди вечно недовольных, критических, ранящих, разрушающих доверие и унизительных замечаний директора мастерской; ясно лишь одно: однажды, ближе к концу февраля, когда Коиноми заявляет мастерской, что он закончил, и Фудзимори тут же появляется позади него, готовый прорычать, качая головой, какая наглость говорить, что ты закончил, получив такое задание, именно он, мастер Фудзимори, решит, закончено ли оно;

Единственная проблема в том, что когда мастер Фудзимори стоит за спиной молодого реставратора и наклоняется вперед через его плечо, чтобы осмотреть голову и два глаза, слова застревают у него в горле; глаза, то есть, действительно закончены, не может быть никаких сомнений у эксперта, каким является сам Фудзимори, что его подчиненный говорил правильно, реставрация двух глаз завершена; однако трудно сказать точно, как это можно узнать, но в любом случае достаточно просто взглянуть на голову Будды, прикрепленную к рабочему столу Коиноми, диадемы еще не прикручены на место, так как кто-то другой за другим столом стабилизирует их поверхность; достаточно бросить один взгляд, чтобы совершенно понять, что Коиноми говорит правду — взгляд именно такой, каким он должен быть, каким он мог быть изначально в том году, где-то около 1367, когда неизвестный художник, которого разыскал Дзэнгэндзи или порекомендовал им, вырезал его; кто-то, стоящий сзади, приглушенным голосом формулирует эту мысль, когда по объявлению Коиноми все собираются вокруг Коиноми и руководителя мастерской: взгляд «возвратился», и все явно согласны; действительно, заворожённые, они смотрят на этот взгляд, на этот взгляд, поднимающийся из-под двух полузакрытых глаз, на взгляд этого смотрящего, ибо они эксперты, выдающиеся эксперты, если не одни из самых выдающихся где-либо, им не нужно, например, привинчивать диадемы обратно на голову, не нужно завершать роспись лица, т. е. фиксацию прежних оттенков, следить за тем, чтобы взгляд был завершён, и вместе с этим они чувствуют, что самая решающая часть реставрации завершена, и это не такое уж преувеличение, потому что каким-то образом после этого всё в мастерской ускоряется, если речь идёт о Дзэнгэн-дзи Амида, все детали оказываются на месте быстрее, чем прежде, скрепляющие и клеящие вещества, в основном приготовленные из уруси, быстрее распределяются по поверхностям, чем прежде, и мастер Фудзимори вскоре заявляет, что

Мастерская теперь готова собрать все разобранные компоненты обратно, поэтому рабочие уже спешат к гидравлическому столу, уже собраны красные и шафрановые гвозди, которые заменят ржавые оригиналы, и в то же время они чуть не забывают сфотографировать отдельные, теперь уже отреставрированные компоненты для Синего досье — но только, конечно, если бы там не было Мастера Фудзимори, который, конечно, тоже присутствует на этот раз, зорко следя за всем и напоминая реставраторам о необходимой последовательности их работы, снова и снова повторяя с упреком, что игнорировать закон №.

318, Закон о защите культурных ценностей, вступивший в силу 24 декабря 1951 года, не является общепринятым, как он это называет, в этом учреждении — и поэтому, одним словом, части фотографируются одна за другой; затем наконец наступает великий день, когда отреставрированные компоненты собираются заново, днем; обещанная дата поставки уже приближается, когда ее устанавливают на гидравлический стол в ее первоначальном сиянии, и снова целую, статую Будды Амиды из Дзэнгэндзи, и ее собственный взгляд невыразимой силы, широко бичующий, проносится по всему древку Бидзюцу-ин, как если бы их поразил ураган, и даже Фудзимори Сэйити чувствует это, впервые он склоняет голову перед статуей, опуская глаза, на время не в силах выдержать это спокойствие —

Огромное, тяжеловесное, ужасающее и загадочное — подобного которому здесь, даже он, руководитель мастерской в Бидзюцу-ин, повидавший так много, еще не встречал.

Зима в монастыре закончилась, холод по большей части остался позади: вдохновляющие воспоминания о медитации анго, длившейся три с половиной месяца, но также и о вечных ежедневных мучениях, пронизывающем холоде, обильных снегопадах, леденящих морозах, ледяных ветрах; их сердца наполнены радостью, теперь они могут стоять между чокой на рассвете и звоном вечерних колоколов, погруженные в красоту огромной магнолии за

hondō, они могут видеть, как жизнь начинает обретать форму на рано цветущих деревьях, как появляются первые почки на ветвях сливы, как утро становится все более щедрым, если они открывают окна, вставая, с пением птиц, — короче говоря, Дзэнгэн-дзи полон чувства облегчения и радостного волнения, и дети, дзися, бегают вокруг в редкие перерывы более свободно, хотя они чувствуют в своих душах, после испытаний зимы, несколько более серьезный оттенок, и еда в дзикадо вкуснее, и послеобеденная работа на огородах монастыря более привлекательна, и все, но все наполнено все большей надеждой на то, что это будет, это придет, что весна уже близко, когда настоятель объявляет, что из Киото пришла весть, что работа завершена, и поэтому они просят монастырь решить, какой день, до начала весеннего анго, следует назначить в качестве точной даты доставка, начало марта, пишут они в ответ, времени на размышления не так много, группа самых выдающихся монахов немедленно садится вместе и даже оспаривает авторитет настоятеля относительно того, какой день будет лучшим, по сути все подготовлено, все изучено и заучено, они знают почти каждый элемент — наизусть, вмешивается настоятель, наизусть! — великой церемонии, кайген сики, которая их ждет, говорит сикарё; мы это посмотрим, говорит настоятель, качая головой; но позже даже ему придется признать, что они сделали все, что могли, приглашения двум приглашенным настоятелям и многим другим почетным гостям были давно разосланы, теперь нужно только объявить конкретную дату жителям Инадзавы, откуда — ввиду зрелищности церемонии — можно ожидать большего числа посетителей (а возможно, и пожертвований!); Определение точных условий доставки — детская игра, поскольку это то же самое, отмечает аббат, только в обратном порядке; это только то, что — на мгновение

он замолкает — просто, продолжает он, снова тряся своей свежевыбритой макушкой, есть проблема с предварительной подготовкой кайген-сики, по его мнению, монахи готовятся только в своих головах, то есть в том, что касается реальной практики того, как следует выполнять эту церемонию без ошибок —

ну, он снова качает головой, у них дела обстоят совсем плохо с заключительной частью кайген сики, то есть с церемониальной подготовкой к возвращению Будды, потому что — настоятель трёт свою лысую голову вперёд и назад — они недостаточно хорошо знают последовательность кайген сики, когда практикуют её; одно дело иметь что-то в голове и совсем другое — чтобы это сработало в реальности, ему придётся увидеть, потому что это сложно, он качает головой, конечно, он прекрасно знает, что эта церемония трудна и запутана, на самом деле гораздо, гораздо труднее, чем Хаккен Куё год назад, трудна, повторяет он, и это не значит, что к ней можно относиться так недисциплинированно, потому что, по его мнению, в Дзэнгэн-дзи просто недостаточно строгости, и это видно, когда во время практики кайген сики монахи все делают ошибки, каждый раз они делают ошибки, либо они не знают последовательности, либо кто-то из музыкантов вступает не туда, не говоря уже о них самих, начать с них прежде всего, поскольку даже они, да, именно они, самые выдающиеся монахи монастыря, а он сам самый выдающийся из самых выдающихся, постоянно находятся в неопределённости: либо проблема с запоминанием текстов — их используют всё реже, либо даже вовсе нет — священных сутр и дхарани, или соответственно, в тот или иной момент церемонии, даже зная, где их место, и, более того, ворчит настоятель, чтобы все знали, где им следует стоять и куда им следует идти, часто возникают проблемы, так быть не может; он повышает голос с некоторым раздражением, он требует, начиная с завтрашнего дня, большей дисциплины от всех, и им придется объяснить это также и остальным, но сначала и

прежде всего они сами должны полностью понимать, что кайген сики — это публичная церемония, и может быть много участников, здесь будут настоятель монастыря Нандзэн-дзи, и настоятель монастыря Тофуку-дзи, и довольно много мирян, они должны быть готовы к этому, и они должны подготовиться к этому — это правда, — перебивает сикарё, — но так много уже произошло, давайте не будем забывать, — говорит сикарё, слегка обиженно, — сколько уже сделано, особенно под его, сикарё, руководством, потому что, пожалуйста, любезно рассмотрите, уважаемый настоятель, все бесчисленные приглашения, написав их, вложив в конверты, запечатав их, надписав их, отправив по почте, затем все планирование: кто будет принимать гостей, где они будут размещены, какие монахи будут принимать посетителей; затем заучивание, здесь дзикидзицу чинно подхватывает нить обсуждения, обучая их сутрам, которых они никогда прежде не слышали, вбивая им в головы дхарани, сверля их на тему, кто, куда и когда должен идти, сколько раз я сам пытался с ними, вздыхает дзикидзицу, сколько раз — хорошо, говорит настоятель с примирительным выражением, но затем снова чешет свою свежевыбритую голову; все это хорошо, но все явно согласны, что без ошибок дело не обходится; время поджимает, поэтому у него нет желания продолжать бесплодную болтовню на эту тему, начнем с завтрашнего дня, каждый со своей задачей, с удвоенным рвением; и вот так они это и оставляют, с удвоенным рвением, все монахи, принимающие участие в обсуждениях, принимают это, просто начиная со следующего дня настоятель каким-то образом не чувствует этого удвоенного рвения, или каким-то образом вообще не замечает, что рвение того, кому поручено муштровать монахов в данной задаче, удвоилось, настоятель ходит по монастырским комнатам, он слышит, как монахи читают сутры, он внимательно наблюдает, когда дзикидзицу или роси проводят репетицию в хондо, и он видит то, что видит, он просто трет и все более нервно трет свой череп, который, по мере того как волосы начинают

снова прорастает, становится всё более зудящим, потому что он слышит, видит, чувствует, что это не только не безупречно, не только ещё не правильно, не говоря уже о совершенстве, но и никогда не будет таковым, учитывая материал в Дзэнгэн-дзи, который они способны вызвать; это никогда не будет лучше этого; он шагает взад и вперед от западных ворот к восточным, от северных ворот к Санмон, и вот однажды его внезапно наполняет спокойствие, ибо он чувствует, что принял, каким-то образом, в ходе вещей он смирился с этим: что они такие, какие они есть, и не лучше, он сдался: что собранные таким образом, от роси до баттана, от сикарё до какурёося, от дзюсёку до энсурё, они всецело способны на это, и это восприятие на этот раз не наполняет его печалью или еще большей нервозностью и неудовлетворенностью, а скорее спокойствием, это намерение, говорит он себе вечером перед сном, если намерение правильное, то нечего больше желать, так что на следующий день, созвав монастырское руководство для обсуждения, точная дата и время доставки, а также кайген-сики, определены, письмо уже отправлено Киото, и уже приходят отклики от приглашенных, выражающие, как это замечательно, дата — середина марта — идеальна, они будут здесь, все идет безупречно, и уже пришло время монахам приступить к саму, то есть они начинают чистить и убирать так, как никогда раньше, далеко превосходя обычную уборку, они принимаются за уборку зданий изнутри, они принимаются за уборку монастыря снаружи, метла и швабра появляются в каждом углу, снаружи, во дворе, на заднем дворе и в самом дальнем дворе, не остается ни одного квадратного метра, где бы не ощущалось присутствие граблей и метлы, лихорадка всеобщая, она уже заразила всех, великий день приближается, они достают и еще раз осматривают свою одежду, чтобы убедиться, что

между коромо и оби, кэсами и кимоно — все в порядке, они достаточно чистые, выглаженные, неповрежденные, они подходят для великой церемонии кайген-шики; и все находят, что каким-то образом... все готово, это странно, но наряду с общим и отрадным волнением, будет также, все более крепнущая среди всей монашеской общины, внутренняя уверенность, что во время предстоящей церемонии все будет хорошо, все пройдет чинно, по мере приближения великого дня все меньше будет видно обеспокоенных лиц, дэси, баттан или дзися бегают туда-сюда, и на каждом лице радостное ожидание, так что когда однажды поздно утром, почти в то же время, что и первая дневная трапеза в монастыре, придет новость о том, что специальный развозной фургон с их Буддой отправился, монахи радостными глазами дадут знак, что они поняли, это началось, хотя по общему мнению кайген сики на самом деле не должен начинаться здесь, в хондо, когда они входят, но когда специальный развозной фургон из далекого Киото выедет из ворот Бидзюцу-ин, пересекая еще спящий город, Доехав до Такэда Кайдо, срезаем путь на юг до перекрестка Такэда и там поворачиваем на девяносто градусов налево на шоссе Мэйсин, проезжаем сто семьдесят километров от Оцу мимо Хиконэ и Майбары до Сэкигахары без остановки, как это происходит прямо сейчас, и через полчаса компетентный водитель сворачивает на указанном съезде со скоростного шоссе Мэйсин, и даже если он теперь едет немного медленнее, чем по шоссе, он все равно, несмотря на все изгибы, повороты и крошечные деревушки, вовремя добирается до Икиномии и без колебаний находит дорогу на Инадзаву, а в Дзэнгэндзи, словно почувствовав, где он находится, западные ворота, как раз когда он появляется в конце улицы, ведущей к ним, открываются случайно, и никого не беспокоит тот факт, что еще до прибытия водителя ворота продолжали открывать

Снова и снова, выглядывая наружу, чтобы убедиться, что он уже здесь, мы открыли ворота совершенно случайно именно в тот момент, когда он появился в конце улицы, как позже рассказывали дэси, ожидавшие у западных ворот, поэтому мы просто оставили их открытыми, на самом деле, как они потом рассказывали дальше, просто так случилось, что сикарё прямо тогда отдал нам приказ открыть все ворота, и мы их открыли, что и произошло на самом деле, потому что на самом деле, согласно первоначальному плану, разработанному настоятелем и другими во время последних совещаний по планированию, именно они должны были открыть ворота монастыря не в обычный час, а скорее во время прибытия фургона, то есть Будды Амиды, они открыли западные, восточные и северные ворота, и даже Санмон, и именно с этим, открытием Санмон, монахи Дзэнгэндзи сообщают жителям Инадзавы, что их радостно приветствуют в этот знаменательный день, поскольку в рамках редкой церемонии, их самая святая из святынь, ныне восстановленная, будет возвращена на свое законное место, и в той же степени, в которой граждане Инадзавы год назад остались равнодушными к известию о тайной прощальной церемонии, теперь с Праздником Возвращения Будды, тронутые возможностью увидеть сегодня красочное, уникальное и редкое событие, они идут в Дзэнгэндзи, весть разносится повсюду, на этот раз это действительно стоит того, и поэтому город отправляется в путь от текстильных фабрик и рядов машиностроительных заводов, уже около семи утра несколько сотен собрались во дворе храма напротив Зала Будды; их не менее трехсот, один из молодых монахов, его глаза блестят, но он боится преувеличения, шепчет с осторожной оценкой на ухо дзюсёку; триста, повторяет настоятель остолбенел; да, по крайней мере, — немного неуверенно повторяет мальчик, не зная, мало это или много, и, съежившись, не отходит от аббата, как бы говоря, что, возможно, он не прав, но

как он мог точно сказать, сколько их, то есть он не мог взять на себя никакой ответственности за свои слова; триста, снова бормочет себе под нос настоятель, раздраженно, и дает знак мальчику, что нет никаких проблем, что он сомневается не в словах мальчика, и не из-за них у него плохое настроение, а скорее, как мы сможем здесь передвигаться, говорит он вслух, так что мальчик слышит это, и беспокойство мальчика утихает — столько людей не поместится в хондо; он разводит руками в стороны в сторону мальчика, который, конечно, тоже начинает беспокоиться, ведь сам настоятель говорит с ним о таких судьбоносных вопросах, но в то же время и о печальных, ведь новость, которую он принес, огорчила настоятеля, ну, ничего, он машет рукой, улыбается дэси и отправляет его куда-то с поручением, а тот уже вышел из своих покоев, чтобы найти двух почетных гостей, двух настоятелей из Киото, с которыми он проведет церемонию кайгэн сики — поскольку все равно это весьма благоприятно, так как ответ на его вопрос пришел из Киото месяцами ранее, наиболее благоприятно провести церемонию в присутствии трех настоятелей — и настоятели хорошо спали, говорят они, и это видно по их пухлым веселым лицам, когда они входят — он подходит к ним, приветствуя их тремя глубокими поклонами — что они спали действительно хорошо, сладко, как спят дети, повторяют они; После предписанного ритуала они получают приветствие хозяина, затем все вместе выходят из здания, толпа расступается перед ними, впереди идет настоятель Нандзэн-дзи с двумя сопровождающими его монахами, а за ним настоятель Тофуку-дзи также с двумя сопровождающими монахами, и в конце идет хозяин-настоятель среди своих дзися, они проходят таким образом через середину широкого двора, где к этому времени может быть даже тысяча человек, и входят, в том же порядке, в хондо, где с правой стороны, в предписанном порядке, находятся старшие монахи, с левой стороны — младшие унсуи, дэси, баттаны и так далее, все

лицом друг к другу, а сзади, рядом с главным входом, располагаются дзикидзицу и музыканты, так что за ними могут наблюдать миряне, просто любопытствующие и туристы, затем в тишине раздается высокий звенящий звон сёкэя, и прихожане с тремя настоятелями, стоящими перед алтарем Будды впереди, преклоняют колени, затем другой музыкант бьет в хокку, большой барабан, и в этот момент настоятели встают; все это исполняется три раза подряд: звон сёкэя, преклонение колен, удары хокку; вставание, сёкэй, преклонение колен, большой барабан; вставание — и затем то же самое в последний раз, и вот дзикидзицу уже ударяет в большой барабан, звучит и мокугё, и собравшиеся складывают руки в жесте гасё-ин — как и настоятель, который теперь, повернувшись налево, делает два с половиной шага, затем, повернувшись направо, подходит к подставке для благовоний, затем становится на колени и встает, чтобы поклониться алтарю, где будет помещен Будда, затем он становится на колени, встает, снова подходит к подставке для благовоний, берет правой рукой палочку благовония у своего помощника, держа ее горизонтально обеими руками между большими и указательными пальцами, и поднимает ее к бровям, затем он становится на колени с ней и встает; левой рукой он сажает ее в вазу, наполненную пеплом, а затем делает то же самое с другой палочкой благовония с правой стороны вазы, а затем с третьей палочкой благовония; кажется, суть дела в том, что он всегда берет его правой рукой, затем поднимает обеими сразу, чтобы держать его горизонтально, а левой рукой опускает его в пепел, в то время как его взгляд обходит всю курильницу, затем он кланяется алтарю, складывает руки вместе, делает два с половиной шага вправо, затем еще раз движется вправо и с этим возвращается на свое место, затем, повернувшись налево, делает еще два с половиной шага и встает перед главной молитвенной скамьей, которая поставлена между тремя настоятелями и алтарем, но к тому времени

Чтение первой великой сутры уже давно начало звучать в ритме мокугё — Священной Водной Молитвы, обращенной к Махасаттве Бодхисаттве, за которой следует краткое трехстрочное обращение к Авалокитешваре, так что церемония затем выходит за рамки молитвенной деятельности, то есть, в то время как все собрание звучным хором, под руководством голоса дзикидзицу, поет в особом унисон: все, что нечисто, грязно, разложилось и нечисто, теперь делается здесь чистым; настоятель медленно кланяется алтарю, затем поднимает заранее приготовленную маленькую чашу с водой, в которой цветет одна-единственная крошечная веточка дерева, он поднимает маленькую веточку средним и указательным пальцами левой руки, затем средним и указательным пальцами правой руки сгибает ее в кольцо так, чтобы основание стебля проходило сквозь нее, завязывая кольцо в себя, как раз в тот момент, когда сутра, голосом дзикидзицу, поднимаясь из хора, указывает, что весь этот зал и все это место очищаются этим моментом ритуала и молитв, голос дзикидзицу парит над хором монахов, который порой, кажется, отзывается высшими возвышенностями в каком-то далеком, очень далеком согласии — тогда, вместе с затихающим звоном гонга, замирает очарование этого очищения, и с этого момента, довольно долго и без дзикидзицу, только У прихожан есть слово, слово, которое сейчас никто не понимает, а может быть, и никогда никем не понималось, и собравшиеся сейчас произносят его на ломаном санскрите:

НА МО ХО ЛА ТА НЕТ ТО ЛА ДА ДА

НА МО А ЛИ ЙЕ П'О ЛУ ЧИЕ ТИ ШУО

ПО ЛА ЙЕ ПУ ТИ СА ТО ПО ЙЕ МО

ХО СА ТО П'О ЙЕ МО ХО ЧИА ЛУ НИ...

и мокугё бьётся в том же ритме, что и слова, и время от времени звучит большой гонг, собравшиеся с уверенностью и явственно произносят то, из чего никто не понимает ни единого слова, но они знают, что кинхин

следует далее, то есть с этого момента они сходят со своих мест и гуськом, друг за другом, обходят большой зал, с дзикидзицу впереди, за ним мокугё-загонщики, и только затем монахи, согласно рангу, возрасту, авторитету и предписанному порядку, идут по кругу, произносят священные дхарани, звучащие на непонятном им языке; последними идут женщины и в самом конце три настоятеля с сопровождающими их монахами, они просто кружат и кружат вдоль стен зала, вдали от алтаря; и чтобы шествие наконец подошло к концу, хозяин-настоятель останавливает своих коллег, когда они достигают места перед алтарем, образуя дугу, затем они занимают свои первоначальные места — и прихожане также возвращаются на свои первоначальные места — дзикидзицу снова встает у главного входа, откуда он руководит церемонией, он возвышает свой голос и этим возвышенным голосом произносит последние слова дхарани, согласно которым:

ЛА ТА НЕТ ТО ЛА ДА ДА НА МО А

ЛИ ЙЕ П'О ЛУ ЧИ ТИ ШУО П'О ЛА ЙЕ

СО П'О ХО АН ХСИ ТИ ТУ МАН В Лос-Анджелес

PO T'O YEH SO P'O Ho

так что здесь его голос, понижающийся в самой последней строке, замедляется и расширяется, как река, впадающая в океан, и он уже начинает декламацию Хання Сингё

— Сутра Сердца — затем Махапраджняпарамита, затем восхваление Авалокитешвары, затем Песнь Паринаманы и, наконец, Тройной Обет, после чего все собрание трижды склоняется перед алтарем, каждый раз под удар большого гонга, зная, что место алтаря очищено, так что первая глава этого особого воссоединения и возвращения завершена, и теперь может начаться следующая, в которой, в качестве призывания, четыре сильных молодых монаха, которые год назад вынесли Будду, теперь вносят, под золотой парчой, маленькими осторожными шагами, Будду Амида из Дзенген-

дзи, подносят к алтарю, кто-то сдергивает шелковую ткань, покрывавшую сиденье Будды, и кладут туда Его, Того, Кого они так долго ждали и за чей взгляд теперь борются сотни пар глаз в переполненном хондо.

Руководитель церемонии, дзикидзицу, ударяет в гонг три раза; затем, согласно предписанию, звучит и большой барабан, а в пространстве хондо над собравшимися ощущается большая торжественность, чем прежде, что заставляет менее осведомленных из них думать: ну, по крайней мере, теперь они наконец-то снимут парчу, и мы наконец-то сможем увидеть Будду; но нет, они ошибаются, время для этого еще не пришло, теперь настало время трем настоятелям молиться вместе; после того, что известно как очищение лотосового трона, акцент ритуала в этой важной второй части смещается на настоятелей, и совершаются новые подношения с благовониями, затем следует декламация священных имен, и после того, как три настоятеля вместе преклоняют колени, прихожане под руководством дзикидзицу начинают петь Амида-кё, в которой сутра с чудесной силой и в подробностях почитает Будду Амида и непостижимое величие, вневременность, гармонию и ароматы Чистой Земли; затем приходит время признать осквернения, когда нужно преклонить колени в конце каждого предложения, даже три настоятеля преклоняют колени и читают вместе с ними, и все, кто принимает участие в церемонии, также преклоняют колени в конце каждого предложения, мы создали адские кармы, они все бормочут — мокугё резко трещит под тонкой палкой — через желание, через ненависть и через нетерпение мы порождаем их и поддерживаем их во времени, источник того, чем мы все являемся, — это наши простые тела, наши простые слова и наши простые умы, и мы сильно сожалеем об этом сейчас; вот что они бормочут, они поют это в более громкой, объединяющей гармонии, затем все встают, и теперь каким-то образом акцент смещается туда, где он должен быть

быть; три настоятеля, то есть, снова берут на себя руководство церемонией, так что с этого момента именно они дают разрешение говорить, и они дают его немедленно: три раза по порядку произносится пожелание, чтобы слава пришла к монастырю, к Трем Драгоценностям Махаяны, и теперь старейший и наиболее уважаемый монах, заранее подготовленный, вызывается вперед, чтобы пройти к подставке с благовониями, чтобы завершить ритуал очищения благовониями; затем, когда дзикидзицу заставляет звучать гонг, и во время его долгого реверберации документ, называемый Объявлением Разъяснения, вкладывается в руки монаха, дым поднимается вверх, обвивает старика и документ тоже, и он начинает, его голова трясется, дрожащим голосом, читать вслух, что здесь и сейчас появляется Тело Будды, здесь освещается карма, приносящая счастье всем живым существам, и великолепная Форма, в своей собственной безграничности, неподвижна, и это место теперь является залом Возвышения Света, что мы, в пределах Восточного Царства, находимся на острове, известном как Япония, где расположен этот монастырь, принадлежащий линии Риндзай, старый монах читает своим дрожащим голосом, что сейчас здесь они спели несколько священных предложений с собранием, с помощью которых защищается Дхарма, и сохраняется чистая вера; Затем он опускает документ, для следующих нескольких предложений бумага не нужна, и он объявляет, что монастырь собрал все пожертвования, которые только мог, чтобы защитить священную статую Будды Амиды от вреда веков, и теперь настал день, когда, обеспечив эту защиту, они примут Его обратно, и Он будет помещен туда, откуда Он был ранее взят, итак Он прибыл, бормочет старый монах, вот благоприятный, счастливый, великий день, и они собрались в этом зале, который является пространством созерцания, то есть души, и они пришли сюда вместе, потому что для них и это пространство, и эта душа крайне необходимы, и он снова наклоняется над текстом и читает

что возвращение Амиды было сердечным желанием верующих и надеждой тех, кто ждет от него обновления своей веры, чтобы обрести в бесплодной, губительной жаре прохладное облегчение от дерева Дхармы, пусть сад, увитый золотом, снова будет ухожен для грядущих молитв, ибо они сейчас дают обет, говорит он, поднимая взгляд от документа, и они дают этот обет с великой радостью, и они дают этот обет именно сегодня, в 2050 году, в четырнадцатый день третьего месяца между утренними часами девяти и десяти часов, они дают обет, и они снова устанавливают лотосовый трон на его место, и еще раз они осматривают всю великолепную Форму, поистине завершенную, и они верят, что снова увидят Драгоценный Свет, и они молят и, склонив головы, они произносят глубокое желание, чтобы этот нагруженный сокровищами трон сиял до конца времен, когда само тело исчезнет, и чтобы свет между Брови Будды могут снова появиться, и пусть один луч этого света распространится по всему Царству Дхармы; я, говорит старый монах, показывая свои руки, сложенные в молитве, и склоняя голову, я склоняю голову и складываю руки в молитве, и все хорошее, как дерево, пустит корни, высказывание чувств, возникающих в наших сердцах, чувств, привлеченных счастьем и мудростью, исходящими от алтаря, мы молим в признательности и благодарности, продолжает он, трогательно, желая спокойствия и мира Сыну Солнца и людям, мы хотим, чтобы Дхарма снова была величественной среди нас, и мы хотим, чтобы мудрый и прекрасный путь пришел в монастырь Дзенгэн-дзи в Инадзаве; сегодня, говорит он, мы читали сутры, и мелодия, песня этого собрания, подобна парче на Нем здесь, в центре Алтаря; позже он упадет, и под ним глаз увидит то, что он ждал, и тогда старик начинает говорить, опуская документ в последний раз, что через только что произнесенное Разъяснение он молит Три Драгоценности создать

уверенность в том, что эта статуя Будды теперь совершенна и не имеет изъянов, поскольку священная статуя Будды Амиды была исправлена и возвращена на свое основание, и все это имело место в рамках церемонии, проведенной дзикидзицу Чжушаном в четырнадцатый день третьего месяца 2050 года по буддийскому календарю, в присутствии и при содействии настоятелей Нандзэндзи-сана и Тофукудзи-сана; из уст монаха Сюсина, говорит он, и он удаляется; и помощники уже поставили три небольших столика вместо молитвенных скамей перед настоятелями, на каждый стол кладут кусок желтого шелка, и, наконец, в центре каждого стола помещают стебель цветка, и уже призывают священные божества в сутре, которую читают собравшиеся, и настоятели берут три стебля цветка, они поднимают их и держат высоко, когда первым настоятель Нандзэн-дзи присоединяется к пастве и поет, что настоятель Нандзэн-дзи видит этот цветок, и он держит его высоко, и молится всем своим сердцем, он призывает Владыку Мира, Учителя Будду Шакьямуни, он молится Владыке Веры Восточного Мира, Дайнити Нёрай, который является Татхагатой кристального света, он молится и призывает Владыку Веры Западного Мира, Будду Амиду и Будду Грядущего Мира, Майтрейя, Мироку Босацу и каждый Будда, который может проникнуть в Царство Дхармы по воздуху, говорит он и склоняет голову, мягко добавляя, что он лишь желает никогда не нарушать свои собственные обеты, что теперь со смиренным и полным сердцем он желает, чтобы Тот, кому это подобает, занял Свое место на лотосовом троне, но всю последнюю часть его слов, относящуюся к его обетам, также поют собравшиеся — каждый произносит свое имя — и затем происходит то, чего еще не было, а именно тишина, и в этой тишине три настоятеля возвращают три цветочных стебля на маленькие столики, раздается звук ручного гонга, прихожане преклоняют колени и простираются ниц перед Буддой,

затем снова поет сёкэй, все встают, и в продолжительной тишине дзикидзицу просит участников ритуала вызвать Будду Амида внутри себя, посмотреть на контуры, различимые под парчой на лотосовом троне, и позволить миллионам Амид появиться в их воображении, вот что они должны призвать, вот о чем они должны думать, слова дзикидзицу звучат в тишине, и с этим наступает очередь хозяина-настоятеля, который снова поднимает единственный цветок в воздух и говорит: пусть Амида наполнит весь мир и взглянет на всех живых существ, так, чтобы он и все присутствующие здесь могли избежать страданий, возникающих из-за Возникновения, и, наконец, пусть трон на алтаре действительно станет троном, но в этот момент все собрание, возглавляемое дзикидзицу, поет, чтобы призвать, своей индивидуальной и своей общей силой, Будду Манджушри, в все аспекты совершенны, Самантабхадра, Бодхисаттва Авалокитешвара великого сострадания, во всех деяниях совершенный, Бодхисаттва Кшитигарбха, который реализует каждое желание, Бодхисаттвы десяти направлений мира, Бодхисаттва Махасаттва, и их единственное желание — здесь сутра подходит к концу, единство пения обогащено более низкой квинтой — никогда не нарушать своих обетов, и чтобы Будда, сострадательный ко всем живым существам, мог явиться и занять свое место на лотосовом троне, который стоит перед ними, покрытый парчой, и когда при последнем слове снова ударяет шокей, все преклоняют колени, затем встают, чтобы все это повторили сначала сикарё, затем дзикидзицу, и, наконец, все собрание, чтобы все повторилось, но в то же время, каким-то образом, все начинает подниматься посреди этого повторяю, что сейчас в Зале есть что-то, что трудно выразить словами, но это чувствует каждый присутствующий, сладкая тяжесть на душе, возвышенная преданность в воздухе, как будто кто-то здесь находится, и это особенно заметно на лицах неверующих, просто любопытствующих, туристов, одним словом, на лицах равнодушных, это можно увидеть

что они искренне удивлены, потому что чувствуется, что что-то происходит, или произошло, или произойдет, ожидание почти осязаемо, хотя все точно знают, что именно происходит или произойдет, ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что, возможно, будет еще одна, а затем еще одна, а затем еще одна сутра, еще одна мольба, еще одна молитва, еще один обет, и они сорвут покрывало со статуи, и все наконец увидят Амиду, но в этом-то и заключается любопытная вещь: все знают, что последует, и, конечно, когда это последует, все стоят ошеломленные и смотрят, смотрят, пока не появится настоятель-хозяин, держа высоко палочку благовония, преклонит колени, встанет, раздастся гонг, и настоятель произнесет: Почтенный из Возвращающегося Мира, выше которого нет никого, сегодня, согласно учению, я поклоняюсь твоему трону, я только желаю, чтобы ты милостиво принял его, чтобы каждый Будда и Бодхисаттва, присутствующий сейчас в этой комнате, может видеть и чувствовать, что больше нет препятствий, что это место благословлено спокойствием невыразимого мира; настоятель говорит и говорит без ошибок, и все слышат именно то, что говорится, но с этого момента общее внимание становится каким-то образом настолько рассеянным в ожидании, что отдельные компоненты церемонии распадаются, собравшиеся в один момент обращают внимание на слова настоятеля, поскольку он только что заявил, что тело Амиды золотое, Его глаза освещают четыре моря, свет, исходящий из них, обходит гору Сумеру пять раз, и в другой момент дзикидзицу ударяет в гонг; здесь несколько человек в левой части зала кланяются, затем снова поднимается несколько голосов, и затем кланяются те, кто стоит в правой части; затем можно услышать красноречивый голос настоятеля Нандзэн-дзи, когда он говорит о своем желании переродиться в Чистой Земле Западного Мира, чтобы девять различных видов цветков лотоса стали его матерью и отцом, чтобы, когда эти цветы распустятся, он мог увидеть Будду, и чтобы он мог

пробудитесь к великой истине не-рождения, слова, которые почти растворяются в словах настоятеля Тофуку-дзи справа от принимающего настоятеля, говоря, а именно, пусть каждый отдельный Будда появится в мире, из-за одной единственной великой вещи, и пусть все сознание таким образом просветленного Будды, молит он, будет присутствовать здесь, и пусть все Будды и Бодхисаттвы будут милосердны ко всем живым существам, пусть их причины будут постигнуты и пусть они будут приведены к Дхарме, пусть получат просветление относительно несамоочевидности знания, ибо знание лежит в пагубном омрачении причины страдания, и вот почему мы здесь, кто в этот день, в 2050 году на одиннадцатый день третьего месяца, пришел сюда, чтобы освятить статую Будды Амиды, чтобы он заставил нас понять, говорит настоятель Тофуку-дзи, что эта статуя перед нами — знание, облеченное в форму, но это не само знание; Однако в этот момент в хондо начинает возникать некий беспорядок, некая путаница в преданности, или, точнее, путаница самой преданности, поскольку сила начинает утекать из слов, они сливаются друг с другом, каждое слово больше не строится на следующем, но слова начинают означать одно и то же одно за другим, эта путаница значительна, что очевидно, значительна, так как она, так сказать, указывает путь, по которому собравшиеся были приведены словами, к той точке, где необходимо только завершение последнего момента, и тогда поистине все происходит в этом духе; нельзя сказать, что собравшиеся действительно концентрируются на самых существенных элементах церемонии; они не замечают, например, — или, может быть, в толпе людей они не видят, — что настоятели, прежде чем произнести свои слова, взяли каждый по зеркалу со столов, поставленных перед ними, протерли его тонкой тканью, а затем все трое повернули зеркала к Будде; Собравшиеся — по крайней мере, большинство из них — глазеют тут и там, большинство из них могут слышать только то, что

Хозяин-настоятель говорит, ибо прямо в этот момент он говорит, что мы, посвящающие Будду, никоим образом не тождественны с посвящением, мы только сейчас делаем, во имя Будды, то, что требуется, не мы можем приблизиться к Нему, но Он, который присутствует здесь, незаметная и высшая Форма в своем собственном бесконечном сиянии, что если мы говорим, то слышен завуалированный, усталый голос настоятеля, если мы читаем сутры, через эти высказывания свет Будды освещает миллиарды и миллиарды миров; это слышно, затем их внимание направляется гонгом и большим барабаном, так что они больше не могут разобрать слова настоятеля монастыря, когда он говорит, что мудрость Будды, в то же время, находит средство внутри нас, приняв физическую форму, возвращается обратно к каждому из нас

— этого уже не слышно, только звон гонга и глубокий стук барабана, но уже так трудно обращать внимание на что-либо вообще, собрание уже длится часами, ноги, спины, головы болят; и сцена плывет перед глазами, тем не менее, в такие моменты, кто может сказать, что существенно, а что нет, — одно несомненно: будь то усталость здесь или там, никто не хочет упустить суть, так что подавляющее большинство двигает головой вперед и назад, то пытаясь внимательно слушать, то пытаясь увидеть, что происходит, одним словом, граница между важным и менее важным начинает размываться; до сих пор это не было поводом для беспокойства, но с этого момента сами монахи не уверены, что воспринимают самые существенные элементы того, что происходит в хондо; Однако все, как монахи, так и посетители, уверены, что церемония движется вперед, напряженно, в напряженном ожидании, где затем, в этом напряженном ожидании, в этой интенсивности, настоятель Тофуку-дзи медленно, очень медленно обходит с поднятым вверх зеркалом, но таким образом, что свет от зеркала освещает, с

мерцающий, дрожащий луч, по всему залу, и затем он ставит зеркало обратно на стол, затем берет из него кисть (правой рукой) и маленькую баночку (левой рукой), он окунает кисть в баночку, в которой находится краска киноварного оттенка, затем он поднимает кисть, полную краски, в направлении предполагаемого направления глаз статуи Будды, проверяя кончиком кисти высоту глаз, и затем два молодых монаха, которые были расположены по обе стороны алтаря довольно давно, подходят к статуе, осторожно снимают парчовое покрытие, отходят в сторону с ним, и толпа затаила дыхание и просто смотрит, что стало с Амида Буддой в далеком Киото, настоятель определяет нужную высоту, и кисть оказывается на той же высоте, что и глаза Будды, с предельной точностью, она держится там некоторое время, неподвижно, тишина полная, затем он кричит в тишине ОТКРЫТО, и в этот момент, конечно, собравшиеся больше не могут сдерживать себя и, нарушая церемониальную строгость ритуала, затем кричат, звучит гонг, звучит барабан, звучат сёкэй и все инструменты по обе стороны главного входа, но к этому моменту дзикидзицу начинает декламировать сутру Открытия Света, собравшиеся, завороженные, присоединяются и декламируют, поют и бормочут слова сутры, но они не могут отвести взгляд от Амиды, ибо большинство верующих очень хорошо помнят, как выглядела статуя на протяжении десятилетий, темная тень на алтаре, почти без контуров, почти без света, но теперь она поистине великолепна, великолепна в чудесном лице, чудесных глазах, но эта пара глаз, если даже слегка коснется их, не видит их, а смотрит в более далекое место, в даль, которую никто здесь не способен постичь, все чувствуют это, и Напряжение гаснет одним ударом, на каждом лице можно увидеть огромную радость, несмотря на усталость, несмотря на изнеможение, теперь их взгляд как будто отражает что-то от того сияния, которое исходит от алтаря, они декламируют, счастливые и

с облегчением, после дзикидзицу, они теперь дают обет Будде, желая, чтобы каждое существо нашло путь, чтобы это непревзойденное желание могло быть исполнено, и они дают обет Дхарме, они читают, и они желают, чтобы все живые существа могли проникнуть в мудрость сутр, как океан, и они дают обет Сангхе, они объявляют это в последнюю очередь вместе и просят, чтобы каждое существо в собрании было защищено, и все несчастья предотвращены, и чтобы они могли достичь той невероятно далекой, прекрасной чистой земли, на которую сейчас взирает вернувшийся Будда Амида.

Он долго машет рукой, когда элегантные, сверкающие черные автомобили выезжают из западных ворот, затем еще долго машет рукой, когда два настоятеля из Киото исчезают в потоке машин на улице, ведущей от монастыря, и чувствует невыразимое облегчение от того, что наконец-то, в конце концов, после того как они обсудили все варианты, они тоже уехали, и что в целом вчера все прошло хорошо, и кайген-сики завершился без больших проблем, и он медленно идет обратно в свои покои; Однако — ибо он почему-то очень устал и чувствует себя даже намного старше своих лет — он решает, что не будет участвовать в ежедневной утренней медитации в дзэндо, а в виде исключения вздремнет, чтобы, прогуливаясь на холодном ветру по узким тропинкам из гладко сгребенных белых камней между садами, думать: Возвышенный Будда, как же они были подвержены ошибкам, как же недостойны, сколько ошибок, сколько заблуждений, сколько раз они спотыкались в текстах, как часто большой барабан бил не вовремя, и, прежде всего, сколько неверных шагов перед алтарем, сколько неопределенных и недоуменных моментов, от которых они не могли освободиться, и все же, они это сделали, они были способны на это, они не уступили своим способностям, он прогуливается на холодном ветру ранней весны, чтобы немного побыть в стороне, все еще слушая голоса, ведомые дзикидзицу, читающими сутру в дзэндо, он смотрит вокруг на прекрасный порядок

и тихие павильоны монастыря, и вдруг в голову приходит идея, или, на самом деле, это не идея, а скорее просто... он замедляет шаг, останавливается, затем поворачивается, направляясь обратно к дзэндо, он идет перед ним, снова слыша монахов

сутры и ритмичные удары мокугё, и вдруг он оказывается перед хондо, а затем приходит в себя, как будто собираясь спросить себя, что он здесь делает и почему он не собирается уже отдохнуть — затем он забывает, о чем вообще хотел спросить себя, и выскальзывает из сандалий и поправляет одежду, как будто собирается войти в главный вход; но он не поднимается по ступенькам, которые привели бы его туда, вместо этого — он даже сам не знает, как — он стоит на одной из нижних ступенек, он оглядывается, никого не видно, все в дзэндо, поэтому он садится на одну из ступенек и остаётся там, раннее весеннее солнце светит на него, временами он дрожит от более сильного дуновения холодного воздуха, но он не движется оттуда, он просто сидит на ступеньке, слегка наклонившись вперёд, уперевшись локтями в колени, смотрит перед собой, и теперь наконец он может задать себе вопрос: что, чёрт возьми, он здесь делает, может спросить он себя, он просто не может найти ответа, или, скорее, не может понять: даже если то, что он слышит там, в своей душе, существует, всё это сводится к следующему: ничего, он вообще ничего не делает в целом мире, он просто сел здесь, потому что ему так захотелось, сидеть здесь и знать, что там, внутри хондо, Будда Амида теперь восседает на алтаре и видит то, что не видит никто, кроме него самого, только он сам, он сидит там на ступеньках, у него урчит в животе, он чешет лысую голову, он смотрит в пространство, на ступеньки внизу, на ступеньки из старого высохшего кипариса хиноки, и в одной из трещин он замечает крошечного муравья, ну, и с этого момента он только наблюдает за этим муравьем, как он ползает на своих забавных маленьких ножках, карабкаясь, торопясь, а затем замедляясь в этом

трещину, когда он пускается вперед, затем останавливается, затем поворачивается и, подняв свой маленький шарик головы, спешит снова, но снова останавливается как вкопанный, вылезает из трещины, но только для того, чтобы снова вползти в нее, и снова пускается в путь, затем через некоторое время снова останавливается, поворачивается и так же бодро, как только может, снова идет назад по трещине, и все это время на него светит раннее весеннее солнце, иногда на него дует порыв ветра, вы можете видеть, как муравей борется, чтобы его не унесло ветром, маленький муравей, говорит аббат, качая головой, маленький муравей в глубокой трещине ступеньки, навсегда.

5

ХРИСТО МОРТО

Он вообще не был тем типом, кто ходит с грохотом, он не был гулким, военным, строгим гусарским типом; но поскольку он любил, чтобы кожаные подошвы его ботинок и каблуки кожаных подошв служили долго, подошвы и каблуки были снабжены настоящими старомодными набойками, которые, однако, так сильно отдавались эхом при каждом его шаге на узкой улочке, что с каждым метром становилось все очевиднее, что эти туфли, эти черные кожаные оксфорды, не относятся к месту здесь, не в Венеции, и особенно не сейчас, не в этом тихом районе, во время этой всеобщей сиесты; однако он не хотел возвращаться и менять их; и он мог бы попытаться ступать тише по старым булыжникам мостовой, но не мог, и поэтому, проходя мимо каждого дома, он постоянно чувствовал, что внутри, обитатели дома осыпают его проклятиями: почему бы ему просто не уйти и не умереть где-нибудь, и что он вообще делает снаружи, да еще такой тип в таких чертовски хорошо подкованных черных оксфордах; он ступал левой ногой, ступал правой, и этого было достаточно, он уже считал само собой разумеющимся, что спокойствие сиесты кончилось в этих зданиях с их закрытыми фасадами, окутанными немотой, потому что здесь, снаружи — благодаря ему — тишина была нарушена; не было ни единой богоданной души в узких переулках, даже туриста, что было редкостью, так что были только венецианцы, там, внутри, с их неудачными попытками сиесты, и он, здесь, снаружи, в своих добротно сшитых оксфордах, так что казалось, что только они двое существуют в самом центре сестьере Сан-Поло, в этом милом и узком лабиринте этим днем — он буквально слышал проклятия, вырывающиеся из-за закрытых деревянных ставен: катись ты в вонючий, гнилой ад вместе с этими проклятыми черными оксфордами — но в этом он был

ошибся, ведь в сладком и тесном лабиринте сестьере Сан-Поло были не только они двое: был еще кто-то, кто в какой-то момент просто появился позади него, значительно отставая, но во всяком случае следуя за ним более или менее с той же скоростью: худая долговязая фигура в светло-розовой рубашке, но такого светло-розового цвета, что она сразу же выделялась, когда этот очень светло-розовый вспыхивал время от времени на повороте позади него; он не знал, когда он к нему присоединился, понятия не имел, когда за ним началась слежка, если вообще была, но каким-то образом он сразу почувствовал, что да, когда он отправился из Сан-Джованни-Эванджелиста, где остановился на одну ночь по адресу Сан-Поло 2366, на Калле-дель-Пистор или Кампиелла-дель-Форнер-о-дель-Марангон, тот определенно не отставал, и даже — он пытался вспомнить — когда он пересекал Кампо-Сант-Стин под ярким солнцем по направлению к Понте-дель-Аркивио, или все же, вдруг подумал он, вполне возможно, что эта фигура уже поджидала его, когда он вышел через двор, открытый небесам, Сан-Джованни-Эванджелиста и вышел из подъезда дома с его элегантной, но бесполезной входной аркой, спроектированной Пьетро Ломбарди, чтобы направиться к Фрари; это было возможно, промелькнуло у него в голове, даже очень возможно, и он почувствовал, что при одной лишь мысли о том, что кто-то хочет на него напасть, у него сжался желудок, и он начал мерзнуть, как всегда, когда ему было страшно; он остановился в конце площади, открывавшейся перед Понте делль'Архивио, словно пытаясь найти верную дорогу, размышляя — как это часто бывает с иностранцами в Венеции — действительно ли хорошо сейчас перейти этот мост или лучше повернуть назад; и он действительно размышлял, но на самом деле только для того, чтобы его ботинки перестали так громко стучать и он мог оглянуться — и он действительно оглянулся — и холодок в его теле превратился из холода неопределенной тревоги в холод

решительно острый страх, и он уже отвернулся, в своих гулких черных полуботинках, к Понте, желая поспешно перейти его, но чего он хочет? — его шаг ускорился от испуга, — ограбить меня? избить меня? ударить меня?

зарезать меня? — ах, как-то нет, он покачал головой, как-то все это было не так, персонаж позади него не производил особого впечатления грабителя или убийцы, вместо этого казалось, что он, гость Венеции, ведет его, тянет, увлекает вперед стучанием своих болезненно гулких оксфордов, или как будто эта в остальном довольно смешная фигура не может устоять перед стуком его ботинок, фигура, которая к тому же была согнута как буква S, с поджатыми ногами, откинутым назад задом, сгорбленной спиной и наклоненной вперед головой, да, сказал он себе, проходя мимо Понте дель Арчивио, нет, он не хочет меня ограбить или убить, этот персонаж в розовой рубашке просто не был грабителем или убийцей, но, конечно, у него мог быть при себе пистолет, кто знает; он всё беспокоился и беспокоился, шагая с неослабевающей скоростью, ничем не показывая, как сильно он боится, он шёл дальше по Фондамента деи Фрари к площади, всё меньше и меньше понимая, что происходит; во-первых, почему он так боится; эта фигура, идущая за ним, явно чего-то хотела, но это ещё не было причиной для такого страха; однако он очень боялся, он это признавал, и это признание становилось ещё мучительнее от того, что он мерз, в то же время чувствуя нелепость положения, ведь вдруг окажется, что всё это просто недоразумение, что эта фигура здесь вовсе не из-за него, а просто случайно, такие случайности часто случаются, и, наконец, на улицах нет никого, вообще никого, ни единой души; вполне естественно, что он тоже направляется туда же и той же походкой, ведь он успел заметить, что жердь не приблизилась, а всё идёт по его следу;

он не отставал, но и не приближался, по мере того как они продвигались вперед, их всегда разделял только один угол улицы, или вообще не было, он отмечал это, и сердце у него замирало в горле, потому что именно сейчас казалось, что расстояние, разделяющее их, каким-то образом стало немного меньше, немного короче

— он пытался прикинуть, насколько, — то есть до сих пор между ними всегда был один угол, независимо от расстояния от одного угла до другого, но теперь, здесь, на Фондамента, никакого угла между ними определенно не было, то есть Розовая Рубашка, без сомнения, приближалась, отчего у него желудок сжался в еще более тугой узел; он гонится за мной, сказал он себе, и при этом слове его передернуло, он похолодел или он застыл от страха, он не мог решить что; но его теперь пугало и то, что ему приходилось беспокоиться о таких вещах; что вообще происходит, он понятия не имел, что-то было во всей этой истории, что-то

нереально,

что-нибудь

маловероятно,

некоторый

недоразумение, какая-то ошибка, что его, едва ли не только что приехавшего в Венецию и только что вышедшего из пансиона, кто-то преследует, всё это было как-то неправильно, нет и нет, твердил он себе, потом остановился перед входом во Фрари с неожиданной идеей, как тот, кто смотрит, когда же снова откроют, остановился, чтобы привести всё в порядок и посмотреть, что делает другой, в сущности, даже не дожидаясь, какой шаг он сделает, продолжая идти рядом со входом во Фрари; потом он прошёл в другой конец церкви и там — огромное здание подпирал поддерживающий выступ, который как бы выступал из гладкого фасада примерно на метр над землей, так что на нём можно было сидеть

— он тоже сел, потому что там светило солнце, он собрался с силами и сел, как человек, прерывающий свое путешествие ради того, чтобы погреться на солнце; но несчастье уже нашло своего получателя, так как на другой стороне

на Кампо деи Фрари небольшое кафе «Топпо» было открыто, несмотря на сиесту, хотя там не было ни одного посетителя; солнечный свет туда не проникал — во всяком случае, он мог там остановиться, так что, когда он сел на солнце у стены «Фрари», другой сел на стул в тени под зонтиком, словно решив выпить в городе в этот краткий промежуток покоя, и именно здесь, на все более спокойной Кампо деи Фрари в этот день, словом, ничего, совсем ничего не проглядывало; до сих пор мысль о том, что жердь последовала за ним случайно, казалась возможной, и, возможно, он просто искал свободного места, где можно было бы просто сесть, где можно было бы дать отдохнуть своим усталым ногам, которые подкашивались при каждом шаге, — это могло бы показаться возможным, если бы он, здесь и сейчас, сидя на выступе стены Фрари, был способен в это поверить, но он не верил; напротив, он считал само собой разумеющимся, что как только он сел, другой тоже сел немедленно, как будто их движения были синхронизированы; он выдал себя — за мной следят, заключил он решительно, и хотя он этого не осознавал, он кивнул ему; солнечный свет начал обрабатывать его озябшие руки, из чего можно было сделать вывод, что страх (явно вполне обоснованный!) сделал их такими, но, кроме того, на улице было еще немного прохладно, это чувствовалось в воздухе, ведь был всего лишь апрель, а в середине апреля вполне могло случиться так, что с часу на час в этих местах города, не освещенных солнцем, вдруг похолодало, здесь все быстро меняется, включая погоду, он сел на выступ стены, грелся на приятном солнце, все это время, естественно, ни на минуту не спуская глаз со своего преследователя, который, сидя на другой стороне площади, как раз делал заказ у владельца кафе, как вдруг ему в голову пришла какая-то газетная статья, как раз газетная, которая не имела никакого отношения

ни с чем — скорее всего, его мозг утомился посреди этих страшных состояний и где-то блуждал — сидя за небольшим, но великолепным мраморным столиком восемнадцатого века в гостиной хозяйки пансиона, где хранилась почта жильцов дома, он видел газету, в которой немного читал о том, что недавно сказал Бенедикт XVI, но его внимание привлекла не сама статья, а заголовок, и именно он остался в его памяти, и из-за этого его внимание теперь ускользнуло, блуждая, обратно сюда, к этому моменту — даже если его взгляд оставался прикованным к тому, другому, пока он пил кофе, ибо казалось, что едва был отдан заказ, как он был выполнен; почти в тот самый момент на маленьком столике под зонтиком от солнца появилась чашка кофе

— вернулся к заголовку, который гласил что-то вроде этого:

АД ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЕТ

и ниже было повторено, что, по словам Бенедикта, недавно выступавшего на собрании в северном округе Рима, было ошибкой думать, как думало все больше и больше людей, что ад — это просто некая метафора, эмблема, абстракция; потому что, сообщал Бенедикт, он имеет физическую реальность — это, статья на первой полосе Corriere della Sera, была тем, что пришло ему в голову, какая невозможная ситуация, думал он, сидя в двухстах метрах от меня, кто-то следил за мной, кто-то наблюдает за мной, и вот я здесь, рядом с Фрари, с этой идиотской штукой в голове, я потерял рассудок; он пытался взять себя в руки, но не смог, потому что затем ему пришло в голову, что в то время как Иоанн Павел II придерживался мнения, как заявила газета «Коррьере», что рай и чистилище на самом деле не существуют, Бенедикт зашел так далеко, продолжал репортер, что заявил со всей ясностью на этом собрании на севере Рима, что, возможно, рай и чистилище на самом деле не существуют, но что ад существует, более того, в

конкретном физическом смысле, где слово, то есть физическое, было набрано курсивом, там, в ежедневной почте жильцов дома на маленьком мраморном столике; но что бы это могло значить, подумал он, но только одно: ну, остановимся здесь, что это такое, значит, нет ни рая, ни чистилища, ну и ладно, к черту все это, ну и ладно, — но он не стал продолжать эту мысль, так как внезапно у него возникло чувство, что он неосторожно заигрывает с опасностью, опасностью, которая, возможно, не имела под собой никаких оснований, а если это не так, то он с полной, абсолютной беспечностью заигрывает с ней; он резко вскочил и направился в узкий переулок, тянувшийся вдоль апсиды Фрари, но так же внезапно пожалел об этом, повернув обратно на Кампо деи Фрари, и быстро пересек площадь по ближней стороне — вопреки своему плану, то есть фактически вопреки намеченному направлению, он свернул в переулок, такой же узкий, темный, сырой и холодный, чтобы отвлечь внимание от того места, куда он на самом деле шел, но он чуть не испортил его, он пронзил его насквозь; он чуть не выдал против своей воли, куда идет, этими гулкими шагами черных полуботинок, он чуть не выдал своему преследователю свое место назначения; он и сам с трудом понимал, как мог быть таким безрассудным, но теперь все в порядке, подумал он, немного успокоившись, теперь никто не сможет сказать, куда он направляется, что, как бы бессмысленно это ни казалось, все еще могло быть так; то есть, не раскрывая, куда он направляется, поскольку не было и речи о преследовании, поскольку, однако, речь шла о преследовании; все это скоро выяснится, он все время оглядывался назад в переулок; и поэтому, чтобы дать этому шансу произойти, он остановился, пытаясь различить, слышит ли он шаги в тишине, которая внезапно возникла из-за затихания его собственных грубых подошв, но он ничего не услышал, только легкий ветерок ударил его, дуя в обе стороны от влажных стен; в любом случае, поскольку он должен был знать, не идет ли этот тип снова по его следу, он

медленно начал пятиться по переулку, осторожно, на цыпочках, чтобы стук обуви снова его не выдал, и, спрятавшись за стеной, высунулся, глядя на площадь, но на другой стороне за маленьким столиком под зонтиком никого не было, наоборот, его нигде не было на площади, он исчез, был поглощен, испарился, заявил он себе, и оставался там еще несколько мгновений, пока не смог срезать маленькие перекрестки без того, чтобы сердце у него подскочило к горлу — он подумал некоторое время, что Розовая Рубашка может в любой момент возникнуть перед ним, застав его врасплох на любом из этих маленьких перекрестков — но поскольку один перекресток следовал за другим, и ничего подобного не происходило, он постепенно начал успокаиваться; он остановился, прислушался, затем, повернувшись и вернувшись к Кампо деи Фрари, обнаружил, что площадь находится в том же состоянии, что и прежде, то есть совершенно безлюдной; теперь у него хватило смелости окончательно свернуть в свой переулок, чтобы, следуя по нему, добраться до Скуола Гранде ди Сан-Рокко, что и было его целью; он дошел до конца Салиццада Сан-Рокко, которая теперь уже не казалась такой узкой, как мгновение назад, когда там вообще никого не было, может быть, потому, что теперь, сворачивая в переулок, он увидел нескольких пешеходов, которые уже приближались с противоположной стороны, от Сан-Рокко к Фрари, то есть в противоположном направлении от него самого; во всяком случае, эти несколько встреч, когда мимо проходил каждый случайный пешеход, создавали у него такое ощущение, будто кто-то трясет его за плечо, говоря: проснись уже, все кончено, это был просто дурной сон, не беспокойся, таким было его настроение, когда он добрался до Кампо деи С.

Рокко, где почти вся маленькая площадь была залита солнечным светом, а слева стояла замечательная Скуола Гранде ди Сан Рокко, за план которой мы можем поблагодарить некоего главного строителя по имени Бартоломео Бон, хотя за все здание — другими словами, за весь Сан Рокко во всей его полной красе — наша благодарность

обязаны Санте Ломбардо и Антонио Скарпаньино, так что после 1549 года Джанджакомо деи Гриджи ничего не оставалось делать, как доделать его, то есть создать жесты, еще недостающие строению, чтобы оно могло во всей своей красе предстать перед посетителями, точно так же, как оно стоит сегодня перед ним, который даже сначала подошел к железным воротам участка земли, обращенного к зданию, и остановился там, и обернулся, чтобы взглянуть на это творение, которое, по мнению всех посетителей Венеции, отвечает самой возвышенной и совершенной архитектурной концепции — просто чтобы предаться не только удивлению, поскольку он уже наткнулся на него, изумленный, когда был здесь впервые, но также и своим воспоминаниям, потому что речь шла, по сути, и об этом; Именно ради этого он приехал в Венецию, ради этого одного здания, потому что когда-то, впервые попав сюда, он был настолько поражён там изнутри, что даже содрогнулся; он стоял на солнце и смотрел на изящный фасад Сан-Рокко, но взгляд его снова и снова блуждал ко входу, где он сам должен был войти, как он уже однажды входил, но не сейчас, он успокоился; сейчас, на время, ему нужно было перевести дух, освободиться от ужасающего сна всего несколько минут назад, выбросить из головы всю эту кошмарную погоню, потому что, право же, глядя отсюда, подумал он, среди более мелких толп людей, которые уже, к концу сиесты, заполонили тут и там между входом и выходом крошечной площади, казалось совершенно невозможным, чтобы кто-то начал преследовать его, как только он выйдет из дверей пансиона, какой-то парень в розовой рубашке, нелепый долговязый тип со странным S-образным телом, с подгибающимися коленями, с головой, свисающей вперед, как он мог даже представить себе это, и тем более, чтобы эта фигура нацелилась на него, это было действительно совершенно абсурдно, решил он, потому что какого черта кто-то будет искать его в

Венеция, где он практически никого не знал, какая могла быть причина, чтобы кто-то выслеживал его среди десятков тысяч туристов, особенно его, который во всем этом Богом данном мире не имел никакого отношения ни к Италии, ни тем более к Венеции, и, более того, он не был одним из тех, кто возвращается сюда снова и снова в погоне за так называемыми иллюзорными удовольствиями, предаваясь пустому течению поверхностных и откровенно идиотских восторгов, — он ни в коем случае не был похож на них!? — на самом деле он не восхищался Венецией по-настоящему: с его точки зрения, Венеция слишком напоминала ему женщину, для него в Венеции было какое-то неумеренное женское заблуждение и обман, нет, этот город был не по его вкусу, хотя, конечно, он не мог отрицать, что она действительно прекрасна, что в Венеции есть несравненная красота, этот странный город — от Ка'Доро до Сан-Джованни-э-Паоло, от Сан-Марко до Академии, от отеля «Джорджоне» до «Ла Фениче» и так далее —

но ему было отказано в восхищении, и он не любил Венецию, вместо этого он боялся ее, как боялся бы убийственно хитрого человека, который заманивает свои жертвы в ловушку, ошеломляет их и в конце концов высасывает из них все силы, отнимая у них все, что у них когда-либо было, а затем бросает их где-нибудь на берегу канала, как тряпку; да, именно так он теперь видел эту смехотворную ситуацию; он даже не бывал здесь слишком часто, за всю свою долгую жизнь он был здесь уже второй раз, и теперь, подумал он, улыбаясь собственным страхам, какое безумное, пугающее, возможно, чрезмерное, если можно так выразиться, фантастическое начало, ему повезло, добавил он про себя, совершенно расслабившись сейчас среди толпы, что ему не нужно идти ни в Ка'Фоскари, ни в Палаццо Дукале, вообще никуда, ему не нужно уходить отсюда, и вапоретто стоит немного, так что ему не нужно много платить; если он захочет, кроме Сан-Рокко, ему не нужно будет видеть ничего в Венеции — только то единственное, ради чего он сюда приехал; посещение чего было более

важнее для него, чем вся его посредственная, бессмысленная, бесплодная и ненужная жизнь.

Он начал с Тициана, потому что первым это сделал Кавальказалле, затем решительно Фишель и Беренсон, затем с сомнениями Суида, и, наконец, в 1955 году некий Колетти пришел к определенному выводу, что создателем картины был не кто иной, как Тициан, однако эта атрибуция, если само слово применимо, может быть принята лишь с теми же трудностями, что и последовавшая за ней; прежде всего, если мы посмотрим на это сегодня, использованные принципы были столь же необоснованны, как и то, что было заявлено впоследствии; в любом случае, синьор Пигнатти появился и заявил — дважды, если быть точным, в 1955 и 1978 годах — что вся эта атрибуция Тициана была ошибкой, поскольку анализ окрашенных поверхностей, а также dolcezza в использовании цвета ясно дал понять, что именно круг Джорджоне следует благодарить за полотно, точка зрения столь же удивительная, сколь и непостижимая, ибо он, то есть Джорджоне, в то время не считался религиозным художником, ни одной его картины на сакральные темы не сохранилось; единственная известная нам картина, принадлежащая ему и посвященная такому мотиву, «Мадонна Кастельфранко», — работа, заказанная этому таинственному гению Аматео Констанцо к погребению его сына Маттео; Одним словом, в вопросе о том, кто написал эту картину, царила полная неразбериха, которая в конце концов увенчалась началом в 1988 году взаимоподкрепляющей войны гипотез, начатой Мауро Лукко, который заявил: ну что ж, мои уважаемые дамы и господа, простите меня, но картина почти наверняка принадлежит кисти Джованни Беллини; давайте поместим ее рядом с работой под названием

«Опьянение Ноя», которое можно увидеть в Безансоне; и после этого остановиться было невозможно, появился Мишель Лаклотт, указал своим коротким указательным пальцем на

«Христос мертв в сеполкро» и сказал «Беллини», а затем вмешался Анчизе Темпестини, и, наконец, мисс Гоффен, и они сказали «Беллини», точно так же, как и открытки скандально

плохого качества, выставленные на столах за билетной кассой, недвусмысленно указывающие без всяких обсуждений, даже без одного крошечного вопросительного знака в конце, на великого Беллини, несмотря на то, что к тому времени в распоряжении ученых имелось экспертное мнение уважаемого Ганса Бельтинга, считавшего авторство данной картины Тициана самоочевидным, причем таким образом, что он единственный не приводил никаких аргументов, а просто ссылался на «картину Тициана» и все; так что неопределенность могла бы быть абсолютной, если бы Конфратернита — состоящая из более чем нескольких сторонников Беллини — не закрыла вопрос раз и навсегда, объявив Джованни Беллини автором картины, так что после этого никто больше не поднимал этот вопрос, вопрос казался закрытым и вполне мог бы остаться таковым в этой атмосфере взаимоисключающих атрибуций, если бы историк искусства Конфратерниты, доктор Аньезе Кьяри, не была обеспокоена чем-то в этом ценном сокровище Сан-Рокко и не обратила на это внимание доктора Фатимы Терцо, которая незадолго до начала тысячелетия посетила нас из виченцкого отделения Банка Интеза, то есть из Палаццо Леони Монтанори, она сказала, что здесь есть кое-что еще, среди всех сенсационных Тинторетто: маленькая картина, вся она не больше 56 на 81 см, явно принадлежащая традиции imago pietatis как выдвинутое Бельтингом и, следовательно, отсылающее к византийскому наследию; оно было в таком плохом состоянии, что заслуживало небольшого внимания; д-р.

Кьяри многозначительно взглянула на доктора Терцо, которая отвечала за все культурные вопросы в банке, пока та устраивала для нее просмотр в более спокойной обстановке, в маленькой камарилье на втором этаже справа, того, что здесь происходит; это можно было бы, повторила она с невинным лицом, немного подправить, потому что это очень красиво, не правда ли, спросила Аньезе Кьяри и позволила защитной парче упасть перед своей гостьей в узком пространстве камарильи, прекрасно,

— ответил доктор Терцо с изумлением, увидев картину, так что впоследствии, без дальнейших обсуждений, картина попала в руки мастера Эджидио Арланго, и началось всегда рискованное предприятие реставрационных работ, главной целью которого для Аньезе Кьяри и Школы Большого Братства Святого Рокко было остановить очевидное разрушение картины, ее физическую стабилизацию, заявил доктор Кьяри членам совета на голосовании в Коллоквиуме Братства, потому что действительно, в верхней и нижней частях работы, где холст был натянут на подрамник и, таким образом, был натянут сильнее всего, были видны серьезные повреждения, даже невооруженным глазом, так что теперь, когда господин Арланго осмотрел ее более внимательно с помощью увеличительного стекла, чтобы отметить в описи, где именно находятся самые серьезные проблемы и каков их характер, стало очевидно, что если не вмешаться, работа начнет трескаться в течение нескольких лет в этих местах, краска будет отслаиваться прочь, и, следовательно, ущерб, причиненный долгой задержкой, был бы непоправим; но в реставрационной мастерской г-на Арланго они обнаружили также и другие проблемы, здесь пятно, где интенсивность цвета ослабла, там терновый венец, потерявший свои очертания, затем выцветшие греческие инициалы по обеим сторонам головы, и в целом темный, на первый взгляд однородный фон, который уже взывал своими бесчисленными трещинами к руке г-на Арланго; так что, конечно, для всех них — Banca Intesa, г-на Арланго и доктора Аньезе Кьяри — неоспоримым первостепенным намерением было восстановить произведение искусства и остановить его дальнейший упадок; Таким образом, для всех них, но особенно для амбициозного историка искусства, преследовалась гораздо более глубоко скрытая цель: узнать, то есть решить с помощью реставрации, кто на самом деле был истинным художником, и в частности, чтобы они могли сказать, что это был, без сомнения, Тициано, или, без сомнения, Беллини, или, без сомнения, Джорджоне, и коллекция Сан-Рокко обогатилась бы крупным произведением искусства с четкой атрибуцией, чтобы доктор.

Кьяри приходил в мастерскую реставратора почти каждый день, чтобы спросить: Джорджоне? Тициано? Джованни Беллини? —

Господин Арланго, однако, долго не отвечал; кроме того, господин Арланго, с его сморщенным лицом, был человеком довольно неприятного вида, может быть, из-за своего физического уродства, а может быть, из-за чего-то ещё; он был решительно лишён чувства юмора, недружелюбен и молчалив, человек, который не любил, когда в его мастерскую входили незнакомцы; он даже не останавливался, чтобы ответить, если кто-то задавал ему вопрос, а говорил только тогда, когда это было действительно необходимо, а в данном случае это, конечно, было совершенно не нужно, потому что ничего не было определено, да и как вообще можно было что-либо определить; когда они сфотографировали картину со всех сторон, с величайшей осторожностью, и начали вынимать холст из рамы...

даже выяснение того, как выполнить эту задачу, заняло неделю — затем последовал осмотр самой рамы, и доктор Кьяри поняла, что ей придется обращаться с мистером Арланго совершенно по-другому, что лучше позволить ему работать спокойно, чтобы сократить количество ее визитов; более того, она попросила его совета, когда было бы хорошо вернуться, на что, конечно же, на кислом лице мистера Арланго появилась самая широкая возможная улыбка, когда он радостно объявил, Приходите через год, затем, резко отвернувшись от доктора Кьяри, он занялся другой картиной, начав царапать крошечным скребком балки рамы, повернувшись к ней спиной, и широкая улыбка мгновение назад превратилась в затяжную улыбку удовлетворения, обнажив его желтые зубы; Эта улыбка длилась довольно долго, эта неповторимая веселость буквально приклеилась к его кислому лицу, так что желтые зубы, вонявшие никотином, исчезли под обветренными губами на сморщенном лице мистера Арланго только тогда, когда он услышал за звуками скрежета ножа по раме, как кто-то вышел из студии и тихо закрыл за собой дверь.

Г-н Арланго мог бы сказать, что, вопреки всем ожиданиям, картина была совсем не в таком плохом состоянии, как можно было бы предположить на первый взгляд, и он мог бы сказать, что это было связано с тем, что картина уже была отреставрирована пятью или шестью десятилетиями ранее; ибо если, на внутреннем языке г-на Арланго, эту более раннюю реставрацию можно было бы назвать мещанской и безответственной, тем не менее было полезно, очень полезно, что оригинальный холст был подкреплен и затем натянут на другой холст, и укрепленная картина была снова помещена на подрамник; они, однако, прибегли к трем неприемлемым процедурам, как это случилось; во-первых, пробормотал себе под нос синьор Арланго, они не учли, как краска трескалась и отслаивалась от холста; во-вторых — он сосчитал про себя на пальцах — они ретушировали, точнее, перерисовывали правую бровь Христа Господа нашего, волосы Христа Господа нашего и плечо Христа Господа нашего; и три, схватив его большой, указательный и средний пальцы и сжав их в ярости, они просто измазали поверхность картины какой-то дешевой дрянью, какой-то лакоподобной субстанцией, которая со временем окислилась и пожелтела, и на этом судьба картины была решена, потому что это по большей части испортило ее, точнее — и с нарастающей внутренней силой своих слов он ударил кулаком в воздух — они исказили первоначальный эффект картины, изрубив и в конце концов уничтожив саму картину, потому что это привело к изменению всего произведения искусства, что непростительно со стороны реставратора, чье дело как раз и состоит в том, чтобы вернуть произведению дух его первоначального создания, но эти, — мистер Арланго покорно махнул рукой, — они не могли быть реставраторами, реставратор никогда бы так не поступил, такие методы используют только любители, дилетанты-художники, и, произнося эти слова —

дилетанты-художественные халтурщики — мистер Арланго успокоился, потому что, когда в ходе своей работы он вступил в контакт с

дилетанты, он выносил свой приговор, называл их такими, какие они были, и всё, он закончил, больше не беспокоясь об этом, а только о том, как сделать их безвредными, если это ещё возможно; в такие моменты, как сейчас, он погружался в глубокую сосредоточенность, смотрел на картину часами, обдумывая, что нужно сделать, какую работу нужно закончить, в каком порядке её следует выполнять, какие материалы использовать, какие экспертизы провести

— затем он принялся за работу, и в такие моменты его действительно не хотелось беспокоить, да и вообще не хотелось его беспокоить, как уже убедилась на собственном опыте доктор Аньезе Кьяри; поэтому она не могла знать, что происходит в мастерской, ничего об исследованиях, о том, какие материалы используются, какие методы работы и в каком порядке они проводятся — поэтому, когда настал день, то есть когда начались исследования и картина оказалась под освещением специального рентгеновского аппарата, результат оказался настолько удивительным, что даже синьор Арланго вряд ли рискнул не сообщить заказчику, потому что знал, о чем идет речь, и это было вряд ли случайным — установить, другими словами, кто был художником — хотя, внимательно рассмотрев картину, ему уже стало ясно, по характеру рисунка и различному качеству деталей, что работа была результатом усилий не одного, а двух художников; но сам он был весьма удивлен, когда — просвечивая картину рентгеновскими лучами, замечая разницу в пигментах, а также в слоях имприматуры и грунтовки, лежащих друг на друге, пытаясь определить их качество, состояние и вид — он мельком увидел имя, подпись, написанную в обычной манере чинквеченто на самой деревянной доске; она была помещена намеренно — или, во всяком случае, до начала написания работы — в пространство картины: тогда он больше не колебался, он уведомил Конфратерниту прислать кого-нибудь, так как у него было что-то важное для показа на картине, так что после того, как доктор

Аньезе Кьяри из Сан-Рокко приехала снова, господин Арланго просто положил снимок за рентгеновский аппарат, выпроводил гостя из мастерской, нажал на пульт в руке, вынул предметное стекло и проявил его, и только тогда он позвал ожидавшую в коридоре гостью обратно, усадил ее на стул, но ничего ей не сказал, вообще не произнес ни слова, только схватил рентгеновский снимок, теперь висевший на веревке, натянутой поперек окна мастерской, и протянул ей, молча отошел к своему рабочему столу и сделал вид, будто снова что-то царапает; но все это время он наблюдал за клиенткой, которая некоторое время молча смотрела на снимок, затем встала со стула, подойдя поближе, чтобы лучше видеть при свете, но сомнений не было: в левом верхнем углу рентгеновского снимка было разборчиво написано имя ВИКТОР, а с другой стороны БЕЛЛИНАС и д-р.

Кьяри просто смотрела, и она не хотела верить тому, что видела, потому что этого просто не могло быть, и она просто смотрела, смотрела на имя, ее взгляд то приковывался к Виктору, то к Беллинасу, было немыслимо, чтобы этот почти безымянный никто мог... это было невообразимо, никто не собирался ей верить, но все же совет Сан-Рокко, все ждали

с

батед

дыхание

для

ее

церемонный

объявление: мои дорогие коллеги, было установлено, без всяких сомнений, что создателем этой работы является Тициано, или, мои дорогие коллеги, теперь нет никаких сомнений в том, что картина была написана Джорджоне, или, возможно, я имею удовольствие сообщить вам, что в результате наших расследований создатель этой исключительной работы больше не будет предметом неопределенности, поскольку было доказано, что автором является Джованни Беллини и никто другой — за исключением того, что это был кто-то другой, подумала про себя Аньезе Кьяри и, испугавшись, решила, что лучше снова сесть в кресло, потому что имя наконец-то стало так ясно читаемым, Виктор Беллинас, который был не кем иным, как Беллини — великим

Беллини, самый неутомимый помощник Джованни, о котором — доктор Кьяри пыталась вызвать из памяти — мы почти ничего не знаем, настолько он был незначителен; конечно, есть, пожалуй, одна или две картины, которые можно приписать ему, «Распятие, обожаемое преданным» в музее Каррары в Бергамо, и, может быть, несколько других; более свежее воспоминание о картине, возможно, о двух молодых людях, всплыло из памяти доктора Кьяри, но на самом деле он не был известен как художник, а был лишь помощником художника, которому Беллини оставил часть своего состояния, то есть после потери жены и смерти сына, и он больше не женился, у него не было наследников, поскольку его плохие отношения с братом Джентиле, а также его еще худшие отношения с отцом Якопо были общеизвестны в то время, поэтому для него казалось бы наиболее уместным усыновить этого верного, трудолюбивого, заслуживающего доверия помощника, этого Витторе ди Маттео, как его первоначально звали, усыновить его просто как своего внука и завещать ему самое ценное из того, что останется после его смерти, то есть мастерскую, считавшуюся самой прославленной в Венеции в 1516 году, когда умер Беллини; это было завещано как наследство ученику самого известного художника Венеции как главное достояние, наряду с, как теперь казалось, одной или двумя незаконченными картинами; она тут же встала со своего места и, пока мастер-реставратор продолжал соскребать, демонстрируя величайшее безразличие к делу, снова подошла к картине, посмотрела на нее более внимательно и, возможно, не так случайно пришла к внезапному выводу, к которому пришел мастер мастерской в самом начале, ибо теперь она сразу увидела, что голова, ну, она как-то отличалась от целого, восхитительная сама по себе, в то время как все остальное, казалось, было написано в совершенно иной, гораздо худшей манере: это было мгновение, но Аньезе Кьяри сразу поняла, что голова принадлежала Беллини, а остальное было завершено после смерти его великого наставника Витторе ди Маттео, прозванным

Беллиниано в его честь, согласно его собственному таланту, который был не то чтобы скандальным, но просто ни в коей мере не сравнимым с гением создателя головы; там стояла посланница Сан-Рокко, и она не знала, что делать; если бы она попыталась поговорить с этим ужасным господином Арланго и спросить его мнения — зачем? — она отбросила эту идею, достаточно было бы убедить совет Братства Сан-Рокко проглотить этот удивительный результат и признать, что жизнь, безусловно, немного сложнее, чем присутствующие здесь, нынешнее поколение, хотели бы признать; то есть картина совершенно безупречна, объяснила совету Аньезе Кьяри, с энтузиазмом снова и снова поднимая увеличенное изображение рентгеновского снимка, она безупречна во всех возможных смыслах этого слова, сказала она, в одном смысле потому, что мастер Арланго, после необходимых химических испытаний, смешал определенный растворитель, с которым

«защитный лак», принадлежавший неизвестной, но дилетантской руке, был удален, и теперь картина сияет в своей безупречности, в своем собственном оригинальном характере; но она безупречна также и в том смысле, что теперь мы знаем без тени сомнения, кто ее написал, после чего члены совета обменялись многозначительными взглядами и с большим ожиданием посмотрели на историка искусства, и если услышанное не сделало их безоговорочно счастливыми, то потому, что теперь это был Беллини — или не Беллини? —

они спрашивали друг друга: вы понимаете? вопрос ходил туда-сюда, я лично не понимаю, приходил ответ то тут, то там, и поскольку доктор Кьяри видела, как трудно членам совета принять истину, она снова и снова повторяла, что голова, и голос ее торжествующе разносился по залу, — принадлежит Беллини; картина же, продолжала она, принадлежит разным рукам; можно предположить, что этот самый Беллиниано нашел эту чудесную голову среди полотен, которые были начаты его хозяином в завещанной ему мастерской, и искусно, так что он мог быть там и в то же время не быть

там — он едва мог заставить себя написать имя своей персоны, наконец выйдя из тени своего хозяина, и все же он не мог вынести того, чтобы не написать его — поэтому он написал свое имя, разделив его между левой и правой сторонами головы, а затем закрасил ее, другими словами, скрыл всю вещь; ведь он, конечно, хорошо знал, что может продать ее как картину Беллини за огромную сумму в любом месте и в любое время, тогда как незаконченный Беллини, на самом деле едва начатый Беллини — не говоря уже о том, что если бы он выдал, что, кроме головы, он написал всю картину — не принес бы ему ничего, кроме нескольких монет, поэтому он написал то, чего не хватает, как мог; три греческие буквы по обе стороны головы, обнаженный торс, плечо, две руки, переплетающиеся на переднем плане картины, и он создал для всего этого темный фон, так что лицо, чью завораживающую силу он сам никогда бы не смог вызвать, словно вырвалось из темноты с его безграничной покорностью, что-то подобное и произошло, это несомненно, — доложил доктор Кьяри членам совета, — и таким образом бесконечные проволочки наконец-то могли закончиться, после чего члены совета, слегка смутившись, начали кивать головами и согласились со всем, что рекомендовал историк искусства, а именно, что картину не следует возвращать в ее старый угол в Альберго, а следует поставить на подставку на видном месте в большом зале, и о ней следует написать статью, потому что они могут быть совершенно уверены, — заверила своих коллег Аньезе Кьяри, — что историки искусства, если они не сделали этого раньше, теперь обратят внимание на эту картину, так что пусть его следует выставить со всем уважением, подобающим великому творцу, его следует осветить прожектором, и тогда они увидят, что имя Сан-Рокко станет еще более прославленным, ибо то, что им удалось сделать с помощью этого Витторе, не было каким-то старым открытием, запомните мои слова, повторил доктор.

Кьяри, все будут об этом говорить; в котором,

Однако ученый сильно ошибался, потому что в профессиональном журнале для реставраторов, написанном неизвестным историком искусства Джованной Непи Шире, была опубликована всего лишь заметка в несколько строк, и все это осталось на страницах Restituzioni 2000, который из-за слишком специализированной природы направленности журнала не мог достичь наиболее затронутых лиц, так что они ничего не знали об этом открытии, ни Темпестини, ни Гоффер, ни Бельтинг; а широкая публика, наконец, вообще ничего не знала, так что теперь, стоя на площади перед Сан-Рокко в солнечном свете, проникавшем сквозь железные ворота, когда он готовился наконец войти в здание и во второй раз отыскать работу на ее обычном месте; Внутри, на первом этаже, продавец за билетной кассой ждал туристов, постоянно раскладывая одну и ту же открытку с одной и той же подписью, взятой с известной картины, точно так же, как одиннадцать лет назад, когда он впервые сюда приехал, вошел и внезапно столкнулся с Мертвым Христом там, на втором этаже, в маленькой комнате, открывающейся слева от широкой лестничной площадки, в углу отеля Albergo, не освещенной даже единым светом.

Группа, с которой он приехал, на самом деле не хотела возвращаться в центр города; из-за общей усталости предложенное направление казалось обратным, но никто не хотел возвращаться, никто не думал, что эта венецианская экскурсия должна закончиться, и они вернутся на вокзал; они хотели отдохнуть, это была правда, но не допустить, чтобы она закончилась, расслабиться, поесть и выпить, потому что они действительно устали от целого дня ходьбы; когда он предложил, чтобы, прежде чем сидеть в каком-нибудь ресторане, они непременно, по крайней мере, осмотрели Сан-Рокко, пока он еще открыт, сначала последовал однообразный и протяжный ответ «нет», дети в особенности начали хныкать, а затем кричать во весь голос даже при одном упоминании о посещении музея, но затем он сказал, что можно посидеть

внизу, в Сан-Рокко, и что согласно путеводителю, на Кампо Сан-Рокко или поблизости есть фонтан, более того, по дороге есть также весьма необычное кафе-мороженое, ну, с этим он одержал победу, компания начала склоняться к этой идее, хорошо, сказали они, Сан-Рокко, прекрасно, но это последняя остановка перед рестораном, и если не будет ни фонтана, ни кафе-мороженого, они свернут ему шею, запомните их слова — они были веселы и опьянены тем, что называется ослепительной красотой Венеции, и на Кампо Санта-Маргарита был продавец мороженого, откуда они внезапно вышли, слегка отклонившись от прямого маршрута, но затем, найдя тенистое место, когда они отошли к стене одного здания, чтобы лизнуть свое мороженое, они заметили, что на площади открыто по крайней мере два привлекательных на вид ресторана; Сначала они попытались отговорить его от всей идеи Сан-Рокко, заявив, что Тинторетто — именно из-за него они приехали — был просто заносчивым

«что-нибудь», как выразилась одна дама из группы, чтобы они просто бросили всю эту затею; затем, однако, когда они увидели, что он действительно твердо решился и хочет пойти туда во что бы то ни стало, они посоветовали ему, что эта Кампо Сан Маргарита достаточно заманчива, чтобы все могли сесть в одном из двух ресторанов, и если он так решительно настроен, что ж, он может поехать, на карте Сан Рокко был не так уж далеко отсюда, и на самом деле это было не так, хотя он снова заблудился у Рио Фоскари, но затем кто-то помог ему, указав правильное направление, так что не прошло и десяти минут, как он уже стоял перед Сан Рокко; так как на площади было слишком жарко, он сразу вошел в здание, думая, что бросит быстрый взгляд, что он все-таки не пропустит Тинторетто, а затем поспешит обратно, потому что ноги у него уже сильно горели, и он тоже, конечно, был очень голоден и хотел пить, так что просто Тинторетто, решил он, он пожалеет об этом позже, если, ссылаясь на усталость, ему придется признать, что он ничего не видел, поэтому он вошел внутрь, купив входной билет, который был более

дороже обычного, но он забыл взять с билетом экскурсовода по музею, так что сначала он подумал, что это все, первый этаж, что это вся Школа Сан-Рокко, и он начал искать Тинторетто и даже нашел восемь из них, но ни один не произвел на него никакого впечатления, то есть, эти Тинторетто были не настоящими, здесь, в этой большой комнате, которая была холодной, не очень красивой и немного отталкивающей, с ворчащей компостером у входа и за ней, на нескольких столах, предлагали дешевые копии знаменитых имен этого места, и такой же ворчливый служащий, так неужели это действительно так, подумал он, немыслимо, чтобы здесь не было настоящих Тинторетто, и он собирался вернуться к билетной кассе, чтобы узнать, где находятся настоящие Тинторетто, когда слева от себя он заметил широкую лестницу, и так как не было никакого знака на нем было написано, что туристам вход воспрещен, он начал подниматься по нему, немного робко; Первые шаги его были неуверенными, но потом, когда никто его не окликнул, он стал ещё решительнее и, извиваясь, поднялся на лестничную площадку, словно с самого начала точно зная, куда идёт, и там, на лестничной площадке, он понял, что он дурак, деревенщина из Восточной Европы, безнадежно бесчувственная фигура, ибо на лестничной площадке две фрески Пьетро Негри и Антонио Дзанки открыли ему, что он сейчас в нужном месте, что именно сюда ему следовало прийти сразу же, и вот, на этом верхнем этаже — конечно, то же самое было со всеми, кто приходит сюда впервые, он тоже был здесь впервые — ему вдруг пришло в голову, что он забыл перевести дух, настолько это было неожиданно, и для него это тяжёлое великолепие, ожидающее посетителя, обрушилось на него так неожиданно: потолок, расписанный золотом, богатая лепнина, и посреди всего этого настоящий Тинторетто, его подавляющие картины, поражающие его с такой силой, и геометрические узоры на мраморном полу под его ногами, он был настолько ошеломлен их

физическая красота, на которую он не знал, как не наступить; так что его движения направлялись только этим, и оставалась еще какая-то неуверенность, как будто у него постоянно кружилась голова, и у него кружилась голова, сначала он ступил на мраморный пол с дурным предчувствием, как будто он был недостоин этих шагов, и сначала он долго не решался даже взглянуть на потолок, потому что чувствовал, что действительно теряет равновесие, боже мой, вздохнул он, медленно начиная скользить туда-сюда, он понятия не имел, с чего начать и с чего, потому что что ему делать с этими настоящими, но гигантскими Тинторетто, что ему делать с этим ослепительным светом, прикрепленным к окнам, ведь в этом свете ему открывались вещи, которых он просто не заслуживал, подумал он с тревогой, затем он снова двинулся вперед, подошел к противоположной стене и быстро сел на неудобный современный стул, который можно было закрывать и открывать, целый ряд таких стульев был установлен вдоль обеих продольных стен, и именно тогда он мог бы собраться с немного, как из глубины зала к нему очень решительно направился охранник и указал на что-то за стульями: там, где под окнами, примерно через каждый метр, на стене висела какая-то бумага, наклеенная на чудесные резные украшения, охранник указал на нее и пробормотал что-то по-итальянски, из чего он не понял ни слова, пока наконец ему в руку не вложили одну из бумаг, на которой было написано также по-английски: НЕ САЖАТЬСЯ!; кивнув, он вскочил и, не спрашивая, где еще и зачем вообще здесь поставили стулья, медленно начал проходить мимо окон, но солнечный свет продолжал его слепить, так что он едва мог разглядеть даже огромных Тинторетто; наконец он обошел кругом и снова начал медленно скользить, то пристально глядя на потолок, то на Тинторетто, и так продолжалось, и он не мог даже представить себе, что в этом дворцовом зале такое изобилие, какое было создано, изумительное, но все еще слишком тяжелое для него, может быть вообще возможным,

потому что это было слишком, он был слишком подавлен этой роскошной красотой и излишеством, так что с облегчением обнаружил открытую дверь в конце зала, которая вела в маленькую боковую комнату; он быстро поспешил туда, так как полагал, что здесь будет меньше великолепия, и, главное, что он не будет так пристально наблюдать за стражником, который — поскольку он был единственным посетителем, способным что-то попробовать, поскольку он осмелился сесть — постоянно пытался встать у него на пути, практически преследовал его, не оставляя его в покое ни на минуту; Конечно, охранник делал вид, что не наблюдает за ним, но он все время возвращался к двери маленькой боковой комнаты, чтобы посмотреть, что тот делает, но что он мог сделать, спросил он себя, кроме как медленно дюйм за дюймом вдоль стен перед колоссальными картинами, и как раз когда он собирался выйти из комнаты с намерением покинуть музей как можно скорее — так как музейный охранник был для него слишком тяжел, как и, собственно, весь дворец — и теперь ему действительно нужно было отдохнуть, ему нужно было отдохнуть от всей этой беспримерной, но сложной помпезности и монументальности, и он собирался вернуться в большой зал из меньшей боковой комнаты, когда он заметил, что в углу стоял стенд для картины — закопанный, как будто он не был объектом большого внимания — и на стенде для картины была маленькая картина; его взгляд упал на нее, и он отступил назад с серьезным видом, чтобы успокоить охранника, который снова уставился на него, он встал перед ней, как настоящий посетитель музея, или, по крайней мере, как он представлял себе настоящего посетителя музея, он встал перед маленькой картиной, на которой был изображен полуобнаженный Христос, голова которого была так мягко склонена набок, а на лице был такой бесконечный и потусторонний покой, что он не мог определить, лежит ли фигура или стоит, во всяком случае, где-то перед животом две руки переплетались, и была ясно видна слегка неловко нарисованная кровь, которая капала с раненых рук, но на лице не было ни малейшего следа страдания, оно

было очень необычное сходство; Волосы Христа, сияющие золотом, кудрями падали на его тонкие плечи, и снова и снова эта ужасная покорность и смирение, потому что — и он первым это обнаружил — в противоположность всему спокойствию и миру, на этом лице было глубокое, невыразимое словами отчаяние, и весь образ сиял из тьмы, словно золото в самой глубокой ночи, он смотрел, смотрел на этого странного Христа, и не мог отвести взгляд, его больше не беспокоил стражник, который только что не просто заглядывал, а стоял в дверях с самым явным выражением подозрения, наблюдая за ним, не собирается ли он совершить еще один скандальный поступок, как только что в другой комнате со стульями, но хотя это и случалось, он больше его не видел, он даже не осознавал, что стражник наблюдает за ним, в тот момент он ничего не видел, ибо смотрел в глаза Христа, пытаясь понять, что же делает этого Христа таким особенным и требует его полного внимания, он смотрел в эти глаза, которые были так завораживающи, потому что Вот что произошло: картина, эта фигура Христа, похожая на imago pietatis, заворожила его, он искал какой-то точки опоры, но не было никакого полезного объяснения, ни под картиной, ни на установленном стенде, ни на стене, перед которой он стоял, ничего, касающегося художника или сюжета, они просто поставили этот торс Христа у стены в углу, как будто организаторы выставки в Сан-Рокко хотели сказать — ну, у нас тоже есть эта картина, она не слишком интересна, но пока она здесь, мы просто повесим ее здесь, так что посмотрите на нее, если вам интересно, и ему было интересно, он действительно не мог отвести от нее взгляд, и затем он внезапно понял почему: оба глаза Христа были закрыты, ах да, вздохнул он, как человек, который нашел подсказку, но он ее совсем не нашел, и это было еще более тревожно, потому что ему нужно было смотреть еще, но теперь он смотрел только на два закрытых века, и ему приходилось терпеть знание того, что он не узнал

Поняв странность происходящего, он снова взглянул на все в целом — на хрупкие плечи, на голову, склоненную набок, на рот, на тонкие пряди бороды, на тощие руки и на две кисти, так странно сложенные вместе, — и вдруг осознал, что веко Христа как будто немного сдвинулось, как будто эти два века дрогнули; он не потерял рассудок, поэтому сказал себе: нет, это невозможно, он отвел взгляд, потом снова посмотрел, и два глаза снова замерцали, это совершенно невозможно, подумал он испуганно, и он уже готов был резко выйти из комнаты, потому что было ясно, что усталость играет с ним, или что он просто слишком долго смотрел на картину и у него галлюцинации, поэтому он вышел из маленькой комнаты и, пройдя мимо охранника, решительно направился к лестнице, но там, прежде чем действительно поставить ногу на ступеньки, он снова подумал и повернулся, так же решительно, как вышел, он вернулся, даже взглянув на охранника, и это тоже помогло ему, потому что по выражению лица охранника, когда он резко обернулся, было легко судить, и кто смотрит на него еще более подозрительно, чем прежде, если это вообще возможно; было ясно, что с точки зрения охранника, он был наглым психом, за каждым шагом которого нужно было внимательно следить; и в самом деле, в этом что-то было, он не был до конца уверен, что не сошёл с ума, потому что что там творится с этим Христом, спрашивал он себя, он не пошёл в маленькую комнату, а, бросая вызов охраннику, плюхнулся на стул, ближайший к маленькой комнате; охранник, однако, не хотел, или, скорее, не видел смысла заставлять его вставать; здесь, однако, он заметил краем глаза объявление, напечатанное на бумажках, велящее людям не садиться; давайте подумаем об этом ещё раз, подумал он с содрогающимся животом, возможно ли это? — это невозможно, внутри есть картина, тело Христа, с головой, склонённой набок, кроткий, покинутый Христос; кто-то его написал, кто-то повернул

его в идеал, и кто-то смотрит на него, в данном случае я, сказал он, и он не был вполне уверен, говорит ли он вслух или нет, в любом случае охранник подходил довольно близко к нему, так что когда он решил, что войдет, чтобы все проверить, он чуть не задел его одежду, они вдвоем не помещались в дверной проем, и он снова встал перед торсом Христа, он заставил себя не смотреть на него некоторое время, но потом, конечно, он посмотрел на него, потому что именно для этого он вошел, и два века Христа снова дрогнули, но теперь он вообще не мог отвести взгляд, а скорее его взгляд был прикован, и он смотрел, изумленно глядя на эти закрытые глаза, он знал без сомнения, что глаза этого Христа дрожали, и что они снова будут дрожать, потому что этот Христос ХОТЕЛ

ОТКРОЙ ГЛАЗА... но тут, когда он это осознал, он уже был в большом зале, направляясь к лестнице, уже сбегал по лестнице, свернул на площадку и уже оказался на нижнем этаже, вышел из-за продавца открыток и билетеров на открытый воздух, в толпу людей, которые, ничего не подозревая, сновали туда-сюда под приветливым солнцем Кампо Сан-Рокко.

Он был здесь в последний раз одиннадцать лет назад, но, если не считать того, что волосы у него совершенно поседели, как будто ничего не изменилось, и это его поразило, потому что обычно по крайней мере опрокидывается булыжник, обрывается водосточная труба, или там, где была пиццерия, теперь кафе, или новый фонтан, или что-то в этом роде; здесь же — он снова окинул взглядом площадь — не было, во всем этом Богом данном мире, ни единого различия; да, это правда, что Скуола Гранде отреставрировали, но она стала только немного чище, немного однообразнее; она не изменилась, не стала ни свежее, ни живее, ни ярче, и не ровнее, как в

«новые времена», как это часто бывает в других городах, когда здание реставрируется, потому что в этом случае оно действительно реставрируется

и делается попытка вернуть его в образ первоначального состояния, что совершенно невозможно; ведь каждый материал различен, воздух различен, влажность различна, загрязнение различно, и те, кто все это выносит, кто смотрит на него, кто ходит вокруг него, также различны; здесь, однако, такой ошибки не было допущено; одним словом, все осталось по-прежнему, решил он, приближаясь к освещенной солнцем части площади; теперь он стоял перед великолепными окнами главного фасада; он сел у железных ворот, солнце приятно согревало его конечности, и от того, как его преследовала Розовая Рубашка, не осталось ничего, кроме неудавшейся ошибочной истории, которая, возможно, даже никогда не происходила, хотя снова статья на первой полосе Corriere della Sera пришла ему на ум, и вместе с ней — совершенно неуместно и бессмысленно — его память каким-то образом подсказала слово Gehenna, переведенное как слово Иисуса в венгерской Библии как обозначающее Ад, но на самом деле обозначающее Ге-Хинном, близ Иерусалима, где сжигали отходы, так что, когда он наблюдал за целостной красотой здания и когда он позволял солнцу согревать свое старое тело, все это стало настолько совершенно неуместным там, где он на самом деле был — мысль-фрагмент без смысла, зигзагообразная и мимолетная, вызванная простым совпадением, как и сам Розовая Рубашка, а также его преследование и вся эта поездка сюда — и все это имело так мало, так мало общего с картиной нормальности, которую предлагали толпы, гуляющие по квадрат, это имело так мало, так мало общего с ним, или с тем, почему он сейчас в Венеции, или с тем, что в конце концов ожидало его там, внутри здания, так что он сознательно и окончательно стер все это из своей памяти, если он все еще не мог набраться смелости немедленно войти внутрь, ибо там, внутри, на втором этаже, была единственная значимая вещь во всем его бессмысленном существовании: и все его бессмысленное существование, так сказать, наваливалось на эту картину небольшого размера; он так часто думал о ней за последние одиннадцать лет, так часто вызывал ее в своем воображении,

так часто он брал в руки эту маленькую рамку с репродукцией, продававшейся в виде открытки и позволявшей ему сохранить сходство с картиной, пусть даже и ужасного качества, и так часто пытался он понять, как то, что произошло, могло произойти там, в углу «Альберго», — так и теперь, стоя в двадцати или двадцати пяти шагах от входа, он с трудом мог решиться войти; Солнце, однако, уже садилось, тени на площади становились все длиннее, полоска солнечного света все сужалась, так что ему пришлось учесть, что у музея также есть часы работы, из которых последние два были ему необходимы, поскольку таков был его план: приехать на самом деле, перед самым закрытием, когда внутри, возможно, будет меньше всего людей, там будет два часа, затем вернуться в Сан-Поло 2366, поужинать с дружелюбным владельцем пансиона, затем на следующее утро уехать из Венеции, вернуться в аэропорт Сан-Марко к самолету, поскольку в этом и заключался вопрос: что произошло тогда, и как это могло произойти, и случаются ли вообще подобные вещи, а также более масштабный вопрос: что, если это произойдет снова, повторится ли это...

что-то, раз уж он не мог выговорить слово «чудо», даже про себя, а может быть, ему и не хотелось его произносить; он немного покашлял, словно кто-нибудь в толпе мог услышать его мысли, но нет, и он перестал прочищать горло, встал, вошёл в подъезд, купил билет — семь евро? — удивлённо спросил он, уже смутно вспомнив стоимость входа, — и, как слепой, который знает дорогу с абсолютной уверенностью, уже спешил вперёд в своих чёрных полуботинках, которые цокали по мраморному полу, звеня так отчётливо, что продавец открыток и кассирша, уже повидавшие здесь всякое, смотрели ему вслед со всё возрастающим негодованием — напрасно, седая голова внушала уважение —

пока он не достиг другой стороны комнаты, входа на лестницу в середине, а затем поднялся по лестнице в

направо — на лестничную площадку, и он уже стоял в верхнем зале Скалоне, с его захватывающим дух великолепием, но он даже не взглянул на потолок или на стены, или вниз на мраморный пол, он просто сразу же повернул налево и вошел в Альберго, он мгновенно повернул налево и стоял там, в углу, где должен был быть стенд для картин, но в этом углу ничего не стояло, Альберго был полностью переставлен, в нем стояли какие-то стулья эпохи Возрождения, и эта комната, которая изначально служила рабочим местом человека, управляющего повседневными делами Скуолы, была ими заполнена, только потолки остались нетронутыми, только стены остались нетронутыми, везде висели одни и те же картины, конечно, снова Тинторетто, некогда член ордена; но особые стенды для картин из Альберго, на которых были выставлены две работы, одна из которых была той, которую он сейчас искал, нигде не было видно; но теперь ничего нет, все выметено начисто, что здесь произошло, он непонимающе огляделся, что они здесь сделали, он начал нервно ходить из одной стороны Альберго в другую, но картины нигде не было, и вдруг та же судорога сжала его живот, и его ударил тот же холодный сквозняк, как когда его преследовали около Фрари, та же судорога и тот же озноб, он метался туда-сюда, я должен найти кого-то, кто поймет, чего я хочу, подумал он и начал направляться к кому-то, похожему на охранника, который сидел в одном из кресел в заднем ряду большого зала, явно глубоко погруженный в то, что он читал, конечно, все время впитывая все, что происходило в большом зале, это невозможно имитировать, невозможно угадать, как они это делают, невозможно постичь; Однако он почувствовал, что служитель сразу же заметил его, когда он пришел в себя от мысли, что картины больше нет, когда он появился в дверях отеля Albergo в оксфордах, которые

странно ударилась и звякнула о мраморный пол и направилась к нему, охранник ясно увидел фигуру с белоснежными волосами, но тот не пошевелился, он даже не поднял глаз от книги, напротив, еще до того, как он туда добрался, он перевернул страницу и слегка взъерошил страницы, слегка приподняв голову, словно человек, дошедший до начала новой страницы, поэтому, когда он услышал вопрос на импровизированной смеси итальянского, испанского, французского и английского, где находится маленькая картинка, и ему показали ее примерные размеры и где она была, внутри, в левом углу Albergo на подставке-мольберте, другими словами, ему показали, а не заговорили, охранник развел руками и покачал головой, недвусмысленно показывая, что он не понимает, чего хочет посетитель, и уже опускался, чтобы сесть и снова читать, но тут посетитель явно пришел в отчаяние и начал объяснять еще более горячо, теперь мешая свой собственный язык с итальянским, и он только указывал и жестикулировал, и в этот момент охранник еще раз и в последний раз покачал головой и показал руками, что он не понял, посетитель должен понять, что он не понял, — и с этим он наконец сел на свой стул, закинув ногу на ногу, он явно ненавидел туристов и особенно их вопросы; он открыл книгу, затем с раздраженным выражением лица начал пытаться найти, где он остановился, прежде чем его прервали, и посетитель, в своей беспомощности, оставил его там и пошел вперед, вслепую, Тинторетто на колоссальных стенах просто висели, висели рядом с ним, как вдруг, словно человек, чья нога вросла корнями в землю, он остановился, прижался головой вперед и, напрягая глаза в передней части комнаты, залитой довольно тусклым светом, уставился в направлении гигантской сцены Сан-Рокко, помещенной точно по центру стены, точнее, он уставился прямо перед собой, слева от Алтаря, потому что именно там она была, именно там ее поместили, оттуда она смотрела на него, издалека —

Большой зал был перепланирован, так что сцена Сан-Рокко была отделена от остальной части зала довольно громоздкой мраморной балюстрадой высотой по колено, а стенд с картиной — как будто это был обычный мольберт — был помещен в эту зону, как раз достаточно далеко сзади, чтобы ни один посетитель не мог физически прикоснуться к нему, и, таким образом, ему не было причинено никакого вреда, но достаточно близко и ярко освещенным в полумраке, чтобы любой желающий мог ощутить себя в его непосредственном присутствии; и именно этого он хотел; он окончательно оставил позади себя музейного охранника, листающего его книгу, и медленно, все медленнее, осторожно переставляя ноги вперед, так, чтобы щекочущие нервы щитки для каблуков едва касались пола, он шел вперед, он шел, пока черные оксфорды с укрепленными подошвами не уперлись в три широкие ступени, ведущие прямо наверх к мраморной балюстраде, так что каждый мог, если бы захотел, подойти как можно ближе к картине; он все еще хотел подойти как можно ближе к картине, но когда он там стоял, его так смутило, что снова увидел Христа, сияющего из темноты, так сильно это подействовало на него, что он даже не мог заставить себя как следует посмотреть, так что он даже ничего как следует не увидел, и в частности картины в целом, ибо он видел только детали, его взгляд перескакивал с одной детали на другую, как будто его намерение охватить всю картину своим смущенным взором было намеренно сделано невозможным им самим этими перескакиваниями с детали на деталь; Вдруг он огляделся вокруг и почувствовал себя нелепым, словно истеричка, подумал он, и отступил на пол, вынужденный при этом смотреть вперед, на ступеньки, чтобы иметь возможность спуститься по ним, так что, когда он снова оказался перед ней, ему снова пришлось посмотреть вверх, и к этому моменту он немного успокоился, вокруг почти не было людей, только охранник музея, сидевший сзади со своей книгой, условия были почти идеальными, он мог бы сказать, все было тихо, потому что теперь Тинторетто и роскошная резьба по дереву на стене

поглотил даже последнее эхо от его ботинок, была тишина и полный покой, только пожилая пара с фотоаппаратами, висящими на шеях, но они были далеко, у входа в Albergo; он смотрел на картину, он смотрел на Христа, и то, что так смехотворно не удалось сначала, теперь стало само собой разумеющимся, то есть он посмотрел Христу в лицо, наконец он посмотрел на два закрытых глаза, и вдруг ему стало очень тепло, без единого узла в животе, без холода в теле, только это тепло, которое затопило его; он сделал шаг назад и тут же почувствовал, что устал: ему нужно сесть, пробормотал он, возможно, вполголоса, и оглянулся на охранника, но он не был похож на человека, который вот-вот вскочит и прибежит сюда, если он сядет, поэтому, даже не потрудившись разложить полоски бумаги позади стульев, как это было одиннадцать лет назад, он опустился на сиденье ближе всего к картине Христа, чтобы смотреть на нее оттуда; он подождал, может быть, с минуту и с облегчением понял, что охранник даже не навострил уши, а продолжал читать, поэтому он уселся поудобнее и стал изо всех сил смотреть, чтобы увидеть, что осталось от Христа одиннадцатилетней давности, он смотрел изо всех сил и теперь осмелился рискнуть остановиться взглядом только на глазах Христа, он сидел неподвижно, повернулся немного влево, чтобы охватить взглядом полотно, и его взгляд глубже погружался в глаза Христа, и он ждал, он ждал, не дрогнут ли ресницы, и не повторится ли то, что однажды произошло в этом здании, он смотрел на картину, сидя неподвижно; был установлен свет, и все это было, пожалуй, слишком освещено; однако этот свет делал каждую деталь прекрасно видимой, даже отсюда, с кресла: бесконечное одиночество обнаженного торса, плечи и руки, написанные довольно неловко — неловкость, которая лишь яснее показывала их хрупкость; и он прекрасно видел, что оба глаза не мерцали, а медленно открывались — он

так испугался, что быстро посмотрел и на правый глаз, чтобы проверить, правда ли то, что произошло с левым, но затем потерял ясность зрения, оба глаза снова вернулись в состояние закрытых, что здесь происходит, у меня галлюцинации или это какой-то оптический обман, что это, он наклонился вперед и опустил локти на колени, и закрыл лицо руками, затем он снова огляделся, чтобы увидеть, наблюдает ли за ним кто-нибудь, но ничего, пожилая пара все еще была здесь, сколько времени вообще прошло? — затем вошли и другие, мужчина средних лет, один, затем две молодые девушки, которые тут же начали играть с одним из зеркал, поставленных у стола для посетителей музея, позволяя им, если они правильно его держали, поближе рассмотреть любую часть потолочного орнамента, которая могла их заинтересовать; в общем, это был тот, кто был там, и никто не обращал на него внимания, с фигурой, сгорбившейся вперед, просто смотрящей на изображение Христа, просто смотрящей и даже не двигающейся, НО ОН ОТКРЫВАЕТ СВОИ

ГЛАЗА, отметил он про себя; затем он снова попытался набраться смелости, чтобы устремить свой взгляд на два глаза Христа, НО КАК ТЕМНЫ эти глаза, это было леденяще, как будто ТЕПЕРЬ ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛИ ПОЧТИ СОВЕРШЕННО

ОТКРЫТО, зрачки едва были видны, а белок глаз и вовсе не был виден, он был совершенно затуманен, темная тьма лежала в этих глазах, и казалось невыносимым, что от этой темной тьмы исходила такая бесконечная печаль, и не печаль страдающего, а страдавшего, — но даже не это; он встал, а затем откинулся на спинку стула, речь здесь идет не о страдании, а только о печали, печали, которую невозможно охватить во всей ее полноте, и совершенно непостижимой для него, безмерной печали, он посмотрел в глаза Христа и ничего больше там не увидел, только эту чистую печаль, как будто это была печаль без причины, он застыл при мысли об этом, ПЕЧАЛЬ, ТАКАЯ ЖЕ, КАК

ТО, ДЛЯ ВСЕГО, для творения, для существования, для существ, для времени, для страдания и для страсти, для рождения и

разрушение — и вдруг какой-то шум ударил его в уши, голова на мгновение прояснилась, и через некоторое время он понял, что это просачивается снаружи сюда, о, эти гуляющие на площади, это идет оттуда, подумал он, затем его охватил ужас при мысли о Христе и его скорби, а снаружи толпа, большею частью молодые юноши и девушки, весело кишащая, он вспомнил людей, которых видел снаружи; эта непонятная скорбь, она ворвалась в него, как-то затерялась в corso молодых юношей и девушек снаружи; все, однако, по-прежнему там, и все теперь так, и все теперь по-прежнему там, и все так — НО ДЛЯ ЧЕГО, спросило что-то внутри него, и он почувствовал этот вопрос, как будто его поразила молния, но не вспышка молнии узнавания, а вспышка молнии стыда — ибо ему было стыдно, что это произошло так, что вот Христос в самом полном и ужасном смысле этого слова — сирота — и вот Христос ДЕЙСТВИТЕЛЬНО И ИСТИННО, но он никому не нужен — время прошло мимо него, прошло мимо него, и вот Он прощается, ибо Он покидает эту землю, он содрогнулся, услышав эти фразы в своей голове, и о Боже, что теперь, какие ужасные мысли — я должен вставать, решил он, я наконец-то увидел то, что пришел сюда увидеть, теперь я могу идти, так что он увидел себя, когда встал и спустился по ступеням, ступив среди молодежи Кампо Сан-Рокко, и он смешался с водоворотом раннего вечера; он не двигался, он просто сидел в кресле и видел, как спускается по лестнице, видел, как выходит из здания и садится в вапоретто, отказываясь от ужина и оставляя багаж на Сан-Поло 2366, как его отвезут из Сан-Тома прямо на вокзал, а оттуда — в аэропорт Сан-Марко, чтобы сбежать из Венеции, вернуться туда, откуда он пришел, да, он видел, как на самом деле спускается по знаменитой лестнице —

только он не знал, что для него никогда не будет выхода из этого здания, никогда.

8

НА АКРОПОЛЕ

Таксисты постоянно донимали его в ужасной толпе, нет, нет, оставьте меня в покое, сказал он сначала, потом он не ответил и, отталкивая их, пытался избегать их, в то же время показывая своим взглядом, что нет, нет, только невозможно ни избежать их, ни заставить их перестать толкаться вокруг него, они буквально окружали тебя и бубнили тебе в ухо: Синтагма, и Акрополь, и Монастрикай, и Пирей, Агора, Плака, и, конечно же, отель, отель, и отель, верри-чип и верри-чип, они визжали и улыбались, и эта улыбка была самой ужасной из всех, и они шли сзади, затем ты меняешь направление со своим чемоданом, но затем — бац! — ты уже врезался в них спереди, потому что в течение доли секунды они либо вылетели за тобой, либо перед тобой, вся ситуация в аэродроме Элефтериос Венизелос была такой, как будто речь шла не о твоем прибытии, а об ошибке, которую прибывший осознал, только когда было уже слишком поздно, поскольку он уже прибыл и шагнул в ужасающую толпу колоссального зала ожидания, отовсюду группы или отдельные лица пытались двигаться в том или ином направлении, все в совершенно разных направлениях, дети кричали своим родителям, а родители кричали детям, чтобы они не уходили слишком далеко вперед или не оставались слишком далеко позади, пожилые пары с потерянными взглядами шаркали, все время продвигаясь вперед, вожатые школьных групп кричали испуганным ученикам держаться вместе, а японские гиды с флажками и мегафонами кричали испуганным японским туристам держаться вместе, и пот лил со всех, потому что жара в ангаре была невыносимой, было лето, адское Пандемониум, сумасшедший дом, необъявленный заранее, когда вы пытались с чемоданом пробиться в направлении, где, как ожидалось, должен был быть выход, но

даже там, снаружи, на самом деле все не закончилось: с одной стороны, потому что только тогда можно было почувствовать, что такое жара в Афинах летом; с другой стороны, поскольку таксисты, по крайней мере трое или четверо из них, все еще следовали прямо за ним и просто говорили и говорили и улыбались и улыбались и тянулись к его чемодану, к тому времени, как он смог освободиться от этого безумия, он был трупом; он сел в ожидающее такси и сказал жующему жвачку, скучающему водителю, который читал бульварную газету, недалеко от Синтагмы, Одос-Эрму-Одос Вулис, паракало, в этот момент водитель посмотрел на него, как будто спрашивая, кто этот старый хрыч, затем кивнул, откинулся на водительском сиденье; он не смотрел, куда едет такси, хотя у него с собой был примерный набросок улиц от одного из его греческих знакомых, чтобы его не обманули в такси — или, по крайней мере, не слишком сильно, как объяснил в электронном письме один из его знакомых из Афин, потому что они все равно будут обманывать до определенной степени, пусть так принято здесь, иначе им станет плохо, но дело было не в электронном письме; его силы иссякли, и нервы просто не выдерживали; он был так измотан посадкой и тем, что последовало за ней, потому что его чемодан не оказался там, где ему полагалось быть: совершенно случайно, когда он с испуганным выражением лица искал стойку утерянного багажа, его взгляд наткнулся на знакомый предмет, одиноко круживший на далекой ленте конвейера, обещавшего багаж с киевского рейса четырьмя часами ранее, затем он направился к таможенникам, которые в поисках гашиша разбирали его злополучный чемодан, и, наконец, был безудержный лабиринт зала ожидания, так что, в общем-то, никто из его круга знакомых не ждал его в зале прилета, напрасно он слонялся некоторое время в этой обезумевшей толпе, так что через час он отправился, то есть он бы отправился, но тут таксисты набросились на него, так что, одним словом, теперь, сидя на заднем сиденье выбранного такси

Один, совершенно измученный, он смотрел в окно на город, почти безлюдный из-за раннего часа, и какое-то время даже не смотрел, куда они едут, и на счётчик. Он смог сделать вывод только тогда, когда увидел, что ни одно название улицы, написанное на листке бумаги, не совпало с теми, что были снаружи, — и он начал подозревать, кстати, не без оснований, — что такси везёт его не самым прямым путём, так что, когда показания счётчика уже превысили сумму в евро, названную ему знакомыми как абсолютный максимум, он попытался как-то объясниться по-английски с таксистом, но сначала водитель словно не слышал его, он просто повернул направо, потом налево, пока на красном светофоре не соизволил благосклонно оглянуться и ткнуть пальцем в название улицы на протянутом ему листке бумаги, указывая, где они находятся в данный момент, а это было, конечно, не только очень далеко от Синтагмы, но и от города. центр тоже, так что он пытался самоутвердиться и жестами показывал, что все это никуда не годится, и его охватывал гнев, и он указывал на часы, и указывал на название Синтагмы на своей газете, но все было бесполезно, таксист флегматично жевал свою жвачку, и ничто, вообще ничто его не беспокоило, а он явно был из тех, кого ничто никогда не тревожит, он просто продолжал ехать в том направлении, которое считал правильным, и он успокаивал своего пассажира, что все в порядке, не волнуйся, будь счастлив, время от времени говорил он в сторону заднего сиденья, успокаивающе, так что желудок пассажира окончательно сжался в тугой узел, как вдруг водитель затормозил на краю оживленного перекрестка, открыл дверь и сказал — указывая по сторонам, с внезапной легкой улыбкой уголками губ — так вот Синтагма, или вы не хотели сюда ехать? — затем он протянул водителю сумму, которую определили его знакомые, но при этом, как будто внезапно

пробудившись ото сна, возница так неожиданно закричал на него и начал трясти его за плечи; не прошло и минуты, как уже около них собралась небольшая кучка греков; наконец, с их помощью, был достигнут компромисс, и они сошлись на цене, которая была вдвое выше реальной, но он уже был сыт по горло, плевать мне на Афины, сказал он по-венгерски грекам, слонявшимся вокруг него, но они лишь похлопали его по плечу, все хорошо, идеально, идите и выпейте, ни за что я не буду пить, он оторвался от круга, потому что, конечно, не мог понять, что эти люди, окружившие его, не собирались его обдирать, а из сочувствия к его безнадежной стычке с таксистом искренне хотели пригласить его выпить, чтобы он успокоился, таксисты такие, с ними не поспоришь, даже если поторгуешься, они всегда найдут способ тебя ободрать, особенно так рано утром, ну же, сказали они по-гречески и указали на столики, выставленные у улицы, ближайшего ресторана, откуда они только что вышли, но он так их боялся, что быстро схватил свой чемодан и отправился пешком в хаос перекрестка, просто так, наискосок в поток машин, что было ошибкой, ибо это не только увеличивало общий хаос, хотя и не вызывало никакого шума, но и подвергало его значительной опасности, и он даже не осознавал того, что, оказавшись на другой стороне, он напрямую и напрасно рисковал жизнью среди гудящих машин, может быть, трижды; на другую сторону тогда, с чемоданом, который хотя и не был тяжелым, слава богу, тем не менее мешал ему в дальнейшем свободном движении, и особенно в планировании этих движений; ничего, то есть, ему не приходило в голову, что делать теперь, он должен был позвонить своим знакомым, чтобы узнать, где они уже, чтобы они могли приехать и помочь ему, но таксист обманул его до такой степени, что его

Уменьшившихся резервов не хватило даже на один телефонный звонок, поэтому он просто постоял там некоторое время, а группа, из которой он был минуту назад, уже снова села, и так как отсюда они совсем не были похожи на грабителей, через некоторое время он решил вернуться к ним и спросить дорогу, он даже сошел с тротуара, но на этот раз его действительно чуть не сбила машина, так что он счел разумнее поискать какой-нибудь официальный переход, конечно, и здесь ему пришлось быть настороже, потому что он не мог понять, действительно ли зеленый свет по ту сторону дороги относится к нему, а когда через некоторое время выяснилось, что действительно относится, ему также пришлось уяснить, что зеленый свет здесь был всего лишь своего рода теоретическим «да» для перехода улицы, на практике его можно было понимать как зеленый, да, но только до тех пор, пока этому плану не противостояла другая, более мощная сила, а противостояла она, будь то грузовик, мчащийся рядом с ним, или автобус, создавший вихрь, отбрасывающий его назад, то ли тем, то ли этим, но тогда, к счастью, другие потенциальные появились и пешеходы, так что в какой-то момент они вместе инициировали общий проход на зеленый свет, что ж, это удалось, и вот он стоит на террасе ресторана среди группы молодых людей, которые беззаботно и с каким-то безмятежным безразличием потягивают свои напитки; они приветливо его приветствовали, и на каждом лице ясно была написана мысль, что они уже сказали ему, что прежде чем строить какие-либо планы, было бы гораздо лучше выпить с ними; они спросили его, хочет ли он пива, или кафеса, или, может быть, раки, о нет, запротестовал он, просто эллиникос кафеса, ладно, эллиникос кафеса, они передали заказ официанту, и начался разговор, греки действительно были молоды, но не слишком, не слишком за тридцать, и они довольно хорошо знали английский, только акцент у них был своеобразный, и он тоже не мог отрицать, откуда он родом, из-за своего акцента, так что они хорошо понимали друг друга, настолько, что он вдруг сразу почувствовал себя добрым

естественного доверия к ним, и он вкратце рассказал им свою историю: кто он и зачем приехал сюда, что ему довольно надоел мир, или он сам, или и то, и другое, так что он подумывает приехать в Афины, где он никогда раньше не был, но которые он всегда жаждал посетить, так что это было для него своего рода прощанием, но что он сам не очень ясно понимал, с чем именно он здесь прощается; компания слушала, кивая головами, и почтила его долгим молчанием, затем постепенно началось что-то вроде обсуждения, и его новые друзья хотели прежде всего отговорить его во что бы то ни стало от... от всего, как оказалось, но главным образом от мысли, что он должен позвонить своим знакомым, потому что если они не ждут его в аэропорту, и их не будет здесь в условленное время, ради безопасности, в девять часов, на перекрестке Эрму и Вулис, а было уже больше девяти, не так ли, так что спешить особо некуда, говорили они; однако, советовали ему оставаться с ними, раз уж судьба уже привела его сюда, поверьте, даже так все будет хорошо; почему, спросил он, какие у них планы, ах, наши планы, они посмотрели друг на друга, и на их лицах было явно видно своего рода веселье, ну, что касается их планов, то их не было, то есть, ну, их план был сидеть здесь и выпить еще пива, и с какой-то искренней гримасой они дали понять, что они не из тех, кто строит планы, сидеть здесь — это все, они делали это со вчерашнего вечера, и пока у них есть деньги, вот их план — медленно выпить еще пива и осмотреться, сказал один болван, представившийся Адонисом; они были умны и отзывчивы, и все же, когда он сделал глоток эллиникос кафес, его внезапно поразило чувство, что если он оставит все как есть, он никогда ничего не увидит в Афинах, а именно, что когда он говорил о том, зачем он здесь, чтобы узнать, какие Афины, его встретила несомненно громкая тишина, как будто они хотели сказать

что знать что-либо вообще, особенно об Афинах, ну, это было совершенно бесполезно; Йоргос, сидевший рядом с ним, который, однако, называл себя Георгием, казалось, был занят этой идеей: все-таки Афины, сказал этот Йоргос, и он помрачнел; ты знаешь, мой друг, каковы Афины, это огромная куча вонючего дерьма, вот что это такое, и он отпил из своего стакана, и было слишком много горечи во всем этом, чтобы спросить, почему он так сказал; рыба, выброшенная на берег, подумал он позже, добродушные и приятные бездельники, решил он; все же он должен был признать, что среди них ему становилось все лучше и лучше, и что-то в нем тоже тревожилось, что все равно опасно, очень опасно сидеть здесь в самое первое утро и слушать, как они говорят о песне

«Guns of Brixton» и лучше ли версия Arcade Fire или Clash, потом долго молчать с ними, и долго смотреть по сторонам, смотреть на плотное движение со стороны Синтагмы и Одос Вулис, смотреть, как машины бессмысленно, но так бессмысленно, носятся туда-сюда в уже страшной жаре и ужасном смраде, слишком уж приятно быть здесь с ними, и маняще-уныло, как какая-то сладкая тяжесть, которая тянет вниз — если он не уедет сейчас же, сказал он себе испуганно, то он останется здесь и все обернется совсем не так, как он желал в глубине души, так что вдруг он встал и заявил, что хочет увидеть хотя бы Акрополь, с самого детства это было одним из его самых заветных желаний увидеть Акрополь, а теперь, когда он стареет — ах, так пусть хоть этот Акрополь, Адонис подмигнул ему; Акрополь, Йоргос тоже посмотрел на него, кисло, ну ты же знаешь, сказали они ему, ты ведь здесь впервые, почему бы и нет, хотя я считаю, что это действительно идиотизм, сказал Йоргос, я тоже так думаю, сказал Адонис, но ну, ладно, иди, если тебе так хочется, но подожди, как насчёт — девушки из группы, которую звали Эла, сейчас

посоветовала ему — вот эту вещь, и она указала на его чемодан, тебе не обязательно везти это всю дорогу, можешь положить его куда-нибудь, если ты не найдешь нас здесь, просто подожди, но где, и она огляделась — у Маниопулоса, рекомендовал Йоргос; Ладно, это где-то рядом, и так оно и было, Маниопулос был торговцем или кем-то в этом роде в совершенно обветшалой маленькой лавчонке на обветшалой улице за рестораном, может быть, там продавались компьютерные детали, это было нелегко определить, но там что-то такое продавалось, в любом случае, юноша в лавке сразу же согласился, поставил чемодан за какую-то занавеску и жестом показал ему, что всё в порядке, он может вернуться за чемоданом в любое время, когда закончит, и с этим они уже вышли на террасу, они объяснили ему маршрут, посоветовали ему, что, хотя было жарко, он должен идти пешком, потому что там не будет так много туристов, и тогда он сможет увидеть часть Плаки, старого города, просто продолжайте идти в этом направлении, Йоргос указал в одном направлении, и он направился к перекрёстку, просто продолжайте идти в этом направлении, хотя было бы лучше, они тут же отметили между собой, если бы он подождал несколько часов, то есть до вечера, так как солнце там будет палящий, ужасный, но он уже был на другой стороне и начал пробираться в узкие переулки Плаки, он все еще махал им, они дружелюбно махали в ответ, и хотя ему было так хорошо среди них — или именно потому, что ему было так хорошо среди них — он теперь вздохнул с облегчением, наконец-то он был на пути, на пути к Акрополю, потому что, по крайней мере, к Акрополю, сказал он себе, и он вспомнил те самые первые смутные образы, которые он сохранил в своей памяти с детства, и он почувствовал радость от того, что они не смогли соблазнить его, хотя во всем была какая-то смутность, даже в этом соблазне, потому что даже он был смутным, если он думал об этом, как эти древние изображения Акрополя никогда по-настоящему не имели никакого

контуры, как они никогда не имели никакой ясности, особенно в отношении пропорций, то есть он никогда не мог себе представить, насколько велик на самом деле Акрополь и насколько велики его здания — каковы, например, были Пропилеи и насколько велик был Парфенон — нельзя было, то есть, на основании описаний, рисунков или фотографий, быть уверенным в размерах, если пытаться судить о размерах этого теменоса, как афиняне называли район своих священных зданий; это было невозможно, и это было большой проблемой, что нельзя было быть уверенным в пропорциях, это делало построение всего Акрополя в уме почти невозможным; каким-то образом все зависело от пропорций, он всегда это чувствовал, и он думал так и сейчас, идя по улице; он купил сэндвич за бешеные деньги, выпил банку более-менее охлажденной колы за еще более бесстыдную цену, но это не имело значения, поскольку имело значение лишь то, что в палящую жару он все ближе подбирается к Акрополю, и что он увидит храм Ники, и что он увидит Эрехтейон, и, конечно же, в довершение всего, непревзойденный Парфенон, а главное — он окажется на вершине Акрополя, ибо он всегда мечтал об этом, мечтал и сейчас, на прощание, он очень хотел увидеть его, как видели его греки, скажем, 2439 лет назад.

Он пошел по Вулис в район Плака, и на самом деле только несколько сотен туристов шли ему навстречу, рядом с ним или оставляли его позади, так что он мог бы даже назвать себя счастливчиком; затем он некоторое время шел по Флессе, в какой-то момент он заблудился, и он был в замешательстве, и он понятия не имел, правильно ли было продолжать идти по Одос Эрехтей; в любом случае он продолжил свой путь по этой улице и после узких переулков Стратонос и Фрасиллу внезапно вышел на широкую улицу с оживленным движением под названием Дионисиу Ареопагиту, откуда он уже мог видеть теменос высоко наверху, правда, он внезапно

он был виден в той или иной точке и раньше, когда в узких переулках время от времени на мгновение открывался просвет, но теперь, на этой улице Дионисия Ареопагита, он впервые увидел ее целиком, а это также означало, что впервые в жизни — и с этого момента, долгое время, его ничто не заботило, он решил, что близок к своей цели, что он у подножия Акрополя; даже думать об этом было прекрасно, солнце палило нещадно, движение было ужасным, было, может быть, около десяти или одиннадцати часов, он точно не знал, его часы остановились в самолете, когда он летел сюда, потому что он забыл поменять батарейку, и теперь это уже... что, подумал он про себя, недостаточно просто быть здесь?! — и он брел вперед под палящим зноем, но туристов, направляющихся в этом направлении, было подозрительно мало, более того, он видел все меньше и меньше туристов, но это не имело значения, его не отговаривали, потому что здесь, справа от него, был Акрополь, в какой-то момент он доберется до дороги наверх, и если ему придется обходить все вокруг, он обойдет его, и это все, кого это волнует, успокаивал он себя радостно, но он шел по этой улице действительно довольно долго, в воздухе стояла ужасная вонь, которую ему приходилось вдыхать, а шум от транспорта был практически невыносимым; и он только что решил спросить дорогу у следующего прохожего, как вдруг он наткнулся на серпантинную тропинку, укрепленную известняком, зигзагом поднимающуюся вверх, и он увидел там, наверху, на вершине длинной поднимающейся вверх тропинки, что-то вроде будки; он с трудом поднялся по тропинке, и будка оказалась билетной кассой, но на вывеске не было слова «тамио»; но на нем было написано АКРОПОЛИС, что показалось ему смешным, потому что это было похоже на то, как если бы они написали на тропе, ведущей сюда, дромос, которая была тропой, как все знали, а здесь находится Акрополь, так в чем же смысл, вероятно, для платы за вход, подумал он, и это, несомненно, было причиной, потому что взималась плата за вход, причем особенно высокая плата за вход, сначала она составляла двенадцать

евро, затем, когда он запротестовал, жестикулируя, стало шесть евро, наконец, он получил свой билет, он мог войти, и он отправился в путь, взглянув наверх, чтобы увидеть, что вот он, Акрополь, но он не мог выносить света, он должен был смотреть вниз; но это было даже не так просто, потому что он посмотрел вниз, чтобы отдохнуть глазами в каком-нибудь пятне более темной тени внизу, вдоль тропинки, и он не мог этого сделать, так как на тропинке просто не было более темных оттенков, мостовая под его ногами слепила его так же сильно, как и то, от чего он быстро отвел взгляд; мощение внизу было из белого мрамора, то есть из того же материала, из которого были сделаны ступени, и ни одна травинка или сорняка не пробилась вверх, он шел вверх и знал только, что находится рядом с Пропилеями, у нового входа в Акрополь, который был построен Мнесиклом, и он нащупал свой путь наверх, зная, что там слева возвышается так называемая Пинакотека Пропилей, а справа находится здание гарнизона, а высоко над ним — храм Афины Ники с его четырьмя чудесными колоннами; но он знал только одно, он ничего не видел, он просто шел вверх, щурясь, ибо так он решил: хорошо, вот я ослеп, ну что ж, после ступенек я найду местечко под деревом или укроюсь в здании и отдохну, а потом вернусь сюда и более тщательно осмотрю Пропилеи, и так он побрел дальше, но тропинка, ведущая через Пропилеи, не только не улучшила положение, но даже ухудшила его, ибо вместо почвы все покрывал известняк; весь теменос был построен на колоссальной белоснежной известняковой скале, и поэтому тропа в него шла по ослепляющей известняковой поверхности среди хитрых маленьких кусочков известняка; Акрополь, утверждал он сам себе, ослепленный, был поэтому полностью, во всей своей полноте расположен на массе чистого известняка на этой голой горе; этот Акрополь, думал он, ошеломленный, но некоторое время он все еще не решался полностью задуматься о том, что это значит, что гора была совершенно голой, что на ней ничего не было, но

ничего, кроме известняковой скалы и знаменитых храмов на известняковой скале, построенных из разных материалов, но частично из пентеликонского белого мрамора, он не смел думать об этом, потому что не мог в это поверить, поэтому он просто продолжал, он старался держать веки опущенными, чтобы не упасть лицом вниз, но и чтобы не впустить ужасный палящий огонь солнца, потому что солнечный свет действительно оказался беспощадным, хотя его не беспокоило, что его череп, спина, руки, ноги, все горело, он как-то выдерживал это, но что совершенно поразило его, серьезного значения которого он совершенно не осознавал, так это воздействие солнечного света на известняк, он не был готов к этому интенсивному, ужасающему блеску, да и не мог быть, и почему, какой путеводитель, какой искусствоведческий трактат сообщает такую информацию, как «осторожно, солнечный свет на Акрополе настолько сильный, что, в частности, путешественники со слабым зрением непременно следовало бы принять предварительные меры предосторожности, так что он, который, следовательно, принадлежал к этой группе путешественников со слабым зрением, не принял никаких предварительных мер предосторожности вообще, в результате чего теперь он не мог предпринять никаких предупредительных мер, как он мог это сделать — у него ничего не было с собой, только чемодан, вот и все, это внезапно пронеслось в его голове, и, прибыв к святилищу Артемиды Брауронии, он решил, что чемодан здесь, в его руке, спасет его, какое счастье, что он взял его с собой — из чего уже было ясно, насколько он, из-за усталости, жары и слепоты, не был в здравом уме, так как только ему пришло в голову, что чемодан был определенно не у него в руке, а остался внизу, в городе, у мальчика, Маниопулоса, когда он отошел к стене святилища, чтобы открыть его и вынуть часть одежды; солнце в этот момент было прямо над его головой; Никакого успокаивающего угла, ниши, крыши или углубления не было видно нигде, ни прямо здесь, ни дальше, свет падал на него беспрепятственно, прямо, как стрела, вертикально, так что не было

во всем Акрополе не было ни тени, хотя он даже не знал об этом в тот момент, и поэтому он вынул, так как у него ничего другого не было, использованную бумажную салфетку из кармана джинсов, сложил ее в нескольких местах и приложил к глазам, но, к его несчастью, даже белизна салфетки была раздражающей, так что он прижал ладони рук к глазам и пошел вперед так, надеясь, что, ну, рано или поздно он куда-нибудь попадет, в какое-нибудь место отдыха или любое место, где он сможет отступить и дать отдохнуть глазам; и он пошёл вперёд, он поднялся ещё выше на Акрополь, на то место, которое он с детства мечтал увидеть больше всего, и где, как вскоре стало ясно, теперь были только он и немецкая пара вдали, у Парфенона, в отличие от него самого, подумал он, они, конечно же, пришли полностью подготовленными, у обоих были солнцезащитные козырьки, похожие на тропические шлемы, на них были широкие тёмные очки, у них были рюкзаки, из которых, как только он случайно взглянул на них, они вытащили литровые бутылки минеральной воды, отчего он почувствовал мучительную жажду, но ничем не мог её утолить, потому что здесь — вопреки всем его надеждам — не было ни киоска с закусками, как это обычно бывает в туристических местах, ни продавца напитков, ничего подобного, на Акрополе просто ничего не было, только Акрополь, но теперь он очень страдал, он дошёл до места, где стояла статуя Афины, и тропинка шла к Эрехтейону, но, как слепой, он чувствовал тропинку перед собой его ногой, так как поднять глаза было уже совершенно невозможно, как и даже взглянуть вверх, слезы покатились из обоих его глаз, тогда они еще не болели, они начали болеть по-настоящему только тогда, когда слезы высохли; он выкрикнул, так сказать, все, достигнув кариатид Эрехтейона, куда он, конечно, не мог войти — особенно отсюда, с южной стороны — или даже коснуться взглядом девиц Кариаи, так как балюстрада была высокой, и поэтому кариатиды были недосягаемы, он огляделся

отчаянно, боль жгла его глаза, тут и там на каменистой поверхности лежали огромные куски тесаного камня, скорее всего, Дёрпфельдский храм или остатки алтаря Афины, кто знал, откуда они взялись, во всяком случае, он мог воспринять это за мгновение, а затем он осмелился снова открыть глаза, и это было так, как будто какой-то бог наверху сжалился над ним на короткое время, потому что его привели к юго-западному фасаду Эрехтейона, за кариатидами, и там он увидел дерево, дерево, мой Бог; ослепленный поклонник Акрополя поспешил туда; только, добравшись туда, он прислонился спиной к стволу и попытался открыть глаза; ничего не изменилось, потому что он не мог заставить себя открыть глаза даже здесь; Деревце было небольшим смоковничным деревцем, почти полностью высохшим крошечным карликом, его тонкий ствол с ветвями наверху были такими тонкими, держащими хлипкую крону, словно крылья бабочки, сквозь которую свет мог проходить беспрепятственно, и когда он посмотрел на землю у своих ног — в недоумении он не увидел даже тени этих крошечных веток — тогда он понял, что то, зачем он пришел сюда, останется навсегда невиданным им: не только, подумал он с горечью, не только он никогда не узнает масштаб размеров Акрополя, но он даже никогда не увидит Акрополя, хотя он был здесь, в Акрополе — боги назначили ему местом отдыха не маленькое деревце, а скорее северный фасад Эрехтейона, именно там, то есть в той мере, в какой солнце переместилось туда на небесах, так что передний план оказался в тени, он побежал туда, обезумевший; немецкая пара уже была там, они были веселы, муж как раз менял пленку в своем фотоаппарате, дама ела огромный гирос, они были толстыми, их лица буквально лопались от здоровья, боги действительно благоволили им, отметил он про себя, становясь все печальнее —

более печальным и неблагодарным, потому что наконец он достиг места, где его глаза, измученные болью, могли отдохнуть, и вообще, когда он открывал глаза, это было правдой,

кроме нижних остатков колонн старого Парфенона, он вообще ничего не мог разглядеть из так называемого Акрополя, который он жаждал увидеть всю свою жизнь, потому что стоял к нему спиной; ну, это же абсурд, подумал он, взяв себя в руки, и ни в коем случае не хотел с этим мириться, немцы отправились к Парфенону фотографировать, он же остался, ибо знал, что случится, если он выйдет из дарующей облегчение простаты Эрехтейона, может быть, ему стоит попытаться заснуть, подумал он, подождать, пока солнце завершит свой знаменательный путь высоко наверху, а здесь, внизу, соотношение солнца и тени изменится, но тут же понял, что это плохая идея, ведь он не сможет продержаться без воды, именно этого, именно этого он не предвидел, ему следовало принести сюда воду — он прислонился к стене и подумал о Калликрате и Иктине, которые ее построили, затем о Фидии, который своей огромной позолоченной статуей Афины из слоновой кости придал ей смысл, и, прислонившись к стене, он представил, как подходит ближе к Парфенону, да еще и прямо там, стоя там чудесные колонны Парфенона, изысканные дорические и ионические ордера колонн, и он думал о пространствах пронаоса, наоса и опистодома, и он думал о том, что, когда все это было построено, храм все еще был местом веры, он был фоном и целью Панафиней, и он напрягал свой пульсирующий мозг, чтобы охватить все это, увидеть все это сразу и таким образом иметь возможность сохранить для себя, как способ попрощаться, самое прекрасное архитектурное творение западного мира — и все же тогда он думал, что на самом деле он должен плакать, потому что он здесь, и в то же время совсем не здесь, он должен плакать, потому что он достиг того, о чем мечтал, и в то же время совсем не достиг этого.

Было ужасно спускаться с Акрополя, ужасно признавать, что вся эта поездка в Афины из-за такой нелепой, обыденной, заурядной детали обернулась

позорным неудачником; он споткнулся и пошёл вниз, прикрывая глаза обеими руками, и был бы очень рад пнуть билетную кассу, но, конечно, он ничего не пнул, он только бродил, медленно спускаясь по тропинке в беспощадной жаре, он добрался до движения Дионисия Ареопагита внизу и решил, что направится в другую сторону вокруг Акрополя, на который ему больше не хотелось даже смотреть, хотя теперь он достаточно оправился, чтобы его глаза здесь, внизу, могли выносить свет; он, конечно, мог бы вернуться в том же направлении, откуда пришел, но у него не было желания этого, как и не было у него желания чего-либо еще с этого момента; его не интересовал Национальный музей, его не интересовал храм Зевса, его не интересовал театр Диониса, и его не интересовала Агора, потому что его больше не интересовали Афины, и из-за этого его даже не интересовали те точки по пути, с которых он мог бы увидеть вид отсюда, снизу, на Акрополь; «Я плюю на Акрополь», — опрометчиво сказал он себе вслух, произнес он это, но это говорила в нем лишь печаль, он и сам это знал, это была печаль по всему, что было здесь незаметно, ибо теперь он истолковывал ее именно так, как сначала искал и нашел глубокий символический смысл в том, что с ним произошло, и, может быть, правильно, чтобы как-то это вынести, чтобы как-то осмыслить события последних часов, то есть свое собственное прощание, смысл которого только теперь начал потихоньку вырисовываться в нем, и он только смотрел на тротуар под ногами, и все болело, больше всего еще болели глаза, но и ноги тоже сильно болели, на пятках от ботинок были мозоли, при каждом шаге ему приходилось переносить вес то на правую, то на левую ногу, чтобы они немного скользили вперед в ботинках, чтобы пятки их не касались, и голова все еще ужасно болела, так как он был голоден, и у него также болел живот

ужасно, он уже несколько часов ничего не пил, он шел в этом направлении по узкому тротуару Дионисия Ареопагита, который казался длиннее, поистине невыносимо длинным, и он не смотрел и не смотрел наверх, потому что там наверху — так он теперь стал называть Акрополь, чтобы не произносить само это имя — не осталось ничего, что он мог бы увидеть при другой попытке, завтра или сегодня вечером, он знал, что возвращаться будет бесполезно, он никогда не увидит реальность Акрополя, потому что он пришел сюда не в тот день, потому что он родился не в то время, потому что он родился, все было не так с самого начала, он должен был знать, должен был чувствовать, что сегодня не тот день, чтобы что-либо начинать, и завтра тоже не будет, теперь перед ним нет дней, как их никогда и не было, как не было и никогда не будет дня — в отличие от этого — в который он мог бы успешно подняться по этой восходящей тропе из хитроумно утрамбованного известняка, зачем он вообще за это взялся — уголки его губ были опущены — почему это было так срочно, и он ругал себя, и повесил голову, и, совершенно измученный, он продолжал идти, с окровавленными пятками в отвратительных туфлях, вдоль подножия Акрополя, и прошло очень, очень много времени, прежде чем, обогнув его, он вернулся на улицу, где уже был однажды, рано утром, он свернул на нее, идя сюда, Стратонос — так называлась эта маленькая улочка, затем он продолжил путь по Эрехтеосу, а оттуда она немедленно вывела его на Аполлонос и через Вулис на перекрестке Эрму — и он уже увидел своих спутников из того утра на другой стороне, он с трудом хотел поверить в то, что видит, но почти все они были там, только одной девушки, Элы, не хватало, это он мог разглядеть отсюда, с другой стороны, они тоже его заметили, и они уже махали ему, очевидно, он произвёл на них впечатление, когда они узнали его, как какое-то угощение в

палящий зной, и ему было невыразимо приятно после стольких мучений, после стольких ненужных мучений там, наверху, вернуться к ним, ибо, когда он мельком увидел их, и сердце его забилось, наконец, каким-то образом разрешилось, что же делало всю эту компанию такой привлекательной, это было, ну, именно то, что они ничего не делали и ничего не хотели, и что они были хорошими, подумал он сейчас, несколько тронутый, в своем измученном состоянии, глядя на них, и помахал им рукой, так что, ну, казалось настолько очевидным, что единственно разумным было сесть с ними, здесь, в Афинах, где эта компания приняла его с самого первого мгновения: сесть среди них, заказать эллиникос кафес и потеряться здесь, в Афинах, какой смысл чего-либо хотеть, так что теперь, после этого ужасного и ужасно смешного дня, ничто не казалось ему таким нелепым, как когда он вспоминал, как сильно ему чего-то здесь хотелось сегодня утром, как нелепо было все это желание, когда он был бы гораздо счастливее остаться среди них, выпить еще один «Эллиникос Кафес» и понаблюдать за движением, когда машины, автобусы и грузовики неистово проносились туда-сюда; он чувствовал смертельную усталость, поэтому не было никаких вопросов о том, что он будет делать дальше, он собирался посидеть среди них и ничего не делать, как они, и что-нибудь съесть и выпить, а потом может быть еще один ледяной эллиникос кафес, а затем эта сладкая, вялая, вечная меланхолия, и он собирался снять туфли и вытянуть ноги, и, рассказав о том, что с ним случилось там, наверху, — не скупясь на самоиронические замечания — он сам присоединится к общему веселью по поводу того, как можно быть таким идиотом, чтобы приехать в Афины летом, а затем, в первый же день, подняться на Акрополь в самый палящий зной, быть пораженным тем, что он ничего не увидел от Акрополя, такой человек этого заслуживает, собирался сказать Йоргос среди всего смеха, такой человек действительно заслуживает звания

идиот, прибавлял Адонис без тени обиды, кто-то вроде него, кто в знойный день отправляется на Акрополь и даже не берет с собой солнцезащитных очков, — над этим, подумал он, посмеются, подумал он, здесь, на перекрестке: над этим искателем приключений Акрополя, и, возможно, именно сейчас он скажет, почему отправился в путь без солнцезащитных очков, — потому что Акрополь в солнцезащитных очках не имеет к Акрополю никакого отношения; ему снова помахали, чтобы он перестал медлить, чтобы он уже приехал, он же, от радости, что все-таки здесь он немного дома, дома среди своих новых друзей, не задумываясь, рванул в плотное движение к террасе на другой стороне улицы и тут же, в мгновение ока, был сбит и раздавлен насмерть на внутренней полосе быстро движущимся грузовиком.

13

ОН ВСТАЕТ НА РАССВЕТЕ

Он встает на рассвете, примерно в одно время с птицами; он плохо спит, ему легко дается только засыпание.

— по вечерам это случается довольно часто, хотя после этого часто наступают внезапные пробуждения, когда он весь в поту, измученный сном, и так продолжается до рассвета, когда наконец небо начинает сереть в районе Кита, расположенном над храмом Коэтсу-дзи в Шакадани, после каждой тяжелой ночи он встает в большом доме, в котором живет один, и ему кажется, что он живет не только один в доме, но и во всей округе, поскольку это один из самых дорогих жилых районов Киото, дорогие районы тем не менее всегда самые тихие, самые безлюдные, одним словом, самые бесчеловечные, нет никаких признаков того, что в соседних домах живут люди, еще более уединенные, чем его собственный; иногда, время от времени, очень осторожно и тихо проезжает машина, кто-то куда-то едет, кто-то возвращается домой, но как будто и они одни, если вообще есть кто-то, похожий на него; он прожил в одиночестве долгие, неопределенные годы в огромном, безупречно обставленном и опрятном доме; очень часто может пройти три-четыре дня, чтобы он ни с кем не разговаривал или не хотел ни с кем говорить, и даже тогда это обычно по телефону; у него нет домашних животных, он не использует никаких устройств для воспроизведения музыки, у него есть только потрепанный телевизор и еще более потрепанный компьютер, и небольшой садик в крошечном дворике за домом, он живет, одним словом, в полной тишине, кажется довольно вероятным, что он хочет жить в полной тишине, и причина этого — загадка, так же как и вся его жизнь — загадка, что означает, что он полностью скрыт между ранним вечерним сном и пробуждением на рассвете, что-то забаррикадировано, поскольку склонность, безусловное требование полной тишины, уединения,

Чистота и порядок определенно создают впечатление, что за этим кроется какая-то история, но то, чем эта история могла бы быть, является тайной, которую он добросовестно хранит, если иногда он берет несколько учеников на короткий срок, или если время от времени в какой-то вечер случайный друг проводит с ним некоторое время, — ничего из истории никогда не может быть увидено, все хорошо скрыто: ранний сон, плохие ночи, пробуждения на рассвете, затем быстрый завтрак, который часто едят стоя в кухне в западном стиле с видом на сад, и он поднимается сразу на второй этаж, где он устроил свою студию в маленькой комнате с окнами на юг, так как свет там самый сильный, иногда даже чрезмерно сильный и чрезмерно резкий, так что в течение долгого лета, которое длится с мая по сентябрь, ему часто приходится задергивать окно занавеской и садиться посреди студии в рабочем ящике, который он сам смастерил, и рабочий ящик обращен к окнам, затем он сидит с раннего утра до раннего вечера в эта коробка, где — можно сказать — все под рукой; он надевает очки, поджимает ноги и опускается вниз; затем он кладет на колени кусок кипариса хиноки, смотрит на него, поворачивает, он подготовил его еще вчера, то есть вырезал по мерке, до нужного прямоугольного размера, более того, он уже с помощью картонного трафарета нанес на него основные контуры, и именно на них он сейчас смотрит, а также на две маленькие фотографии модели, положенные в рабочую коробку перед ним у его ног, на фотографиях можно увидеть маску хання, маску с ее демонически ужасающими чертами, известную как маска сиро-хання, используемую в драме Aoi no Ue Noh, это идеал, к которому нужно стремиться, он должен по-своему справиться с этой задачей, в создание которой он погружается автоматически, что в большинстве случаев занимает полтора-два месяца, может быть, немного меньше для маски хання — это всегда зависит от того, сколько работы он сделает

за день, и успешно ли эта работа выполняется — полтора месяца, то есть, примерно, столько времени, здесь на татами, помещенном в его рабочий ящик, с раннего утра до раннего вечера, а что касается разговоров, то он не разговаривает, даже сам с собой; Если он и издает какие-либо звуки, то только тогда, когда поднимает кусок дерева и тихонько сдувает стружку, отколотую от маски, а иногда, когда меняет свое физическое положение в рабочем ящике и вздыхает при этом, и снова наклоняется к чурбану, ибо сначала все начинается с торговца деревом Окари, находящегося в бывшем Императорском Дворце, ниже Госё к югу, в лице Окари-сана, который примерно такого же роста, как он, поэтому очень низкий, на добрых пятнадцать лет старше, и довольно мрачный, Окари-сан, у которого он покупает дерево в течение многих лет — он только что купил этот новый кусок — он доверяет ему, цена всегда хорошая, годичные кольца тонкие и плотные, линии без дефектов, а именно хиноки, из которого происходит выбранный чурбан, рос медленно; кроме того, древесина доставляется из Бишу, в префектуре Гифу, из леса, имеющего самую высокую репутацию, из леса, славящегося качеством своего материала — все это представляет собой простой прямоугольный брусок дерева, вот как все начинается, с круговой резки пилой по трафарету до нужных пропорций; он не думает, потому что ему и не нужно, его рука движется сама по себе, ему не нужно контролировать ее направление, пила и стамески сами знают, что им нужно делать, поэтому неудивительно, что эта первая, самая первая фаза работы является самой быстрой, самой свободной от последующей, часто мучительной тревоги; пила, большое долото, молоток, затем уборка стружки пылесосом, вот так он сидит в своем рабочем ящике, используя маленький пылесос, приспособленный к его собственным нуждам, так что ничего не останется снаружи рабочего ящика, никакой грязи на чувствительном татами, вот для чего и предназначен рабочий ящик, где он сидит, откуда, протягивая руку, он

пылесосы, и в котором уровень древесной стружки становится все выше и выше; это для того, чтобы в разгар работы он мог как-то поддерживать некоторую чистоту, он удаляет более крупные куски пилой, затем большой стамеской и колотушкой, но это происходит только в первые несколько дней; позже, начиная с третьего или четвертого дня, он, естественно, использует все более мелкие стамески, различающиеся по степени остроты, и он больше не ударяет по стамеске молотком, а держит ее в руках, и таким образом, крепко держа кусок дерева в левой руке, он врезается в мягкий материал, используя правой рукой мелкие, точные, уверенные и быстрые движения, но всегда таким образом, чтобы он одновременно держал точный необходимый шаблон — взятый у бесчисленных других —

вплоть до обрабатываемой поверхности; он заранее изготавливает огромное количество трафаретов с так называемого оригинала, который обычно предоставляется ему владельцем на короткий срок, то есть максимум на два-три дня —

затем он снимает, скажем так, размеры, вырезая огромное количество листов картона на основе этого оригинала, так что есть характеристики, точные до толщины волоска, для лба, бровей, глаз, носа, щек, подбородка и каждой другой отдельной детали лица, горизонтально и вертикально, по диагонали, а также по отношению ко всем остальным частям, одним словом, со всех возможных измерений, со всех важных углов зрения, это трафареты, только трафареты, так что в течение первых двух недель только контуры трафаретов — взятые и срисованные с оригинала, затем вырезанные из картона — помогают резцу в его руке, так что их значение, соответственно, огромно, и вот почему, если бы кто-то мог смотреть на него издалека, что, конечно, было бы невозможно, поскольку нет никакой возможности, чтобы это когда-либо произошло, тогда кто-то увидел бы что-то похожее на человека, такого как Ито Рёсукэ из школы Кандзэ, мастер Но изготовитель масок, который только что что-то высекает и уже пробует нужный трафарет, чтобы проверить, всё ли идёт в правильном направлении

— был ли этот последний штрих в трафарете правильным, сколько еще недостает для завершения этой и именно этой пропорции — пропорции к целому! — чтобы впоследствии увидеть, сколько еще нужно вырезать, чтобы выражение затем безупречно проявилось в маске Но, сделанной из блока кипариса хиноки, первоначальное выражение, которое можно увидеть на маске хання на театральных сценах школы Канзе в Киото или Осаке, — вот что он имеет в виду; он пилит, строгает, чистит, потом просто строгает и сдувает стружку с мягкого хиноки, а если он делает это для Канзе, то, в конечном счёте, — а для заказа их обычно нет, — всё начинается с того, что он видит пьесу Но и видит в Но, например, как в этом случае, — Аой-но-Уэ, и в ней он видит маску хання на главном герое, известную как ситэ, затем он представляет себе другую маску, нежели ту, которую видел, и из этого возникает чувство, что он видел маску Но, но он не хочет такую, но ему просто пришла в голову другая такого рода, ну, тогда он хочет вырезать её сам, но для этого, естественно, ему нужна маска, которая будет максимально близка к тому, что он хочет, и, естественно, ему нужна маска хання от его мастера, знаменитого Хори Ясуэмона, поэтому ему нужна одна, чтобы подготовить трафареты, и другая, чтобы использовать её в качестве модели; он едва начал, вот уже третий или четвертый день, как кусок слова, над которым он работает, приближается к воображаемому конечному результату, он, по сути, все меньше и меньше может сказать, что произойдет в данный день, с точки зрения огрубленного взгляда на вещи, его жизнь наполнена последовательными незаметными изменениями, и все время с каждым крошечным, точным, определенным и быстрым вырезанием он приближается все ближе и ближе к маске, которую он ощутил, просто до этого момента еще нужно очень много дней и очень много часов, столько ранних утр, полудней и вечеров, примерно на полтора месяца, может быть, целых два; он может быть неуверенным, и с отшлифованными деталями вместе с большим трудом; или — как это делает

время от времени происходят ошибки — он может сделать ошибку, и его приходится исправлять, это потеря времени, хотя он работает быстро, так как в основном он работает при естественном освещении, он долбит, он поднимает его, он сдувает стружку, он проверяет трафарет и он снова долбит, тишина велика, внутри дома она полная, и снаружи только очень редко проникают звуки, так что первым нарушает тишину он, и чаще всего, среди своих быстрых движений, время от времени кладя стамеску на пол ящика, или немного дальше, но все еще рядом с собой, он кладет ее снаружи рабочего ящика, на татами; он кладет ее или, скорее, в порыве движения бросает ее, роняет долото, чтобы обменять его на другое, или, отведя его от себя, смотрит на маску издали, и в такие моменты случается, что брошенное им долото издает громкий стук, ударяясь о другие, но обычно слышно только дыхание, глухой стук, когда он иногда меняет положение тела в ящике и вздыхает, других звуков не слышно, в основном он работает в полной тишине, с раннего утра до раннего вечера, то есть, точнее, сначала с раннего утра до полудня, когда он делает короткий перерыв на так называемый обеденный перерыв — он не может превышать получаса, хотя в отличие от завтрака он садится в обеденное время либо внутри, на кухне, либо, если погода хорошая, за маленький столик, поставленный в тенистом саду; он ест в основном только овощи, мясо почти никогда, разве что рыбу, но в основном овощи и еще больше овощей, он начинает с некоторых овощей курама, нарезанных тонкими полосками и маринованных в кислом рассоле, затем следует суп мисо, затем его любимый рис гемма, три или четыре жареных половинки авокадо, жареные грибы, жареный тофу, вареный бамбук, или он делает удон или соба, возможно, с юбэ, то есть кожицей тофу, соевыми ростками или гроздьями бобов эдамаме, наконец, может быть немного натто — ферментированных соевых бобов — затем немного кислой сливы, а именно умебоси, которую он особенно

нравится; все время только минеральная вода и минеральная вода, и все это, конечно, в течение всего лишь одного получаса, потому что ему надо работать, ему надо возвращаться в студию, потому что за это время, пока он ел, он даже толком не оторвался от той фазы работы или той проблемы, которую нужно было решить, от которой он только немного отстранился во время обеда, так что уже там, на втором этаже, он спускается в рабочий ящик, он берет и держит на расстоянии маску, которую он готовит, и он смотрит, медленно поворачивая ее в руках, он смотрит, наконец, с мрачным лицом; он начинает снова, он берет резец, он сдувает стружку, он поднимает маску, смотрит на нее, затем он берет ее и снова высекает в ней, он подносит к ней трафарет, и он высекает, и он дует, и он смотрит, затем он снова высекает в ней, он подносит к ней трафарет, и он высекает, и он дует, и он смотрит, и в то же время он как бы ни о чем не думает, особенно о том, готовит ли он сейчас прекрасную маску хання или просто удовлетворительную, внутри него нет стремления к изысканному; если когда-либо и было, учил его мастер в юности — или, скорее, исполняя пророчество своего учителя, его собственный опыт научил его, что если в нем есть желание создать изысканную маску, то он неизбежно и безусловно создаст самую уродливую маску, какую только можно, это всегда, и это безусловно всегда так, поэтому уже давно этого желания в нем нет, точнее говоря, в нем вообще ничего нет, мысли не кружатся, голова пуста, как будто он был оглушён чем-то; только его рука знает, резец знает, почему это должно произойти; его голова стала пустой, но острым образом, однако, это остро, когда его руки держат маску в процессе подготовки, и он смотрит на нее, чтобы убедиться, что все идет в правильном направлении, только тогда его голова ясна, но только пока он все еще смотрит на маску в процессе подготовки; затем он позволяет ей упасть обратно на колени, и

рука его, держащая резец, снова принимается за дело, затем голова его снова не ясна, а совершенно и сразу пуста; различные мысли, гасящие друг друга, не крутятся и не кружатся, не вертятся, не ерзают туда-сюда, только полная пустота в голове, полная пустота в доме, и даже думать особенно не о чем, ибо и в доме пустота, и вокруг пустота, и если бы кто-нибудь спросил его, как это обычно делают во всех случаях принятые на короткий срок ученики, спросив, например, как из этого куска хиноки получится маска, — она свободна, по его мнению, от всякого мистического вмешательства; то есть после ряда не особенно специальных скульптурных операций маска, по его мнению, будет завершена — маска Но, которая будет ужасать людей; иными словами, что делает нечто подобное завораживающим, что делает его не завораживающим, — каковы тонкие или не очень тонкие различия, которые решают этот вопрос, особенно для понимающего глаза, недвусмысленно и немедленно, — удалась ли здесь работа и великолепна ли маска, или же она просто неуклюжа, мучительно неумелая, позорная катастрофа и потому даже не заслуживает упоминания; наконец, чего хочет Но, что, кстати, представляет собой Аой-но-Уэ, и так далее, подобные вопросы, которые он задает себе в студии, за рабочим ящиком, явно беспокоят его, и не только потому, что его тревожит сам факт того, что кто-то задает ему какой-либо вопрос, но и потому, что в его совершенно пустой голове нет ничего, на что он мог бы, даже если бы и полагался, ответить; он не занимается такими вопросами, как что такое Но и что делает маску «завораживающей», он просто занят тем, чтобы сделать все, что в его силах, и с помощью молитв, которые он тайно читает в святилищах; он знает только движения, методы работы — долбление, резьба, полировка — то есть метод, весь практический порядок операций, но не так называемые «большие вопросы»,

у него нет с ними абсолютно никакого дела, никто никогда не учил его, что с этим делать, так что эта пустая голова всегда была и всегда остается его единственным ответом, голова, которая ничего не содержит в ответ на вопросы, которые ничего не содержат, но как это можно выразить, нет возможности, особенно студентам, приезжающим с Запада, так что в такие моменты ситуация такова, что пустая голова стоит перед, казалось бы, весомыми, неожиданными и — из-за своей неожиданности — даже слишком грубо цепляющими вопросами, и не только у него нет никаких ответов, но ему также очень трудно справиться с необходимостью нарушить молчание, чтобы что-то сказать, так что он начинает заикаться, в строгом смысле слова он заикается, когда говорит, как будто он ищет английское слово в языке своих посетителей, однако он нашел бы его безошибочно и быстро, если бы он привык использовать язык, любой язык; он что-то бормочет, но, как он сам прекрасно знает, даже не слышно, и он сам видит, что так дальше продолжаться не может, студенты молча, немного ошарашенные, подталкивают его сказать что-нибудь уже, что-нибудь существенное, но что ж поделаешь, ничего существенного для ответа на поставленный вопрос в голову не приходит, голова гудит, он пытается выйти из вихря, в котором живет, он пытается понять взгляды посетителей, у которых есть вопросы и которые хотели бы его выслушать, и, кажется, он надеется, что в конце концов ему вообще ничего не придется говорить, но потом оказывается, что ну что ж, эта надежда тщетна, ибо взгляды — любопытные и настойчивые, побуждающие его сказать что-нибудь уже, ради бога, — устремлены на него; затем он берет себя в руки и говорит что-то по заданному вопросу, очень осторожно и осмотрительно, с элегантной сдержанностью и воздерживаясь от использования громких слов, он говорит что-то, что-то о маске, что вот такая-то и такая-то маска, и в такой-то пьесе она более или менее означает то-то и то-то, но когда дело доходит до того, чего хочет Но, или в чем суть Но, и так далее —

ужасно бестактные вопросы — он не знает, что делать, он искренне не понимает, он даже не может понять, как кто-то вообще может задавать такой вопрос, такие вопросы задают дети, если вообще задают, а не взрослые люди, здесь, в простой мастерской простого изготовителя масок Но, как он себя называет, таким вопросам не место; За это, запинаясь, говорит Ито Рёсукэ, нам следовало бы спросить великих мастеров, а не его, он просто делает то, что может в пределах своих возможностей, но он не хочет ранить их чувства, когда видит на лицах этих западных учеников, допущенных в его студию на короткое время, явное разочарование, он не хочет — и не из-за них, а скорее из-за себя — видеть это разочарование, оно неприятно, ему всё равно нужно что-то сказать, поэтому он с большим трудом собирает несколько предложений, чтобы ответить на один из сложных вопросов, он извлекает из памяти что-то из того, что слышал от какого-то великого мастера, и представляет это, запинаясь, своим особым языком, и затем он испытывает гораздо большее облегчение, когда видит, что окружающие удовлетворены ответом, поскольку это удовлетворение видно на их лицах, вот и всё, он снова откидывается назад над своей работой, затем время от времени поднимает взгляд, чтобы увидеть, действительно ли на их лицах видны признаки удовлетворения, затем он с нетерпением ждёт визит должен был закончиться или на то время, на которое они решили закончить, но весь визит настолько выбил его из колеи, что когда они наконец ушли, и он решил, что больше никогда, насколько это возможно, не будет допускать сюда западных любознательных людей, он долгое время не мог вернуться к своей работе, он не садился обратно в рабочий ящик, а просто шагал взад и вперед, время от времени поправляя какой-нибудь предмет в студии, затем он начинал наводить порядок, он пылесосил, он расставлял вокруг себя инструменты, как будто это имело значение, хотя сейчас ему это не было нужно, подходящее время для приведения себя в порядок — в конце дня; он вставал и клал все

по порядку, упаковывая и убирая, он настолько растерян после такой встречи, что все в его голове переворачивается туда-сюда, вопросы кружатся там большими и меньшими отрывочными осколками: что такое Но, и что означает маска хання, и как может быть «что-то священное» из простого дерева хиноки, но что это за вопросы, — Ито Рёсукэ отчаянно качает головой, — как это может быть; и он вздыхает; когда все расставлено по местам, он садится на свое место, берет кусок хиноки, над которым работает, держит его на расстоянии левой рукой и как можно дальше, откидывается назад в рабочем ящике, чтобы еще видеть его с максимально возможного расстояния, он смотрит на него, затем отпускает его обратно на колени, берет в руку подходящий резец и он режет, и он поднимает его, и он сдувает стружку, и в тот вечер он заканчивает немного раньше; он снова собирается, приводит вещи в порядок, убирается, чтобы на следующее утро студия ждала его, как и положено каждое утро; затем он выходит из дома, берет свой специально сконструированный велосипед и отправляется в путь до ужина, чтобы выбросить из себя все накопившиеся за этот визит беспокойства, ибо велосипед — его единственное развлечение, и это совершенно особая модель, не просто горный велосипед, а специально сконструированный велосипед, который может делать все, или почти все, его передачи, его удобство, его крепления, все в нем удовлетворительно — в какой-то момент, давным-давно, он решил купить себе такой и начать кататься на велосипеде в горах —

он выходит из дома и уже мчится вниз по крутому склону Шакадани, затем через десять минут он оказывается у северных гор, и вот начинается самая трудная часть, поездка на вершину, и он изрядно потеет, он просто продолжает жать на педали, поднимаясь в гору, пот ручьями льется с него к тому времени, как он достигает точки, которую наметил на этот день, но затем следует спуск, и чудесное, невыразимое спокойствие леса,

его

освежающий

красота,

его

немыслимо

монументальность, ее тишина и чистота, и аромат воздуха, и расслабленные мышцы, и скорость, когда ему остается только скользить вниз, скользить, скользить обратно в город, в такие моменты он был бы счастлив даже не пользоваться тормозами; этот спуск так хорош, потому что он снова возвращает его к пустоте, которая есть внутри него и которая была нарушена; но она восстанавливается к тому времени, когда он возвращается и ставит велосипед на место у стены дома, мир внутри него полный, в его голове нет и следа смятения или нервозности; он сидит снаружи в саду или накрывает на стол внутри на кухне и ужинает, чтобы рано утром снова сидеть с маской ханнья в руке, держа ее на расстоянии, откинувшись назад и глядя на нее, затем беря ее на колени левой и правой рукой, он начинает работать долотом, теперь уже только совершенно мелкими движениями, так деликатно, как только может, потому что теперь даже один слишком глубокий или слишком длинный надрез может ее испортить; поэтому частично он делает все более мелкие надрезы, частично он все еще часто пробует трафарет — через короткие промежутки времени — чтобы увидеть, сколько, сколько еще ему нужно удалить, чтобы наконец достичь той фазы, когда это будет не просто просто трафарет, только трафарет, то есть когда использование трафаретов будет недостаточно; это момент, с которого он больше не может решить, оставаться ли ему в рабочем ящике и смотреть на него в вытянутой руке, когда ему уже недостаточно поворачивать маску как можно чаще, медленно, сначала в одну сторону, потом в другую, один раз глядя анфас, а один раз в полупрофиль, — пришло время, он решает в такие моменты — как это происходит сейчас — выйти из рабочего ящика и посмотреть на маску в особой системе зеркал, которую он установил; трудно решить, когда наступит такой день, но он наступает; когда он заканчивает работу ранним вечером, он чувствует, что он близок; может быть, завтра, думает он, тогда на следующий день, рано утром, снова взяв маску в руки, становится ясно,

что это не может быть, но сейчас, сейчас утро, сейчас он должен посмотреть на него, или, точнее, пришло время посмотреть на него в зеркала, которые установлены таким образом, что он сидит с маской в руке и смотрит в открытую дверь мастерской, выходящую в узкий коридор, как и маленькое наклонное зеркало, уже установленное на татами позади него, но хорошо видимое из его рабочего ящика; а затем напротив него в конце узкого коридора, то есть в добрых десяти метрах, находится большое зеркало, покрывающее стену; затем примерно посередине коридора временно установлено маленькое наклонное зеркало, или, скорее, зеркало, которое можно отрегулировать под нужным углом; есть также маленькое зеркальце на потолке коридора, прямо над маленьким зеркалом, расположенным посередине: это система, и он, стоя лицом к большому зеркалу, соответственно демонстрирует правой рукой маску большому зеркалу, поднимая ее с большей осторожностью, чем прежде, и поднимая над правым плечом; он видит прежде всего в большом зеркале то, что он показывает, что он делал в течение этих долгих дней, и, конечно, он также видит свое собственное лицо и над своим правым плечом маску в этой точке рабочего процесса — но он смотрит не туда, конечно, а только и исключительно на маску — медленно, вдоль невидимой центральной оси — он поворачивается направо, затем внезапно оттягивает маску назад, так что, удерживаемая под умеренным углом, она показывает левый профиль, как Ситэ может делать очень часто позже на сцене Но, и в целом он не очень доволен этими первыми осмотрами в системе зеркал, что-то действительно не так в лице, то есть на его лице, его черты становятся еще более мрачными, если это возможно; он почти говорит, говорит что-то, но затем даже этого нет, остается только мрачное лицо, и он снова садится в рабочий ящик и продолжает резать в другом темпе, поэтому это всегда существенное развитие, это первое, а затем второе и третье отражение в зеркалах, ибо фундаментальная ошибка всегда возникает только, но только таким образом, который не

означает, что проблема будет решена, просто он вдруг видит, что идет в неправильном направлении: что-то там под глазами, как сейчас, слишком углубилось, или недостаточно углубилось, это надо исправить; он берёт другой резец, чем тот, которым работал раньше, но потом задумывается и меняет этот резец на третий, немного наклоняется вперёд и в этом ином, несколько более лихорадочном темпе снова начинает работать, время от времени показывая — чтобы проверить свою работу — маску в маленькое наклонное зеркальце, которое стоит перед ним на татами, над которым, как и в двойном зеркале на потолке коридора, он показывает деталь, которую нужно исправить, он показывает её там, над плечом, но как-то странно, как будто он даже не смотрит, как будто он даже не рассматривает её по-настоящему, он поднимает её и смотрит в маленькое зеркальце, и он отпускает маску уже обратно на колени, как будто автоматически зная, в чём проблема, ему для этого не нужно маленькое зеркальце, как будто он говорит, что ему не нужны никакие вспомогательные приспособления, он автоматически знает, что на этот раз в складках под глазами что-то нехорошо, они недостаточно глубоки, или они, именно, слишком глубоки, он ощутимо нервничает, только он знает почему, что здесь, в этой мастерской, одно движение может всё разрушить, и пока он этого не исправит, не будет ясно, можно ли это вообще исправить; теперь же, однако, да, на этот раз это можно исправить, ясно, как минуты проходят, как он в более спокойном ритме вдыхает воздух, и теперь он действительно только время от времени бросает взгляд, поднося его к маленькому зеркальцу, затем переходит к совсем тонкому резцу, затем к наждачной бумаге и, наконец, шлифует обрабатываемую деталь только руками, затем снова встаёт и садится лицом к большому зеркалу, держа маску над правым плечом, снова медленно поворачивает её немного вправо, затем немного влево, действительно ясно, что на этот раз ему удалось исправить ошибку, и как далеко ещё до конца, сколько раз он должен сделать

очевидная ошибка, всё это выглядит так, как будто он спускается из Накагава-тё по серпантину, но не тормозит ни разу до самого конца, спускается с границы Накагава-тё, скажем, с моста через ручей, до самого Горуфу-дзёмаэ — туда, где живёт известный актёр Но, если он проезжает мимо Горуфу-дзёмаэ, что случается часто, поскольку это один из его любимых велосипедных маршрутов в Накагаву — он часто думает об этом Но-Сите, о том, что он живёт здесь — только это, и ничего больше — одним словом, этот маршрут идёт из Накагавы в Горуфу-дзёмаэ, ну, и кто бы мог поверить, что оттуда, с моста через ручей, можно спуститься в город —

совершенно свободно, не тормозя — невозможно, говорил он, тропа такая крутая, столько поворотов, и велосипед так разгоняется, что за считанные секунды все это превращается в лабиринт скорости, и малейшее неверное движение рулем, на долю секунды, и все, сама мысль об этом невообразима, это общее мнение, и даже он не стал бы за это браться, даже на специальном горном велосипеде; Этот пример, однако, часто приходит на ум, и не случайно, ибо даже эта мастерская с ее собственной скоростью является, по крайней мере, таким лабиринтом, по крайней мере, таким опасным для жизни, опасным лабиринтом, где в каждом отдельном движении каждой отдельной фазы работы существует возможность ошибки, начиная с вопроса о том, правильно ли он выбрал дерево у Окари-сана, правильно ли он определил линейную структуру хиноки — ведь нужно знать с полной уверенностью, где отдельные линии располагаются на дереве, потому что все, но все должно быть определено на основе этих линий, поскольку это определяет местоположение центральной оси, и через это каждая отдельная линия, которая должна быть нарисована с трафаретов

— но затем следует прорисовка контуров, решение о том, где будет кончик носа, затем брови, лоб, ноздри носа, глубина подбородка,

и ухо, он не может ошибиться ни в один момент одним ударом долота, и тогда где конец этому

— здесь он даже не приблизился к середине, когда он должен углубить отдельные контуры маски, когда он может начать вырезать поверхность глазницы, носа, щек, ушей и рта, и где конец всему этому, он даже не в середине, потому что дни просто идут один за другим, и он должен вырезать полностью вогнутую заднюю половину маски, затем просверлить место, где будут глазные яблоки, он должен заняться формированием рта и зубов, и только тогда он может сказать, что достиг более или менее середины работы, и затем наступает момент, когда он берет небольшой нейлоновый мешочек, наполненный лаком, и пропитывает маску, а также рога, которые были вырезаны тем временем; затем ему приходится ждать довольно долго, затем вынуть всю конструкцию из лака, а затем поместить ее в кипящую воду, затем высушить ее, вставить рога в нужные точки на лбу и закрепить их на месте, и только затем идет золочение глаз, затем покрытие зубов медью, весь процесс теперь требует другого рода чувствительности и способностей от человека, который внезапно должен быть ювелиром и медником, он должен иметь в своем распоряжении эту чувствительность и эти способности, точно так же, как когда внутреннюю поверхность маски очищают, затем красят, сначала лаком, затем после высыхания знаменитым и опасным уруси, затем все это помещают в специальный сушильный аппарат, затем его вынимают из сушильного аппарата, ибо затем следует собственно покраска: то есть распыление на поверхность маски белого пигмента его собственной смеси, а затем идет восстановление позолоты глаз и медного покрытия зубов с помощью процесса, известного как полировка, затем нанесение красной краски на губы; и вообще операция по росписи маски сложная и многогранная — он должен также расписать маску хання,

и он должен нарисовать волосы, более того, отдельные пряди волос должны быть нарисованы индивидуально — он должен уметь сформировать на поверхности маски, окрашенной в белый цвет, дефекты кожи, ее нежные оспины, и только здесь, в этот момент он может сказать, что он может начать последнюю фазу работы, то есть он должен сшить из шелка, и снова сам, защитный мешочек для маски: сначала вырезать внутреннюю оболочку из тонкого белого шелка, затем подготовить соответствующую подкладку из рваного войлока, придав мешочку мягкую, толстую подкладку; и наконец, он должен уметь выбрать, и выбрать правильно, из великолепных сотканных шелков разных узоров тот, который действительно подходит, тот, который подойдет к этой маске и только к этой маске, затем выкроить его и сшить все вместе, и все это без единой ошибки, но это невозможно: я часто ошибаюсь, признался он своим ученикам — которых снова и снова допускают в его мастерскую лишь на короткое время, только время от времени — часто, говорит он им, улыбаясь и кивая; он вообще не показывает своего беспокойства, однако заметно, что в такие моменты он сердится, напрасно он улыбается, потому что вообще нельзя делать никаких ошибок, объясняет он, и, несмотря на это, он всегда и часто ошибается, не говоря уже об одном случае, который действительно грозит ему полным нервным срывом, когда вся готовая маска оказывается ошибкой, если можно так выразиться, а именно, когда он с удовольствием смотрит на маску два или три дня, когда он чувствует, что может осмотреть ее с удовлетворением, потому что эта маска —

явно благодаря случаю — успешно завершена, и вдруг он чувствует холодок вокруг своего сердца, и он смотрит на нее с холодным и беспристрастным чувством, он сразу видит, что она плоха, что он ее испортил, и знаете почему, он тогда поднимает брови, и сам тотчас дает ответ, в этом месте он не заикается, он оглядывается на студентов, которые там бывают только изредка: потому что никто

можно сделать хорошую маску случайно, сделать хорошую маску случайно невозможно, случайность не играет в этом абсолютно никакой роли, при этом вы, конечно, не можете знать, что играет роль; может быть, он понижает голос, практика и опыт играют роль, и только эти две вещи, ничего больше, потому что маска — всего лишь кусок дерева, раскрашенный и вырезанный кусок дерева, на поверхности которого мы видим лицо, и он даже может сказать это сейчас, и он чувствует это сейчас, когда наступает день, произнося свою последнюю работу, известную таким образом по ее точному названию, сиро-хання, голова демона, созданная для пьесы Но под названием Аой но Уэ; он принимается за шитье шелкового мешочка и затем шьет его, и он некоторое время смотрит на ужасающее существо, на монстра с его огромной разинутой пастью, его выпученными глазами и рогами на лбу; он смотрит на него, он изучает свой последний шедевр, затем осторожно кладет его на последнее место, в шелковый мешочек, и он даже не подозревает — эта мысль даже не приходит ему в голову, — что за какие-то полтора месяца его руки произвели на свет демона, и что он причинит зло.

21

УБИЙЦА РОДИЛАСЬ

Он отправился из глубочайшей ненависти и прибыл, из самых низов и издалека, из таких низов и издалека, — что тогда, в начале начал, он не имел ни малейшего представления, куда он направляется; более того, он даже не подозревал, что вообще есть путь к чему-либо, он возненавидел страну, где жил, возненавидел город, где он проживал, возненавидел людей, среди которых он каждое утро на рассвете входил в метро и с которыми возвращался домой вечером, это бесполезно, сказал он себе, у меня здесь никого нет, ничто не связывает меня с этим местом, пусть все это катится к черту и сгнивает; поскольку довольно долго он не мог решить, он просто уезжал с утренним метро и возвращался с вечерним, домой, и когда наступил день, однажды утром на рассвете, он больше не входил в это метро вместе с другими, он просто стоял некоторое время на платформе, в голове у него ничего не было, он просто стоял, и его толкали туда-сюда; он взял одну из бесплатных газет с объявлениями, потом выпил пива, стоя у стойки, и посмотрел на объявления о вакансиях, и выбрал страну вместе с предложением о работе, потому что он ничего о ней не знал, Испания, это довольно далеко, так что пусть будет Испания, и с этого момента события ускорились, и дешевая авиакомпания уже тащила его за собой, он летел на самолете впервые в жизни, но он не чувствовал ничего, кроме страха и ненависти, потому что он боялся их: он ненавидел самоуверенных стюардесс, самоуверенных путешественников и даже самоуверенные облака, которые кружились внизу, и он ненавидел солнце и сверкающий свет — и вот он почти упал, упал прямо в этот город, и едва он ступил сюда, как его уже обманули, потому что, конечно же, за предложением о работе не было никакой работы,

и деньги, которые он накопил, почти сразу же закончились — они ушли на дорогу, жилье на первые несколько дней и еду, чтобы он мог начать здесь, пути назад не было, вообще никакого пути назад — он мог начать искать работу в этой чужой стране, которую, конечно же, не нашел, повсюду прогоняли «румынских бродяг» и им подобных, он просто бродил по этому прекрасному городу, и никто не давал ему никакой работы, и прошла неделя, и другая, и другая, и снова наступила очередная суббота, и он отправился, один, как всегда, в город, но на этот раз без надежды на работу, выходные были особенно ужасными, но он просто бродил, из ненависти, в нее, куда угодно, с одной барселонской улицы на другую, в густой субботней ночной толпе людей, опьяненных богатством и радостями жизни; У него было всего пятьдесят евро, голод бесполезно грыз желудок, он не решался никуда зайти, конечно же, из-за своей одежды, в этой одежде — он посмотрел на себя — было бы совершенно понятно, если бы его сюда никуда не пустили, и тут случилось так, он в этот момент шел по Пасео де Грасиа, что толпа людей на перекрестке так разрослась, и все они в таких нарядных одеждах сгрудились вместе, и он был вынужден остановиться, он отошел к стене и смотрел на них оттуда, потому что ему просто не хотелось, чтобы его оттуда уносило, чтобы он двигался дальше, поэтому он остался у стены, и поскольку его спина была прижата к ней, он начал смотреть на здание позади себя и был совершенно ошеломлен, потому что он уже видел много подобных извращений в этом городе, но никогда ничего подобного; но он уже проходил этим путем раньше, он, должно быть, видел и это, но напрасно прошел мимо, он не заметил его до сих пор, что само по себе было странно, подумал он, потому что это здание на углу Пасео де Грасиа и Каррер де Прованса было таким колоссальным, таким неповоротливым, оно так сильно давило на перекресток, что на самом деле оно

трудно было не заметить, он сгорбился дальше вдоль стены, затем заметил туристическую табличку, представляющую это место, которая гласила, что это был Дом Мила, а ниже, в скобках, что это был Дом Мила — она указывала именно на это место — так что это должно было означать, что название здания было Дом Мила, то есть это должно было быть какое-то знаменитое здание, ну конечно, подумал он, здесь, в Барселоне, в этом районе, они могли бы повесить это на многие здания, даже не потому, что они были знамениты, а потому, что их построил сумасшедший, затем он внимательно рассмотрел фасад, по крайней мере, насколько это было возможно среди толпы, и хотя он был намного, но действительно намного уродливее других, он не понравился ему по той же причине, что и его соседи, поскольку он вообще не любил ничего, что было неупорядоченным, и это было совсем не так, это было похоже на гигантский живот, на огромную кишку, которая каким-то образом, из-за своего веса, вывалился на тротуар и растянулся там, ему стало противно, да и вообще: теперь, когда он внимательнее посмотрел на этот колоссальный, тяжелый фасад, он начал каким-то образом его расслаблять, угнетать, он стал ему во всех смыслах слова отвратительным, и он не мог понять, почему кому-то было нарочно позволено построить что-то подобное в этом отвратительно прекрасном и богатом городе; Это могло быть полшестого, и было все еще совсем светло, только он называл это вечером, так как для него полшестого было все еще вечером, он ничего не мог с собой поделать, толпы, жаждущие развлечений или покупок, просто двигались вперед и вперед, поворачивали, кружились на углу и не давали ему идти дальше, чтобы он мог беспрепятственно уйти отсюда, напротив, когда он заметил, что все это, казалось, разрасталось, даже раздувалось, и не только здесь, на перекрестке, но и в обоих направлениях вдоль Пасео де Грасиа, тогда он решил, что покинет этот район, пойдет на Каррер де Провенса и попытается найти какой-нибудь гораздо, гораздо более дешевый район, подходящий для него, который, с одной стороны, был бы по пути к

его новое бесплатное жилье, и где он также мог наконец что-нибудь поесть; и он немного прошел вдоль стены —

если быть совсем точным, то расстояние в несколько шагов — до открытого входа, явно входа в саму Ла Педреру, или как там ее называли; он заглянул, но не увидел внутри ни одной живой души, только своего рода декоративную лестницу, украшенную болезненными усиками плюща, которые каким-то болезненным образом вились вверх в слегка затемненном вестибюле, они вились между пятью ужасно отвратительными колоннами и какой-то расписной стеной, похожей на мрамор; Должно быть, внутри происходит какое-то событие, свадьба или что-то в этом роде, подумал он, но не двинулся с места, а просто ждал, ждал, когда появится охранник, или камердинер, или кто-то в этом роде, он был уверен, что это произойдет, потому что ему почти хотелось, чтобы его вышвырнули, но никто не появился, поэтому, ведомый быстрой и глупой идеей, он сделал шаг внутрь и с минуту слонялся там, оглядываясь в прихожей, которая, очевидно, была высечена и расписана самым безумным образом, он слонялся и... никто не пришел, была такая тишина, словно эта субботняя вечерняя толпа, тяжело и натужно, не шумела прямо у входа, в нескольких метрах отсюда, — тишина, это было действительно странно, дверь была открыта, он двинулся вдоль пяти колонн вверх по резной лестнице, он знал, как нагло себя ведет, потому что уж если кому-то и не следовало там находиться, так это ему; просто из любопытства, сказал голос внутри, я поднимусь немного выше из любопытства, и так он добрался до первого этажа, где снова обнаружил распахнутую дверь, но самое странное было то, что и здесь никого не было, он был уверен, что не сможет пройти дальше, но нет, внутри, за распахнутой дверью открылся довольно длинный коридор, в коридоре был только пустой стол и пустой стул, сиротливо стоявший сбоку, он шагнул в коридор и заметил, что слева от стола была такая же распахнутая, более узкая дверь, затем он увидел восемь

ступени, ведущие наверх, и еще дальше, глядя отсюда вниз, открывалось другое пространство, или комната — он встал на цыпочки, чтобы лучше видеть, очень осторожно, что там, внутри, но там, внутри, в этой приподнятой комнате, ему показалась только тусклая неясность, из которой открывались другие, также смутно темные комнаты, и в комнатах не было, насколько он мог судить отсюда по входу перед восемью ступенями, ни одной живой души; на стенах в этих комнатах висели какие-то старомодные религиозные картины, старомодные и прекрасные и неподходящие для этого места, все они сияли золотом, о нет, подумал он, теперь ему действительно нужно уйти, и он неуверенно обернулся, как тот, кто хотел бы вернуться в главный коридор и отсюда вниз по лестнице и на улицу, он побежит и, раскрепощенно, наконец глубоко вдохнет воздух, ибо здесь он полностью затаил дыхание; но и тогда он не ушел, а только сделал несколько шагов к открытой двери рядом со столом, посмотрел на восемь ступенек вверх, ведущих в первую комнату, и снова заглянул в ту первую комнату; вдруг эти позолоченные картины начали его привлекать; он не хотел их красть, у него не возникало такой мысли, — точнее, она возникала, но он тотчас же отгонял ее, — он хотел посмотреть, как они блестят, собственно, просто посмотреть еще немного, хотя бы пока его не вышвырнут, так как ему все равно нечего было делать, как вдруг из-за его спины, снаружи, со стороны узорчатой лестницы, раздались такие тихие шаги, что он их даже не услышал, пара средних лет, хорошо одетая, рука об руку, они расстались за ним, обошли его и снова подошли друг к другу, а тем временем тот, кого они обошли, едва заметно дрожал всем телом, женщина снова взяла мужчину под руку, и они поднялись на восемь ступенек и шагнули в комнату, скрывшись там из виду, что решило вопрос, входить ему или нет, так как он немедленно двинулся за ними, что бы ни случилось,

случится, самое большее, его выгонят, что бы ни случилось, и тогда он увидит еще немного того, что так ярко светило ему в глаза снизу, так что он тоже, все еще слегка дрожащими ногами, поднялся по восьми ступенькам и, переступив порог, рискнул войти вслед за пожилой парой, — было темно, к тому же свет горел только над отдельными картинами; он не остановился сразу, а вошел дальше, чтобы создать впечатление, будто он уже внутри, да, может быть, даже больше внутри, чем те, кто подошел сзади, так что это была не первая картина, не вторая, и он даже не знал, сколько всего картин, и вдруг на него смотрит Иисус Христос, сидя на каком-то троне посреди триптиха, в одной руке он держит книгу, а именно Священное Писание, которая раскрыта, а другой зловеще подает знак тому, кто смотрит, знак наружу из картины, и действительно, все вокруг него сияет — оно сделано из листового золота, определил он, как раньше он бывал в реставраторских мастерских, даже если теперь он находится только на стройках; сусальным золотом — он наклонился ближе, но почти сразу же быстро отступил назад — сусальное золото почти само собой прилипает к основе, очевидно, это было подготовлено с его помощью — он посмотрел на Христа, но всячески избегал смотреть ему в глаза даже один раз, ибо этот Христос, хотя он знал, что это всего лишь картина, смотрел на него так строго, что взгляд был едва выносим — это было, кроме того, прекрасно — это было единственное слово для этого, прекрасно — и немного как будто художник написал ее в то время, когда люди еще не умели как следует писать красками, или, по крайней мере, ему так казалось, потому что было что-то элементарное в форме головы и во всей картине, на заднем плане совсем не было пейзажа или каких-либо зданий, которые он привык видеть на церковных картинах, были только ангелы со склоненными головами, и святые со склоненными головами, и повсюду освещение этого золота, и удивительным образом это показывало Христа с совершенно

крупный план, настолько близко, что через некоторое время ему пришлось отступить, потому что слишком близко, подумал он, и он также обвинил в этом художника; он подозревал, что эти примитивные картины были выставлены здесь нарочно, как и в соседних комнатах, во всех пространствах, которые он мог увидеть отсюда, так как он также сразу заметил, что в дальних комнатах были какие-то люди, и тогда он сразу же подумал, что было бы лучше проскользнуть назад; однако прошло долгое мгновение, и они не пришли, чтобы выпроводить его, более того, один из людей, рассеянных в дальних комнатах, зашел сюда, в комнату, где он был, и не обратил на него внимания, тогда он подумал, что он всего лишь посетитель, такой же, как я, и начал чувствовать себя более уверенно, и он снова посмотрел на Христа, но он ничего не видел, он наблюдал не за картиной, а за тем, что делал человек рядом с ним; но он ничего не делал, только переходил от одной картины к другой, он же не страж, подумал он, наконец расслабившись, и снова взглянул на Христа, над Ним было что-то вроде очень слабой штриховки, но ее невозможно было разобрать, и поэтому он попытался прочесть то, что было написано под картиной, что вполне могло быть написано на каталонском, так как он не понимал ни слова, затем он сделал еще один шаг к следующей картине; фон той тоже был полностью золотым, и он мог быть сделан очень давно, потому что дерево, на котором она была написана, уже основательно изъедено древоточцами, и краска в значительной степени облупилась, но то, что он увидел, было снова очень красиво, Дева Мария сидела там на картине внутри картины, Младенец на ее руке; Младенец особенно понравился ему, так как он прижал свое личико как можно ближе к лицу Девы Марии, которая, однако, смотрела не на Младенца, а как бы перед собой, вне картины, на него, который смотрел на нее, и взгляд ее был очень печальным, как будто она знала, что будет потом с ее маленьким сыном, так что он перестал смотреть на нее и смотрел на золотой фон, пока он не ослепил

он, и третья картина, и четвертая картина, и пятая картина были очень похожи, все они были написаны на дереве, у всех был золотой фон, на всех Дева Мария или Христос, или какой-нибудь Святой, были написаны по-детски, потому что на каждой картине был какой-то Святой, часто их было несколько, но главное, решил он, было то, что эти Марии, Иисусы и Святые, написанные яркими красками на золотом фоне, были — ну, как будто их нарисовали дети, по крайней мере, это пришло ему в голову — конечно, потом он отбросил это как чепуху, потому что чего от него вообще можно было ожидать, он не понимал, он, правда, когда-то несколько месяцев проработал в мастерской реставратора, но все же! — все здесь, ну нет, то, что он видел, определенно не было детским, скорее просто... вероятно, очень старым, согласился он сам с собой, настолько старым, что люди не знают правил живописи, или что у живописи мог быть другой набор правил; он переходил от одной к другой, то склоняя голову налево, то направо, и если напряженная готовность выскочить оттуда при первом же зловещем знаке не исчезла в нем, то он теперь задерживался перед каждой картиной более упорядоченно, потому что, не считая Христа здесь, в конце комнаты, чей строгий взгляд он встретил в самом начале, остальные святые, младенцы и цари смотрели на него с полной нежностью, так что он действительно немного успокоился, и все же никто не пришел поставить его на место или спросить входной билет; если это была выставка, то она таковой и оставалась, да, он не вернулся в первую комнату, которую слепо пробежал, когда вошел, а продолжил путь в следующую, где было так же темно и где только маленькие лампочки также освещали каждую из картин сверху, здесь тоже были святые с Девой Марией или с Христом, здесь тоже не было конца золоту и иллюминации, которая буквально лучилась от их, как будто им не нужен был ни один светильник над ними, потому что свет исходил изнутри них; он ходил вверх и вниз

Теперь, с полной уверенностью в себе, учитывая его обстоятельства, он ходил из комнаты в комнату, смотрел на Святых, Королей и других Блаженных, и вместо того, чтобы чувствовать благодарность небесам за возможность находиться здесь спокойно, его охватила — именно в том месте, где царила вечная ненависть — какая-то грусть, и он почувствовал себя одиноким — с тех пор, как он прибыл сюда, он не чувствовал ничего подобного; он смотрел на иллюминацию, он смотрел на золотой лист, и что-то начало неистово болеть внутри него, и он не знал, что это: действительно ли так больно от одиночества, от этой внезапно нахлынувшей на него боли; или от того, что он забрел сюда таким обездоленным, в то время как все снаружи так счастливо бродили вокруг; или это была неизмеримая даль, которая так больно заставляла его осознать, как невыносимо далеки эти Святые, эти Короли, эти Блаженные, Марии и Христа — и это озарение.

Влияние Византии и Константинополя было неизмеримо, но, конечно, это утверждение нуждается в поправке, ибо без Византии и Константинополя даже сами славяне не приняли бы христианство на такой огромной территории, поэтому, конечно, естественно, что в вопросе иконописи все восходит к византийским истокам, все указывает в этом направлении, к византийскому греческому православию; оттуда появились первые чудотворные изображения, а от них произошли первые чудотворцы-иконописцы; русские ездили учиться к ним в Византию, в неслыханно богатый и могущественный город Константинополь, готовясь к бессмертию, — отсюда произошли суровые очертания неподвижного лика могучего Вседержителя, начертанные на сводах и куполах, отсюда они передавались, прежде всего, в Киев, затем в Новгород, Псков, Владимир и Суздаль, в Радонеж, Переяславль, Ростов и Ярославль, затем в Кострому и, наконец, в Москву, в Москву, — все эти бесчисленные обличительные

взгляды, эти бесчисленные скорбные Девы-Матери в трауре, эти яростные ритмы, эти неподвижные осуждающие цвета, и эта необычайная напряженность, и окончательность, и стойкость, и непоколебимый дух, и вечная жизнь, но русские создали нечто совершенно иное, нечто, наполненное нежной привязанностью, утешением, миром, сочувствием и почтением; это, конечно, достигло своего завершения только в пятнадцатом веке, потому что

— по крайней мере в историческом смысле, от Киевской Руси до Великого княжества Московского нужно было пройти долгий путь, который при этом не следует рассматривать как одну непрерывную линию, а как своего рода набросок, главное направление которого неоспоримо, но который время от времени останавливается в определенной точке, подобно островам, сверкающим во всех направлениях, расходящимся лучами, как звезды, оставляя след на карте первых пяти веков древнерусского искусства, которое в конце концов достигает своей кульминации в иконописи Москвы и создает ту традицию, которая делает его безошибочным, связывая воедино Владимирскую Богоматерь и Богоматерь Волоколамскую, и таким образом могло возникнуть древнерусское искусство иконописи — то, что не требовало времени для рождения, а погружения, которое не произошло в одном единственном процессе

— время, следовательно, не было центральным элементом, но оно было проблеском, внезапным пониманием, молниеносным узнаванием, вид которого был непостижим, неузнаваем, незрим — так думал каждый святой — от двух сыновей великого князя Киевской Руси, Бориса и Глеба, до игумена Печерской Лавры Феодосия и игумена святого Сергия бессмертного монастыря Троицы Радонежской; поистине все, поименованные и безымянные, кто принимал участие в этом погружении

— даже те из них, кто уже был способен чувствовать чудеса Творения, — получали помощь в этой магической атмосфере, созданной иконописцем, почти всегда работавшим в полной неизвестности; приближаясь, своим собственным извилистым путем, к непостижимому и неузнаваемому, и

невидимые; ибо иконы ясно разъясняли им, что мир пришел к концу и что этот мир имеет конец; и что если они поцелуют икону и посмотрят в нее, то уверятся, что существует нечто более чудесное, чем само чудо, что есть милосердие, и есть прощение, и есть надежда, и есть сила в вере, и затем были святыни Десятинной и Софии, созданные по образцу византийской крестообразной часовни, был Успенский собор в Киеве, и часовня Спаса Нередицы, и храм Параскевы Пятницы в Чернигове, была Печерская Лавра и Надвратный храм, и церковь Берестова, и Выдубицкий монастырь, но это была все еще первая волна славных святынь, монастырей и церквей, построенных в радости новой веры, поскольку за этим последовал знаменитый московский период с Успенской, Андрониковой и Троицко-Сергиевой лаврами, так что более новые святыни, монастыри и церкви строились одна за другой, чтобы север, вплоть до Вологды и Ферапонтова, и повсюду иконы создавались сотнями и тысячами, иконостасы возводились, стены, колонны и потолки покрывались фресками, и люди погружались в веру, и ступали в притвор, а оттуда в наос, и, сложив три пальца вместе, широкой дугой крестились, один раз посреди лба, один раз под пупком, затем один раз направо, наконец, налево, затем кланялись и после краткой молитвы подходили к аналою, иконостасу, дважды крестились перед ним и целовали край иконы, затем снова крестились один раз и становились на колени, и покупали пучок священных свечей, и зажигали свечи в подсвечниках, установленных в определенных местах церкви, и здесь, прочитав обязательные молитвы и все время крестясь, очищали свои сердца, наконец, занимали свои места в

святилища, монастыри и церкви, женщины по левую сторону, мужчины по правую сторону, а именно, женщины в притворе и мужчины в наосе, и они услышали голос священника, возглавляющего церемонию, что во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, Аминь, помилуй меня, грешного, Господи наш Иисусе Христе, Сыне Божий, ради молитв Пречистой Твоей Матери, святых, богоугодных отцов наших, всех святых, помилуй нас, и слава Тебе, Господи наш, слава Тебе, о

Царю Небесный, Подателю Утешения, Душе Истины, везде сущий и все исполняющий, Сокровище всех благ и Жизни Подателю, прииди, вселися в нас и очисти нас от всех грехов, и избавь, о Благость, души наши, и они услышали отголоски хора, все более богатую полифонию, построенную на основе диатонической, хроматической и энгармонической гамм, они предались икосу, звучащему в восьмиголосной гамме и ее сорока модуляциях, и они произнесли Амин, если пришло время на литургии святого Иоанна Златоуста, и сотворили крестное знамение, как бы разбрасывая кресты, бросая один крест за другим в течение часов, пока совершалась эта великая литургия, пока священник не поцеловал крест и после раздачи просфор не призвал их выйти; и они верили в Бога, потому что видели иконы, потому что эти иконы показывали им и окончательно доказывали их впечатлительным душам, что то, что стояло перед ними на иконостасе или то, что они могли видеть висящим на стене перед собой, икона, было воистину тем местом, где они могли заглянуть в другой мир, мир превыше всего, так что их жизнь проходила в одной-единственной молитве, или, если это было не совсем так, как посреди извивающейся борьбы между меньшими и большими грехами, совершаемыми снова и снова, было трудно поддерживать интенсивность сосредоточения, требуемую постоянной молитвой; и все же оставалось удивление, искреннее восторженное удивление тех, для кого это состояние непрерывного

Молитва не была сверхчеловеческим занятием, но сама по себе была единственной мыслимой формой этой мирской жизни — поистине одной долгой непрерывной молитвой — ибо так было у тех, кто избрал священный путь, у каждого стриженого приверженца предметов православного благочестия, кто, следуя одной из двух традиций Византии, выбрал провести свою жизнь в том, что Господь определил для них: либо в строгом киновионе, либо в более свободомыслящем идиоритмическом типе монастыря; тем не менее они жили в обоих местах в этом состоянии непрестанной молитвы, если не были явно ограничены этой молитвой, как самые постоянные герои веры, исихасты; ну, может быть, эти монахи даже не могли поступить иначе, поскольку для них что-либо иное было бы невообразимо; поэтому они жили как внутренняя немой молитва, погруженные в совершенное молчание, в тишине, где никогда не было слышно ни одного звука мира, даже слабого шепота молитв других монахов, даже ропота, который можно было услышать со всей русской земли, которая в соответствии с так называемым духом истории медленно двигалась в бурном водовороте к единению, ибо в то же время русские стали очарованы Христом и Девой Матерью, и с искренним ропотом страха в своих сердцах воздавали почести нашему Господу Создателю, который смотрел на них как Вседержитель с высоты церковных куполов, они были очарованы ослепительной красотой церквей, несметными богатствами, которые сыпались на них по воскресеньям и во время каждой обязательной молитвы в церковные праздники; под тяжестью своих грехов они принимали участие с глубочайшим доверием — с обещанием искупления — в долгих церемониях, которые сами по себе были молитвами; Все семь византийских соборов православной веры хотели этого и постановили так, чтобы все, включая мельчайшие подробности жизни, было урегулировано, и таким образом все могло соответственно служить вечному питанию Церкви на огромной территории России, выступающей как великая держава, все

могли бы служить вечной пищей зданиям ее веры — отточенным, замысловатым и бесконечно утонченным — так, чтобы каждый предмет, каждое песнопение, каждая мольба и каждое движение вызывали изумление и сохраняли в верующем, при его жалком существовании, чувство, что здесь он близок к Раю, близок к Господу нашему, близок ко Христу и Святой Богородице, близок к Невидимому, к тому, что Чудеснее Чудесного, так, чтобы он был наполнен раздирающими сердце отголосками пения хора и Слова; его душа, после скорби, была бы проникнута бесконечной радостью, так, чтобы он верил, истинно верил, что его жалкая жизнь — ничто; ибо все было наверху, было там, по ту сторону, было там; если он посмотрит, прежде чем поцеловать край иконы, на непостижимое зрелище, открывающееся во вратах иконы, оно было там... там... где-то.

Он решил уйти, это всё, что ему было нужно, отдаться этой слабости, клейкой субстанции грусти, которая стремительно на него обрушилась, всё, что ему теперь нужно, — это сдаться, особенно в этом месте, которое было не для него, просто потому, что картины на стене смотрели на него с таким освещением; об этом не могло быть и речи, убирайся сейчас же, всё это было полным абсурдом, он не мог себе этого позволить, у него вообще ничего не было, ни приличного жилья, ни денег, ни работы; он должен был не только быть сильным внутри, но и чувствовать себя так, встречаясь с тем, кого он встретит в понедельник, снова ища работу; бродить здесь было чистым безумием, я ухожу, к чёрту всё, и он уже шёл, то есть назад, потому что нельзя было быть уверенным, как и он сам, что на другом конце ряда комнат, расположенных подобно лабиринту, есть выход; он уже это осознал, ему не нужно было размышлять: ну, куда теперь, сюда, сказал он себе, и пошел назад, туда, откуда пришел; он не смотрел на картины сейчас, он был очень зол на себя и чувствовал, что это было

было идиотством пробираться сюда; он отступал из комнаты в комнату, и уже добрался до первой комнаты, и был уже внизу на восемь ступенек, и собирался войти в дверь, которая широко распахнулась в коридор, чтобы потом сбежать по этой безумной лестнице и наружу, из этого безумного здания, снова в толпу, а затем на Каррер де Прованса, а оттуда быстро в подходящий для него район, чтобы поесть в каком-нибудь дешевом буфете и продержаться до завтра, когда в первой комнате, через которую он слепо пробежал, когда только вошел, да, теперь он ясно вспомнил, что здесь, в этой первой комнате, он вообще ни на что не смотрел, он даже ничего не видел, как будто ему пришлось закрыть глаза; ни за что на свете он не помнил ничего из того, что здесь было, словом, он вошел внутрь, не видя, но теперь, выходя, он бросил взгляд на картину гораздо больших размеров, чем другие, всего один взгляд, и он уже отвернул голову, и он уже поднял ногу, чтобы переступить через порог, но он остановился, он как-то запнулся в своем движении, он не смог его закончить и из-за этого чуть не споткнулся неуклюже перед восемью ступенями — почти, потому что в последний момент он смог отдернуть ногу, и он даже смог удержать равновесие, он только ухватился за дверной косяк и еще раз оглянулся, и, что ж, у него, в сущности, не было особой причины так беспокоиться, потому что в этой первой комнате можно было видеть только одну картину; правда, он был расположен по-другому, и правда также, что, кроме этой картины, там ничего больше не стояло — в этой первой комнате был установлен мольберт, своего рода мольберт художника, а на нем, наклонно, то есть с небольшим наклоном назад, и гораздо больше других, была помещена картина почти в натуральную величину, и, поскольку мольберт находился высоко над уровнем пола, он как бы приветствовал посетителя, и если бы ему уже с самого начала было трудно объяснить, почему он поскользнулся

сюда, и какого черта он здесь ищет, то теперь он еще меньше понимал, почему он остановился как вкопанный перед этой картиной, так что чуть не упал носом вниз от резкой остановки, то есть, во всяком случае, как это произошло: он затормозил, остановился как вкопанный, прислонился к дверному косяку, восстановил равновесие и повернулся в сторону большой картины, и на картине увидел трех могучих, хрупких, молящих мужчин, поскольку эти три мужчины сидели вокруг стола; это было то, что он увидел первым, но он быстро обнаружил, что у этих трех мужчин, у каждого из них, были крылья, более того, это было нелегко обнаружить, так как картина была в довольно плохом состоянии, было сразу видно, что многие части, которые когда-то были написаны, отсутствовали, но три фигуры, которые из-за своих крыльев, очевидно, были ангелами, остались относительно нетронутыми, только шрам тянулся через всю середину картины, как будто дерево, на котором она была написана, раскололось, и как будто после того, как образовалась эта трещина, туда что-то еще пролили, в результате чего образовалась толстая полоса, где часть цвета была потеряна; но затем он определил, что справа была похожая, хотя и более тонкая полоса, где могло произойти то же самое; ага, он вдруг понял, эти трещины возникают в двух местах, где так давно доски были подогнаны друг к другу, проблема со соединением, подумал он с тревогой, материал коробится и уже немного покоробился, другими словами, он принял форму чаши, как говорят люди, работающие с деревом, и в эту первую минуту он даже не знал, какого черта его это интересует, и что его встревожило, и почему он уже не двигается дальше, какого черта он здесь делает и почему для него, именно для него из всех людей, так важно, что на этой картине два шрама и откуда они, когда он очнулся и понял, что эти ангелы... как будто остановили его, это казалось чистым безумием, но в этом должно было быть что-то, он понял, что теперь смотрит только на фон,

возможно, даже более устрашающе сияющий и золотой, чем предыдущие, и что он не отрывал от него глаз, его глаза были ослеплены сиянием, просто чтобы не смотреть на ангелов — но он и так прекрасно понимал, что не посмеет взглянуть на ангелов — так вот, это действительно круто, я тоже сошёл с ума?! и он посмотрел на ангелов и почти сразу же от увиденного рухнул, потому что он сразу понял, как только взглянул на них, что эти ангелы были настоящими.

Было бы проще, если бы он просто сразу сбежал по ступенькам, а потом действительно выбрался бы отсюда, только с его точки зрения, отсюда, изнутри, всё было не так: напротив, ему казалось проще всего не бежать через ту дверь, которую охраняют ангелы, а идти назад, ещё раз назад, через комнаты, и там искать настоящий выход, и он даже так и сделал, хотя, конечно, не продумал этого; он был слишком напуган для этого, это его рефлексы, а не мозг, принимали решения, его простые сенсорные рефлексы, так что он бежал, и действительно бежал, через первую комнату, потом он бежал через вторую, потом он замедлил бег в третьей.

— за ним, собственно, и не гнались — тем не менее, в четвертой комнате он уже пытался скрыть свой бег, так что побежал дальше скрытым бегом; если бы кто-нибудь из стоявших в задних комнатах и смотрел на него, то ничего особенно заметного не увидел бы, правда, он выглядел так, будто как-то странно волочил ноги по полу, но просто спешил по комнатам, явно у него были какие-то дела, что-то где-то не доделано, любой из посетителей выставки мог бы подумать это, если бы взглянул на него, только они не взглянули, всем было совершенно все равно, куда он идет, и поскольку все рассматривали иконы, как, может быть, знакомая пара из начала, которая тихо шепталась перед каждой картиной, но, в сущности, он не привлекал здесь ничьего внимания

пока он не достиг последней комнаты, где он увидел дверь, которая не была широко открыта, ее нужно было открыть, если кто-то хотел пройти через нее, но казалось очевидным, что она ведет наружу, поэтому он не раздумывал слишком много, куда идти, он уже шагнул туда, и уже открыл дверь, но, войдя в нее, он увидел сидящего напротив него, рядом с маленьким столиком, крупного, бородатого старика, который тотчас же поднял голову, когда он появился, спеша в дверь; он уже заподозрил, почему кто-то так поспешно выходит из последней комнаты; о нет, это все, что мне нужно, подумал он, внезапно замедляя шаг, но тщетно, было слишком поздно, старик поднялся со стула и посмотрел ему в лицо, на что он быстро отвел взгляд и остановился у стены, такой же чудовищной, как и та, что на первом этаже, он откинулся назад как можно сильнее к рябой стене и скривил рот, глядя перед собой в пол, как человек, только что вышедший из комнаты отдохнуть, или как человек, только что обдумавший то, что он только что видел; он заметил, что, сделав это, старик снова сел, или, точнее, он медленно опустился на свой стул, но он смотрел, не отрывая от него взгляда, потому что, ну, конечно, он был подозрителен, подумал он, я бы тоже подозрителен на его месте, так что он остался там; Что-то ужасно торчало у него из спины, какая-то безделушка торчала из стены, явно какая-то жалкая безделушка, долго ли мне ещё здесь стоять, подумал он с раздражением, когда старик каким-то образом указал головой в сторону комнат и заговорил с ним: «Василька там?», чего он, конечно, не понял, с одной стороны, потому что не говорил по-каталонски — он выучил только несколько основных выражений по-испански, а с другой — потому что старик говорил не по-каталонски и даже не по-испански, а, по всей вероятности, по-русски или, во всяком случае, на каком-то славянском языке, поэтому он стоял вдвойне отстранённый от этого предполагаемого русского языка, и

как всегда, когда кто-нибудь говорил ему что-нибудь в этой стране, он осторожно кивал головой, так осторожно, что можно было понять, что это значит что угодно, во всяком случае, он не сказал ни слова и продолжал стоять у стены; старик, как будто успокоенный кивком, откинулся на спинку стула; Однако он впервые взглянул на старика внимательнее и увидел, что этот человек, явно поставленный сюда на какую-то руководящую должность, не просто стар, он был прямо-таки древним, борода у него была густая и белоснежная, доходила ему до груди, кончик которой он постоянно покручивал, но глаза, какого-то голубого цвета, как плащи ангелов внутри, были устремлены на него не мигая, он некоторое время молчал, потом начал колебаться и, как человек, который совершенно уверен, что другой понимает, что он начинает говорить на своем родном языке в этом чужом городе, снова заговорил на том, что, как и прежде, скорее всего, было русским, говоря, что он больше не может этого выносить, всего этого безделья, он уже сто раз пережевывал это, зачем здесь эти картины и каково их назначение, что эти две и есть сама Галерея, но что касается этой, он раздраженно махнул рукой, то даже говорить об этом было пустой тратой времени, Он был просто бездельником, ох, этот Василька, вздохнул старик, долго качая головой, на что тот ответил снова кивком головы, и этим он окончательно убедил старика, что понимает, что тот говорит, более того, что он согласен с ним и что Василька действительно должен был сидеть там, очевидно, перед чем-то у входа, где ангелы; да, он, должно быть, имел в виду вход; старик, почувствовав его согласие, кивнул в знак благодарности, так как, объяснил он, сокровища там внутри были бесценны, потому что здесь были вещи, отборные предметы, не только из московских собраний, но и материалы из Киева, и Новгорода, и Пскова, и Ярославля, и из более поздних времен, их просто нельзя было оставлять без присмотра, без

защита, нельзя было доверить это каталонцам, они бы им головы оторвали, если бы нашли хоть пятнышко на ком-нибудь из них, он всё это объяснял Васильке, непрерывно, но можно было сколько угодно объяснять, Василька ускользал, как ящерица, и, конечно, он знал —

старик указывал на себя, — что если он пройдет по комнатам, то здесь никого не будет, что же ему делать; каждое утро он говорил: смотри, Василька, черт тебя побери, если ты будешь так часто улизывать, ты никогда не вернешься домой, — ведь их сюда из дома прислали, — и так далее, он только все твердил, что это двое сторожей комнат Галереи и что он напрасно умолял их не приставлять его к этой передвижной выставке с Василькой, кого угодно, только не этого Васильку, но главный начальник его не слушал, потому что его давно уже никто не слушал; он постарел, на левое ухо — и он показал ему это место — он был совершенно глух, и даже видел он не очень хорошо, но никому этого не говорите, никто не должен был знать, потому что его тогда выгонят из Галереи, он немедленно умрёт, если это случится, потому что господин может ему поверить, и он снова указал на себя обеими руками, он прослужил сторожем в Галерее больше сорока лет, всё, он уже пережил всё, что только можно было пережить: этот ушёл, тот пришёл, этот снова ушёл, того снова назначили, это был чистый сумасшедший дом, поэтому он всегда оставался сторожем, никто этому не завидовал, и всё же он, отметил он — доверительное выражение на лице — урождённый Вздорнов, да, он коротко усмехнулся, из этой ветви, из знаменитого и знатного рода Вздорновых, даже не так далеко от самого знаменитого из всех, батюшки Герольда Ивановича, который, кстати, теперь жил в Ферапонтов, полностью отрешившись от мира, каждый день смотрел на всемирно известные фрески Дионисия, которые, как говорят, тоже свели его с ума, но это не

действительно важно, потому что, возвращаясь к себе, они —

Герольд Иванович здесь, Герольд Иванович там — они могли говорить сколько угодно, он никогда не оставил бы своего поста музейного сторожа ни за какие деньги, это всегда устраивало его самым идеальным образом, потому что здесь, по крайней мере, человека оставляли в покое, и, широко расставив руки, он ждал согласия своей аудитории, публика, конечно, кивнула один раз очень серьёзно, но к тому времени уже решила: ладно, всё в порядке, он сделает вид, что слушает ещё минуту, но больше нет, он спустится отсюда на первый этаж, оттуда на улицу и отсюда, потому что всё равно смешно, как человек не может уйти отсюда из-за того, что на него напало видение — потому что что ещё могло с ним случиться до видения, он не смел двинуться отсюда, боясь, что его схватят из-за билета, ну, он же ничего плохого не сделал, ничего не взял, даже вообще ни к чему не притронулся, единственная проблема была в том, что у него не было входного билета, так что ну, это ничего, он потом как-нибудь отговорится, но когда уже решился и отпрыгнул на волосок от стены, старик снова заговорил, на что только снова откинулся назад, ибо решил, что лучше уж ему пока прислониться к стене, по крайней мере, найдется место поровнее для спины на стене, а не та самая безделушка торчит, но все же: он стоит там и может слышать: «Я тоже знаю, ты только за этим и пришел, я знаю, потому что все приходят за этим, все проходят через эту дверь, и я сразу вижу, что они разочарованы, ну, конечно, и я бы тоже, потому что Рублев, настоящий, это другое дело, но который никогда, понимаете ли, милостивый государь, никогда не будет сдвинут со стен Третьяковки», и там он и останется, продолжал он объяснять, он попал туда из Государственного института реставрации во время

Товарищ Сталин; монахи из Радонежа, у которых её забрали для отправки в Государственный институт реставрации, получили вместо неё копию, так что оригинал мог увидеть только тот, кто специально приезжал в Москву и смотрел на неё там. Та, что здесь, внутри, была не той, что из Радонежа, а третьим вариантом, и среди сотен и сотен копий, изготовленных в то время, до Ивана Грозного, самая прекрасная в своём роде, поистине совершенно великолепная копия, он указал на внутренние комнаты, никто даже не мог сказать, что это не так, может быть, госпожа Иовлева или Екатерина Железнева нашли её где-то в хранилищах, одним словом, она была прекрасна и великолепна, и всё такое, ну, но оригинал, Рублёв, это было нечто совсем другое, было слишком трудно даже сказать, в чём именно заключалось это различие, потому что, как даже он мог видеть, фигуры, контуры, композиция, размеры, расположение — всё это почти идеально соответствовало оригиналу Рублёва, и, ну, по сути, было Расхождение только в столе, потому что в Рублеве на столе стоит потир, и всё, мы даже не знаем какой, потому что краска облупилась, это случилось не в Государственном институте реставрации, там работала младшая дочь жены моего зятя, Ниночка, это было не там, а в более древнее время, ещё при царях, ибо, как вы знаете, эти иконы... старик печально зарылся в бороду — хотя неясно, знаете ли вы, потому что, — он указал на него, стоящего у стены, — он сразу увидел, как только тот вошел в дверь, что он русский и что он не настоящий эксперт, а один из тех любителей искусства, которые очень мало говорят, осматривая выставку, тогда как эксперты, они без умолку болтают, вот как вы можете понять, кто они, они еще даже не вошли в дверь, а вы уже слышите, как они болтают, точно птицы щебечут туда-сюда, то такое-то и такое-то, и византийское то, и греческое феофановское сё, и Рублев это

и Дионисий, что, ну, короче говоря, лучше бы они молчали, и он указал на себя, он за эти сорок лет узнал всё об этих иконах, не было ни одного вопроса, на который кто-либо мог бы ему задать, на который он не смог бы ответить, потому что он всё прочитал, и так много всего застряло в его памяти, что даже госпожа Иовлева или сама Екатерина Железнева иногда спрашивали его об имени или дате, если они просто не могли вспомнить её прямо сейчас, и он всегда отвечал, когда ему задавали вопрос, потому что он никогда ничего не забывал, потому что всё оставалось у него в голове; он вырос с этими удивительными иконами дома, так что ему можно было доверять, когда он говорил, что эти иконы здесь, внутри, вы понимаете, не так ли, и другие тоже, все те, что дома, очень часто переписывались, реставрировались или просто закрашивались, да

— и тот тоже, «Тройка» — вы уже понимаете, и тот, что у нас, «Рублев», его много раз переписывали, даже говорят — старик жестом пригласил слушателей подойти поближе, которые, однако, не сдвинулись со стены, — что нет смысла восстанавливать его до первоначального состояния всеми этими современными инструментами, даже тогда это не первоначальное состояние, «потому что теперь уже невозможно восстановить первоначальное состояние, и даже иногда можно услышать», — старик понизил голос, — «что это особенно верно для Господа нашего Отца и Святого Духа, одним словом, знаете ли, я понимаю, что на „Рублеве“ уста ангела слева и ангела справа изначально были немного более изогнуты вниз, поэтому они были печальнее в оригинале, что, конечно, я просто случайно где-то услышал, даже не знаю где, может быть, это и не половина правды», — какое ему, русскому человеку, который случайно забрел сюда, это вообще не имело значения, он мог просто восторг от этого экземпляра, ведь он был прекрасен, не правда ли? и пока он здесь выдерживал небольшую паузу и снова ждал знака согласия, он немного наклонился вперед, к нему, и снова ему пришлось кивнуть

когда-то, но теперь как-то легче шло, потому что теперь он был уверен, что старик не относится к нему недоброжелательно, а, скорее, пытается что-то объяснить, так что в голосе его не было ничего, что говорило бы о том, что он собирается спросить билет, нет, речь уже не о билете, а в чем же тогда вообще дело, старик явно принял его за кого-то другого, но если это правда, то что же будет, если окажется, что он не тот, за кого его приняли; или дело даже не в ошибочных личностях, а просто в том, что ему скучно, очень скучно, и он должен здесь сесть, и единственной его надеждой было прицепиться к кому-нибудь из последней комнаты, к кому-нибудь, с кем он мог бы скоротать время; но о чем он говорит, как, черт возьми, кто-то может просто так говорить, и почему он вообще решил, что ему это интересно, ведь ему это совершенно не интересно, и даже если бы он понял, ему все равно было бы неинтересно, и только для видимости, для самозащиты он остался с ним в этом безумном здании, где были даже ангелы; это все, что ему было нужно, ну и хватит об этом, подумал он, и теперь он оттолкнулся от стены немного решительнее прежнего, но старик в этот момент поднял левую руку и сказал ему, что, не торопись так, они так мило беседовали, ему пришлось сидеть там с утра до вечера, он не говорил это, чтобы пожаловаться, просто, ну, приятно было немного поговорить с кем-то об этих вещах, с кем-то, кому это интересно, и это было совсем как если бы они вернулись домой в Галерею; И там, если кто-нибудь обращался к нему с вопросом, он всегда рассказывал всё, что знал, так же, как и сейчас говорил, что, по его мнению, «Тройка» — самая прекрасная картина на свете, никому ещё не удавалось изобразить Небо — неощутимое —

с такими ошеломляющими результатами, то есть как сама реальность;

никогда, заявил старик и поднял еще и указательный палец, отчего посетитель, конечно, начал пятиться к стене, никогда, никто, и именно поэтому так важна каждая отдельная копия, и именно поэтому так важна эта, которую он видел у входа на выставку, потому что копия, как он, очевидно, знал, — старик строго посмотрел на него, — была не то же самое, что здесь, на Западе; дома, если с иконы делали копию, а потом эту копию освящал епископ, то она, соответственно, признавалась подлинной, и с этого момента от копии исходила та же святость, что и от оригинала, и так было и с Тройкой, и, кроме того, копии красивее той, которую привезли сюда, нигде не сыщешь, она только недавно появилась на свет, и все пришли посмотреть на чудо, даже из самых высоких эшелонов, все коллеги-реставраторы были там, все историки, когда госпожа Иовлева или госпожа Железнева...

он уже не помнил точно, кто это был — нашёл и принёс из хранилища, там стояла небольшая толпа, он до сих пор хорошо помнил её, и все были поражены этой копией, потому что на первый взгляд она действительно казалась оригиналом, так как всё в ней совпадало, если можно так выразиться: размеры совпадали, композиция совпадала, пропорции, очертания, только на столе что-то было иное, но до сих пор никто не знал, есть только догадки, что могло быть изначально написано на этой копии, и главным образом почему она отличалась от той, что была на столе в Рублёве, они просто стояли там и были очарованы, и стражники тоже были тут же, и они хотели её выставить, но потом из этого ничего не вышло, потому что куда её поставить? Разве что рядом с оригиналом?! почти идеальную копию?! — нет, это было невозможно, поэтому вместо этого они не стали его никуда выставлять, но когда эта передвижная выставка начала работу, не было никаких споров, о которых можно было бы говорить, они

сразу же выбрал именно ее одним из первых предметов, потому что, конечно, о перемещении оригинала не могло быть и речи, оригинал Рублева, тот, как заявил сам директор, Валентин Родионов, должен вечно оставаться на своем месте, ибо где висит рублевская тройка, там и становится святыней, даже директор Родионов так говорил; и сам он говорил, что это не так уж важно, где бы ни находилась тройка, ее священная сила сразу ощущалась, если кто-то на нее посмотрит, тот непременно поймет, и именно поэтому никто не смел ее трогать; он — и снова старик указал на себя в качестве объяснения — считал, что именно поэтому никто не смел ее двигать с 1928 года, ну кто же возьмется за труд прикоснуться к ней, не помолившись, не поцеловав ее, было достаточно хлопот, что ее в старые времена переместили из церкви в Радонеже, потому что, ну, она не была написана для музея, а для того, чтобы люди просто глазели на нее, как на какую-то обычную картину...

но неважно, одно несомненно, что по крайней мере никто больше не тронет ее, таким образом она останется у них, в Третьяковке, ибо даже если Третьяковка не церковь, мир — старик понизил голос и дал знак движением руки, как знатный господин, что он может идти теперь, если хочет, он заключил все, что хотел сказать, — мир должен просто посмотреть на эту копию, а затем попытаться понять, которая из них настоящая.

Многое, многое требовало объяснения, так как он чуть не выскочил из здания и не бросился на улицу Прованса, а оттуда — дальше, словно он был глухим и слепым, и не имел ни малейшего представления о том, с чего начать, как не имел ни малейшего представления о том, где он находится в этот момент, и ему это даже было неинтересно; его мозг пульсировал так сильно, что он не мог выносить, он просто не мог выносить ничего другого, кроме этого пульсирования в мозгу; сначала он думал, что это пульсирует оттого, что он слишком сильно ударил каблуком по земле, и от этого его мозг дрожал в голове, но потом он пошел дальше

мягко и от этого ничего не улучшилось, была только эта пульсация, в общем он был совершенно выбит из колеи, хаос внутри у него был полный и у него кружилась голова, так кружилась голова, что ему приходилось постоянно останавливаться; конечно, прохожие думали, что он пьян или что его вот-вот вырвет, но нет, он не был пьян и не собирался рвать, на него просто нападали это головокружение и эта пульсация, и еще тот факт, что в то же время он начал видеть разные вещи: он видел себя бегущим по улицам, избегающим людей; он видел лица, как они возникали перед ним на мгновение, а затем исчезали; он видел старика из музея или что он там был, и в то же время он видел и ту пару средних лет, как они расстались еще позади него, прошли вокруг него, а затем, встав перед ним, снова взяли друг друга за руки; он видел и лестницу, как она спиралью шла вверх, и он также видел, как в середине большой картины, и справа, цвета были немного выцветшими; затем снова появилась лестница, но теперь она вела вниз, и сусальное золото на картинах сияло, но больше всего его тревожило то, что между всеми этими одновременными картинами, снова и снова вспыхивающими, были три ангела, когда они склонили головы на одну сторону, или, точнее, когда средний и тот, что справа, склонили головы к тому, что слева, который склонил голову к ним, затем все три ангела посмотрели на него, но только на секунду, потому что почти сразу же они исчезли, остались только цвета, светящаяся синь и багрянец их плащей —

конечно, не просто какой-то старый светящийся синий или какой-то старый багряный, если это вообще были синие или багряные, он даже не был в этом уверен, и даже не был уверен, что он видел цвета, он вообще ни в чем не был уверен, потому что они просто вспыхивали и затем исчезали, но так, что другие картинки вспыхивали и исчезали в то же самое время, с такой скоростью в его голове, и это, вероятно, заставляло его кружиться и делать

Внутри у него всё трепетало, но хуже всего было то, что он не мог остановиться, а значит, не мог остановить всё это, не мог сказать себе: ну хватит об этом, всё кончено, остановись, возьми себя в руки, и тогда он останавливался и брал себя в руки, потому что именно этого он не мог сделать, остановить эту скорость там, снаружи, потому что это было и внутри него, ему нужно было бежать — возможно, так, чтобы не слишком натыкаться на людей, в эту сторону шло много людей, и ему потребовалось некоторое время, чтобы выбраться из центра города —

и он вышел на север, на широкий и оживленный бульвар под названием Диагональ, и ну, после этого ситуация уже стала лучше, вдобавок он уже знал этот район, поэтому он держался этого северного направления, того, которое ему нужно было выбрать, чтобы добраться до своего места жительства, ибо здесь уже все меньше и меньше людей шло в противоположном направлении, и это было именно то, чего он хотел, чтобы все меньше и меньше людей шло, чтобы наконец небеса могли сжалиться над ним и освободить его и от них, и тогда он уже мог позволить себе немного замедлить шаг, правда, когда понял, что никто за ним не идет — конечно, он все это время знал, что никто за ним не идет — все же это было как-то важно теперь, стало важным, чтобы никто не шел, в любом случае; когда это стало недвусмысленным, и он смог совершенно замедлить шаги, когда он уже шел шагом по узким улочкам, — он не мог бы точно сказать, что в такой день, как сегодня, в субботу, пусть и никого не было на улице, потому что на тротуаре или в окнах были люди, или как он мог не видеть кое-где, там, где широкие улочки расширялись, детскую футбольную команду, но все же он больше не чувствовал присутствия той чудовищной силы, которая гнала его до сих пор, так что теперь он мог задать себе вопрос, что же, собственно, произошло, почему он бегает взад и вперед как сумасшедший и как из всех людей он ввязался в это

история с ужасным зданием, почему он просто не ушел, когда мог это сделать, почему он остался, что он вообще хотел от этой выставки, он никогда в жизни не был на выставке, так почему именно сейчас, из всех времен, соответственно, почему, почему и почему; на это нужно было ответить, объяснил он себе, и он быстро огляделся, гадая, говорил ли он вслух, но это было маловероятно, поскольку, по крайней мере, здесь прохожие не пялились на него, и поэтому все стало успокаиваться, в конце концов даже его мозг медленно перестал задавать вопросы, и с помощью нескольких вульгарных оборотов речи — то есть «нахуй все это, и действительно нахуй все это, и просто нахуй все это еще один чертов раз» — ему удалось получить психологическое преимущество перед лицом другого навязчивого желания, которое гнало его вперед, говоря: «Ладно, если он тоже останавливается, или даже если он сидит на пустой скамейке, то он должен сделать это в первую очередь, чтобы выяснить, что, черт возьми, с ним произошло за последние часы, и почему он полез в эту Переллу, или как там, черт возьми, она называется, и если он полез внутрь, почему он там остался, и почему он смотрел на эту картину, и почему на него с такой силой обрушилось то, что он там увидел, так что снова просто почему, и почему, и почему, единственное проблема была в том, что это преимущество оказалось эффективным лишь на мгновение, и он напрасно останавливался, напрасно ругался, напрасно сидел на пустой скамейке, именно это психологическое преимущество оказалось совершенно напрасным, в конце концов торжествовало не его более ясное „я“, а другое, которое хотело найти объяснение тому, почему он позволил себе быть втянутым во что-то, о чем он не имел ни малейшего представления и о чем он, во всяком случае, никогда не сможет, я даже не знаю, что это висело на стене, я даже не знаю, в каком здании я находился, я — если не считать реставрационных мастерских —

знать мастерок, ковш для смешивания, рубанок, потому что теперь это не имело значения, не имело значения, что в его жизни было больше одной реставрационной мастерской, так же как не имело значения

даже считайте, что он не стал тем, кем был, сразу, этим ничтожеством, которое каждое утро въезжало на метро, а затем каждый вечер уезжало на метро, всё началось не с той вонючей, сырой, тёмной комнаты, которую он снимал весь последний год и где жил один, всё началось не с этого, а, скорее, этим кончилось, это уже конец, думал он теперь на пустой скамейке, и эта мысль вдруг успокоила его мозг внутри, ура, конец пришёл, сказал он себе эти слова, и эти пять слов наконец остановили биение в его мозгу, конечно, это конец, старик, повторил он снова, и он оглядел площадь, или, вернее, это была даже не площадь, а как бы вынужденное расширение улицы, потому что один паршивый дом был снесён среди других паршивых домов, и там, где он сидел, и где группа детей гоняла мяч, было как раз столько же свободного места, только теперь он смог их хорошенько разглядеть, один из которых двигался довольно ловко, он хорошо пасовал, поначалу было видно, что он, хоть и самый маленький среди них, но и самый умный, потому что не только ловко вел мяч, но и было видно, что он понимает, что делает, тогда как другие только бегали взад и вперед и явно кричали: «Я здесь» и тому подобное, а этот, маленький, не кричал, было видно, что он относится к этому серьезно, более того, теперь, когда он присмотрелся к нему внимательнее, лицо его оставалось все время на удивление, даже обескураживающе серьезным, как будто что-то зависело от того, сумеет ли он грудью остановить мяч, выгибающийся так, или сделает точный пас нападающему; он серьезен, решил он, даже слишком серьезен, теперь он смотрел только на чумазого юнца, всегда, непрестанно, неуклонно серьезный, то есть юноша ни на мгновение не разделял общей радости, как другие, когда он бил по мячу, может быть, для него это была даже не радость, а что-то другое — и тут сразу его голова

его охватила невыносимая боль, он быстро отвел взгляд от детей, он не хотел их видеть, и его уже даже не было там, он пошел дальше по узкой улочке, и снова, как раз когда узкая улочка повернула налево, он внезапно оказался лицом к лицу... с тремя ангелами на картине, все это было перед ним в таких подробностях, как будто было реальностью, что, конечно же, было не так, он стоял там, как вкопанный, и он смотрел на них так, он смотрел на чудесные лица, он смотрел на ангела, сидящего посередине, и на ангела, сидящего слева, и на то, как ослепительно синели их мантии, он смотрел на них вечно, затем он уставился на золото, наконец снова на них, и его смутило осознание того, что они даже не смотрели на него; они вообще не смотрели на человека, который смотрел на них, или, скорее, что внутри музея или что бы это ни было, внутри музея или что-то еще он серьезно ошибался.

Все сводилось к определению Святой Троицы, на этом фактически покоилась судьба всего восточного христианства, да и само христианство покоилось на чрезвычайных заботах, окружающих этот основополагающий вопрос; как правило, так обычно не бывает, потому что, как правило, основополагающие вопросы кристаллизуются лишь позже, лишь позже становится обычно ясно, о чем идет речь, почему выдвигаются те или иные принципы, почему возникают ссоры, расколы, затем груды избитых тел; вопросы возникают, вообще говоря, позже; но это не относится к христианской религии любви, поскольку здесь дискуссии велись с четвертого века, и, наконец, именно из-за этого произошел теологический раскол, официально оформленный еще в 1054 году, хотя на самом деле Восточная и Западная Церкви существовали с момента создания Восточной

Роман

Империя,

там

был

Рим

и

Константинополь; и эта Восточная Церковь, если говорить только о ней сейчас, этот Константинополь, не была слишком уверена ни в то время, ни позже, когда было принято окончательное решение

был достигнут относительно природы Всемогущего, Христа и Святого Духа, и того, что вообще есть в этой сфере, что превосходит человеческое, потому что они должны были принять решение — в каждом случае, раз и навсегда — шесть раз; проблема заключалась в том, что люди — то есть Отцы Церкви, патриархи, митрополиты, епископы, священники синода, одним словом, поместные и вселенские синоды и так далее, великий святой Афанасий, святой Григорий Назиан, святой Василий Великий и святой Григорий Нисский — должны были принять решение в вопросе, который явно превосходил не только их исключительные таланты, но и их человеческие способности, потому что, когда пришло время сказать, каково отношение между Господом, Христом и Святым Духом, все вмешалось: и появились тонкие и еретические различия самых возмутительных версий, ереси настолько тонкие, что нелегко постичь огромное количество крови, символической или реальной, которая периодически проливалась из-за той или иной мельчайшей детали так называемого богословского вопроса, которая проливалась, таким образом, из-за учения о Святой Троице: ибо были те, кто спорил за одного Господа, а были также и те, кто признавал уникальность и превосходство только Христа, затем были те, кто отстаивал первенство Господа и Христа вместе, но в конце концов были и те, кто выступал за равное положение всех трех, то есть Господа, Христа и Святого Духа, и эта школа мысли в конечном итоге победила вместе с тем своеобразным образованием, которое стало центральным догматом христианской веры: единая сущность Отца, но в трех формах, так что впоследствии последовал, для тех, кто вообще может это понять, так называемый спор filioque, то есть о том, исходит ли Святой Дух только от Отца или от Сына, и это раскололо христианскую веру на две части раз и навсегда, и возник православный мир веры — эта колоссальная таинственная Византийская империя, — которая оставалась в течение тысячи лет

даже после великого крушения Запада, где царила жизнь, подчиненная одновременно и желанию помпы, и чувственному голоду, и, кроме того, с равным правом, жизнь, подчиненная богословски обусловленной вере; и где существенная, сокрушительная атака на всю православную общину после Седьмого Вселенского Собора больше не угрожала этому основополагающему догмату веры, что, конечно, не означало в то же время, что вопрос был решен, вопрос не был решен; каждое решение, касающееся Господа, а также отношения между Ним и воплощением во Христе и, соответственно, между Ним и Святым Духом, оставалось в непроницаемой темноте или, если смотреть с точки зрения позднейших еретиков-материалистов, на территории довольно неопровержимой логической неудачи, где помогало только почтение к авторитету и самой вере, то есть, как для самых глубоких святых Церкви, от святого Иоанна Златоуста до святого

Сергия Радонежского, вопрос о природе Троицы никогда не был проблемным, он был и оставался проблемой только для других, то есть для мира, для всех тех, кто не был способен — поскольку не был способен на то, чем были святые — увидеть воплощение Творца, увидеть тайну Троицы, не вопрошать, а переживать, переживать самому и ощущать необычайную сосредоточенность тварного и нетварного мира, Божественную мастерскую и главенство — ошеломляющее, чудесное, невыразимое словами.

— силы творения; предоставив право выносить решения им, через них, через их святые существа, Церкви, то есть Священному Синоду, относительно того, в чем заключается догмат веры, который не может более подвергаться сомнению относительно телесного проявления, относительно тайны Троицы и ее изображения, поскольку ее можно изобразить, они пришли к заключению после некоторого спора — спора, который не избежал разрушительного решения, — да, они

пришел к выводу, что это может быть изображено, да, Христос Сын, Воплощение Господа, это может быть представлено — как это задумал порядок Вселенского Стостатейного Собора, — если Авраам видел их под дубом в Мамре, что он действительно видел, тогда они могут быть изображены, а именно, если Авраам видел Его в изображении трех ангелов, как это повторялось тысячами и десятками тысяч, от Афин до монастыря Святой Троицы в Радонеже, тогда ничего нельзя сказать против идеи святого иконописца, изображающего Троицу, строго на основании предписания Собора; и в практическом смысле, на основании описаний монахов Подлини, по их словам, только Авраам, древнейший из древних, некогда, под Елонеей Мамре, то есть под дубом Мамре, увидел трех крылатых юношей, посадил их за стол и пировал ими; Обсуждалось будущее Сарры, затем после столь же интересного диалога между Авраамом и Господом во время Его знаменитого явления в качестве Трех Ангелов на тему Содома и Гоморры, в конце его было краткое обещание, что именно если Он, Господь, найдет там десять невинных людей, чистых душой, то Он явит милосердие Содому и Гоморре, хотя, поскольку позже Он действительно уничтожит Содом и Гоморру, можно сделать вывод, что Господь не нашел даже десяти невинных людей, чистых душой в этом Содоме и Гоморре, но довольно об этом, давайте вернемся к тому моменту, когда после этого памятного диалога каждый занялся своими делами, Господь в той или иной форме —

В соответствующих традициях возникают противоречия относительно того, что это была за форма — Он направился к Содому и Гоморре; Авраам мог долго размышлять о том, что он видел и кого он видел, и что было сказано ему под дубом, ну а затем, после всего этого, из этой знаменитой встречи Нашего Отца с Авраамом, из священного Устава этой встречи, сохраненного именно в Моисее 1:18, предписание Синода было установлено как таковое, после хорошего

несколько сотен вариаций — вследствие чего божественная благодать сошла на Андрея Рублева, и его кроткую руку и его смиренную душу, посредством его непрестанной молитвы и от вдохновляющей силы Самого Неназываемого по поручению игумена Никона Радонежского, в память преподобного Сергия, она носила название «Святая Троица» и возникла, и была сохранена, необычайная весть о которой, подобно некой буре красоты, пронеслась по всей России, так что воображение Дионисия вспыхнуло пламенем поколение спустя, когда копия рублевского совершенства была заказана для церкви, ныне неизвестной нам, и Дионисий принялся за работу, он и никто другой, потому что, хотя нельзя достоверно утверждать, что автором данной копии мог быть только Дионисий, в то же время мысль, что это мог быть кто-либо другой: скажем, один из его последователей или кто-либо из артели Дионисия, немыслима — она неподлинна и невозможна — для этой картины, которая оказавшаяся позднее в Третьяковской галерее столь же неизвестным путем и благодаря содействию передвижной выставки прибывшая в Мартиньи, Канны, а затем, примерно пятьсот лет спустя, в Барселоне, была по своей сути настолько совершенной копией совершенного оригинала, что ни один живописец менее талантливый, чем Дионисий, не мог бы быть на это способен ни в ту эпоху, ни в какую-либо другую; после Рублева такой великолепный художник, как Дионисий, просто долго не появлялся, так что это был только он, и только он один, с тем не менее чрезвычайной помощью, а именно, что условием выполнения заказа было не что иное, как получение Дионисием уверения в том, что он может осмотреть оригинал Рублева, не будучи потревоженным, так что Дионисию, должно быть, пришлось провести очень много времени в церкви Троицы — в монастыре преподобного Сергия в Радонеже, — ибо ему потребовалось бы очень много времени, чтобы приблизиться к духу этого шедевра, духу Рублева, и приблизиться к присутствию того, что икона Троицы на иконостасе, находящемся в

Первое пространство справа от Царских врат, раскрывает, поскольку необходимо было не только с точностью до волоса измерить очертания фигур и всех предметов, изображенных на иконе, не только изучить формы, рисунок, расположение и понять цвета и пропорции, но и суметь отдаться делу, ибо он должен был сознавать, созерцая икону, опасности, связанные с этим делом: если бы прошёл слух о ком-либо, даже о самом Дионисии — этом прославленном иконописце XV века, — что он недостоин составления списка с радонежского оригинала, ибо Дионисий, конечно, лучше всех знал, что если душа не почувствует того, что в то время почувствовал Рублёв, то сам он непременно попадёт в ад, и список канет в Лету, потому что это будет всего лишь ложь, обман, мистификация, всего лишь бесполезная и никчёмная дрянь, которая тогда напрасно будет помещена она в царском ряду церковного иконостаса, напрасно ее будут там ставить и ей будут поклоняться, она никому не поможет и только введет в бредовое заблуждение, что их куда-то ведут.

Он сам отправился за липой и, по правде говоря, очень хотел бы выполнить весь заказ один, но остальные в артели, в том числе и его сын Феодосий, были убеждены, что мастер не желает работать один, ведь они, конечно, могли бы, как делали это уже много лет, помочь ему в том или ином; наконец, — это уже было несколько типично для эпохи в целом, и многие подобные дела заключались подобным образом из любви к комфорту, — это было разрешено, и поэтому ему позволили выбрать себе липовое дерево, наиболее подходящее к первоначальному Рублеву; но уже не позволили ему растратить свой священный дар на завершение строгания, соединения и склеивания иконной доски или на формирование двух спонков, то есть двух перекладин.

изготовленный из бука, чья функция заключалась в скреплении доски, а также выдалбливание пространства для двух спонок, так называемых «спонки врезные встречные»,

ему не дали закончить эту работу одному; поэтому сначала пришел тот, кто пилил, строгал, выдалбливал, прилаживал, клеил и собирал иконную доску и натягивал стяжные брусья, затем пришел тот, кто закончил работу над спонками, затем было создано полие, чтобы обозначить границу, образованную лузгой, то есть скошенной внутрь каймой,

и ковчег — сделанный тем, кто был в этом деле лучше всех —

следовал направлению уже нарисованной лузги, углубляя живописную поверхность, как бы обрамляя ее; ибо, как и в случае со всеми другими иконами, самым первым делом нужно было позаботиться о том, чтобы полие, лузга и ковчег были в полном порядке, причем в данном случае требовалось также, чтобы все три части ничуть не отличались от оригинала, то есть полие должно было быть на том же месте и той же величины, лузга должна была быть скошена таким же образом и под тем же углом, и, наконец, ковчег должен был быть таким глубоким и прямым, как это предписывают описания оригинала в Радонеже, чтобы после этого грувмастер артели мог приняться за работу и с помощниками подготовить холст, который должен был быть наклеен на живописную поверхность; левкас — то есть разбавленная клеевая жидкость —

смешанная с меловой пылью, наносилась в данном случае ровно в восемь слоев на иконную доску, и когда наконец последний слой левкаса высох и стал настолько гладким и чистым, насколько это было возможно, тогда приходил знаменщик, мастер композиции, который был одним из важнейших лиц в артели, и особенно здесь, в артели такого известного живописца, ибо он, например, мог теперь на поверхности совершенно высохшего левкаса набросать, следуя контурам радонежского рисунка, исходившего от руки Мастера,

с непогрешимой уверенностью и верностью три ангела, бесконечно кроткие, с огромными крыльями, собрались вокруг стола; а за ними — очертания церкви, дерева и скалы, стола с чашей и блюда, наполненного телятиной; вся артель стояла за его спиной, затаив дыхание, так как его инструмент, графия, ни разу не дрогнул в его руке; все это, конечно, от сборки иконных досок до работы знаменщика шло само собой таким образом, что не только помощники и мастер артели наблюдали друг за другом, но и сам мастер при каждой отдельной фазе работы стоял за спинами работающих, и так оставалось и в следующих фазах до самого конца, ибо это была не просто старая работа; Мастер наблюдал сзади, чтобы убедиться, что краски, то есть лазурит, киноварь, и ржавчина, и малахит, и белила, и даже взбитые яичные желтки, точно соответствуют тому, что было высечено в его памяти, когда он стоял, погруженный навеки перед радонежским оригиналом; он стоял там сзади и молился, между тем как первыми личник и доличник принялись за работу, расписывая то, что им было поручено; личник, в данном случае, в виде исключения, только руки и ноги вместо лица, доличник же хитоны и одежды

— и неважно, Мастер руководил каждым движением, фактически направляя руку личника и доличника, так что можно было с уверенностью утверждать, что сам Мастер сделал все от начала до конца, ибо было очевидно, что его помощники в артели были послушны его воле — именно, по молитвам Мастера, воле Высшей, — пока знаменитая копия не достигла той фазы, где не было больше посреднической помощи, где Мастер не мог поручить дело другому, где ему самому приходилось брать кисть, окунать ее в миску с краской и писать лица, рты, носы и глаза и, хотя по привычному

порядок вещей, как последний большой этап росписи, в этот момент соответствующий мастер должен был бы следующим, написав контуры, он этого не сделал, так как Мастер настоял, что он сам наложит контуры ассисти и движков, но в этот момент он молился гораздо интенсивнее, он читал Иисусову молитву, ибо, возможно, он думал, что и в этом он должен довериться традиции, и нужно верить, что Андрей, всегда, но особенно во время работы, читал про себя эту Иисусову молитву, он вряд ли мог поступить иначе, работая, более того, он даже не переставал молиться, не отрывая глаз от иконы ни на секунду, когда отходил в сторону, чтобы помощники нанесли олифу, прозрачный защитный слой, который с этого момента должен был защищать все, что возникло до сих пор, ибо оно возникло, говорили люди в артели Мастера радостно, их глаза сверкали, список иконы Рублева готов, вот перед нами снова Святая Троица, и кто бы ни был в состоянии пришедшие из соседнего монастыря, они смотрели на икону и не верили своим глазам, потому что видели перед собой то же самое, не копию и не икону, а Святую Троицу в ее собственной сияющей красоте, — Мастер только тогда отошел от мастерской артели, когда наносился последний слой олифы, и стоял перед готовой иконой, долго разглядывая ее, а потом вдруг повернулся на каблуках, и никто в последующее время его даже не видел, даже ни разу не взглянул на икону; Однако он должен был быть там, когда покровитель помещал ее в своей собственной церкви, должен был быть там, когда епископы освящали ее, должен был стоять там и слушать, как епископы, после вступительной молитвы освящения иконы и шестьдесят шестого псалма, пели: «Господи, Боже наш, славимый и превозносимый во Святой Троице Твоей, услыши молитву нашу и пошли на нас благословение Твое, и да будет икона благословлена и освящена святой водой, чтобы поклониться Тебе и принести спасение бедным Твоим людям», — он услышал это, он

смотрел, как епископы освящают икону, он слушал и наблюдал за всем этим, и он крестился и говорил Аминь, затем сразу же после этого: Господи помилуй, и Господи помилуй, и Господи, Господи, Господи помилуй, но он был смущен и не отвечал, когда позже люди приходили к нему, чтобы выразить свое признание и удивление, он молчал в тот день и молчал неделями подряд, и каждый день ходил на исповедь, в конце концов полностью отстранившись от жизни, и с этого момента всякий, кто, из любопытства или по незнанию, осмеливался говорить в его присутствии о том, как великолепно он написал Святую Троицу Рублева, либо рисковал получить от Дионисия непонимающий, вопросительный взгляд, как человек, который не понимает, о чем идет речь, или — и это было главным образом до его смерти, в то время, когда он писал Благовещенскую в Москве — прославленный иконописец его века внезапно бледнел, его лицо искажалось, и с яростными глазами он кричал во все легкие на своего, естественно, охваченного ужасом собеседника — за исключением тех случаев, когда спрашивал его сын, потому что до самого последнего момента он всегда прощал его за все.

Воскресенья были словно чудовище, которое овладело человеком и не отпускало, только жуя и переваривая, кусая, разрывая, потому что воскресенье не хотело ни начинаться, ни продолжаться, ни кончаться, с ним всегда было так, он ненавидел воскресенья, очень, но гораздо больше, чем любой другой день недели; во всех остальных днях недели было что-то, что немного смягчало давление, пусть даже на несколько минут, от того, как все это невыносимо, но воскресенье никогда не позволяло этому давлению ослабнуть, то же самое было и здесь; напрасно он приехал сюда, в эту страну Испанию, напрасно эта Барселона отличалась от того Будапешта, напрасно все здесь было иным, потому что на самом деле ничто не отличалось, здесь воскресенье опустилось на его душу с точно такой же ужасной силой; оно

просто не хотело начинаться, не хотело продолжаться, не хотело заканчиваться; он сидел в Centro de Atención Integral, в приюте для бездомных городского социального учреждения на Авенида Меридиана д. 197, куда он случайно наткнулся еще в самом начале, когда, временно отчаявшись найти здесь работу, он отправился на так называемую Диагональ и все шел и шел, он понятия не имел, сколько времени, но по крайней мере час, потому что он хотел вывести из себя это временное отчаяние, и в какой-то момент он как раз оказался перед зданием на Авенида Меридиана, он увидел, что внутрь заходят фигуры, похожие на него самого, ну, и он тоже вошел; никто не задавал ему никаких вопросов, он даже ничего не говорил, ему указывали на кровать среди множества других кроватей, и с тех пор он ночевал здесь, и вот он сидит здесь, на краю кровати, и поскольку было воскресенье, ему приходилось проводить здесь весь день, потому что куда ему было идти в воскресенье, особенно после всего, что случилось с ним вчера между Пасео де Грасиа и Каррер Провенса; он мог остаться один, остаться на кровати, взять тарелку с едой, которую ему подали в полдень, и радоваться, что уже полдень, только он не мог вынести этой радости, он так нервничал, и главное, непонимание того, почему он так нервничает, заставляло его нервничать еще сильнее, ноги его беспрестанно двигались; он вскочил, он не мог выносить тишины, его не интересовали другие, все были заняты собой, в основном они лежали на своих кроватях и спали, или делали вид, что спят, и он старался думать об адской вони, которая висела в воздухе, чтобы ему не приходилось думать о том, что время не идет; довольно высоко, на стене напротив него, были прикреплены большие часы, и он был бы очень рад разбить их чем-нибудь и разбить на мелкие кусочки, вплоть до самого маленького винтика, но они висели очень высоко, и ему не хотелось никакого шума; но он больше не мог этого выносить, поэтому, ну, он попытался сосредоточиться

на вонью, и не обращать внимания на время, которое, как он вдруг понял, не шло — ноги, однако, к сожалению, продолжали двигаться взад и вперед, как катушка — было все еще двадцать минут первого, боже мой, что он собирался здесь делать, он не мог выйти на улицу в ближайший район, кто-то объяснил ему это в самом начале, жестами, что если он выйдет, вокруг будет Ла Мина, какой-то сущий ад, где они его убьют, так что не ходи туда, Ла Мина, они повторили это несколько раз, си, сказал он в ответ и не вышел в ближайший район, он пользовался только ужасно длинной улицей под названием Диагональ, и только она, она всегда приводила его в центр города, но он слишком устал, настолько устал, что даже подумать не мог, что если бы он мог снова туда пойти, день прошел бы быстрее, одна лишь мысль о Диагонали вызывала у него тошноту, он столько раз ходил по ней вверх и вниз, она была такой, такой длинной, что он тоже, как и другие оставались на его кровати; там был телевизор, опять же торчащий где-то высоко на стене, но он не работал, ничего другого не оставалось, как ждать, пока время пройдет по циферблату, некоторое время он наблюдал за стрелками часов, затем повернулся на левый бок и закрыл глаза, и попытался немного заснуть, но не смог, потому что, когда он закрыл глаза, появились три огромных ангела, он не хотел их видеть, никогда больше, хотя, к его несчастью, они продолжали возвращаться, либо потому, что — как только что — он закрыл глаза, либо потому, что — как сейчас — он их открыл; и вот он встал с кровати, которая сама по себе была особенно ужасной кроватью, проваливающейся посередине, с какой-то жесткой проволочной сеткой, или что там было внизу, которая давила ему на спину или бок, так что даже ночью ему приходилось снова и снова вставать, чтобы попытаться что-то с этим сделать, но тщетно, потому что когда он бил по матрасу, это только на мгновение облегчало ситуацию, все тут же снова прогибалось под тяжестью его тела, и было то

жесткая железная решетка, или что это было; теперь, когда он встал и оглянулся на нее, все это снова погрузилось в середину; он оглянулся и вышел туда, где можно было курить сигарету, потому что внутри это было запрещено, хотя сам он не курил, но, подумал он, по крайней мере там это где-то в другом месте, чем там, где он был раньше, только даже это ничего не решало, потому что отсюда он видел часы внутри, странным образом эти часы можно было видеть отовсюду, не было никакого спасения, их нужно было видеть, видеть всегда и всем, для кого это место было временным убежищем, видеть, что время идет, что оно действительно идет, оно шло очень медленно; Одно было несомненно: кто бы ни появился здесь, он должен был быть постоянно озабочен временем, а особенно сейчас, в воскресенье, с горечью подумал он и вернулся в свою постель, и снова лег на продавленный матрас, и наблюдал за стариком, лежащим рядом с ним, который что-то вытаскивал из-под матраса, он вытащил оттуда что-то завернутое в газеты и медленно развернул это, и когда он вынул из упаковки нож с длинным лезвием, он поднял глаза и заметил, что кто-то наблюдает за ним, а именно, что за ним наблюдают с соседней кровати; тогда он поднял его, и в нем была какая-то гордость, когда он показал его ему, во всяком случае он сказал cuchillo, и жестом руки показал, что он имеет в виду нож, затем, когда он увидел, что другой даже глазом не моргнул, он снова показал ему его и сказал в качестве объяснения, cuchillo jamonero, но ничего; он не понял, он позволил старику все это упаковать с оскорбленным выражением лица, но затем внезапно сел на кровати, повернулся к старику и сделал знак головой и руками, чтобы он повторил слово, пожалуйста, эти два слова, cuchillo, cuchillo jamonero — он заставил старика повторять их снова и снова, пока тот не выучил их, затем он дал ему знак, что был бы рад, если бы старик еще раз показал ему нож; старик обрадовался

встал, снова вынул свёрток, развернул его и, очевидно, всё повторял, какой он красивый, потому что у него почему-то было такое выражение лица; он тем временем взял его в руки, повертел, а затем вернул и попытался объяснить старику, что теперь ему хотелось бы узнать, где он его купил, но старик неправильно понял вопрос и яростно запротестовал, быстро завернул его и засунул под матрас, давая понять, что нет, он не продаётся, и тут старик ничего не мог поделать, кроме как попытаться без слов сказать, что он просто хочет узнать, откуда он его взял, старик посмотрел на него, пытаясь понять, какого чёрта этому нужно, ведь он даже разговаривать не умел, как вдруг его лицо просияло, и он спросил: «Ферретерия?» Конечно, он понятия не имел, что это за ферретерия, но ответил: «Си», и тут старик достал клочок бумаги и что-то написал на нём карандашом, и вот что было на бумаге:

Улица Рафаэля Казановаса, 1

он посмотрел на неуклюжие буквы, затем движением головы поблагодарил его и показал, что хотел бы взять листок, и старик кивнул в знак одобрения и даже хотел протянуть руку, чтобы помочь ему засунуть листок в верхний карман рубашки, но уже само прикосновение к нему было для него слишком, дотронуться до него было невозможно, он никогда не мог этого вынести, всю свою жизнь он боялся, чтобы кто-то его коснулся, даже сейчас никто не мог его коснуться, особенно этот старик с его гнилой грязной рукой; он быстро отстранился от него, просто чтобы убедиться, что тот не подумает так увлечься, он повернулся к нему спиной и лежал так несколько минут, пока не убедился, что сосед понял, что тот больше не хочет с ним разговаривать, вообще ничего, что касается его, он закончил свою дружескую часть, он лежал неподвижно, снова закрыл глаза, и снова ангелы явились к нему наверху,

потом он открыл глаза, встал, пошёл в курилку, постоял там немного, потом зашёл в туалет, просидел там довольно долго; это было одно место, где ему было хорошо, как и во всех остальных, потому что здесь можно было закрыть дверь на защёлку, человек мог быть один, он мог быть один, никто его не видел, он никого не видел, но потом ему стало просто скучно, потому что просто сидеть и сидеть здесь над всем этим дерьмом — потому что, как оказалось, туалет в единственной свободной кабинке, которую он нашёл, был полон дерьма —

Почему он не опускался? Он даже несколько раз дергал за шнур, но безрезультатно. Прежде чем сесть, он через некоторое время просто заболел и ему стало скучно. Он вернулся в большую комнату, лег и некоторое время смотрел на мертвый глаз телевизора наверху, затем на секундную стрелку часов, затем на телевизор.

снова, затем снова на часы, так что день в конце концов прошел таким образом; он не мог контролировать свои ноги, его мышцы были совершенно истощены, потому что обе его ноги постоянно двигались — особенно левая, она отбивала крошечными шажками воздух, если он ложился — или если он шел по полу или по тротуару, или если он стоял; он смертельно устал к вечеру и думал, что наконец-то сможет спать безмятежно, но, конечно, как и прежде, даже теперь ему не давали ничего, кроме получаса изредка, так как остальные храпели, прочищали горло и издавали хриплые звуки, постоянно заставляя его просыпаться от испуга, вдобавок ко всему еще и ангелы прибывали, а однажды вечером налетел рой комаров: если он натягивал одеяло на голову, чтобы отогнать их, ему становилось слишком жарко, тогда, ну, ему приходилось вставать в большом полутемном зале и плестись в туалет, чтобы помочиться, затем снова плестись обратно, и все начиналось сначала, полчаса сна, потом ангелы, рой комаров и храп, таким образом, наконец, настал час, когда он увидел первые признаки рассвета, так что к тому времени, как рассвело, он уже умылся, в основном привел в порядок свою одежду и обувь и был снаружи

уже здание, он не стал дожидаться утреннего чая, он был слишком измотан для этого, и он больше не мог; он пошел по улице, но не в сторону Диагонали, а в противоположном направлении, именно так, задом наперед, чтобы найти кого-нибудь, кто мог бы указать ему дорогу, и сначала он никого не мог найти, улицы здесь были очень пустынны, но затем кто-то шел с противоположной стороны, он сначала показал газету им, затем многим другим людям, пока не добрался до улицы Рафаэля Казановаса, тогда было еще слишком рано, все было закрыто, он довольно уверенно угадал, какое именно здание он ищет, на нем была вывеска Servicio Estación; Вот оно, подумал он, это может быть оно, и он начал ходить взад и вперед перед магазином, пока не подошел человек, не поднял раздвижные ворота у входа и не открыл магазин; он был угрюм и помят, и тот смотрел на него с недоверием, более того, когда через некоторое время тот вошел в магазин следом за ним, тот посмотрел на него с таким выражением, которое, казалось, говорило, что будет лучше, если он просто уйдет отсюда, но он не ушел, он остался и подошел к нему, вынул пятьдесят евро — на самом деле, он потратил четыре вчера вечером на сэндвич и что-то в выпивке, он показал деньги сейчас, затем смяли их в руке, и этой рукой он навалился на прилавок, надавив на него всем своим весом, наконец слегка наклонившись вперед, к продавцу, и тихим голосом сказал только одно: cuchillo, понимаешь? cuchillo jamonero, и он добавил в последний раз, чтобы не осталось никаких сомнений относительно того, чего он хочет: нож, старина, очень острый нож — вот что мне нужно.

34

ЖИЗНЬ И РАБОТА

МАСТЕРА ИНОУЭ КАЗУЮКИ

Я снял свою корону, и в земном облике, но не скрывая своего лица, я спустился к ним, чтобы найти Принца Чу, Короля Му. Я должен был покинуть бескрайние равнины Неба, Лучезарную Империю Света, я должен был прийти из того мира, где сама форма великолепна; изливаясь, она набухает, и таким образом все наполняется небытием, я должен был спуститься еще раз и снова, ибо я должен был вырваться из чистоты Небес и шагнуть в мгновение; ибо ничто никогда не длится дольше, или даже не длится так долго, как это, и таким образом мое погружение вниз, не длящееся дольше одного мгновения, если, однако, так много всего может вместиться в одно единственное мгновение; но тропа, как они говорят, тропа, как ее называют на этом грубом языке, внезапная вспышка света в том направлении, откуда я пришел до сих пор, спуск внизу и великолепие, с которым я также совершил свое спуск, все это уместилось в тот момент, потому что все уместилось в нем: первые шаги в человеческом облике на этой земле, куда мой проводник, мой единственный немой сопровождающий повел меня, быстро и незаметно, чтобы я мог вступить на тропу, и, отправившись по ней человеческими шагами, я мог затем продолжить свой путь среди тревожного хаоса деревень и городов, стран и океанов, долин и вершин, тропа уместилась в одно единственное мгновение, тропа, которая вела именно туда, в театральный коридор, ибо на этот раз встреча была назначена в Канзе Кайкан; занавески — агэмаку — раздвинулись передо мной, чтобы там, в форме маэ-ситэ, для меня открылось хасигакари; Я слышал их издалека, я слышал барабаны музыкантов хаяси, зовущих меня, и тот голос, понятный только через боль, но кан, и только это, невредимые голоса волков хаяси, коснулись моих ушей; затем я продолжил в своем земном облике, в благородном

сияние кимоно караори, сквозь знакомое пространство Канзе, мои ноги едва касались гладкой поверхности половиц хиноки; когда я двигался к сцене, была тишина, была непостижимая тишина вокруг меня, тишина на сцене, ибо внутри меня была лишь тишина голосов хаяси, и это направило меня ко дворцу, и я шагнул, и я прервал песнопение, которое раздавалось там, там тоже стало тихо, уже когда я шагнул — хотя они не могли знать, кто прибыл

— все затихло, неизъяснимо затихло, может быть, они действительно смотрели на то, что можно было увидеть глазом, на знатную даму, на существо неизвестное, которое вдруг оказалось рядом; двор Чу при моем появлении внезапно сделал шаг назад, и вместе с этим, так сказать, мир тоже отступил на шаг от моего пути, так что мне было совсем нетрудно увидеть, где находится трон, трон, на котором восседал принц Чу, король Му, этот прямой правитель, создатель мирового покоя в этой благоухающей и весомой земной стране, который, теперь обладая зеркалом — безвкусным и разбитым, но все же зеркалом всего того, что выше него —

поистине был достоин похвалы Небес, знак, который я теперь должен ему передать; но сначала есть аромат, сначала только намёк на аромат, пусть бессмертный аромат растительности будет обещанием того, что я сейчас исчезну, но немедленно явлюсь в истинном облике, и уже они видят цветущие абрикосовые ветви на моих плечах, они чувствуют их, они видели их до сих пор, и они видят мой танец, в то время как на самом деле я исчез, так что в этот момент я возвращаюсь как ночи-ситэ, в своём истинном облике, ибо это именно то, что я обещал, хотя они, погружённые в танец, не видят ничего, кроме иллюзии самого танца; однако я снова здесь, они видят корону феникса на моей голове и сверкающий сиреневый и алый шёлк моего одеяния: одновременное сияние кимоно огуши, чокнутого плаща на моём боку и меча, закреплённого на моём поясе, так что с каждым моим шагом,

целое становится все более и более зримым, но все пронизано эфирным золотом, я вижу их изумленное изумление, только принц Чу, король Му остается неподвижным и дисциплинированным, на его лице уважение, дистанция, точное осознание пропорций; он наблюдает за мной, он наблюдает только за мной, он единственный, кто по-настоящему видит меня, кто не просто ослеплен очарованием танца; теперь я протягиваю ему через моего эскорта семена растения бессмертия, пусть это будет подношением за мир, который он создал, чтобы в его руках был знак, напоминающий ему об этом мире, чтобы он оставался; он смотрит на меня, растроганный, он смотрит на мой танец, но он видит и меня, поскольку я сообщаю ему земными движениями, что есть Небеса, что высоко над облаками есть Свет, который затем рассеивается на тысячу цветов, что есть, если он поднимет свой взгляд высоко и глубоко погрузится в свою душу, бескрайнее пространство, в котором нет ничего, но вообще ничего, даже крошечного движения, как вот это, которое теперь должно медленно закончиться; Медленно я должен отвернуться от этого пристального, счастливого взгляда и отправиться по подмосткам из дерева хиноки хасигакари, а за мной мой эскорт, к агэмаку, и теперь я слышу только какегоэ-тишину музыкантов хаяси, меня берет тело, тело, которое мне не принадлежит, цветные занавески агэмаку почтительно раздвигаются, и наконец я могу выйти из пространства этой сцены и перед огромным зеркалом отделиться от этого тела, которое меня несло, я могу вернуться, ибо вернуться я должен, я должен снять свою корону феникса, я должен освободиться от этой сиренево-алой шелковой грации, пронизанной золотом, и я должен немедленно отправиться в путь, вернуться в то место, откуда я пришел, только мой эскорт теперь появляется передо мной, чтобы указать мне путь, как они называют его на этом грубом языке, еще раз, и я медленно прощаюсь с привычным миром Канзе, запахи и тяжесть медленно исчезают вокруг меня, звук Барабаны и крики музыкантов хаяси становятся все громче

далеко, но все еще поражая мое сердце время от времени, но я уже поднимаюсь, я все еще вижу тревожный хаос деревень и городов, земель и морей, долин и вершин, и момент, который заключил в себе так много, подходит к концу, и когда я поднимаюсь, все поднимается вместе со мной, великолепие поднимается там, великолепие — обратно в чистоту Небес, в сферу непостижимого —

который в своей собственной форме, великолепный, струящийся, нарастающий, есть не что иное, как возвращение обратно в то место, где ничего нет, в Лучезарную Империю Света, на бескрайние равнины Неба, ибо это место, где я существую, хотя меня нет, ибо здесь я могу возложить свою корону на свою голову, и я могу думать про себя, что Сейобо был там, внизу.

Ему помогают, но их слишком много, слишком много помощников; по правде говоря, и одного было бы слишком много, а тут еще эта толпа; ему хотелось бы побыть здесь одному, одному в зеркальной комнате, ему хотелось бы самому снять с лица маску дзы-онна, он, конечно, мог бы это сделать, если бы был один, но нет, этого он сделать не может, ассистенты театра услужливо прыгают вокруг него, уже развязали шнурок маски у него на затылке и уже выводят его, из зеркальной комнаты, из зала Канзе еще слышны аплодисменты, потом они затихают; но даже если бы он не затихал, он бы его не услышал, потому что его уже отвели в раздевалку и уже с него стягивают, отстегивают, расстегивают, разматывают все, что нужно снять, как будто это срочно, когда это не срочно, они уже снимают с него костюм, один из них складывает дорогое кимоно, другой уже складывает хакаму, все идет совершенно гладко, как хорошо смазанный механизм, все куда-то спешат, как будто важно было, чтобы он не был тем ночи-сите, каким был только что, а как можно скорее снова стал Иноуэ-сенсеем; однако ему хотелось бы

побыть одному хоть немного, одному, но нет, это невозможно, кто-то подбегает к нему и тихо шепчет на ухо, что у сэнсэя — то есть у него самого — всего пятнадцать минут, — затем за ним приедет кто-то, Канеко-сан, который проводит его к машине через вход для артистов, затем через несколько минут он окажется в присутствии избранных почтенных зрителей, богатых спонсоров, на приеме, устроенном Канзе, нет, он знает, что так должно быть; он уже делал это много сотен раз; и все же, каждый раз, как и сейчас, в нем вертится одно и то же чувство: как неприятно, что он не может быть один, особенно тяжело здесь, в Канзе Кайкан — хотя трудно в каждом театре Но, ведь так всегда: после спектакля приходится спешить, чтобы не опоздать на поздравительные поклоны в красноречивых банкетных залах гостиниц или ресторанов; в соседнем отеле, на этот раз, возможно, будет присутствовать сам сэнсэй Умевака Рокура, шепчет ассистент театра, хотя это совсем не точно, так как сэнсэй Рокура на самом деле, возможно, направляется в Токио на Синкансене, но может быть — ассистент наклоняет голову набок с обаятельной улыбкой — и ему уже выдают ситэ, то есть его собственный халат, чтобы он мог пойти в душ; конечно, без малейшего сомнения, он должен это сделать, ассистент прыгает перед ним с предельной вежливостью, но он как будто бежит за ним и подталкивает его вперед, чтобы он уже пошел в ванную, потому что на его руке уже висят брюки и рубашка почтенного ситэ, да и галстук, который потом завязывает ему служитель, но я мог бы и сам завязать свой галстук, устало думает сэнсэй, он даже себе в этом не признается, но теперь, в такие моменты, после того как агэмаку падает за его спину и представление подходит к концу, внутри него всегда есть желание просто сохранить эту бесконечную радость и спокойствие, скрыть бесконечную усталость, которая в нем

и он хотел бы скрыть это полностью, но его костюм уже снимают, шнур маски развязывают сзади, кимоно и хакама уже сняты, остается только его вспотевшее тело, он это очень чувствует; Другой помощник, однако, услужливо подаёт ему полотенце, и он уже вытирается, чтобы избавиться от большей части пота, нет времени думать, нет времени погружаться в мысли, все беспрестанно суетятся, как всегда, волнение велико, как будто там произошло что-то, о чём он сам не знает, он надеется, что само выступление порождает такое волнение за сценой, в задних помещениях здания, но нет, он знает, что причина не в этом, для этого слишком много выступлений, слишком много лишних повторений ничего не значащих мелочей, как, например, эти последовательно повторяющиеся, лишние и бессмысленные приёмы, где, конечно, он должен присутствовать, чтобы принять слова признания и поклоны, и, может быть, сам сэнсэй Рокуро действительно будет там, в той школе, которая принадлежит к ветви Кандзэ Умэвака, руководство киотским отделением которой перешло к нему в последние месяцы — эта надежда всегда возникает —

потому что это сделало бы его стоящим, если бы пятьдесят шестой сэнсэй, Умевака Рокура, директор школы, присутствовал там, сам прием сразу же стал бы значимым —

Конечно, как обычно, сенсея Рокуро на этих приемах нет, присутствует только его жена, в лучшем случае, хотя и это редко — сенсея Рокуро обычно там нет; однако именно сенсею Рокуро, а не кому-либо другому, следует воздать должное за сегодняшнее выступление, то есть ему, сенсею Иноуэ, сенсей Рокуро, несомненно, является ведущим авторитетом школы Умевака, и для него, сенсея Иноуэ,

— который никогда не был и, возможно, никогда не будет настоящим профессиональным актером Но, поскольку он начинал со слишком многих недостатков, с одной стороны, он не происходил из семьи Но, а с другой стороны, он начал практиковать Но поздно

жизни, то есть когда он был уже взрослым, — для него это была только чуткость сэнсэя Рокуро, его распознавание особых способностей сэнсэя Иноуэ, одним словом, этот острый глаз, который его открыл, вот почему с ним обращаются как с профессиональным актером Но и дают ему две-три роли ситэ каждый год, как и другим, как любому другому из членов школ Умэвака или Кандзэ, вдобавок к этому ему доверена честь руководства отделением Умэвака Кёто, недвусмысленно указывающая на то, что сэнсэй Рокуро благоволит ему и понимает, что для него искусство Но — это вся его жизнь: где он, Иноуэ Кадзуюки, всего лишь медиум, который, так сказать, просто допускает на себя то, что на него обрушивают Небеса, — только бы не было приема, он качает головой под душем, хотя у него нет времени ни на душ, ни на качание головой, потому что помощник стоит рядом с полотенцами и одеждой; не пройдет и десяти минут, как он будет стоять на краю приема, организованного для богатых покровителей, не смея протиснуться глубже в толпу, хотя его и заставляют войти, и он слышит слова признания, доносящиеся со всех сторон, и с глубокими поклонами все выражают, каким чудом они считают то, что только что видели на сцене Канзе Кайкан; в его руке стакан, но он все еще не пьет из него, с некоторых пор он пьет только особую воду, которую ему прописывает корейский целитель, к которому он регулярно обращается, потому что он доверяет только ему, а не врачам; у него высокое кровяное давление, с тех пор как в прошлом году он опасно для жизни выступил в Додзёдзи, оно иногда подскакивает до двухсот, и это может вызвать серьезные опасения, врачи качают головами, но маленький кореец вообще не качает головой, он просто кивает один раз и прописывает особую воду за двести тысяч иен; он верит в это, и это, пожалуй, самое главное, он чувствует благотворное воздействие, он рассказывает о своем опыте

корейцу, который ничего не отвечает, только кивает и машет головой, и снова прописывает особую воду, золото дороже, Рибу-сан, жена сенсея Иноуэ, в шутку замечает Амору-сан, его второй жене, но, конечно, это остается только между ними; Но теперь, конечно, в руке у сэнсэя бокал с шампанским, он украдкой смотрит на настенные часы, он ещё немного побудет, затем после долгого прощания, во время которого он должен попрощаться с каждым человеком по отдельности, он выходит из номера, такси уже некоторое время стоит перед отелем и ждёт его, мы едем в Махорову, тихо говорит сэнсэй, что указывает на то, что всё продолжается точно так же, как всегда, а именно, что мы едем в Махорову, а сэнсэй продолжит репетицию, для него нет разницы между репетицией и выступлением, есть только разница между практикой Но и непрактикой Но — последнее, однако, он едва ли осознаёт — весь его день с утра до позднего вечера заполнен репетициями, будь он в Киото или Токио, поскольку он делит свою жизнь между этими двумя городами, потому что у него есть ученики в Киото и прилегающие районы, а также у него есть ученики в Токио и его окрестностях, так что соответственно две недели в Киото, две недели в Токио — так протекает жизнь сэнсэя, в которой, конечно же, самое важное — это его собственные репетиции, которые проходят либо в Махорова, либо в здании Син-Э, в зависимости от того, что сэнсэй считает целесообразным; если ему нужно ехать в Корею или он хочет ненадолго вернуться в дом своих родителей, то он идет в здание Син-Э недалеко от вокзала Киото; если он хочет остаться дома — и обычно он так и делает в конце дня

— затем Махорова; здание Син-Э или Махорова, Махорова или здание Син-Э, если он находится в Киото, события развиваются между этими двумя местами, но достаточно часто он создает впечатление среди членов семьи, а также

его ученики, особенно его самые ревностные поклонники —

Чивако-сан и Норуму-сан, или Химуко-сан, или Раун —

что он просто импровизирует в выборе своего расписания; в любом случае, как только выражение

возникает «импровизация», они гонят ее из головы, потому что — они утверждают между собой — что даже если это так кажется, он никогда не импровизирует, то, что происходит, не импровизация, абсолютно не в обыденном смысле этого слова, в этом они уверены, так как сэнсэй знает все заранее, и знает это с абсолютной уверенностью, и это общее убеждение, вот почему только им это кажется импровизацией, потому что, хотя это правда, что у него есть предписанный график на каждый данный месяц, сэнсэй вечно открыт, как книга, что означает, что он находится в прямом контакте с Небесами, и по этой причине он может внезапно стать немного непредсказуемым, так как он следует велениям своей души в этой прямой связи, и таким образом он постоянно переворачивает все вещи в тетрадях с ежемесячным расписанием, которые он сам считает целесообразным спланировать для себя; сам сэнсэй, конечно, не ощущает этого непредсказуемо, ибо он совершенно свободен, в этом и во всех возможных смыслах этого слова он свободен — репетиция и преподавание, преподавание и репетиция — одним словом, только и исключительно Но; лишь изредка он отправляется куда-либо в другое место, например, время от времени, на место перед спектаклем, где идёт данная пьеса, чтобы помолиться там, или на службу христианской общины на углу Оикэ Каварамачи, но не ради Иисуса, как он выражается, а чтобы принять участие в общей коллективной радости, и, конечно, лишь изредка, лишь иногда, потому что, как правило, только репетиция, на протяжении нескольких часов подряд, и только преподавание, на протяжении нескольких часов подряд, поспать, говорят члены семьи, он спит всего три-четыре часа в день, потому что ложится спать очень поздно ночью, никогда не раньше двух часов ночи, и встаёт ещё до первого пения птиц, в это время он читает, он

молится, затем как-то начинается день, с репетиции, с обучения; затем снова репетиция, затем снова обучение, и, наконец, репетиция и репетиция в Махорова, как правило, если он находится в Киото, там дневные мероприятия заканчиваются, Махорова находится очень близко к его резиденции, которая как резиденция, в отличие от резиденций других исполнителей Но, представляет собой скромное двухэтажное маленькое здание около храма Камигамо в центре едва ли элегантного района, сэнсэй не желает богатства — ученики и члены семьи отмечают — за исключением тех случаев, когда он путешествует, добавляют они, тогда, конечно, его должны разместить в отеле, который достоин его статуса, или для него должно быть выбрано место, соответствующее его статусу, на ужине, хотя и не где-то конкретно, он ищет простоту во всем, простое и прозрачное, в противоположность сложности, роскоши и излишествам; такси скользит вперед; на заднем сиденье сидят сэнсэй и Амору-сан, а за такси находится микроавтобус с учениками, а за ним — члены семьи на своих машинах, и таким образом они добираются до Махоровы этим вечером, и после позднего ужина вместе и еще нескольких репетиций Сэйобо он удаляется в дом, который служит ему жилищем, только с самыми близкими членами семьи, с Рибу-сан и Амору-сан рядом; он долго молится у домашнего алтаря, затем отвечает на вопросы, которые время от времени задает ему Рибу-сан, затем они становятся на колени и кланяются друг другу, и так они прощаются друг с другом, затем он, сэнсэй, принимает ванну и поднимается в свою комнату, где наконец-то может побыть один, больше всего он любит это — побыть один перед сном, запершись в спальне, он включает электрический свет, он светит тускло, слабо, он берет свою книгу, комментарий сэнсэя Такахаши к Сутре Сердца, которую он регулярно читает —

и он начинает где-то, затем он подходит к окну, смотрит на темный вечер, долго молится и наконец ложится обратно, читает еще несколько страниц, затем закрывает книгу, кладет ее на место на маленьком столике рядом с собой

в постели, и он остается один, теперь он достаточно спокоен, чтобы обрести спокойствие, теперь он способен заснуть, и затем постепенно он действительно погружается в глубокий сон.

Его сердце очень богато, объясняет Рибу-сан в Махорове: богатое сердце и очень глубокая тайна, это сэнсэй

... но это трудно, говорит она, и ее не беспокоит, что сам сэнсэй это слышит; о нем очень трудно говорить, потому что он вообще ни на меня, ни на нас не похож, так как он совершенно другой во всем; Я, она указывает на себя, я его жена уже больше трёх десятилетий, но часто я не знаю, что для него что-то значит, он постоянно меня изумляет, потому что я слепа, тогда как он видит, я слепа к тому, что грядёт, но он уже видит, как всё будет, я много раз говорила, что это невозможно или чудо, и я удивлялась ему из-за этого, но потом я приняла, что сэнсэй уже заранее знает, что произойдёт позже, и что это исходит не от него самого, а от мира, от истинной структуры мира, которую он и только он видит и знает, но я могла бы выразить это и так: сэнсэй просто чувствует вещи, и он глух, глух к тем вещам, к которым мы не глухи, он глух к мирским объяснениям, потому что он чувствует, только улавливает то, что говорит ему его душа, мы глухи к своим душам, для него наши посредственные представления и связи совершенно ничего не значат, он видит их, он видит нас, он знает, что мы верим, то, о чем думаем, и то, что делаем, он знает законы, которые важны для нас, законы, которые определяют и ограничивают всех нас здесь, однако эти законы, в отношении сэнсэя, каким-то образом... просто совсем не влияют на него, как бы абсурдно это ни звучало, тем не менее это так: он тоже ест, принимает душ, одевается, идет, садится и встает, водит машину, проверяет свои банковские квитанции и деньги, присланные сюда из школы Умевака, но с ним ничего не происходит так, как с нами, в тот момент, когда он ест, принимает душ, одевается и так далее, как-то сразу... все по-другому, как

может ли она вообще это объяснить; Рибу-сан крепко зажмуривает глаза, и это, возможно, своего рода болезнь, потому что это происходит каждую минуту, она крепко зажмуривает глаза, и в такие моменты ее лицо резко искажается, чтобы ясно дать понять, что это трудно, она наклоняет голову набок, потому что если она говорит, что сэнсэй все заканчивает, что он никогда ничего не оставляет несделанным, что он непредсказуем и что она никогда не знает, что он сделает или скажет в следующий момент, то она вообще ничего не говорит, и это действительно как будто так, что она вообще ничего не говорит, потому что в этот момент сэнсэй прерывает ее, до сих пор он слушал Рибу-сан молча, с немым согласием и терпением, с какой-то неподвижной радостью в глазах, но теперь в Махорове он вставляет слово и отмечает своим особым способом речи — то есть, произнося каждое отдельное слово, действительно, действительно, каждое отдельное слово, он широко растягивает рот, как человек, который улыбается при каждом слове, так что после того, как слово или предложение произнесены, лицо тотчас же принимает те серьезные черты, которые держат это лицо в той неподвижной вечной безмятежности, — каждый день, он внезапно говорит, каждый день я готов к смерти, и затем в Махорове наступает тишина; первый раз он встретился со смертью — он продолжает еще тише обычного — когда в детстве на улицу, где он жил, вышел высокий худой человек, он подошел туда, где он играл, и поприветствовал его и других детей; Охаё, сказал он и пошёл дальше, дальше по улице, до конца улицы, потом вышел на Хорикаву, и так повторялось каждый день, высокий худой человек, будь то утром, днём, на рассвете или в сумерках, появлялся снова и снова, и приветствовал его, когда он играл посреди улицы, и для него, говорит сэнсэй, это приветствие стало важным, и он полюбил этого человека, и через некоторое время он уже с нетерпением ждал его появления, и он был счастлив, если видел его

в конце улицы; этот человек подошел, поприветствовал его и ушел, а затем в один прекрасный день он больше не появлялся, и с этого момента он больше не появлялся, и они быстро узнали от соседей, что его сбила машина на Хорикаве, его отвезли в больницу, где он постоянно просил воды, но врачи не давали ему воды, а он просто просил все больше и больше воды, только воды и воды, он стал ужасно жаждать, но врачи не давали ему воды, они не давали ему ее, и он умер, ну, вот тогда, говорит сэнсэй Иноуэ, я встретился со смертью в первый раз, но чтобы понять, что это значит, ему все еще пришлось ждать некоторое время, но затем пришло время, и он все понял, и с тех пор он знает, что завтра не наступит; Я никогда об этом не думаю — он еще больше понижает голос и с каждым словом, которое он произносит, улыбается, как это у него обычно бывает, затем его лицо снова становится непроницаемым — никогда, говорит он, потому что я думаю только о сегодняшнем дне, для меня нет завтрашнего дня, для меня нет будущего, потому что каждый день — последний день, и каждый день полон и завершен, и я могу умереть в любой день, я готов к этому, и тогда всему придет конец, и под этим он подразумевает, что — он поднимает взгляд на гостя, сидящего напротив него в другом конце комнаты, — одно целое придет к концу, и вдали начнется другое, я жду смерти, говорит он с неизменной улыбкой, я жду, говорит он, и смерть всегда близка мне, и я ничего не потеряю, если умру, потому что для меня все означает только настоящее, этот день, этот час, это мгновение — это мгновение, в которое я умираю.

Что он родился, говорит, он точно помнит, он помнит, что он родился, они жили на первом этаже, и он видит себя, свое тело, там, далеко внизу, но он видит и свою душу — как выглядела его душа? — ну, она была белая, и он не мог плакать, потому что пуповина обвивалась вокруг его шеи; и с этого все началось, вся его жизнь, и он должен был плакать, но не мог, не мог.

образно говоря, но из-за пуповины он бы закричал, но из его горла не вырвалось ни звука, все смотрели на него со страхом, его отца даже не было рядом, он все ясно помнит; комната, где он появился на свет, окна, татами, умывальники, все предметы в комнате и где они были поставлены, и он очень хорошо помнит чувство, что он родился, откуда он пришел, и он сразу понял, что теперь он шагнул в иную форму, в иное существование, здесь как-то все было труднее: главным образом, дышать, и не только из-за пуповины на шее, ведь кто-то ее тут же размотал, труднее всего было дышать, то, что ему приходилось делать вдохи или, вернее сказать, все было даже не труднее, но вообще, все как будто имело вес, все становилось явным вместе со своим весом, это было что-то новое, и непостижимое, и такое тяжелое, все замедлялось, и это все было еще кровавым и скользким, и все скользило и было в тени, как будто где-то светил свет, тень которого простиралась только сюда; но даже сегодня, когда он вызывает в памяти это воспоминание, он не знает, что отбрасывало эту тень, он вызывает её с особой частотой, даже не намереваясь этого делать, скорее она просто каким-то образом всплывает в его сознании, без какой-либо причины или прецедента; так оно, должно быть, и было, так он родился, отца не было рядом, его даже не было рядом, когда его вывели из комнаты, его не было дома, в это время он часто отсутствовал; семья занималась торговлей респираторами, и спрос был велик после войны, поэтому его отец не жил с семьёй, но никто не знал, где и с кем; он появлялся только раз в месяц, когда приносил домой грязное бельё, чтобы мать постирала, твой отец плохой человек, говорила ему мать, но он никогда, ни на одно мгновение не чувствовал, что, во всяком случае, его отец, если у него и были деньги, на самом деле не жил дома,

дело шло хорошо, так что прошел месяц, прежде чем отец взял его на руки, принес грязное белье, посмотрел на сына, и очень ясно было в нем, что отец как-то держал его на расстоянии от себя и так рассматривал его, но он не чувствовал, что его отец был плох: он был без всяких эмоций, самым объективным образом, какой только возможен, он определил, что это мой отец, тогда как отец, по всей вероятности, без всяких эмоций и самым объективным образом, сказал, это мой сын; это была его первая встреча с отцом, он вспоминает это как совершенно особенный момент, если задуматься, ту первую встречу, и вдобавок к ее особенностям, самое важное было то, что она была первой, потому что позже, после этого, в течение долгого времени, он видел своего отца очень редко, и отец почти никогда не забирал его, потому что он появлялся только раз в месяц, брал деньги и приносил белье, он ждал, пока его мать отдаст ему то, что он принес месяц назад — выстиранное и приготовленное — он даже почти не садился, или только на немного, и он всегда сразу уходил, поэтому можно сказать, что он вырос без отца, можно сказать, что его мать, брошенная, вырастила его, и они вдвоем жили; У него не было братьев и сестер, были только он и его мать, всего двое, его отец появлялся всего на несколько минут раз в месяц каждый месяц, так что он был один большую часть времени, на самом деле, он всегда был один, все время, это было его детство и юность, говорит он, и именно поэтому позже он решил, что если он станет взрослым, у него будет большая семья, и так оно и вышло, потому что вот, показывает он, сэнсэй Кимико, и Сумико-сан, и Юмито-сан, они его дочери, а самый младший, мой сын, вот там, говорит он, Томоаки, никто из них больше не ребенок, и у него также есть двое внуков: Мая-тян из семьи Кимоко и Ая-тян из семьи Сумико, у него есть жена, Рибу-сан, а рядом с ней Амору-сан, но это не

только люди вокруг него, но и бесчисленное множество других, ученики в Киото, ученики в Токио, в Фудзияме и в Араяме, всего по меньшей мере восемьдесят человек, что, конечно, ничего не меняет в его одиночестве, потому что каждый — душа, каждый; члены семьи и ученики, к которым он обращается, уважительно кивают, которые — вот пауза в репетиции Сэйобо длиннее обычного, они видят, что сэнсэй на этот раз начинает говорить более продолжительно, он обращается к гостю, и, ну, в этот момент, как будто по знаку, они рассаживаются вокруг своего отца, деда и учителя, потому что сэнсэй Кимоко здесь, и Сумико-сан, и Юмито-сан, и Томоаки-сан, и Мая-тян, и Ая-тян здесь, и там тоже —

всегда немного отстраненный от остальных — таинственный молчаливый Амору-сан, и, конечно же, самые верные ученики сэнсэя, Чивако-сан, Нозуму-сан и Химуко-сан, и Анте-сан и Харагу-сан, и Гому-Гому и Раун, здесь, в Махорове, как мастер называет свою репетиционную площадку недалеко от святилища Камигамо, в северо-западном углу Киото, все здесь, и они слушают своего отца, своего деда и своего учителя с величайшим любопытством, хотя совершенно очевидно, что они уже слышали это довольно много раз и знают все истории учителя, поэтому они знают и те, в которых он говорит о себе, но, возможно, именно это их так впечатляет, учитель всегда рассказывает им одними и теми же, совершенно одними и теми же словами, он никогда не путает слова, никогда не путает порядок событий в историях, и он всегда начинает со слов: «Я помню, что я родился, мы жили на первом этаже, и я вижу себя, свое тело, там, далеко внизу, но я вижу также и свою собственную душу — никогда ни одного изменения, и это передается: члены семьи и сами ученики стараются точно следовать словам мастера, когда они начинают говорить о нем с кем-то с энтузиазмом, таким образом, рассказ мастера передается, совсем как сказка, хотя с той разницей,

что в этой истории ни одно слово не может быть изменено, ни одно выражение, никто не может ничего добавить к ней, и никто не может ничего отнять, он родился 22 декабря 1947 года в Киото, говорит он, семейный дом все еще там, и даже сегодня он является его собственностью, однако улица не имеет названия, это совершенно узкий, крошечный переулок, и он всегда был таким, он находится недалеко от перекрестка Нанна-дзё и Хорикава-дори, напротив огромного храма Ниси-Хонган-дзи, вы должны представить себе переулок, идущий параллельно Нанна-дзё, всего несколько домов на нем и среди них, там посередине, был наш, говорит он, где нижний этаж всегда использовался для деловых целей — для торговли респираторами и масками — даже сегодня это так, мы жили на верхнем этаже, моя мать и я, потому что нас было только двое в доме, мой отец, пока бизнес еще работал, появлялся раз в месяц, на очень короткое время, чтобы оставить грязную одежду и взять чистую, моя мама всегда работала, у нее почти не было времени побыть со мной, так что я был один так много, так много, так что мое одиночество было поистине глубоким, настолько глубоким, насколько это возможно для одиночества, говорит он, и примерно в этот момент, как будто по мановению волшебной палочки, члены семьи и студенты начинают, по обоюдному согласию — как будто с этого момента история их на самом деле не касается —

чтобы вернуться на свои места, места, откуда, слушая только что начало рассказа мастера, они только что собрались вокруг него, дети и внуки отходят по крайней мере на десять метров влево от него; обыкновенно так проходят частные репетиции, когда мастер репетирует сам, и совсем отдельно от него, на заднем плане, чтобы не мешать мастеру, находятся дети, главным образом Кимоко, старшая девочка, которая сама уже достигла уровня мастера; соответственно тогда, подальше от отца и деда, ученики ищут еще более подходящее расстояние от него справа или садятся лицом к нему у стены Махоровы, для

Место хозяина священно, никто не может сидеть рядом с ним, только Амору-сан, но только для того, чтобы она могла контролировать, вести учет, устраивать дела хозяина; Амору-сан, о которой кто-то не отсюда вряд ли сможет сказать, чем она занималась, хотя она всегда что-то делает во время репетиций — он помнит мальчика на велосипеде, говорит он; это было еще до того, как он сам начал ходить в школу, мальчик упал на улице со своего велосипеда, и он действительно сильно упал, но все просто смеялись над ним, как раз тогда на улице было много нас, и все смеялись над мальчиком, но не я, я плакала, мне было так жаль его, в основном потому, что я чувствовала, как сильно у него болело колено от падения, моя мать начала говорить хватит уже, хватит плакать, он уже ушел, он отряхнул штаны, сел на велосипед, и он уже уехал в сторону Хорикавы, но он все еще просто плакал, ему было действительно жаль его, так невероятно жаль его, потому что другие смеялись над ним; но это на самом деле было не его собственное воспоминание, говорит он, это ему рассказала его мать гораздо позже, и так оно и осталось, это стало его собственным воспоминанием, и теперь он рассказывает об этом, как будто вспоминает что-то, что он помнил, что, однако, он и сделал благодаря своей матери, как, например, когда уже учился в школе, говорит он, мы однажды ходили в бассейн, но среди нас был один мальчик, который не решался зайти, он боялся воды, он боялся бассейна, я понимал, чего он боится, хотя сам я не боялся; но все начали издеваться над ним, и я, конечно, просто расплакался, мне было так жаль его, они говорили об этом, когда я уже был постарше, что в детстве это всегда было так, я всегда кого-то жалел, и я всегда плакал, и это стали воспоминаниями, которые сопровождали меня на протяжении всей моей жизни, и поэтому он продолжает не сдерживаясь, в своей особой манере говорить, повторяя и повторяя, в повествовании есть многочисленные повторы, но это как будто он делает это только для

ритм, потому что его память — если речь идет о Но

— грозен; если он рассказывает историю, как сейчас, он постоянно возвращается к каждой точке, к каждой нити истории, которую он уже рассказал раньше, может быть, потому, что он хочет подчеркнуть их, или потому, что он хочет сохранить содержание-ритм событий, неотслеживаемый никем другим, это невозможно узнать; В любом случае, его воспоминания о годах, проведенных в детском саду, бесчисленны, говорит он, а именно, что поблизости был детский сад, выходящий на угол Ниси-Хонган-дзи, однако напротив, во внутреннем углу Ниси-Хонган-дзи, внутри возвышалась огромная башня, и это оказалось действительно очень особенным зданием, потому что независимо от того, какое время дня было, будь то утро, полдень или вечер, эта башня, которая во времена династии Мэйдзи называлась синсэйгомин, полностью покрывала детский сад тенью, так что все мои воспоминания о детском саду связаны с этим совершенно темным детским садом, потому что эта огромная башня полностью затеняла нас, внутри всегда было темно, и мне приходилось проводить там все свое время в детском саду с другими, мы играли там в темноте, вплоть до того момента, когда пришло время идти в школу, и за все это время ни одна няня или воспитательница не появилась, которая хотя бы раз упомянула или объяснила, почему внутри всегда так темно, и поэтому со мной запечатлелось, что детский сад какое-то темное место, где дети играют в темноте, и где где-то поблизости всегда возвышается огромная башня; но потом пришла школа, а с ней и что-то другое, потому что случилось самое ужасное и совершенно внезапно, а именно то, что буквально за один день наш бизнес обанкротился, деловой партнер моего отца, с которым мы вели бизнес по производству респираторов и масок, внезапно ушел, вот в чем теперь проблема, благодаря ему: он исчез, исчез без следа, мы никогда его больше не видели, но мы все равно остались там, и это было действительно плохо, потому что раньше у нас было все, мы не терпели никаких лишений, на самом деле,

хозяин говорит, он считает, что многие считали его семью обеспеченной, у них был телевизор и пианино, и было мало людей, мало семей, которые могли себе это позволить, потому что после Второй мировой войны почти все потеряли все, только их бизнес по производству респираторов процветал, пока не обанкротился, и с этого момента они совершенно неожиданно погрузились в глубочайшую нищету, у них ничего не осталось, ни телевизора, ни пианино, и самое печальное из всего, говорит он, было то, что мой отец, который, хотя бизнес был успешным, никогда не бывал дома, вернулся обратно на следующий день после того, как мы обанкротились, и с тех пор до дня своей смерти он жил дома; он сидел молча, я точно помню где: внизу, где мы раньше вели наш бизнес, лицом к окну, и даже сегодня в моих воспоминаниях он все еще там, курит сигарету, и годами он не отводил взгляд от окна, он никогда ни в чем не принимал участия, он просто сидел там и курил сигарету, он оставил все на попечение моей матери; но если я давал ему какой-нибудь совет по чему-либо, он немедленно его принимал — хотя в то время мне было всего девять лет, всего девять, когда он переехал обратно в дом, и мы были ввергнуты в нищету

— иногда я давал ему тот или иной совет, и он принимал эти рекомендации во внимание, что нам нужно решить ту или иную проблему. Моя мать тоже слушала меня, но по обычаю именно отец должен был сказать, что нужно сделать то, это или другое, и он всегда соглашался с моими советами. Моего отца не интересовало, сколько мне лет, он принимал мои рекомендации, как и моя мать. На самом деле, мои отношения с матерью были самыми близкими, никто не был важен для меня, только моя мать. Она меня вырастила, заботилась обо мне, ухаживала за мной, и я очень любил свою мать, я говорил с ней обо всем, не только в детстве, в юности, но и позже. Я чувствовал, что она была мне гораздо ближе, чем мой отец или кто-либо другой. Она жила со своим мужем, то есть с моим отцом, в

старый дом до самой ее смерти, недалеко от станции Кёто, там на улице, которая идет параллельно с Нанна-дзё, в родительском доме, который теперь также находится недалеко от Син-Э

Строительство, и через некоторое время, когда я вернулся в Киото —

поскольку я какое-то время отсутствовала, я вернулась сюда, в Камигамо: мы жили довольно далеко друг от друга, но я почти каждый день приходила к ней в гости и говорила с ней обо всем, так было до самой ее смерти, потому что она была самым близким мне человеком, даже не как мать, а как подруга, не было ничего, о чем бы я не могла с ней поговорить, у меня не было от нее секретов, хранить секрет было бы совершенно бессмысленно, однако я очень переживала за нее, когда моя семья погрузилась в нищету, уехал партнер отца по бизнесу, вернулся отец, и вообще денег совсем не стало, бизнес полностью развалился, но что мы могли сделать, нам приходилось работать, и тогда моя мать делала все, что могла, а именно: появилась возможность делать елочные игрушки, по одной йене за штуку; После большого обвала нам было просто нечего есть, мы были в таком тяжелом положении, и мы получали рис только регулярно от родственников моей матери из деревни, рис и вода, рис и вода, каждый день, именно из-за этого моей матери пришлось работать, мой отец был не в состоянии ничего делать, скорее всего, потому что он тоже обанкротился, как и наш бизнес, мы должны были делать эти елочные шары для христиан, это была единственная возможность, однако стоимость иены была очень низкой, и моей матери приходилось делать много этих шаров каждый день, поэтому я начал ей помогать, я тоже делал эти шары для христиан, чтобы вешать их на рождественские елки, единственная проблема была в том, что я был еще ребенком, а ребенка нельзя считать обычным работником, говорит он; так что он мог получать только пол-йены за ту же работу, и этого было недостаточно, заработок его матери, а затем и то, что он зарабатывал, было недостаточно; вдобавок это оказалось большей проблемой, что

эти безделушки оказались очень маленькими, они должны были быть маленькими, и через некоторое время глаза его матери больше не могли этого выносить; насколько они были маленькими — она напрягала глаза, она смертельно перегружала их — она могла работать несколько часов, но затем ее глаза уставали, она плакала, и в конце концов это стало болезненным для его матери, у нее развилось что-то вроде повышенной чувствительности зрительного нерва, вечером она едва могла на что-либо смотреть; но все было напрасно, она не могла перестать работать, поэтому через некоторое время, когда вечером эти глаза стали очень сильно болеть, сказал он, к ним начала приходить монахиня, она заботилась о его матери, она варила рис, и это продолжалось до тех пор, пока он, учитель, не пошел в одиннадцатый класс, в это время, говорит он, он постоянно беспокоился, он очень беспокоился за свою мать, он даже не мог сосредоточиться в школе, он думал только о глазах своей матери, и как они будут болеть по вечерам, и он очень хотел, чтобы его мать перестала работать, уже он был в средней школе, но все продолжалось, и он беспокоился, что его мать не остановится, и что возникнет огромная проблема, он так беспокоился, что не мог думать ни о чем другом, только о ней, и он все больше и больше беспокоился, что она сильно заболеет и больше не встанет; Продолжай учиться, говорили они ему, но он на это не способен, говорит он, он хотел остаться дома любой ценой, чтобы помочь своей матери, и он действительно остался дома, и он тоже ей помогал, он тоже начал делать эти елочные шары, и он не пошел в университет, хотя его учитель советовал ему это сделать, вместо университета рождественские шары, на самом деле это не могло быть иначе, он должен был остаться дома, потому что в любом случае он не смог бы сосредоточиться ни на чем другом из-за всех этих волнений, и он все еще учился в средней школе, когда в начале учебного года состоялось знаменитое соревнование по альпинизму, это было событие, которого он, как и все его одноклассники, ждал с большим волнением, только в его случае проблема была в том, что

другие школьники всегда за неделю до большого соревнования по скалолазанию получали новую пару кроссовок, но так велика была нищета в их доме, что не было денег на новые кроссовки, так что его мать придумала отполировать старые кроссовки каким-то полупенсовым шоколадом, сначала она действительно отчистила их, а затем размазала шоколад, и они действительно выглядели так, как будто они могли бы быть новыми, но он был расстроен этим, и так как ему не было стыдно, что из-за бедности семьи он был единственным, кто не получил новые кроссовки перед большим соревнованием по скалолазанию, он брал туфли и соскребал шоколад, и он никогда не ходил в горы с другими, это только один пример того, как это было трудно, говорит он, но также пример того, как ему было трудно быть с другими; Не то чтобы он не жаждал быть среди них, он ничего не желал больше, чем играть рядом с ними, просто на пути всегда возникало то одно, то другое препятствие, из-за чего ему приходилось отказываться от их компании. Поэтому, когда он учился в средней школе, он стал ещё более одиноким, чем в начальной: только он и его мать, они вдвоем на улице, которая шла параллельно Нанна-дзё, в то время как его отец целыми днями сидел в старом здании, курил сигареты и смотрел в окно, хотя там никогда ничего не происходило, он был совершенно один. Так шли годы, и сострадание в нём к тем, кто не мог подружиться, становилось всё глубже, или к тем, кто не мог быть с теми людьми, с которыми хотел быть, потому что он всегда был дома, или в школе, или в школе, или дома, и потому что он так беспокоился за свою мать и всю семью, и что с ними будет, если его не будет дома. В это время из-за беспокойства он очень часто не выходил на улицу поиграть или присоединиться к с другими во время школьных каникул, потому что в его голове была только одна мысль: как найти выход из

эта нищета, чтобы его матери не приходилось напрягать глаза; он беспрестанно размышлял об этом, и, конечно, в то же время, говорит он, у него не было слишком много времени, чтобы думать об играх с другими; он мог бы, однако, подружиться, например, с мальчиком, который однажды жаловался, что ему очень плохо, и он действительно боится, потому что он не может ходить в таком виде на уроки пения по утрам; я сказал ему, говорит он, что пойду вместо него, и даже пошёл, пошёл, и тем временем я выучил всё, что он должен был выучить, а потом на уроках пения я объяснил ситуацию своему однокласснику; Я спел все, что он должен был спеть, и меня очень похвалили, а учитель сказал, что они не упрекают моего одноклассника за его отсутствия, что все в порядке, и, конечно, этот мальчик был очень благодарен за это, и они могли бы даже быть друзьями, но что ж, ему нужно было идти домой, сначала он просто шел нормально, потом он начал двигаться быстрее, но в конце концов он уже бежал, так он боялся, что пока его не было, что-то случилось с глазами его матери, и поэтому он не мог быть чьим-либо другом, потому что даже если бы этот мальчик пригласил его в другой день прийти и поиграть с ним, в этот темный период его жизни он сразу же подумал бы о том, что произойдет дома, если его не будет, это всегда было его глубоким убеждением, что никого не будет рядом, чтобы помочь, так как он был совершенно уверен, под этим бременем постоянных страданий, что надвигается большая катастрофа; прежде всего он подумал о матери, полный тревоги за нее, думая, что катастрофа будет связана с ее глазами, но этого не произошло, произошло что-то совсем другое, что-то совершенно необыкновенное, что перевернуло все вверх дном и изменило их жизнь; никто не думал, что это может произойти, но это произошло; все, и в особенности он сам, были убеждены, что катастрофа уже здесь, вот-вот произойдет, и все казалось таким безнадежным, что один

день — таково было горе, которое охватило его из-за участи его матери и отца, — он принял решение и пошел к ним в горницу, и его совет был, что они должны покончить с собой, вместе, всей семьей, потому что, по моему мнению, я сказал им, он говорит, это единственное решение, это то, что я могу посоветовать, потому что мы настолько лишены всякого будущего, у нас нет никакого будущего, все наше время полностью занято решением проблем повседневной жизни, тем, что мы будем есть; ну, конечно, я не думал ни о каком будущем, я не желал никакого будущего, потому что будущего вообще не было, я поднялся наверх, встал перед ними на колени, поклонился и сказал: давайте все вместе покончим с собой, но в конце концов мы этого не сделали, потому что произошел необычайный поворот событий, что-то совершенно невообразимое: однажды в школе большая белая собака внезапно появилась в коридоре, я был в седьмом классе, когда вошла бродячая, оборванная белая собака, и она была в таком плохом состоянии, что все просто кричали и орали на нее, но никто не осмеливался и не хотел пытаться схватить ее, однако было очевидно, что собака уже приближалась к концу, все ее тело дрожало, шерсть была содрана, и она была настолько тощей, что ее кости буквально торчали, конечно, ее каким-то образом выгнали из класса, и выгнали из всего здания на улицу, просто собака не ушла, а осталась там возле школы и осталась прямо под окном нашего класса, она не уходила оттуда целую неделю, только дрожала и плакала, выла и скулила, это было очень ясно слышно, и в конце концов я больше ничего не слышала, я слышала это даже дома: так что собака не двигалась с места рядом с деревом, они пытались прогнать ее тростью, но прогнать ее было просто невозможно, поэтому она осталась, никто ее больше не беспокоил, только было слышно, как она плачет, и я — по мере того, как проходила неделя — смотрела на собаку, и я видела, как она хочет умереть, и тогда я сказала себе: я должна забрать ее домой,

так или иначе, она уживется с нами, и поэтому, как рассказывает хозяин, именно это он и сделал: он привел собаку домой и просто сказал ей «иди сюда», и по одному этому слову собака пришла; но его мать сказала: «Мы не можем этого сделать, мы не можем держать здесь собаку, что бы мы ни давали ей есть», и это действительно представляло огромную проблему, так как у них не было мяса, которое они могли бы дать собаке, только рис, и, кроме того, собаки не едят рис; его мать советовала ему отвезти его в монастырь, он не может оставаться здесь, но, говорит он, он не смог этого сделать, он умолял свою семью, пожалуйста, пусть он останется здесь, он даже тайком сделал собачью будку, он умолял свою мать, но она сказала, что у нас не хватает даже для себя, на что он ответил, что он будет давать собаке его собственную порцию, что, конечно, прозвучало немного странно, потому что собаки не едят рис, но затем он так умолял свою мать, что в тот вечер они дали собаке его ночную порцию риса, и собака съела рис, и тогда уже его мать начала смотреть на вещи по-другому, и она позволила собаке остаться, хорошо, сказала она, мы оставим ее, и действительно так оно и вышло, говорит он, мы взяли белую собаку, и через две недели, всего через две недели после того дня, как мы взяли собаку, — люди начали стучать в парадную дверь, говоря, что хотят купить кислородную маску, внезапно они получили заказы, бизнес моего отца снова пошел в гору, и даже его деловой партнер, тот, кто ранее стал причиной банкротства бизнеса, появился снова и предложил, что из-за изменения спроса им следует снова объединиться в партнерство, и телефон зазвонил без умолку, и появились сотни и тысячи заказов, все изменилось в одночасье, бизнес

процветал;

в

что

время,

то

массивный

В то время шла кампания по индустриализации, и из-за загрязнения окружающей среды возник огромный спрос на кислородные маски. Кроме того, деловой партнер моего отца придумал новый вид маски, желтую, которая более эффективно отфильтровывала загрязнения, и она стала настолько успешной, что даже

Государственное телевидение NHK сняло об этом программу и разрекламировало ее, все стало лучше, мастер понизил голос, и все узнали, моя мать знала, я знал, и мой отец тоже знал, что перемена в нашей судьбе произошла из-за собаки, она принесла нам удачу, объявил мой отец, сидя на стуле перед окном, и с того момента он молился за нее, за белую собаку, и с тех пор, как он, мой отец, умер, я молюсь за нее, и когда я умру, мой первенец, сэнсэй Кимико, тоже будет молиться за нее.

Трудно выразить словами радость практики, говорит он затем, если есть репетиция — а для него всегда есть репетиция — тогда он освобождается от всей косвенности и он абсолютно активен, погружен, полностью отождествлен с тем, что он делает: со следующим шагом, которому нужно следовать в последовательности, с держанием руки, размещением веера перед телом, с размещением тела в пространстве, а затем со поэзией и песнями, которые начали звучать в его голосе, через его голос, который вырывается из глубины; одним словом, если он репетирует, как он только что был с Сэйобо, или если он продолжает репетицию Сэйобо, как он сделает через мгновение, тогда он чувствует в глубочайшей глубине, что есть душа; Если он делает необходимые танцевальные шаги в предписанном порядке, то он не думает о том, действует ли в нем дух, потому что этот дух полностью укоренен в порядке шагов, которые он только что выполнил, он не заглядывает в будущее, думая: после этого какой шаг мне нужно сделать, после этого какой шаг будет следующим; это вопрос только одного шага, который точно заполняет настоящий момент, именно на этом он должен сосредоточиться, говорит сэнсэй, на том, что я могу сделать именно в этот момент, точнее говоря, на том, что я делаю в этот момент, именно для этого и нужна концентрация, не для чего-то другого, не для желания, чтобы этот шаг здесь был лучше, а чтобы именно в этот момент, именно этот шаг в танце зарождался; это все, что вам нужно знать, а остальное

это дело души; одним словом, репетиция — это его жизнь, так что для него нет абсолютно никакой разницы между репетицией и представлением, в Но нет особого способа исполнения, то, что происходит на представлении, — это то же самое, что происходит на репетиции, и наоборот, то, что происходит на репетиции, — это то же самое, что происходит на представлении, нет никаких расхождений, но что касается его, то он счастливее рассматривать все это как репетицию, потому что это лучше выражает тот факт, что речь идет не о какой-то окончательности или завершении, это лучше выражает тот факт, что у Но нет цели, и этой целью, в частности, является не представление, а то, что для него вся его жизнь — это репетиция, последовательное пробуждение — или, скорее, он бы просто сказал, пробуждение, поскольку пробуждаться не к чему, а именно то, к чему остается, последовательно пробуждается; это поистине невыразимый катарсис для исполнителя Но, такого как он, для которого Но — всё и источник всех вещей, Но только даёт, а он только получает, и он всё понимает, потому что тогда понимаешь, что всё оборачивается к лучшему не потому, что у человека есть определённый уровень понимания того, что будет правильным в будущем, а что всё оборачивается к лучшему, если у человека есть правильное понимание настоящего, а именно, это такое понимание, которое хорошо не только для тебя, но и для всех, то есть оно никому не вредит, так что оно вообще хорошо; нет, говорит сэнсэй, улыбаясь, он не верит, что те, кто так угрожающе говорит о надвигающейся катастрофе, каком-то полном крахе, полном апокалипсисе, правы, ибо такие люди никогда не учитывают — и это очень характерно — они никогда не учитывают того факта, что существуют более высокие потенциалы; вы должны знать, что ваш собственный опыт в этом имеет решающее значение для понимания того, насколько бессмысленно разделять живые существа, отделять живые существа друг от друга и от себя, ибо все происходит в одном единственном времени и в одном единственном месте, и путь к

Понимание этого ведёт через правильное понимание настоящего, необходим собственный опыт, и тогда вы поймёте, и каждый человек поймёт, что ничто не может быть отделено от чего-то другого, нет бога в каком-то далёком владении, нет земли вдали от него здесь внизу, и нет трансцендентного царства где-то ещё, кроме того места, где вы сейчас находитесь, всё, что вы называете трансцендентным или земным, — одно и то же, вместе с вами в одном едином времени и в одном едином пространстве, и самое главное — здесь нет места ни надежде, ни чудесам, поскольку надежда не имеет основания и нет чудес, а именно, что всё происходит так, как должно произойти, чудеса никогда ничего не меняли в его жизни, говорит он, но он понял, что это вопрос бесконечно простых операций бесконечно сложной конструкции, так что всё может случиться, всё может превратиться в реальность, в общем и целом, это всего лишь естественный результат потенциально миллиардов единичных исходов, а именно, что

— сэнсэй говорит это теперь совсем приглушенным голосом, показывая, что его слова произносятся только для гостя, — а именно, что до нашего рождения у Небес были бесчисленные планы на нас, но после нашего рождения есть только один; эти осознания, конечно, не всегда даются легко; он, например, очень страдал, прежде чем смог правильно выразить свой опыт; и когда пришло время, личные наставления и записанные мысли Мастера Такахаси Синдзи направили его, именно он, сенсей Синдзи, смог объяснить ему, когда они встретились лично, когда ему было девятнадцать лет, что его история потери Бога никоим образом не привела его к самоубийству, то есть, однажды он рассказал ему, что когда он молился, все еще у себя дома в Киото, на верхнем этаже своего старого дома, когда он стоял на коленях со сложенными в молитве руками, он внезапно мельком увидел себя в своем собственном зеркале для бритья, и из-за этого, внезапно, он потерял свою веру; и поэтому сенсей Такахаси объяснил ему, что это не

потеря Бога, но, напротив, это означает, что вы нашли Бога, как бы мы его ни называли, мы могли бы также назвать это Богом, сказал сэнсэй Такахаси Синдзи, все равно это мило, это было первое, что сказал ему сэнсэй Синдзи, и это имело огромное значение, аналогично тому, как когда он сидел у своего смертного одра, была особая встреча, когда сэнсэй Синдзи, в качестве последнего наставления, сказал ему, что иногда существование высших измерений завуалировано этими самыми высшими измерениями, это то, что он услышал от него, и само собой разумеется, что тогда, все вместе в одной единственной вспышке озарения, как удар, он понял все эти вещи: он воспринимал, он чувствовал другого человека, он видел то, что лежит за другим, он видел прошлые жизни других, так что быстро настал день, когда ему пришлось заметить, что не только он сам во что-то верил, но что люди верили и в него — конечно, через посредство искусства Но — и это означало, что если люди обращались к нему, и он был способен, исключительно, возвысить их через Но, чтобы он жил с этим словом, с тем же самым словом, которым жил гений Зеами, ибо Но — это возвышение души, которое, если оно не происходит через Но, означает, что Но не происходит, но если оно происходит, то каждый может постичь, что над нами и под нами, вне нас самих и глубоко внутри нас, есть вселенная, единственная и неповторимая, которая не тождественна небу, нависающему над нами, потому что эта вселенная не состоит из звезд, планет, солнц и галактик, потому что эта вселенная — не картина, ее нельзя увидеть, у нее даже нет названия, ибо она намного драгоценнее всего, что может иметь имя, и вот почему для меня такая радость, что я могу практиковать Сейобо; Сейобо — это посланник, который приходит и говорит: я не стремление к миру, я и есть сам мир; Сейобо приходит и говорит: не бойтесь, ибо вселенная мира — это не радуга тоски; Вселенная, настоящая вселенная — уже существует.

Перед Амору-сан стоит низкий столик, и уже несколько минут Амору-сан под речь сенсея отсчитывает огромную кучу денег. Сначала она отделяет десятитысячные купюры от пятитысячных, затем пятитысячные от тысячных, затем аккуратно раскладывает их, складывая в аккуратные стопки, как будто играет, хотя на самом деле это не так. Она три раза пересчитывает, сколько в каждой стопке, затем начинает раскладывать деньги по конвертам. Из каждой стопки достаёт одну купюру, добавляет одну из второй, затем из третьей, затем вкладывает всю сумму в конверт, выровненный пополам, и снова вынимает десятитысячную купюру, добавляет одну десятитысячную, или две, или три — по-разному, а затем кладёт в конверт к ним пятитысячную или тысячную купюру, а затем идёт следующая конверт уже, она шевелит губами, как будто безмолвно, но ей все время приходится проговаривать про себя, сколько и сколько, и банкноты на одной стороне маленького столика уменьшаются, в то время как в то же время столбики конвертов на другой стороне маленького столика становятся все выше, так что вскоре для конвертов не хватает места, и Амору-сан кладет их рядом с собой, возле подушки для сидения; Сначала она считает конверты, затем, когда это сделано, она достает маленькую записную книжку и начинает снова считать количество, которое она положила в конверты, и она записывает их, очень медленно, под соответствующим заголовком в записной книжке, и так продолжается ее работа, пока говорит сэнсэй, и в то время как сэнсэй по сути своей серьезен и строг, Амору-сан по сути просто улыбается, от ее длинного, худого, прыщавого лица исходит вечная безмятежность, и она время от времени наклоняет голову набок, и держит ее некоторое время, наклоняя голову то к левому, то к правому плечу, но все время считая, и раскладывая, и набивая, и записывая, и иногда она прерывает все это, чтобы поправить свои длинные, слегка сальные волосы, чтобы вынуть из своих розовых-

сумочка из крашеной змеиной кожи, маленькое зеркальце с именем Вивьен Вествуд и помада Dior, а губы она красит ярко-красной краской, и с ее широких пухлых губ никогда не сходит и не сойдет улыбка.

Он молится таким образом, что сначала перечисляет Великий Космос, затем идет Великий Дух, затем Великий Будда, затем Дух, который наблюдает за нами в Днях, затем Защитник в Днях, затем — Бодхисаттвы!

затем Само-Порожденный, а затем Милость Высших Сил! — и вслед за всеми ними он молится о стойкости своего сердца и все это до сих пор, говорит сэнсэй Иноуэ, являются его собственными личными трансформациями молитв Такахаси Синдзи, так что каким-то образом, согласно его собственным чувствам, как того желают молитва и обстоятельства, в конце он говорит: Ангел-Хранитель в Сердце! Я прошу тебя, пролей Свет, о Создатель, в мое Сердце! и затем Даруй Мир моему Телу, о Великий Дух! и: Наполни мое Сердце Светом! и Наполни Кандзэ Кайкан Светом! и даруй эту Молитву Всем Тем, кто приходит на представление Сэйобо! затем Я Призываю Тех, кто не может прийти! затем Я Призываю Всех, кто когда-то был здесь, в Кандзэ Кайкан! и затем он говорит: Подними их души здесь, в Свете! и наконец он просит Великого Духа Даровать мне возможность исполнить Сэйобо сегодня вечером! и он просит, Даруй мне силу, и Даруй, чтобы эта сила могла течь через меня и от меня к каждому отдельному человеку! и в самом конце он говорит: Пусть Канзе Кайкан станет факелом сейчас в Японии, во всем мире, во всей вселенной! и отражай эту силу во всех направлениях во вселенную во время выступления! О Боже, сделай так, чтобы эта сила пронизывала все! и в самом конце он говорит: О Боже Создатель! Да пребудет Твоя сила в представлении, и когда он все это говорит, он завершает следующими словами: Я полностью отдаю свою судьбу!

«Это моя молитва», — улыбаясь, говорит сэнсэй Казуюки, и затем его суровое лицо снова становится непроницаемым.

Сэнсэй — это всё, говорит Амору-сан, я ни в чём не хорош, я ничего не знаю, я всех ненавижу, я знаю только сэнсэя и люблю только сэнсэя, потому что сэнсэй — это всё, а мой отец был очень суровым человеком, он бил меня каждый день, каждый божий день, однажды я опрокинул фарфоровую вазу, потом он засунул мою голову в железную печь и хлопал дверцей печи по моей голове, пока я не потерял сознание; Одним словом, каждый божий день был для меня мучительным, каждый благословенный день причинял боль, и мне хотелось умереть, долгое время это было невозможно, и вот наконец это стало возможным, и я был уже взрослым, когда впервые увидел сенсея, и я сразу понял, что люблю его, но ничто не было возможным, поэтому я прыгнул под машину и пролежал в коме семь недель, удар поразил мой мозг, я был между жизнью и смертью, врачи говорили, что они ничего не могут сделать, но сенсей знал, он знал, что я люблю только его, поэтому, как только он узнал, он приехал в больницу и перезвонил мне, я знаю только сенсея и люблю только сенсея, не спрашивай меня ни о чем, потому что я ничего не знаю и ни в чем не хорош, так что, ну, сенсей — моя цель, до него ничего не было и после него ничего не будет, и я надеюсь, что он тоже будет любить меня вечно.

Они прибывают к служебному входу почти за два часа до начала представления, Амору-сан ведет машину, она и остальные уже встречают самых почетных гостей в фойе театра, билеты розданы, время от времени кому-то из зрителей постарше помогают легче найти место внутри театра; все еще остается почти два часа, в лабиринте в задней части Канзы почти никого нет, но, к сожалению для сэнсэя, здесь уже ощущается огромная толпа, никто никогда не может по-настоящему побыть здесь один, и именно поэтому — и все это знают, здесь нет никаких секретов — сэнсэй Иноуэ Казуюки приезжает так рано перед представлением, потому что он хочет побыть один, что, конечно, невозможно, потому что гримерка как будто даже не

есть дверь, зря у этого дерьма своя гримерка, вход и выход непрерывны, то один, заглядывает, то другой, каждый раз ему приходится вставать со своего места и приветствовать посетителя, кто-то заглядывает в дверь, спрашивает, не знает ли сенсей случайно, когда ему заплатят, но сенсей только качает головой, и вот в гримерке может быть немного тихо, когда кто-то еще проскользнет в дверь, и после ритуального приветствия этот человек спрашивает у сенсея совета, потому что старший брат его двоюродной сестры болен лейкемией, что ему делать; пришлите ее ко мне, говорит сэнсэй, но когда, его спрашивают, ну, если на следующей неделе будет удобно, тогда, на следующей неделе, боюсь, говорит другой, что на следующей неделе может быть уже слишком поздно, ну тогда, когда она сможет прийти, спрашивает сэнсэй: завтра днем подойдет, спрашивает посетитель, конечно, отвечает сэнсэй, и он звонит Амору-сан, которая организует встречу, или если не ее, то Чивако-сан, которая очень любезна, и она тоже может прекрасно устроить так, чтобы пришел старший брат кузины, и тогда она будет проводить восторженно благодарную особу, но когда он собирается закрыть дверь, в раздевалку вбегают два мальчика с большой коробкой, они только что прибыли прямо из Токио на Синкансене, они привезли, говорят они, перебивая друг друга, корону феникса; хорошо, кивает сэнсэй, ставит коробку на стол, он должен немедленно открыть ее и осмотреть, мальчики, кланяясь, оставляют его одного, но к этому времени сэнсэй уже знает, что с этого момента он ни в коем случае не сможет быть один, и именно поэтому он выбирает тот же путь, что и всегда, и не только здесь, в Канзе Кайкан, но и в Осаке или в Токийском театре Канзе, это секрет полишинеля, он соответственно выходит из гримерки, отталкивает того или иного человека, пытающегося приблизиться к нему, в конце концов выскальзывая из их рук, и идет в туалет Канзе, потому что он даже говорил иногда открыто близким людям, что это там и только там, в туалете

Канзе, что он может найти спокойствие в туалете, единственном месте, где он может побыть один некоторое время; и всё же перед выступлением, особенно сейчас, перед выступлением такой особой важности, у него есть безусловная потребность в уединении, в том, чтобы просто побыть наедине с собой, одному, как в детстве, одному, как и всю свою жизнь, никем не тревожимый, в мире и спокойствии, потому что это место, где его никто не видит, где его никто не слышит, потому что только здесь и сейчас он может наконец закрыть за собой дверь — дверь в туалет — в Канзе Кайкан, а затем он опускается на колени, подносит обе руки к лицу, слегка наклоняется вперёд, закрывает глаза и начинает молиться — ему всегда приходится читать молитву одинаково — он начинает молиться, начиная с Великого Духа и заканчивая «Я полностью отдаю свою судьбу», он опускается на колени на холодный каменный пол туалета, вдыхая запах дезинфицирующего средства, он один, там мир, спокойствие и тишина, и он выражает свою благодарность Небесам за этот мир, это спокойствие и эту тишину в туалете Канзе, затем он нажимает кнопку смыва, как будто закончив свои дела, и молча направляется в общую раздевалку, чтобы облачиться в первые слои одеяния Сэйобо, чтобы надеть на себя чудесную маску Сэйобо, и чтобы затем внутри него, в зеркальной комнате, стоя перед пока еще неподвижным агэмаку, Сэйобо мог воистину проявиться.

55

IL RITORNO IN PERUGIA

Весь день они только и делали, что разбирали, упаковывали и расставляли вещи, только таскали и таскали вещи из ателье в телегу, а потом вечером он отправил флорентийцев домой и усадил умбрийцев вокруг стола; Перед ними поставили четыре кружки и один большой кувшин вина, и он сказал им, когда последний сосуд для смешивания был надежно помещен в ящики, привязанные к карете, мы едем домой, и они все сидели там с кружками в руках, он сказал им очень многозначительно, что ну, Джанникола, ну, Франческо, ну, Аулиста — так всем, пристально глядя на них и обращаясь к ним, так что он, наконец, подмигнул и Джованни, — теперь пора домой, но никто из них не поверил тому, что он говорил, все было так сложно, потому что было большое, с одной стороны, что никто не мог поверить словам такого маэстро, который всю свою жизнь странствовал между Умбрией и Тосканой и Римом, который постоянно, с того давнего дня, когда он еще маленьким мальчиком покинул Кастель делла Пьеве, постоянно был в пути, как тот, кого преследует всепоглощающий демон, но на самом деле, как будто глубоко внутри в каком-то темном углу даже этой скрытой души, в самой сокровенной части этой души, таился беспощадный демон, ибо таких демонов не существует здесь, снаружи; все четверо, когда эта тема возникла, кивнули головами в знак согласия, не может быть, чтобы демон, здесь, снаружи, был способен воздействовать на кого-то с такой силой, преследовать его туда и сюда непрерывно в течение тридцати лет, потому что так выглядела ситуация, маэстро просто шел и шел и шел, кони падали под ним, а Рим шел за ним, и Флоренция, и Венеция, и Павия, и Сиена, и Ассизи, и кто может даже назвать их всех, и, конечно же, всегда и снова Флоренция, и Перуджа, и Рим,

и Перуджа, и Рим, и Флоренция, и поэтому тот, кто знал его хоть немного, не смог бы поверить, когда он сказал: «Ну что ж, теперь», потому что семья собиралась остаться здесь, в доме Борго Пинти — прекрасная синьора Ваннуччи и бесчисленные дети — и все же это «ну что ж, теперь», как будто кто-то мог проникнуться духом идеи их действительного окончательного возвращения домой, они очень хорошо знали, что об этом не может быть и речи, единственное, в чем можно было быть уверенным, было то, что завтра они вернутся, завтра: обратно в Перуджу, домой в Умбрию, и это было достаточным поводом для радости для всех них, даже для Джованни, потому что, по крайней мере сейчас, на время, это будет не этот безумный город, а немного спокойствия, он вздохнул, хотя его настоящий дом, хотя он никогда не говорил о нем, был очень далеко от Перуджи; они отпили по кружке, и было видно, что все думали об этом; с 1486 года — сколько лет, пятнадцать или сколько, и вот снова любимый пейзаж Умбрии, вкусы и запахи дома — было так много, так что, ну, Джанникола, Франческо, Аулиста и Джованни

...в словах маэстро было именно это, именно это и не более того, потому что в глубине его слов идея окончательно и навсегда никогда не была высказана, потому что для него, из-за этого поглощающего дьявола, этого окончательно и навсегда не существовало, никогда не будет существовать, так что, что ж, напрасно телега была уже полностью загружена, напрасно они завязывали последний узел веревками, которыми накануне вечером закрепили парусину для завтрашнего путешествия, напрасно даже стоял там стражник, чтобы стеречь ее до рассвета, за двадцать сольди, пока они не отправятся в путь; что они наконец возвращаются домой, что это действительно будет настоящее риторно, как они, умбрийские ученики, спустя пятнадцать или сколько лет, возможно, все еще надеялись, после того как маэстро привел их сюда, в боттегу во Флоренции, ну, никто из них не поверил этому, они просто сидели там, кивали друг другу, избегали взгляда маэстро, а когда маэстро ушел, просто пили

на винодельне, в мастерской на Виа Сан Джилио, дешевая прошлогодняя пикета с холмов Кьянти к югу отсюда, и они говорили себе: хорошо, просто дайте ему высказаться, просто дайте ему высказаться, но давайте забудем об этом риторно, давайте забудем об этом окончательно или через пятнадцать или сколько там лет, чтобы наконец-то снова появился родной пейзаж; Единственное, в чем можно было быть уверенным, было то, что мастерская здесь, на Виа Сан Джилио, закрывалась, они расторгли договор аренды помещения с синьором Витторио ди Лоренцо Гиберти, и с этим они возвращались, и как долго это продлится, зависело от скрытой, мятущейся души маэстро, от этой скрытой души и от того всепоглощающего адского ублюдка внутри нее, существа, которое никогда не оставляло его в покое, и никогда не оставит его в покое, но давайте забудем об этом, заметил Джанникола, и он отпил из кружки, и некоторое время никто из них даже не говорил, потому что все они знали, что, в любом случае, здесь было еще большее, с другой стороны, ибо если все это было так, и если, несмотря на временный характер этого путешествия домой, оно все еще было источником своего рода радости, если не того, к чему они по-настоящему стремились, то среди учеников не было никаких сомнений, что это так называемое путешествие домой было лишь спровоцировано горечью неудачи, поскольку оно происходило не вообще не по доброй воле маэстро, поскольку — независимо от того, насколько это было на самом деле окончательно и насколько все четверо радовались или нет возвращению в Умбрию — по какой-то причине существовала огромная потребность в этом переезде, в том, чтобы называть вещи своими именами; маэстро, не так давно ставший одним из самых прославленных художников Италии, был вынужден покинуть свою Флоренцию, и хуже всего было то, что это произошло не потому, что его кто-то прогонял, или потому, что у него случилась стычка с каким-то начальством, или потому, что заказов было так мало —

так как они предоставлялись в некотором роде монастырями или более благочестивыми семьями — но поскольку для маэстро, надо сказать, вещи, по какой-то причине ... просто не шли

ну, в последнее время они едва осмеливались говорить об этом между собой, настолько они были напуганы этим простым фактом, но это было так, маэстро хотел доверить им все больше и больше заданий, и он даже почти не заходил в мастерскую; когда они доходили до того момента в подготовке картины, когда могли сказать ему, что он может зайти в мастерскую, что все готово для написания той или иной панели, даже тогда он не приходил, иногда проходили дни, пока он, наконец, не стоял там, в дверях на Виа Сан Джилио, так тихо, что они даже не замечали его, когда он входил в дверь, внезапно он просто появлялся среди них, спрашивая, почему то, почему это, возясь с тем или иным горшком для смешивания, обращаясь к кому-то из них, говоря, что то или это нехорошо, или что этого будет недостаточно, или что этого слишком много, его и так было слишком много, скажем, слишком много скипидара в льняном масле; он мямлил и бормотал, он бормотал, и никто никогда не осмеливался упомянуть ему

«давно выполненные обязательства» перед ними, было настолько очевидно, что он был в плохом настроении, одним словом, он делал все, но он избегал стойки с кистями, нет, он не то чтобы подошел к кистям, выбрал нужную и начал работать над определенным холстом, нет, вместо этого он мямлил, бормотал и просто бормотал что-то некоторое время, затем бросил замечание, что он сейчас вернется, потому что прямо сейчас у него есть кое-какие дела; когда, однако, он появился в следующий раз, все началось сначала, доска лежала на столе готовая, и все на ней уже совершенно высохло, найти в ней ошибку было бы невозможно, ибо сами они были не просто какими-то старыми помощниками, им ничего не стоило приготовить самый совершенный левкас или имприматуру, и уже никто не мог бы придраться к подрисовке, один он, потому что она была сделана его, маэстро, собственной рукой; у него уже не осталось идей, как этого избежать, и ему пришлось начать рисовать, даже тогда он пытался избежать этого, говоря, что это или то — этот плащ-

хрящ, эта морщинка у глаза, этот контур губы в наброске — не так, как должно быть, он вполне мог им сказать такие вещи, потому что они прекрасно знали, что проблема не в этом, так что на основе слов маэстро

«инструкции» один из них, не говоря ни слова, подходил к доске, или кто-то из флорентийцев, но в большинстве случаев это был Джованни, как у него была самая быстрая и ловкая рука, — и он явно что-то поправлял на подрисунке, конечно, только так, чтобы не испортить, ведь то, что было, было хорошо, все это знали, включая самого маэстро, так как он сам заранее набросал подрисунок на клише, и им оставалось только скопировать его на подготовленную основу соответствующим образом, и они всегда точно и безошибочно копировали эти замечательные рисунки, в этом маэстро всегда был изумителен; то есть, они чувствовали необычайный талант его старой руки в этих рисунках на тонкой бумаге, и не было никаких ошибок, он идеально обрисовывал, с тончайшей чуткостью он отмечал на грунтованной доске, какая именно дивная Мадонна, младенец или святой вскоре здесь появится, просто в последнее время эти фигуры появлялись всё реже, так как он всё откладывал; тщетно была мастерская, полная более серьёзных учеников и помощников как из Флоренции, так и из Умбрии, это не имело к ним никакого отношения, но с этой необъяснимой бессилием маэстро, был какой-то спазм внутри него, или что-то ещё, они догадывались, потому что решительно казалось, что он не осмеливается взяться за кисть, иногда пигмент, основанный на его собственном заказе, стоял там, совсем готовый, разбитый и на палитре, смешанный с порфиром, просто ожидая его движения, и тогда все покидали мастерскую, чтобы маэстро, как они выражались, мог «сделать краски»,

то есть создать по своему собственному секретному рецепту, в своей неповторимой манере, этот малиновый или синий пигмент, такого оттенка, который, по словам помощников, да и всей Италии, не был

и никогда не будет существовать на картине какого-либо другого художника; но он отмахнулся от всего этого, он всё отрёкся, он сказал им, чтобы они делали что хотят с испорченными пигментами, соответственно, что они должны что-то с ними сделать, чтобы они не пропадали зря, что, конечно, было невозможно, так как через несколько дней, как бы они ни старались, сила пигментов терялась, и из-за этого они, по сути, были испорчены, они просто не говорили с ним об этом, и он уже делал вид, будто не замечал, он никогда не был таким в прежние времена, такого просто не случалось, чтобы дорогая вермильон, тем более непомерно дорогой ультрамарин, просто пропадали зря, это было бы просто невозможно даже представить в такой мастерской, как у маэстро, который был известен своим отвращением к так называемой расточительности, тогда как он сам в эти дни был причиной именно такой расточительности, просто чтобы не брать в руки кисть, так оно и было, и, конечно, так долго продолжаться не могло, завтра они отправлялись в путь рассвет, как-то всё здесь, во Флоренции, больше не шло гладко; четверо из них, сидевших здесь за столом с кружками в руках, прекрасно знали, в чём дело, что проблема была не во Флоренции, то есть проблема была не в том, что завтра они покинут этот богатый, живой, сверкающий, опасный или, как выразился Джованни, этот «безумный» город, а позже, в Перудже, в тихом, сонном, пыльном, мирном городке, всё снова пойдёт очень хорошо, — нет, это путешествие в завтрашний день, по своему характеру и форме, было отступлением или, по крайней мере, началом отступления от Флоренции, и больше всего заставляло их сейчас за столом опускать головы то, что это было отступлением от профессии, от профессии, в которой маэстро, казалось, чувствовал себя всё более неуверенно, ибо в последние несколько лет, но особенно в последние несколько месяцев он действительно выглядел как человек, уверенный в том, что он больше не знает того, что знал когда-то, и напрасно они узнали эту новость

что в Перудже маэстро немедленно удостоится чести быть назначенным настоятелем, это не могло помочь маэстро, не могло оказать никакого воздействия на их замечательного маэстро, потому что он не осмеливался взять кисть в руки, только ценой ужасных внутренних мук, и вот результат... было совсем не то, что прежде, и кто мог видеть это яснее, чем они, его ученики и помощники последних лет, от Джироламо до Марко, от Франческо до умбрийцев, но прежде всего самый верный ученик маэстро, Джованни ди Пьетро, служивший ему годами и уже после первых самостоятельных работ начинавший брать себе имя Ло Спанья, имея в виду место своего рождения, и которого остальные предпочитали спрашивать, когда обсуждали с маэстро вопрос о невыплаченном жалованье, а именно в таких беседах они часто хотели, чтобы он вел переговоры от их имени, точно так же, как теперь они ожидали от него больше, чем от кого-либо другого, какого-то урегулирования ситуации; они наблюдали за ним, Джованни, чтобы увидеть, что он на это скажет, но именно он был самым молчаливым, всеобщее молчание окутало их в запертой мастерской на виа Сан-Джилио, и он как будто просто хотел дать понять, что да, конечно, так оно и есть: удача мастера закончилась, и поэтому им пришлось вернуться, поэтому они не могли продлить аренду мастерской с синьором Витторио ди Лоренцо Гиберти, и поэтому они подписывают другой, то есть, что они уже заключили соглашение с первого января с больницей Братьев Милосердия на площади дель Сопрамуро — в Перудже, поэтому они отстраняются от мира, потому что вот что происходило, маэстро отстранялся, и он будет отстраняться всё больше и больше, заметил Джованни остальным, он отстранится от мира, но не бойтесь, добавил он, потому что что касается работы, то она будет в особенности, он шутливо подмигнул своим спутникам, особенно если это происходит в привычном темпе, в котором из

Конечно, в этот день впервые раздался смех, они вылили последние капли из кувшина и, подняв кружки за своего «щедрого» маэстро, чокнулись с громким возгласом и больше не думали об этом, все отправились спать в свои логова, ибо на следующее утро им предстояло встать очень рано; и маленькие птички только-только проснулись в начале апрельского рассвета, когда они уже привязывали веревки к повозке и подыскивали себе подходящее место, где они смогли бы перенести превратности путешествия, и потому, что, ну, все точно знали, и это было их частым опытом, что в самом строгом смысле этого слова грядущие дни будут тряскими, а именно, повозка выбьет из них все дыхание на старой Виа Кассия, по которой им предстояло путешествовать, ибо они всегда пользовались этим маршрутом между Флоренцией и Перуджей; Конечно, они могли бы направиться и в Сиену, присоединившись к многолюдному паломническому маршруту, и могли бы идти этим путем некоторое время в сторону Рима, а затем свернуть налево в сторону Перуджи, но маэстро знал дороги Тосканы и Умбрии как ладонь своей руки, и у него были свои причины не следовать многолюдным паломническим маршрутом Сиены, а вместо этого пойти по менее популярной Виа Кассия Ветус в Ареццо, и в дополнение к его собственному опыту, были рассказы почтовых извозчиков из Рима, а также рассказы сиенских пеших гонцов, только подумайте на мгновение умом разбойника, они объяснили ему за несколько сольди, где можно раздобыть больше и лучше добычи, на многолюдной дороге или на менее многолюдной, ну, милорд, вы видите, что вам нужно думать их умом, если вы хотите быть хорошо осведомлены в вопросе путешествия, так что на этот раз не может быть никаких сомнений, куда ехать, повозка отправится в рассвете, сказал им маэстро, когда он поставил перед ними большой кувшин Кьянти (но не больше!) и четыре кружки; сам он, однако, как обычно, последует за ними, верхом и с некоторой свитой, может быть, на

на следующий день, или на третий день, или на четвертый день, что означало бы, что они никак не смогут вернуться домой все сразу, на это не следует рассчитывать; затем он начал объяснять кучеру маршрут, что, по сути, им следует ехать по Порта алла Кроче, и с этого момента он фактически начал отдавать распоряжения, поскольку они уже заняли свои места под туго натянутым брезентом, и всё было готово к отправлению, маэстро никогда ничего не доверял случаю и сто раз проверял каждый шаг, обдумывая его, ибо осторожности никогда не бывает достаточно, поэтому он сам встал на рассвете и приехал из дома Борго Пинти, чтобы просто всё проверить и лично проводить их в путь, одним словом, вам следует свернуть здесь, у Борго де Кроче, сказал он — как будто кучер из Флоренции не знал бы себя, как будто они сами не проделали этот путь туда и обратно, может быть, двадцать или сколько там раз за последние пятнадцать лет, — затем, продолжал маэстро, пройдите через городскую стену у Порта алла Кроче, но будьте осторожны, — он жестом указал на помощников, — чтобы нигде не было ни меча, ни кинжала, ни ножа, из-за часового, ну, Аулиста, понимаешь, и затем он широким жестом снова махнул кучеру: прямо по дороге на Ареццо, прямо как стрела, и так, перейдя Сан-Эллеро и Кастельфранко, ты сможешь добраться до Лоро в первый же день, там ты должен провести ночь — теперь он повернулся к Джованни, которому были поручены дорожные расходы, — но не в Пьеве, а просто чтобы опьянеть от вина дружественных братьев Гропины, одним словом, Лоро, Джованни! и не трать больше двух золотых флоринов, включая ужин, а на следующее утро отправляйся дальше, проехав через Сан-Джустино, мимо Кастильо-Фибокки в Буриано, там ты должен пересечь Арно, мостовая пошлина должна быть двенадцать сольдо, не больше, Джованни, и в тот вечер в Ареццо ты можешь не платить им

больше трёх, ни в коем случае, они попросят с вас четыре флорина и сорок сольдо, но вы дайте им три — еду, жильё, фураж — ну, Джованни, вы понимаете, а затем рано утром следующего дня в Пассиньяно, и тогда, соответственно, вы должны остаться в Пассиньяно на этот вечер, там снова двух флоринов будет достаточно на всё, и тогда к вечеру четвёртого дня вы уже будете в Перудже, кучер, езжайте осторожно, вы не муку везёте, и не гоните лошадей слишком сильно, кормите их как следует и давайте им воду, а что касается вас, — наконец он указал на четырёх сонно моргавших помощников, — не напивайтесь где-нибудь, потому что вы пожалеете, если я узнаю, а я узнаю, ведь вы, конечно, знаете, что на этом пути ничто не может остаться от меня в тайне, другими словами да будет с вами благословение Божие, маэстро попрощался с ними и с этим отпустил всю компанию со всеми дорогими красками и кистями и масла и скипидар и сундуки и рамы и все деревянные панели, наполовину готовые или только что начатые, он повернулся на каблуках и не оглянулся, он не оглянулся ни разу, а просто пошел к Борго Пинти, и затем вся его bottega из Флоренции исчезла среди спящих домов Сан-Джилио; две лошади дернулись с первым щелчком кнута, телега сильно дернулась, так что они чуть не упали на спины, они свернули на Сан-Джилио, затем проехали весь путь вдоль пустынного Борго ла Кроче, через Порта алла Кроче, уже миновав стражу у ворот, и уже были на открытой местности; Позади них была Флоренция, очаровательная и прекрасная, опасная и безумная, со своим фиаско, а перед ними были весенние холмы Тосканы, нежные и покрытые зеленью, они отправлялись в путь по дороге в Ареццо, одним словом, они отправлялись, сильно дребезжа на ходу, подбрасываемые туда-сюда под брезентом повозки, они смотрели, как город медленно исчезает позади них, они смотрели, как земля медленно становится

Дорога шла ровнее, и они думали: «О, какое путешествие, Перуджа, о, как она далека!»

Как бы их ни трясло, какое-то время их мучила не ужасная тряска дороги, а то, что, вопреки ожиданиям, они очень медленно добирались до холмов Вальдарно перед Понтассьеве, а это означало также, что они не колебались ни секунды, когда мельком увидели первый виноградник; они тут же приказали кучеру ехать туда и уже сворачивали налево с главной дороги, и таким образом они покинули Cassia Vetus, словно никогда там и не были, они свернули, остановили повозку в тени большой оливковой рощи и, оставив кучера там присматривать за повозкой и напоить лошадей, немедленно поднялись на пологий холм, высматривая первый вход в погреб; они так бурно опрокидывали вино винодела, что казалось, будто они ехали не из Флоренции, а из какой-нибудь аравийской пустыни, уже совершенно измученные жаждой, с обветренными языками и пересохшими горлами; Они просто опрокидывали молодое вино из крошечных рюмочек, с каждым глотком становясь всё вкуснее, и несколько минут даже не спрашивали о цене, а просто вливали его себе в глотки, один за другим, просто задыхались, прихлёбывали и глотали, а винодел смотрел на них, гадая, из какого дурдома они взялись, и откуда у них такая жажда, и, ну, что это за хозяин, который, как он выяснил, запер собственных помощников, так что они могли выпить лишь по чуть-чуть изредка, ах, он нам ничего не позволяет, говорили они ему, лгая нелепо, всего лишь крошечная капля вина, и он вышвырнет тебя из мастерской, едва отдышавшись, они продолжали говорить подобные вещи, и они продолжали рассказывать ему, кто они такие, откуда пришли и куда пытаются попасть, ей-богу, Франческо впился взглядом в винодела, их хозяин был так ужасно строг, что одна маленькая капля была слишком много, он никогда

даже это ему когда-либо позволялось, просто потому, что он сам воздерживался от употребления любых спиртных напитков, как человек, давший обет, хотя никто из них не мог бы сказать, зачем они болтают столько чепухи, а именно того, что не соответствует действительности, а именно, что маэстро очень не любит, когда его помощники пьют, и притом строго регламентирует, пока они находятся у него на виду, сколько им можно пить; соответственно, они даже сами не понимали, зачем они лепечут такие глупости этому совершенно незнакомому человеку, может быть, потому, что быстрота, с которой они пили, вынуждала их придумывать какие-то объяснения, во всяком случае, они пили около получаса непрерывно, все время говоря и говоря, слова лились из них, так же как вино лилось им в горло, но к тому времени все четверо были так пьяны, что винодел только указал на вход в погреб, где на утрамбованной земле было разостлано несколько овчин, и они уже падали в ряд, и уже храпели; Кучер всё ещё ждал их там, внизу, в тени оливковой рощи, то есть он ждал столько, сколько мог выдержать, потому что по мере того, как солнце начало подниматься и становилось всё теплее и теплее, ему не хотелось упускать ничего хорошего, так что он привязал двух лошадей и, убедившись, что поблизости нет ни души — он мог ненадолго оставить экипаж, — отправился в том направлении, куда видел их раньше. Но к тому времени, как он тоже нашёл прохладный погреб, они уже громко и размеренно храпели, так что он просто указал на них, давая понять, что господа заплатят, и заказал себе кувшин вина, и начал болтать с виноделом, и время шло очень приятно, но, однако, и в действительности оно проходило; кучер всё время с растущим беспокойством поглядывал на четыре фигуры, спящие на овчинах, потому что помнил о брошенной карете и брошенных лошадях, а также о предостережениях

маэстро выдал на рассвете, а что будет, если возникнет какая-нибудь проблема, а что будет, если он как-нибудь узнает — мелькнула у него мысль, — что, впрочем, было совершенно маловероятно, но все же кто знает, и он стал будить помощников, которые с большим трудом просыпались, но только для того, чтобы заказать у виноторговца еще кувшинов, ну, кучер никак не мог понять, как они могут быть такими дерзкими, потому что этот маэстро, или как его там зовут, объяснил он виноторговцу, кажется большим господином, поэтому он убедил их наполнить несколько фляг, чтобы взять с собой в дорогу, ибо сейчас самое лучшее, — очень неуверенно проговорил он, комкая шапку, — самое лучшее, что будет... потому что, ну, даже эти помощники были своего рода джентльменами, идти сейчас, потому что маэстро сказал, что они должны быть в Лоро к вечеру, конечно, мы туда доберемся, они пожали плечами, не бойтесь, просто выпейте с нами последний стаканчик, и они выпили последний стаканчик, потом еще один, и потом еще один, последний, после чего они направились вниз по склону к роще, все четверо были черно-синими к тому времени, как добрались до телеги, потому что они либо постоянно спотыкались о собственные ноги, либо падали друг на друга от смеха, либо спотыкались о камень или пенек старой виноградной лозы, воткнутый в землю, так что, когда они наконец с большим трудом смогли забраться на телегу и снова там устроиться, и кучер, просто чтобы убедиться, что они все держатся как следует, как и до сих пор, оглянулся и увидел, что вся знатная компания в кузове телеги выглядела так, будто на них напали, или получил хорошую взбучку от банды мародеров — ну, как выглядели господа позади него, его волновало меньше всего, пробормотал он лошадям, щелкая вожжами, и уже повернул обратно на главную дорогу, и там, на Виа Кассия, они продолжили свой путь с того места, где остановились, только вот, ну, кучер поднял взгляд

и конечно, солнце уже стояло очень высоко, так высоко, что он мог быть уверен, что у них нет никакой возможности добраться до Лоро вовремя, так что, когда они выезжали из Понтассьеве, каждый раз, когда ему приходило в голову, он щелкал кнутом, чтобы лошади тронулись, в результате чего знатная компания в кузове повозки только сильнее тряслась, и как могло быть иначе; их то и дело пугали, они просыпались от пьяного оцепенения, и они упрекали его, чтобы он не гнал так сильно бедных лошадей, разве он не видел, что пот ручьем лился с них, разве он не помнил, что маэстро велел ехать осторожно и не преследовать их, и в основном Джанникола повышал голос, ему действительно не следовало так выбивать дух из путников и не следовало так беспокоиться, они доберутся туда, когда доберутся, Лоро не было самым важным, самое главное было быть в Перудже на четвертый день, и чтобы убедиться в этом, кучер сказал лошадям, как и оказалось, он решил, что завтра немного прибавит скорости, других путников почти не было, и, как он помнил, начиная с Лоро, на какое-то время станет немного лучше, но он плохо помнил, или просто обманывал себя, потому что, конечно, когда они прибыли поздно вечером в Лоро, они расположились в гостинице, разгрузили сундуки, умылись, напоили лошадей и дали им провизии и снова тронулись в путь. Эта проклятая Виа Кассия, конечно, ничуть не лучше, так что, как и прежде, они могли двигаться вперед только ценой мучительных пыток. Повозка тряслась, дребезжала, застревала и останавливалась намертво столько раз, и эти четверо постоянно кричали кучеру, что им не спится, потому что так много тряски, дребезжания, застревания и остановки. И что было правдой, то было правдой: она тряслась, дребезжала, застревала и останавливалась намертво, признался кучер лошадям. Ну, но до Ареццо еще далеко.

прочь, а именно Ареццо было его целью на тот вечер, так как послезавтра, вечером они должны были быть в Перудже, этот маэстро, там, во Флоренции, когда он торговался с ним, казался очень строгим человеком, все, что ему теперь было нужно, это знать, что они опоздают, ни при каких обстоятельствах, сказал кучер лошадям, и он щелкнул кнутом по их крупу, на что они, конечно, снова набросились, четыре помощника при этом снова начали кричать, и вот так они и поехали, так и поехала телега по Виа Кассия; Иногда кучеру приходилось сворачивать с дороги, если с противоположной стороны ехал всадник или другая карета, а иногда просто слегка погоняя двух лошадей, помощники вздрагивали и снова начинали кричать на него, после чего он снова замедлял повозку, затем дорога становилась немного лучше, помощники крепко засыпали, так что с Лоро позади них они проехали Террануову и даже пересекли знаменитый Понте Буриано и достигли противоположного берега довольно широкого Арно. Будить их не пришлось, потому что, скорее всего, из-за необычно малого количества путешественников на предмостном крыле никого не было, так что о пошлине не могло быть и речи. Помощники были совершенно неподвижны, они даже не обратили ни малейшего внимания на этот переход. На самом деле, дорога после моста оставалась более ровной, и поэтому они продолжали путь более спокойно, конечно, лишь некоторое время, потому что потом снова появились все эти кочки и выбоины, большие камни, наполовину перевернутые. по бокам — предательские канавы выдолбленных колёсных путей; помощники проснулись раздраженными и начали кричать, но им всё равно пришлось сбавить скорость, так как две лошади больше не могли этого выдержать, вследствие чего кучер был вынужден признать, что они движутся к Ареццо слишком медленно, так что в середине того дня даже четверо помощников, которые немного приходили в себя, поняли, что было бы лучше, если бы они

не останавливались на каждом повороте, чтобы справить свои личные нужды, или дать отдохнуть лошадям и напоить их на каждом водопое, а именно они стали и сами себя сдерживать, а что касается еды и питья, то ели и пили по дороге, и только таким образом смогли на второй день — хотя уже был поздний вечер — добраться до Ареццо; Они договорились о ночлеге на почтовой станции, разгрузили сундуки, снова раздобыли воды и корма, заказали что-то и для себя, поели горячего, но так устали, все пятеро были настолько измотаны, что даже толком не знали, что едят, только жевали и глотали, а потом все пятеро уже спали, четверо помощников — внутри, кучер — в сарае рядом с лошадьми, так что, когда утром третьего дня они снова отправились в путь, то не могли представить, как выдержат всё это до Пассиньяно, ведь это была третья цель их путешествия — северо-западная оконечность Тразименского озера, если лошади всё это выдержат — было совершенно очевидно, насколько измотаны лошади в пути, как и то, как сильно кучер переживает за них, хотя, конечно, у него были не только эти две лошади, пояснил он, всё время оглядываясь на Аулисту, которая как раз в это время наблюдала за ним, — но посмотрите на них, кучер махнул головой, посмотри на свет в глазах этих двоих, он не расстался бы с ними ни за какие деньги на свете, сколько бы ему ни предложили, он не отдал бы их просто так ни одному человеку, он знал каждое их движение, он мог сказать по одной только походке, пойдет ли дождь в ближайшие полчаса или у кого именно в этот момент болит зуб, он знал все, все, что только можно было о них знать, конечно, он не стал бы этого отрицать, отчасти потому, что эти двое тоже знали его, господин помощник мне не поверит, сказал кучер, но если он был в плохом

настроение, эти двое просто опустили головы, как будто они точно поняли, в чем проблема, во всей Флоренции не было двух таких лошадей, да, он кивнул в их сторону, поворачиваясь теперь к лошадям и глядя на дорогу, да, они делают успехи, этого нельзя отрицать, но что касается его, разве он не делал то же самое? — ему тоже исполнилось сорок девять, после карнавала, хотя он знал, что на это не похоже, одним словом, эти трое были просто созданы друг для друга, джентльмен видел это сам, у этого маэстро там, в городе, был наметанный глаз, чтобы отличить его от всех остальных возниц, потому что у него был острый глаз — кучер снова на мгновение повернулся к Аулисте — и он сразу понял, что может доверять ему и этим двум лошадям, но в этот момент кучеру пришлось остановиться, потому что, хотя ландшафт стал более ровным, настал еще один очень трудный участок пути, где старые римские камни были почти полностью вывернуты с поверхности дороги, ему приходилось очень внимательно следить, чтобы не сломать ось телеги пополам или не создать какую-нибудь другую большую проблему, он повернул здесь, он повернул там, и теперь ни одна живая душа не приближалась с другой стороны или сзади — ни дворянин, — заметил кучер лошадям, — ни курьер, ни делегация, ни кто-либо еще, ни из Ареццо, ни Тразимено, как будто все, пробормотал он лошадям, хотели объехать этот участок дороги, но лошади ничего не отвечали, они просто продолжали страдать, а кнут щелкал у них над спинами, а колеса вечно застревали, они пытались вытащить их, прежде чем кнут ударит еще сильнее, и ничто не имело значения ни для кого из них в этой непрерывной пытке, ни для лошадей, ни для подмастерьев, ни для кучера; и, может быть, только каким-то неясным смягчающим фактором было то, что над ними сияло солнце, что теплый апрельский ветерок играл вверх и вниз по земле, что пологие склоны холмов Валь-ди-Кьяна и общее господство всего свежего и зеленого во всем весеннем королевстве Тосканы излучали

такой мир и спокойствие, что не было вообще ничего недоставало, в котором уже ничего другого не требовалось, чтобы кто-то осознал это, глубокое спокойствие и своего рода невозмутимость, которая была не от мира сего: в этом покое и невозмутимости стояли, погруженные в оливковые рощи и виноградники, холмы и дороги, вьющиеся между холмами, даже волнообразные стаи скворцов — когда они снова и снова бороздили ряды виноградных лоз среди игривых ветерков — они были утончены в чарующую неподвижность, как будто они только что замерли в воздухе в полной тишине, или как будто все — густой аромат благородной гнили винограда, серебристая зелень оливковых рощ и огородов, мерцание и тени пологих холмов Валь-ди-Кьяна — как будто все просто наблюдало за тишиной, тишиной, созданной именно этим вниманием, — и все это время слабый маленький шум был частью молчание, пока мы подпрыгиваем в маленькой, доверху нагруженной повозке, крытой брезентом, и ее окованные железом колеса стучат по камням, пока мы медленно, с трудом проезжаем мимо деревень Л'Ольмо, Пуличано, Ригутино по направлению к Пассиньяно.

Они не могли сказать, добрались ли они до Пассиньяно в тот вечер, потому что если первые два дня сотрясали их тела, то третий, между Ареццо и Пассиньяно, разрушал их души, то есть сначала они стали бесчувственными, а затем они восстали, а именно, что, поскольку повозка непрерывно бросала их туда и сюда, сначала они были подавлены, затем они заявили, что так продолжаться не может, что это не путешествие, а бесчеловечная пытка, и что это было строго запрещено буквой и духом Флорентийской республики: эти два чувства сменяли друг друга часами, и все это время дорога, не останавливаясь, безжалостно швыряла их, била, избивала, совершенно сокрушая их волю, но затем они снова восставали, а затем снова просто смирялись со всем этим

вещь, и предались судьбе, потому что это было одно и то же, ибо если за мятежом следовало согласие, то за согласием снова следовало согласие, так что в такие моменты они останавливали кучера, но все, чего они добились, это того, что телега остановилась, что, однако, означало, что она не двигалась, а именно, что в экипаже, который не движется, нет конца страданиям, все четверо знали это, и кучер тоже не переставал это повторять, так что затем все это просто начиналось сначала, они снова набивались в телегу, возвращались на место, стеная и охая, держась и позволяя себя трясти, бросать, бить снова — до следующего приступа согласия

— но через некоторое время они больше не могли этого выносить, и мятеж снова поднял голову; в следующий раз они не слезли, а в самом строгом смысле слова упали с телеги, каждая косточка у них уже болела, они не могли пошевелить ни одной конечностью, они лежали в душистой траве, как мертвые, перечисляя самые смелые идеи, что они отныне пойдут пешком, что каждый сядет на спину птицы, что они вообще не пойдут дальше и останутся здесь, в траве у дороги, и все просто умрут, но тут кучер начал их подгонять, в самом деле, прекратите уже, осталось совсем немного, они сейчас будут там, посмотрите на лошадей, они тоже измотаны и не лежат в траве, так что прекратите уже, вы все как дети, вставайте скорее, забирайтесь обратно в телегу и проедьте остаток пути как взрослые, потом в Пассиньяно вы сможете отдохнуть, так что Пассиньяно стал для них своего рода раем, Пассиньяно, Пассиньяно, повторяли они прежде каждый поворот дороги, так что когда поворот дороги не открывал Пассиньяно, они окончательно озлобились и начали проклинать кучера, потом двух лошадей, потом эту гнилую дорогу, потом римлян, которые ее построили, а потом всех путешественников прошлого тысячелетия, которые со своими

Колеса прорыли в дороге такие глубокие канавы, потом дожди, зимы и солнце, словом, все и вся, что до такой степени разрушило Виа Кассия; наконец, как могли, они проклинали маэстро, так что, когда наступил вечер и на них спустилась тьма, и они готовы были распять кучера на кресте — где же, чёрт возьми, уже этот проклятый Пассиньяно — но как раз в тот момент, когда лошадей тихонько гнали, а там, в кузове телеги, они начали вполголоса говорить о том, как Джанникола сейчас заколет кучера кинжалом, кучер сказал, ну вот уже и Пассиньяно, но он сказал это так тихо, что они и вправду чуть не закололи его по ошибке, что это такое, закричали сзади, Пассиньяно, говорю вам, господа, это Пассиньяно, — крикнул кучер теперь уже в ярости, потому что заметил нож, и жестом указал вперед, в кромешную тьму, нож вернули на место, а они просто пристально смотрели перед собой, чтобы наконец увидеть конец этой пытки, чтобы увидеть, что они наконец-то прибыли точно, как кучер и сказал, что они в Пассиньяно, и когда повозка повернула, они просто помахали трактирщику, помахали чем-то, что могло означать все, что угодно, каким-то образом их привели к их жилищу, там они рухнули, и немедленно, в мгновение ока, все четверо уснули, так что когда Аулиста вздрогнул и проснулся через час, каждая молекула во всем его теле так болела, он был так измучен, что просто не мог вынести сна, и после того, как он впервые увидел Святого Бернарда и Святого Франциска, маэстро немедленно появился где-то над его койкой, и это немного заставило его прийти в себя, и он посмотрел на маэстро над койкой, и он попытался как-то снова заснуть, но не смог, затем он смог, но не на полчаса, потому что его глаза снова раскрылись, как будто уже рассвет, однако это был не рассвет, а еще поздно

вечер и вдобавок он начал приходить в нормальное сознание, то есть после того, как маэстро, святой Бернард и святой Франциск начали исчезать, а поддоны начали обретать свои истинные размеры и форму, внутри было одно крошечное окошко, из которого Аулиста наблюдал, как небеса играют в темно-синий цвет, он чувствовал легкий ветерок, который иногда дул ему в сторону спящих, и вдруг ему на ум пришла одна из панелей в процессе подготовки, которая, прикрепленная к задней части повозки, сейчас перевозилась, тот алтарь, заказанный клерком из Перуджи, Бернардино ди сер Анджело Тези, и который они начали, возможно, шесть лет назад, и который, поскольку он будет закончен когда-нибудь, будет помещен в церкви Святого Августина в Перудже в семейной часовне Тези, названной в честь Святого Николая Толентинского, заказ, конечно, был оформлен много лет назад, но они почти ничего не продвинулись с картиной, были готовы только гипс и имприматура, и они давно закончил черновой рисунок, то есть набросок композиции картины был уже узнаваем, внизу пределла, над ней в середине картины небольшой киворий, и, собственно, в середине картины, наверху, была Богоматерь на небесах, которую держали три херувима, с маленьким Иисусом на коленях, а рядом с ней слева был Сан-Никола да Толентино, справа от нее был Бернардино да Сиена, и все те, кто видел это как видение: внизу, слева от кивория, стоял на коленях Святой Иероним, а с другой стороны Святой Себастьян, эта картина сейчас промелькнула в голове Аулисты, как и в тот день, когда при еще достаточном свете маэстро написал нижние одежды Богоматери ультрамарином, но затем внезапно прекратил писать и бросил замечание, что они должны были бы нанести темно-синее пятно лазуритом на край рукава, который был еще только намечен, но не нарисованы, и там должно быть аккуратно написано MCCCCC,

а именно, что согласно желанию семьи эта картина будет помещена в часовне точно на рубеже кватроченто и чинквеченто — чего, конечно же, не произошло, подумала теперь Аулиста, — и с этим маэстро вышел из мастерской, и с тех пор даже не прикасался к картине, и вот он теперь лежит без сна от изнеможения, и вместо того, чтобы отдохнуть, он видит синеву одежд Девы Марии, эту мерцающую, эту чудесную, эту неповторимую синеву, подобной которой он никогда не видел ни на одной картине ни одного другого итальянского художника, и эта синева теперь, когда он лежит почти полностью без сна в спальне гостиницы, заставляет его думать и заставляет все цвета маэстро всходить в его сознании, так как зеленый, синий и малиновый ослепляют его, действительно, в строгом смысле этого слова, ослепляла его ужасающая сила этих цветов, когда каждая картина была закончена, и они стояли вокруг панели, или фрески, так как взглянуть на него, рассмотреть его как завершенный шедевр, свежим взглядом, чтобы вся мастерская могла взглянуть на него вместе, просто чтобы убедиться, что в целом работа действительно удовлетворительна, и можно ли сказать, что она окончательна, что теперь ее можно сдать, в самом деле, Аулиста теперь вспомнил, он был почти ослеплен этим необыкновенным умением маэстро работать с цветом, потому что это было тайным фокусом его работы и его таланта, теперь добавил он про себя, и он смотрел через эту узкую маленькую оконную щель на вечернее небо над Пассиньяно — поразительная резкость цветов, подумал он, и с какой подавляющей силой зеленый и желтый, и синий и малиновый, расположенные рядом друг с другом, например, на четырех свободно накинутых друг на друга драпировках, возносили зрителя в небеса, то есть, отметил про себя Аулиста, маэстро восхищал людей своими красками, ну, но маэстро все еще может создавать эти цвета даже сегодня, мысль терзала его, и сон наконец покинул его, ибо наверняка эта незаконченная картина там, привязанная к задней оглобле телеги, этот синий кусок

ткань в ней, когда она ниспадала на колени Девы Марии, была того же синего цвета, того же цвета, что и в Санта-Маддалене, и в Мадонне делла Консолационе, и в алтаре в Павии, и в Мадонне, написанной для Пала децемвиров, и в Оплакивании мертвого Христа для Ордена кларисок, и во всех других бесчисленных изображениях Христа, Мадонны и Иеронима, но если так обстоят дела, думал Аулиста среди своих храпящих коллег, если проблема не в доказательстве величайшего украшения таланта маэстро, в его красках, тогда в чем, вот в чем, сказал он себе, говоря теперь вслух, потому что, хотя он этого и не осознавал, он сцепил руки под головой и устремил взгляд в потолок, то в один миг полное бодрствование сменилось глубочайшим сном, хотя даже на следующее утро он не забыл своих ночных мыслей, так что когда после совместной попытки кучера и трактирщика разбудить их —

долго, но в конце концов принесло результаты — и помощники наконец встряхнулись в панталоны, поели теплой панады и, словно мученики на свои колья, вскарабкались на приготовленную телегу, отправляясь в Перуджу. Аулиста даже заговорил об этом; однако, поговорить было не с кем, ибо остальные были еще так тяжелы после вчерашних и позавчерашних испытаний, что кричали на него как могли, как могли грубо, только гораздо позже, когда через некоторое время дорога на берегу озера стала немного лучше и принесли последнюю флягу, что немного их развеселило, они вспомнили об Аулисте и тут же стали его донимать: что, Аулиста, ты в бреду, ты что, так измучен, что не можешь больше выносить пыток и всю ночь думаешь о цветах маэстро? — Ты выглядишь каким-то слабым, красавчик, — сказал ему Франческо, злобно усмехнувшись, и отпил из фляжки, — я даже не знаю.

знать, как маэстро отпустил тебя, и почему ты не поехал с ним верхом, он должен был сделать для тебя исключение, и так далее, вплоть до старого обидного обвинения, которым коллеги донимали его с тех пор, как он появился в мастерской, что именно он был особым, никем не избранным любимцем маэстро, и только потому, что именно он однажды позировал маэстро в качестве модели Святого Себастьяна, и эта грубая шутка, как уже много раз бывало, если они хотели выбраться из какой-нибудь трудной колеи, привела к тому, что они просто не могли остановиться, и издевательства все продолжались и продолжались; Однако телега тряслась, кувыркалась и виляла, как и прежде, но внимание всех было поглощено темой отношений Аулисты с маэстро, так что и на этот раз его не пощадили, они продолжали говорить, насмешки, каждая из которых была злобнее, грубее предыдущей, продолжали сыпаться, и ничто не могло их остановить, они просто не могли отойти от этой темы; Однако он, как и они, болел всем телом, был так же измучен страданиями последних трех дней, как и они, так что он просил их, просто просил, и в конце концов, рыдая, попросил их оставить его в покое, ну, но именно это, вид мужчины, заливающегося слезами, подлил масла в огонь, и они набросились на него, нанося еще более глубокие раны, называя его слабой женщиной, и единственным облегчением для Аулисты, как всегда в таких случаях, было то, что он вдруг замкнулся в себе, ушел в себя до такой степени, что стал неприступным, он не произнес ни слова с ними, он больше не обращал на них внимания, он застрял между двумя скрученными коврами и просто ждал, когда они наконец остановятся, что в конце концов и произошло, потому что через некоторое время удовольствия больше не было, и Франческо, указывая на Тразимено, рассказал историю, уже по крайней мере сотню раз пересказанную, о своем приключении с какой-то шлюхой из Флоренции, которую иногда звали Пантасилеей, и

иногда Помона, а иногда Антея, так они ехали вдоль северного берега Тразимено, и как только они пересекли его, все стало немного легче, потому что они знали, что теперь Перуджа последует, что там, вдали, Перуджа ждет их, и кучер сказал лошадям, что, конечно, это очень хорошо, и если господа-помощники наконец-то в таком хорошем настроении, но что им было бы полезно сберечь немного энергии для последнего отрезка, и он был действительно прав, потому что в сгущающихся сумерках, когда они действительно достигли подножия Перуджи, последовала, возможно, самая трудная часть путешествия, а именно, им нужно было как-то поднять повозку к Порта Тразимено по печально известной крутой дороге, соответственно им всем пришлось спуститься, кучер держал и дергал вожжи с земли, в то время как остальные, прижимаясь плечами к бокам повозки, толкали всю ее вверх, потому что этот путь вверх к воротам был не только очень трудным для двух лошадей, которые были почти полностью измождены, но даже продолжая Одни только ноги вспотели бы у путников, возвращающихся домой; кучер беспокоился о лошадях, а помощники — о грузе на телеге, который до сих пор не пострадал; потом силы их иссякли, и становилось всё более очевидно, что они едва тянут телегу, — кричал кучер, потому что не без оснований боялся, что измученная компания и ослабевшие животные вдруг просто сдадутся, и тогда вся эта конструкция рухнет вниз, обратно к подножию города, и тогда не только телега разлетится вдребезги, не только груз, но и двух его любимых лошадей прикончат, чего он не вынесет; поэтому он просто кричал помощникам, чтобы они скорее толкали, ради Бога, они уже почти на полпути, но для этих пяти и двух лошадей доставить телегу до ворот казалось почти безнадёжной задачей, так что кучеру ничего другого не оставалось, как присвоить

компания с какой-то невероятной удачей добралась до большого поворота дороги, где он затем подложил камни под колеса телеги и приказал им отдохнуть, помощники, задыхаясь, упали на колени, лошади

ноги дрожали, никто не произносил ни слова, так они отдыхали, может быть, четверть часа, пока помощники не посмотрели друг на друга, потом на кучера, потом на лошадей, и, словно в какой-то немой пантомиме, все разом согласились, что хорошо, последний отрезок пути придется как-то проехать одним махом; кучер поставил четырех помощников рядом с опорными камнями, затем щелкнул кнутом над двумя лошадьми изо всех сил, дернул за вожжи, и в то же время помощники выхватили камни из-под колес, чтобы колеса легче поворачивались в нужную сторону; лошади просто тянули телегу, кучер кричал, кнут щелкал, хотя кучер очень старался, чтобы ремень даже не касался крупов двух лошадей, и таким образом они наконец добрались до ворот Перуджи, и наконец шагнули через Порта Тразимено, и когда наконец, задыхаясь, они остановились за воротами, на прекрасно вымощенной Виа дей Приори, Франческо просто не мог остановиться, он только повторял, только повторял: ну, друзья мои, я бы не поверил, что это возможно, я бы вообще не поверил.

Все начинается с заказа, с заказчика, в данном случае с синьора Бернардино ди сер Анджело Теци, нотариуса Перуджи, который, представляя семью Теци, регистрирует перед соответствующими органами все требования, касающиеся заказанной картины, обычно — как и в этом случае — с условием, что Богоматерь и два святых-провидца должны быть написаны самим маэстро, что должны быть использованы самый лучший ультрамарин и самая лучшая вермильоне и так далее, включая точное указание композиции желаемой сцены и изображения желаемых фигур на картине, и, конечно же, цены и

время также зарегистрировано, говоря — то есть записывая — что за изготовление алтаря вышеупомянутый маэстро получит от покровителя сто пятьдесят золотых флоринов, такими-то и такими-то платежами, маэстро со своей стороны соглашается подготовить этот алтарь в благоприятном году на рубеже веков, и поставка будет организована покровителем, поскольку алтарь должен быть помещен в семейную часовню, Chiesa di Sant' Agostino, и с этого началась вся операция, точнее, она началась с того, что маэстро пошел к своему собственному плотнику — это уже произошло в Перудже — и он сказал ему, послушай, Стефано, мне это нужно из тополя, но из тополя самого высшего качества, ты знаешь какого сорта, dolce, более того, dolcissimo, это то, что мне нужно, но распилить его так, чтобы никакая часть края ствола не находилась внутри него, распилить его вдоль волокон, одним словом, он должен быть шесть футов длиной и четыре с лишним полфута шириной, да, ответил мастер Стефано в столярной мастерской, стало быть, один кусок, шесть футов шириной и четыре с половиной фута длиной; нет, сказал маэстро, шесть футов длиной и четыре с половиной фута шириной, да, перебил немного туповатый плотник, энергично кивнув, соответственно шесть футов длиной и четыре с половиной фута шириной; да, сказал маэстро, тополиная панель таких размеров, я буду писать на ней алтарный образ, короче, сколько вы хотите, спросил маэстро, так что задняя часть будет смазана суриком для защиты от насекомых, а живописная сторона будет гладко выстрогана, но затем пройдитесь по ней немного зубчатым рубанком, вы понимаете, Стефано, что должны быть совершенно тонкие маленькие гребни, чтобы вся живописная сторона могла впитать грунт, а заднюю часть пройдите грубым рубанком, потому что вы знаете, Стефано, что тогда будет легче вдавливать поперечные токарные резцы, они тоже понадобятся, конечно, конечно, повторил плотник, стоя перед знаменитым художником и слегка склонив голову, из дуба, однако, дуб, кивнул мастер Стефано, вы знаете, продолжал

маэстро, нужны пазы типа «ласточкин хвост», или как вы их там называете, мы их так называем, одобрил Стефано, в которые потом можно вдавливать поперечные резцы, но, знаете ли, маэстро напутствовал его, поперечные резцы всегда должны располагаться поперек волокон, Стефано, да, конечно, маэстро Ваннуччи, плотник снова кивнул, все будет так, как вы хотите, и когда вам это нужно к, ну, к когда вы сможете это сделать, вот в чем вопрос, ответил маэстро, если это будет готово к следующей субботе, было бы хорошо, спросил плотник, улыбаясь, потому что знал, что никто другой не сможет выполнить заказ так быстро, потому что ну, если это для него, высокочтимого Пьетро ди Ваннуччи — так за сколько, маэстро потерял терпение, шесть на четыре с половиной фута, спросил плотника, и, полагаясь на свою старую привычку, если речь шла о деньгах, он постоянно потирал кончики пальцев за назад, словно роясь в кошельке с деньгами; из тополя, размышлял мастер Стефано, а маэстро кивал на каждую фразу, но не говорил ни слова, и вот, пробормотал плотник, с крестообразными токарными станками, синьор Ваннуччи снова появился, чтобы проявить нетерпение, и когда он наконец услышал цену, он совершенно упал духом и пристально посмотрел на мастера Стефано, как будто тот только что проклял Святую Мать Церковь, и он просто не мог перевести дух —

маэстро был мастером исполнения и мог торговаться из-за одного сольдо — или даже одной кальдеры — целый час, или даже дольше, в зависимости от ситуации, так что и в этом случае прошло добрых полчаса, пока они продолжали торговаться и снова и снова перечисляли спецификации, а затем маэстро вышел из мастерской плотника, быстро заключив сделку и снизив цену до одной четверти от первоначально заявленной суммы, и быстро наступила следующая суббота, и панель была там со всеми согласованными размерами и требованиями, чтобы работа могла начаться, маэстро поручил Франческо —

не Франческо Бачьелли, который все еще работал в мастерской маэстро около 1495 года, а Франческо Беттини, который все еще считался одним из самых неопытных

— с начальными подготовительными операциями, сообщая ему, что нужно действовать с большой степенью осмотрительности, потому что с этого момента каждый отдельный этап работы имел огромное значение, не было задач, которые были бы менее важными или более важными, он должен был обращаться с таволой таким образом, что если какой-либо этап работы был бы выполнен плохо, небрежно или невнимательно, это сделало бы последующую работу бессмысленной, а панель — бесполезной, потому что панель была бы непригодной для использования, а картина — непригодной для написания, то есть даже малейшей небрежности или невнимания было бы достаточно, и заказ был бы потерян, и это также повлекло бы за собой последствия для Франческо, изъятие заработной платы и другие невысказанные репрессалии, поэтому он не должен был игнорировать его, маэстро, приказы, он должен был начать с того, чтобы установить панель в перпендикулярном положении, так чтобы у него был доступ как к передней, так и к задней поверхностям, и вымыть их, тщательно протирая везде, он должен был вымыть ее вниз, но с обратной стороны панели только влажной губкой; с этим, однако, Франческо — другой Франческо — мог помогать некоторое время, так что, одним словом, пока он тщательно тер заднюю поверхность влажной тряпкой, другой в то же время размазывал кипящий уксус по окрашенной стороне, но им приходилось быть очень осторожными, чтобы делать это сразу, действительно одновременно, чтобы все это происходило одновременно, иначе панель начинала коробиться к задней части, и она была бы как бочка, и это был бы конец, он надеялся, что Франческо понял, маэстро предостерегающе поднял указательный палец, и с этим работа могла начаться, так что два Франческо сделали все точно, как было предписано, заднюю поверхность панели влажной губкой, со стороны окраски теплым уксусом, чтобы открыть поры дерева,

чтобы затем клей легче впитался в поверхность древесины, и они действительно сделали все это одновременно, так что не возникло никаких проблем, они могли продолжить следующую фазу, но только на следующее утро; Двое Франческо отложили таволу на тот день, чтобы она высохла, а на следующее утро, когда, согласно обычаю, они горизонтально положили её на два наклонных козла, они проверили, подходящего ли типа щетина у них, и что самое главное, поверхность, смазанная уксусом, должна была быть совершенно сухой, и поскольку это было так, то неприятная операция по проклейке панели могла по-настоящему начаться: потому что даже выражаясь как можно деликатнее, она была неприятной из-за несомненного смрада, ибо если здесь, в мастерской маэстро, помощники не были обязаны готовить её сами из пергамента, а получали пропитку у перчаточников, им всё равно приходилось кипятить её, нагревать на так называемом слабом огне и держать там, пока продолжалась работа: и уже от одного того, что кто-то приносил её со двора и ставил на огонь, поднимался адский смрад, всегда было большое состязание, чтобы увидеть кто мог избежать этой особой задачи, но в этом случае маэстро разделил работу между ними поровну, так что иногда Франческо, иногда Аулиста, иногда Джованни, иногда Джанникола, иногда другие — вначале помощник, работавший в мастерской в Перудже, выполнял работу — в любом случае, на этот раз честь нанести кипящий клей на таволу была предоставлена Франческо, то есть в соответствии с инструкцией: используя короткую жесткую кисть из свиной щетины, и не окуная, а обмакивая его в клей сверху перпендикулярно, так, чтобы только кончик кисти касался клея, затем проводя им по краю чаши; они начали наносить его на поверхность панели, посыпая его кругами, втирая его как можно больше, очень тщательно, ни одного угла, ни одной детали, ни одной мельчайшей

пятно нельзя было пропустить, и когда оно было готово, когда первая часть достаточно высохла, чтобы на нее можно было нанести второй прекрасный тонкий слой, ну, тогда оно было готово, но прежде чем они дошли до этого момента, им приходилось постоянно разбавлять клей, чтобы он не стал слишком густым, и маэстро постоянно приходил, так как он всегда был тем, кто проверял, достаточно ли он разбавлен, или он уже слишком густой, он засовывал в него два пальца, затем, подняв их, медленно раздвигал, и если образовывалась хорошая пленка, то все было хорошо, и маэстро было совсем неплохо постоянно контролировать каждое движение, но что касается зловония, то именно он, Франческо, и все вокруг него воняло ужасно; помощники подходили к нему, затыкая носы, и если они подходили к нему, они, конечно, постоянно бомбардировали его, чья была очередь —

на этот раз Франческо — спросил, чем это от него так воняет и что бы сказала его возлюбленная, если бы он обнял её прямо сейчас в одной из задних комнат близлежащей таверны на Борго ла Кроче, потому что именно так и было, не только вокруг деревянной панели, но и везде, где он работал в мастерской, всё пропитывалось невыносимым смрадом, и он сам, или, может быть, больше всех, и, конечно, избавиться от этого запаха ему удавалось лишь с большим трудом, он оставался на его руках днями, он мыл их, мыл напрасно, он никак не мог смыть его водой, короче говоря, должна была пройти по крайней мере неделя, прежде чем ему удалось бы как-то избавиться от этого смрада; однако работа продолжалась, и когда клеевой слой полностью высох, что в данном случае произошло через два дня, потому что как раз тогда была очень дождливая погода, они снова принялись за панель, только теперь эта работа была не для них —

это для Франческо — но скорее было поручено Джаниколе, как сказал маэстро, послушай, Джаникола, я знаю, что ты уже большой мастер в этом, но тебе не помешает еще раз услышать, что ты должен делать, так что сначала потри то, что сделал Франческо

очень мелко пемзой, только потом можно накладывать гипс; возьми котел для этой штукатурки, наполни его чистой водой из ручья и грей, грей, а потом начинай потихоньку всыпать туда гипс, а другой рукой все время мешай и мешай, и клади столько воды, чтобы она не начала затвердевать, одним словом, клади столько, чтобы она растворилась и осталась жидкой, и делай это аккуратно, брызни еще немного воды, хорошенько закрой, и когда увидишь, что гипс уже не требует больше воды, тогда все хорошо, но смотри, чтобы она оставалась в состоянии кипения, пока не начнешь наносить первый грубый слой на таволу...

ну, ты понимаешь, Джанникола, но в то же время не забывай, что ты должен продолжать работать над обратной стороной панели влажной тряпкой, и когда она высохнет, другими словами, первый слой gesso grosso, тогда ты знаешь, что нужно делать: бери чертежный нож и наноси следующий слой, очень осторожно, чтобы он был ровным по всей поверхности, и действительно ровным, но я буду здесь для этого, маэстро успокоил помощника, который, конечно, не успокоился, а занервничал, потому что работать, когда маэстро стоит за его спиной, после стольких лет, это было бы всё равно что терпеливо выслушивать снова и снова то, что он уже сделал сто раз, и он уже выслушал сто раз, но, в самом деле, почему маэстро повторяет это снова и снова, ни Джанникола, ни другие помощники так и не смогли понять, они подозревали, что это потому, что он ужасно переживает за штукатурку, за размер, за панель и, может быть, даже за вода в тряпке, которой они непрерывно протирали заднюю поверхность панели, и, может быть, его безграничная скупость была причиной того, что он не уставал повторять одно и то же по сто раз, он был настолько недоверчив к ним, как никогда и никому не доверял, почти как больной, болезнь которого заключается в безусловном недоверии, и, может быть, в этом и заключалось

источник всего плохого в нем; поскольку и этого у него не было недостатка, его не то чтобы считали легким мастером, на самом деле, его считали печально известным, но все же лучше иметь его за спиной, думал Джанникола, чем быть без него — ведь это также означало, что он не придет в мастерскую, а это всегда и безусловно плохо — в любом случае теперь он здесь, и все рады, что работа над Пала Тези продолжается и действительно выглядела так, как будто она будет готова в MCCCCC, и поэтому Джанникола нанес два слоя gesso grosso, а затем принялся за gesso sottile, но здесь штукатурка должна быть лишь тепловатой, Джанникола продолжил отсюда, чтобы показать стоящему за ним маэстро, что он все понимает, что его не нужно учить — но одного из новеньких помощников следует проинструктировать, знаете ли, просто быть очень осторожным, но очень осторожным, чтобы не было пузырьков; все зависит от того, насколько вы ловко наносите гипс, лучше всего, если мы попросим у маэстро каплю спирта — а маэстро уже протягивал фляжку — и из этого, — продолжал Джанникола, — вы отльете рюмку, а затем выльете всю эту рюмочку на дно таза, да, вот так, — похвалил Джанникола помощника, который быстро справился с задачей, — спирты, — объяснил Джанникола помощнику, — избавляют от пузырьков, но главное, что когда вы его смешиваете, вы должны почти не смешивать его, а дать ему постоять сутки, чтобы он отстоялся, а затем вы снова смешиваете, почти не перемешивая; вы насыпаете штукатурку, пока она не впитается в нее, но когда в середине начнет образовываться небольшой холмик, вы должны немедленно остановиться и затем перемешать ее еще раз очень тщательно, и убедиться, что она остается теплой, все зависит также и от этого, вы понимаете, Доменико, или как там вас зовут, потому что основание панели должно быть гладким, идеально гладким, и это зависит от того, будете ли вы делать пузырьки или нет, так что

все зависит от тебя, возьми на заметку, Доменико, — сказал Джанникола угрожающе; потом, — добавил он, — остальное ты знаешь, ты знаешь, что надо наносить его плоской тяжелой кистью, сначала растереть первый слой, а потом сразу же размазать следующий слой, не волнуйся, я потом скажу тебе, сколько слоев должно быть, не волнуйся, я буду здесь; Я уверен в этом, подумал Доменико, и было видно, о чём он думал, — потому что Джанникола, стоявший за его спиной вместе с саркастически улыбающимся маэстро, на мгновение довольно странно посмотрел на него, но затем промолчал, — и он продолжил, указав, что, когда он чистит всю поверхность, он должен обязательно помнить, что мы начинаем не с края, и при этом слове Джанникола резко повысил голос, а изнутри, и сначала мы проводим внутрь, а только потом наружу, потому что иначе останется пятно, которое ты не сможешь вывести, ну, ты понимаешь, Доменико, мне не нужно так много тебе объяснять, ты это делал и видел это раньше, с тех пор как ты здесь, и ты уже доказал, что после того, как ты закончишь, нам не нужно проходить по всей поверхности кистью из хека, потому что если ты сделаешь то, что я говорю, то твой грунт будет гладким, как медное зеркало, а это то, что нам здесь нужно, сказал Джанникола, именно так, сказал маэстро, подхватывая нить за собой и глядя прямо на Джанникола, он сказал ему, да, идеально гладкая поверхность, но заметь, если я случайно найду хоть одну-единственную выпуклость, одну-единственную бороздку, одно-единственное пятнышко, то ты получишь такую пощечину, Джанникола, что будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь, понимаешь? В этот момент, к величайшей радости Доменико, Джанникола весь покраснел от досады, что отчаянно хотел как-то ответить маэстро, но не делал этого, он просто продолжал молча слушать слова маэстро, который, однако, только сейчас заметил: не бойся, никаких проблем не будет, я буду здесь, а если меня не будет, то позови меня, всегда зови меня, если не уверен

что-нибудь, спрашивайте, что хотите, только не ошибайтесь, это не живопись, это левкас, его не починить, вы сами знаете лучше, вы уже достаточно долго работаете на меня, маэстро сказал это в 1495 году, и хотя на самом деле Джанникола ди Паоло не так давно зашел в мастерскую маэстро, он молчал, и был бы очень рад выместить всю свою досаду на Доменико, но вместо этого принялся за работу, которую, однако, по какой-то неизвестной причине маэстро разрешил им начать только на следующий день, и Джанникола, инструктируя Доменико, приготовил с ним левкас в тот же день, левкас быстро высох, так что уже можно было все отшлифовать, и провести по нему влажной тряпкой, очень осторожно, но на самом деле совсем чуть-чуть, так деликатно, как дыхание, и грунтовка была завершена, затем следовало нанесение раствора алюма кистью из хека, как маэстро считал крайне важным, чтобы основа не впитывала цвета до такой степени, и вот она, идеально гладкая, матовая, и можно было начинать подрисовку — вот только она так и не началась, потому что с этого момента маэстро поставил отформатированную таволу к стене, а семья Тези была забыта, он просто не обращал на картину внимания, как будто махнул на нее рукой, его вообще не интересовало ее существование, как будто она перестала для него существовать; иногда ему все же говорили о ней, то ли Аулиста, то ли Джованни, но он просто отталкивал все это непонятным жестом и просто продолжал делать то, что говорил и делал в тот момент, так что, соответственно, подготовленная панель просто стояла там, а затем —

может быть, два года или, может быть, полтора года спустя — когда все уже забыли о ней, маэстро однажды зашел в мастерскую, но это было уже во Флоренции, куда тем временем ее доставили с большой партией, и сказал, что теперь пришло время для черновика, и поначалу, конечно, они понятия не имели, что

о котором он говорил, потому что они сами забыли об этом, только когда в боттеге во Флоренции маэстро указал на панель, прислоненную к стене, они поняли, что он говорит о картине для Сант-Агостино, но в то время уже было двое, которым маэстро мог доверить заказ, то есть Джованни и Аулиста, которые уже приобрели серьезную репутацию и за пределами мастерской, но в мастерской в конечном счете, если маэстро хотел быть справедливым, то он должен был разделить задачу между ними двумя, и вопреки их ожиданиям, поскольку он всегда принимал капризные и непредсказуемые решения, на этот раз он действительно был справедлив, отдав одну часть рисунка Аулисте, а другую Джованни, и так получилось, что Аулиста начал, маэстро доверил рисунок его руке, и все, кто был в мастерской, немедленно собрались там и с большим удивлением смотрели через плечо Аулисты, потому что рисунок, как всегда, теперь тоже было чудесно, они были ослеплены, особенно новоприбывшие ученики

— прежде всего Доменико — все хотели бы немедленно узнать, как маэстро подготовил рисунок, так что, как только Аулиста начал, маэстро сказал ученикам, собравшимся в круг, что в хорошей живописи рисунок имеет чрезвычайное значение, что всегда начинается прежде всего с того, что нужно сделать бумагу прозрачной, этого можно добиться, используя льняное масло, разбавленное скипидаром, то есть вы должны втирать его в бумагу, пока оно не станет полупрозрачным, прозрачным, а затем вы должны высушить его, а затем вывести, когда придет время для подрисунка, как это происходит сейчас, — он указал на Аулисту, — подрисунка, повторил он, что означает, что из ранее подготовленных рисунков нужно выбрать именно тот, который нужен, так же, как я сделал дома полчаса назад, и вы накладываете прозрачную бумагу на этот рисунок, и заостренным кусочком угля аккуратно, тщательно обводите его, ваш рисунок теперь

на прозрачной бумаге, а затем вы подкладываете под нее что-то вроде ковра или более толстого войлока; затем, аккуратно следуя контурам, вы прокалываете бумагу, густо прокалывая булавочными уколами, маэстро жестом указал помощникам, по всем контурам рисунка, и теперь вам остается только загладить ваш проколотый рисунок, потому что иначе через эти мелкие уколы ничего не пройдет; затем вы кладете его на поверхность для живописи и посыпаете очень мелко измельченным углем, свернутым в тонкую тряпочку, чтобы пыль могла проходить сквозь нее, вы формируете из тряпочки маленький шарик и чем-нибудь его обвязываете, затем этим инструментом, с помощью угольной пыли, переносите ее через все эти мелкие уколы на доску — или на холст, это зависит от того, что вы пишете — исходный рисунок, ну, тогда вы понимаете, не так ли; мастер оглядел помощников, затем понаблюдал некоторое время, чтобы убедиться, что с молчаливо работающим Аулистой все в порядке, затем заявил, что отныне они должны за ним следить, а завтра сами попробуют, смогут ли они это сделать; он вышел из мастерской; точный, едва заметный подрисуночный рисунок был уже давно готов на таволе, но маэстро не приходил начинать писать, они не решались снять таволу с козлов, но и оставить ее там было нельзя, приходилось ходить вокруг нее, потому что им все равно нужны были козлы, и когда стало очевидно, что работа уже продвинулась настолько, что маэстро потерял к ней интерес, вместо того, чтобы вернуть ее на мольберт, Аулиста провел линии тонкой кистью, и панель была снята, таким образом освободив козлы; затем осторожно всю картину обрызгали смесью молока и меда, чтобы не повредить рисунок, и, наконец, поставили ее обратно к стене, лицом внутрь, чтобы в боттеге во Флоренции жизнь могла продолжаться, и долгое время даже сам маэстро не упоминал об алтаре Тези и даже не спрашивал Аулисты, а главное

не посмотрел, готов ли подрисовочный рисунок, и если готов, то каков результат; даже тогда, и когда однажды полгода спустя — не утром, а в середине дня — он пришел, и в мастерской еще горел свет, он ни с кем не заговорил, а просто поставил длинную нетронутую панель обратно на мольберт и поручил одному из Франческо немедленно вынуть одну из банок с ультрамарином, приготовленным заранее для чего-то другого, и разбить ее пемзой; Франческо, конечно, был весьма изумлён, когда мастер взялся за плащ, недоумевая, зачем маэстро мог понадобиться ультрамарин в столь позднее время, но он молча принялся разбивать непомерно дорогой пигмент, всё время отмеряя так осторожно, чуть ли не по капле, яичный желток, уже отделенный и смешанный с льняным маслом и, чтобы не испортился, продезинфицированный соком свежих фиговых почек, так что даже затаил дыхание, и, как в случае с ультрамарином, цвет всегда лучше, если кристаллы пигмента остаются крупными, он тоже крупно разбил их и сравнительно быстро был готов, он вылил его в ракушку и уже передал маэстро, который взял его, не говоря ни слова, и начал писать им чудесную ткань нижних одежд Девы Марии, их воздушную лёгкость, тем цветом, которым Аулиста уже столько раз восхищалась, когда иногда — если он был один в мастерской — он отвернул картину от стены, чтобы убедиться, что она не повреждена плесенью или чем-то еще; в мастерской были только Бастиано, Доменико, один из Франческо и он, Аулиста, маэстро писал, все занимались своим делом молча, но так осторожно, чтобы не издать ни единого звука, и, собственно говоря, маэстро быстро закончил с этой синевой, затем нарисовал черным, который случайно оказался под рукой, но изначально предназначался для чего-то другого, складки и волны, до ощутимой степени, затем позвал Аулисту, и

Некоторое время они смотрели, как мерцает синий, затем маэстро жестом пригласил Аулисту подойти совсем близко к картине и, указав на самый нижний край синего одеяния в левой части картины, позволил ему нарисовать там, на этой поверхности, немного более темного цвета и написать там самой тонкой кистью, — но, знаете, он схватил Аулисту за плечо, именно так, чтобы его почти не было видно, и золотом — MCCCCC, затем он отвернулся от мольберта, снял плащ, отдал кисти Бастиано, чтобы тот вымыл их с мылом, а потом его даже не было, он вышел из мастерской, и с этого момента произошло только то, что на следующий день или через день, когда он снова пришел из Борго Пинти, он снял картину с мольберта, снова поставил ее у стены красками внутрь и больше не возился с ней, как будто забыл, что она там есть, так что что в Перудже началась совершенно новая история, а не продолжение старой, поскольку всё началось с прибытия четырёх помощников, которые кое-как пришли в себя после рокового изнеможения на Виа дей Приори, затем в состоянии полного отчаяния они указали кучеру на двери арендованной мастерской на Пьяцца дель Сопрамура, и там, к их величайшему ужасу, их поджидал сам маэстро, словно какой-то призрак, но это был не призрак, а он сам, так как по какой-то причине он не хотел говорить больше этого, по сути, он сам отправился домой верхом тем же утром, что и они, с каким-то платным сопровождением, когда он отправил их в путь в повозке, только он поехал другим путём и, конечно, добрался до Перуджи гораздо быстрее их повозки, короче говоря, всё началось с того, что он, увидев, в каком состоянии находятся помощники, дал им как следует отдохнуть, и когда они отдохнут, они должны были прийти к нему домой на Виа Делизиоза и доложить что они были готовы к работе, и вот как это произошло,

Маэстро оставил их, и они тут же рухнули на пол новой боттеги, и уже все четверо спали, как местные жители, Джироламо, Рафаэлло, Синибальдо и Бартоломео, вместе с кучером, привезли содержимое телеги — кучер был не в таком плохом состоянии, как остальные, он был вырезан из более твердого дерева, как он постоянно твердил местным помощникам, — так что, когда телегу привезли, они отвели лошадей на ближайшую почтовую станцию и передали их конюху, затем вернулись в мастерскую, и кучеру дали что-нибудь поесть и попить, и, наконец, дали ему поспать, и молча ушли, чтобы вернуться на следующий день, когда кучер уже проснется, но остальные все еще храпели, как лошади, так что заставить их работать, потому что они были разбросаны по всей мастерской, было нереально, они оставили кучера с его жалованьем, которое прислал маэстро, и стали ждать, они ждали, когда же эти четверо наконец проснутся, но они так и не проснулись, только на следующий день; В общей сложности они проспали целую ночь, и целый день, и ещё целую ночь, однако, когда они проснулись, все, кто знал некоторых других, уже были рады, например, Бартоломео знал почти всех из мастерской во Флоренции, но Аулиста также откуда-то знал Синибальдо, и только Рафаэль был, которого никто толком не знал, он был довольно новым помощником даже для перуджийцев, они, конечно, только что услышали о нём от маэстро во Флоренции, он был полностью освобождён от грунтовки и подготовительных работ в Перудже, потому что маэстро учил этого Рафаэля исключительно тому, как писать, то есть как делать краски, как ухаживать за кистями и как писать то или иное — руку, голову, рот, Мадонну, Иеронима или пейзаж — но, честно говоря, сказал маэстро, я действительно не знаю, чему учить этого Рафаэля, потому что он уже умеет очень хорошо рисовать, и он учится всему, что видит мне сделать так быстро, что

ему уже можно было доверить картину, хотя ему всего-то, не знаю, сколько лет, может быть, шестнадцать или семнадцать, понятия не имею, сказал маэстро, и, ну, это всё, что о нём знали, а здесь, в мастерской, они не узнали ничего больше, только то, что он родом из Урбино, и всё, и что он хорошо рисует и пишет, и всё, и поэтому на него не обращали особого внимания, он всегда как-то обособленно работал, и маэстро всегда обращался с ним по-другому, по-особенному, не так, как с ними, что могло бы вызвать гнев, но не было, потому что этот помощник из Урбино очаровывал всех своей любезностью, может быть, он был даже слишком мягок для такой мастерской, одно было несомненно: он не хотел выдвигаться вперёд только потому, что маэстро оказал ему такое исключительное обращение, он не хотел этого делать, и он не стоял в первых рядах, в этих первых рядах стоял Бартоломео, он был центром, мастерская была поручена ему, так что все как-то происходило вокруг него; Рафаэль подружился с Аулистой, которая тоже была довольно молчаливой; все началось с прихода флорентийцев, которые хорошо выспались, наелись и изрядно напились, затем перешли на Виа Делизиоза 17

доложить, что они готовы к работе, а затем на следующий день маэстро приехал из Ospedale della Misericordia в недавно арендованную боттегу и, к всеобщему великому удивлению, уговаривая их продолжать начатую работу, вынул с самого начала картину «Пала Теци» и поставил ее на мольберт, и что теперь эта панель будет в центре деятельности мастерской, и никто толком не понимал, почему именно она, ведь работа над ней начиналась и потом останавливалась так много раз, может быть, потому, что после возвращения в Перуджу семья Теци настоятельно просила его закончить ее; конечно, это было всего лишь предположение, никто, кроме него, ничего об этом не знал, и маэстро на самом деле никогда не говорил о таких вещах, как покровители и

заказы, гонорары, семья, друзья и тому подобное, даже не Бартоломео, а если и получал, то всегда с тем распоряжением, чтобы этот вопрос оставался строго между ними двумя, в любом случае тавола, предназначенная для Сант-Агостино, оказывалась на мольберте, и с этого момента судьба панели менялась, потому что маэстро больше не только рисовал на картине еще одну складку или фигуру, а затем приставлял ее обратно к стене, как он делал до сих пор, но с этого момента картина даже не снималась с мольберта, маэстро был занят ею непрерывно, что, конечно, не означало, что временами Аулиста, или Джанникола, или даже молодой Рафаэль не работали над ней немного, но на самом деле, факт был в том, что маэстро фактически взял работу в свои руки и оставил ее там, может быть, действительно, как заметил однажды вечером один из Франческо, уважаемый нотариус и его семья напомнили маэстро что картина должна была быть готова год назад, в 1500 году, весь алтарь в семейной часовне, несомненно, должен быть готов, только этой картины всё ещё не хватало, размышляли они, но не знали наверняка, почему эта картина вдруг стала такой срочной, одно было несомненно, она была срочной, и маэстро работал, уже это считалось чем-то совершенно новым, он работал непрерывно, приходя в мастерскую каждый день и продолжая то, на чём остановился раньше, и приближающееся событие назначения настоятелем, казалось, его явно не интересовало, он просто писал каждый день по крайней мере два-три часа, а в его возрасте — ему наверняка должно было быть не меньше пятидесяти — это было нечасто, старики, особенно в случае с маэстро, которые были известны по всей Италии, обычно посещали свои мастерские лишь раз в неделю и обычно лишь немного учили, наставляли учеников, сами работали очень редко, и так жил и их маэстро — во Флоренции, но не здесь, в Перудже, здесь каким-то образом, после большого фиаско, его

Пыл возобновился, а может быть, ему действительно нужны были деньги от Тезиса, кто знает, в любом случае он писал, только одно было очевидно: нижние одежды Мадонны были уже готовы, а верхняя часть плаща — в нежной гамме средне-темного малахитово-зеленого; тела были готовы, лицо Мадонны, вся фигура маленького младенца Иисуса, голова и руки четырех святых, так же как был готов пейзаж на заднем плане, в котором все с радостью узнали деталь из Перуджи с Палаццо деи Приори, но он закончил также киворий и одежды святых, за исключением — и это было очень поразительно, особенно для Аулисты, которая наблюдала за маэстро с особым вниманием с тех пор, как началась эта лихорадочная работа — за исключением: книги в руках Санто Никола да Толентино «Лилия», верхних одежд из тонкого сукна Мадонны, плаща, покрывающего тело Святого Себастьяна, и знаменитой епископской митры Иеронима на полу, в нижней части картины, рядом со святым и перед львом; никто не знал, почему эти части так и не были написаны, особенно Аулиста. Рафаэль явно не интересовался, почему или почему эти части должны были быть написаны в конце, до завершения всей картины. Аулиста не знал, почему, он просто ждал дня, часа, минуты, чтобы наступило время, и он ждал не напрасно, потому что настал день, когда каждый элемент картины Пала Тези был действительно написан, уже сиял желтый, мерцал синий, набухал зеленый, мягко проявлялся коричневый, и по всей границе неба была густая глазурь белесого голубого цвета, но уже было очевидно, что именно написание красного цвета маэстро оставил на самый конец, и Аулиста просто не мог дождаться этого дня, этого часа и этой минуты, когда он скажет ему начать разбивать пигмент, потому что он искренне надеялся, что именно ему маэстро доверит эту задачу, и он не был разочарован — не то чтобы маэстро

выбрал его сам, но Аулиста расположил себя таким образом, что если бы был хоть малейший шанс разбить вермильоне, то именно ему приходилось что-то делать прямо там, соответственно, маэстро сказал ему однажды, Аулиста, пожалуйста, будь так добр и разбей вермильоне, я прошу тебя, и Аулиста полетел, уже там он был с крошечным мешочком фрагментов вермильоне из монастыря ордена иезуитов во Флоренции — Сан-Джуста-алле-Мура — непосредственно у брата Бернадо ди Франческо, у которого маэстро заказывал пигменты лично, регулярно и в больших количествах, он не хотел заказывать где-либо еще, он заказывал только этот вид пигмента, даже если он был немного дороже, чем в аптеке, было что-то в этих красках, прежде всего в вермильоне, из-за чего маэстро никогда и ни при каких обстоятельствах не использовал никакой другой вид, только этот и исключительно этот, разбиванием которого Аулиста теперь готовясь к, и действительно, в нем было что-то особенное, что такой опытный ученик, как Аулиста, сразу заметил, и на этот раз, что-то необычное, этот вид вермильоне отличался от всех других видов, потому что, когда он теперь его разламывал, он снова видел, как сверкали в нем кристаллы, и как сверкало что-то еще, только этого Аулиста не знал, и никто не знал, только братья и маэстро; что бы это ни было, в любом случае, это было действительно уникально среди пигментов, ни одно свойство, о котором помощники и ученики маэстро в каких-либо мастерских никогда не могли бы обсуждать, потому что это был секрет, вдобавок к этому, это был секрет, о значении и сути которого помощники и ученики мастерской маэстро не слишком много знали; помимо того, что посредством его простого использования можно было получить самый чудесный свет, с этим ультрамарином, который пришел от братьев Флоренции, с этими малахитами, лазурями и золотом, которые они получили от них, но особенно с этим вермильоне, что-то было

Здесь происходило то, что после того, как краски были приготовлены, и по обычаю все должны были покинуть мастерскую, соответственно, это было что-то такое, о чем они, помощники и ученики, ничего не могли знать, и они не осмеливались спросить, что это было, потому что, следуя обычаю, через несколько минут их впустили обратно, и они обнаружили маэстро уже за работой, у кого хватило бы смелости отвлекать его в разгар работы такими вопросами, однако одно было несомненно, у маэстро был секрет с этими красками, в этих красках был какой-то секрет, и Аулиста знал, что именно ими маэстро ослеплял всех покровителей, которые покупали его картины, но заодно он ослеплял и помощников, Аулиста просто разбивал вермильон на пемзе, и он не думал сейчас о том, в чем может быть секрет, он просто думал о том, что в течение двух или трех часов он будет разбивать вермильон, затем передаст его в ракушке маэстро, который затем отправит их и что-то делает с красками; затем он принимается за верхние одежды Мадонны, затем за складки плаща на истерзанном теле Святого Себастьяна и за митру на земле рядом с Иеронимом; и когда он готов, и все могут на нее смотреть, их ослепляет вечный свет этого красного цвета, как будто сияющий между зеленым, желтым и синим, тогда наконец для них становится безнадежным, как и для его самого доверенного последователя, Аулисты, ответить на вопрос, что могло произойти во Флоренции, в чем, соответственно, заключалось это фиаско, почему им пришлось вернуться в Перуджу и почему он чувствовал, что это конец его обожаемого учителя, ответить на вопрос, просто ли маэстро, Пьетро ди Ваннуччи, родившийся в Кастель делла Пьеве и известный как Иль Перуджино, пережил свой талант или же он просто потерял всякий интерес к живописи.

89

ДИСТАНЦИОННЫЙ МАНДАТ

Скрытый в своей сути,

по его внешнему виду было выявлено

Мы даже не знаем, как он назывался, ни один современный документ не упоминает его как Альгамбра, отчасти потому, что такого документа нет, или такой документ не сохранился; отчасти потому, что даже если такой документ и сохранился, это название является самым невероятным, поскольку его строители

— если бы они были теми, о которых мы говорим сегодня, — никогда бы не обозначили его именем, совершенно не соответствующим самому зданию; поскольку это имя не соответствует: если вы выводите атрибуцию из выражения, основанного на цвете материалов, использованных для кладки, «калат аль-хамра» или, возможно, «аль-кубба аль-хамра», это могло бы означать «аль-хамра»,

соответственно «Красный», что может относиться к имени строителя, версия, которая, хотя и более смутно, тем или иным образом сохраняет целостность; дворец, с его захватывающе гармоничным великолепием внутри, превосходящий архитектурную красоту любого более раннего или позднего периода, сам по себе, однако, не соответствует этому едва ли возвышенному просторечному разъяснению, столь далекому от природы арабского духа; если бы мы положились на тех, кому мы должны быть благодарны за это сооружение, в атрибуции, то они, конечно, нашли бы для него более возвышенное обозначение; так что мы уже начинаем с плохой идеи, у него даже нет названия, потому что «Альгамбра» — это не его имя, это только то, как мы его называем, притом на искаженном испанском языке, то есть что

«Альгамбра» могла относиться к чему угодно, просто это каким-то образом прижилось, не говоря уже о том, что в исламе священное или светское здание так же часто не имело названия, как и получало его. Ведь как называлась мечеть в Кордове? Альхаферия в Сарагосе? Алькасар в Севилье? Мечеть Аль-Кайрауин в Фесе? И так далее вдоль побережья Северной Африки вплоть до Египта, Палестины,

и северо-запад Индии? не было названий; так что есть примеры, если задуматься поглубже, сотни примеров того, что может быть веская причина не давать имени бессмертному произведению искусства, просто эта причина для нас непонятна, так же непонятна, как и дата постройки Альгамбры, потому что записи на этот счет довольно противоречивы, поскольку все зависит от того, чего не знает первый, что неправильно понимает второй, и на чем, следовательно, делает акцент третий, то есть насколько далеко тот или иной отклоняется от непроверяемых фактов; некоторые люди сообщают, что на горе, которая служила местом для более поздней Альгамбры, находятся руины римлян и вестготов — либо ее часть, известная как Сабика, либо вся местность — другие придерживаются мнения, что до строительства Альгамбры эта гора, возвышающаяся над быстрыми водами узкого Дарро, включая таким образом Алькасабу, крепость, датируемую VIII веком на ее вершине, никогда не играла какой-либо значительной роли, и что, возможно, между арабами и этнической группой, известной как мулади, произошла какая-то битва после арабского завоевания Аль-Андалуса в IX и X веках; но опять же по мнению других — в противовес тем, кто утверждает, что евреи жили только в районе, известном как Гарнатха, то есть внизу, в районе сегодняшней Гранады — есть только один факт, достойный упоминания, что в одно из столетий, предшествовавших Альгамбре, то есть, несомненно, к одиннадцатому веку, начиная с какого-то момента времени и заканчивая в более поздний момент времени, существовало, на той части горы, которая впоследствии стала по-настоящему важной, еврейское поселение; после падения Кордовского халифата, ранняя берберская этническая группа, зириды, принадлежавшая к племени кутама и, таким образом, к Омейядам, которые основали город Гранаду, разместила здесь свой центр и пыталась «защитить» евреев; во всяком случае, там был еврейский визирь по имени Юсуф ибн Награллах, который построил так называемый хисн, укрепленный дворец; мы

известно, отмечают другие ученые, что на горе рядом с Дарро уже в ранние римские времена, а также после арабского вторжения в Иберию в 711 году находилась хорошо защищенная крепость или, по крайней мере, с XI века — чрезвычайно хорошо построенная стена; и конечно же, в противовес этой точке зрения существуют и другие мнения, согласно которым относительно этого места — начиная с Гранады и района, известного как Альбайсин, от почти не поддающейся проверке крепости Эльвира неподалеку и еврейской общины Сабики, вплоть до берберских династий (Альморавидов и Альмохадов), и никогда не прекращающейся чистой бойни, известной как гражданская война, — нет ничего, вообще ничего, из чего мы могли бы почерпнуть толику уверенности, и вот тогда мы наконец приходим к первым арабским источникам, такими, какие они есть, потому что вплоть до этого момента — здесь и сейчас самое время это сказать — в нашем распоряжении вообще нет никакого пригодного исторического материала, потому что место, которое мы обсуждаем, никогда не имело никаких пригодных исторических записей или они не сохранились; гипотетически, потому что это место в первые века иберийского владычества не играло достаточно важной роли, чтобы иметь что-то вроде собственной истории, то есть своего собственного места в исторических событиях, потому что это место начало приобретать важную роль только с появлением династии Насридов, внезапное появление которой совпадает с зарождением Альгамбры в сегодняшнем понимании этого слова, и лучше, если мы сразу скажем о ее зарождении и избежим вопроса о том, кто построил Альгамбру, потому что это уже третий вопрос после «как ее название» и «когда она была построена», на который мы не можем ответить, так как даже это не точно, этого никогда не было, может быть, даже для тех, кто был связан с этим, кто-то начал это, в этом нет никаких сомнений, но что касается истинного основателя, если сделать огромный скачок вперед во времени, то истинным инициатором и первым покровителем Альгамбры считается Юсуф I; Предполагается, что именно он заказал это, оплатив строительство нового дворцового комплекса на хребте горы — примерно

средняя часть — следующие за различными и малоизвестными инициативами Насридов; поскольку уже многие говорили, что первым Насридом был тот, кто построил Альгамбру, он, ранний правитель Хаэна, Ибн-аль-Ахмед, его полное имя Мухаммад ибн Юсуф ибн Наср, но более известный под именем аль-Ахмар, то есть принц, известный как «Красный», который перенес свою резиденцию из Хаэна в Гранаду и провозгласил себя Мухаммадом I, он стал, после Омейядов, Альморавидов и Альмохадов, первым грандиозным основателем этого места, ранее не столь великолепного; в дополнение к этому, в истории западных арабов он одновременно стал, вместе со своей последней династией, светлым правителем исламских амбиций на западе, потому что он начал с укрепления в невиданной ранее степени стен Алькасабы; и, ну, если верить так называемому современному рассказу, начало истории Альгамбры началось с него, Абдаллы ибн аль-Ахмара, то есть с самого правителя, по крайней мере, согласно несколько авантюрной рукописи, окрещённой как Anómino de Granada y Copenhague: «В 1238 году он отправился на место, позже известное как Альгамбра, осмотрел его, наметил фундамент замка, а затем поручил кому-то его построить»,

визит, в результате которого, предположительно, возникло шесть дворцов, королевская резиденция в северо-восточной ориентации с двумя круглыми башнями, а также бесчисленные бани, так что каким-то образом все началось, так началось и так стало, и, возможно, романтическая история Альгамбры действительно происходила так, но также возможно, что и нет, поскольку описание исходит из хроники, которая — и здесь каждый уважающий себя профессиональный ученый, от Олега Грабаря и Хуана Верне и Леонор Мартин до Эрнста Й.

Грубе, поднимает указательный палец, — совершенно ненадежен; я, например, — пишет Эрнст Й. Грубе в письме к близкому другу, — ни разу не видел этого отчета; так что они —

все эти вышеупомянутые ученые, включая, также, дружественные и пока еще неопубликованные записи на карточках

Группа учёных из четырёх человек, создавших небольшой шедевр «Язык узора», — все они совершенно чётко согласны в том, что Альгамбра была задумана, заказана и построена почти столетие спустя Юсуфом I, султаном из династии Насридов, правившим одиннадцать лет после 1333 года, дворец которого, скорее всего, носил в своём зародыше или в своём фундаменте — как бы это выразить в этой неясности? — скрытую сущность окончательной Альгамбры, хотя в этом месте становится совершенно неясно, потому что необходимо сразу добавить, что это был он, и после того, как один из его собственных телохранителей пронзил его кинжалом, конечно же, его сын, потому что всё это нужно представлять себе таким образом, что они, так сказать, построили это произведение неопределённой глубины вместе, Юсуф и его сын Мухаммед V, оба из которых, так сказать, передавали мастерок из рук в руки — выражение, намекающее на их неразлучность —

поэтому мы можем предположить, что, по всей вероятности, оба прекрасно знали, что делают, потому что в конце концов, после них нет ничего другого, это могли быть только они; ибо если несомненно, что это происхождение так же неясно, как может быть происхождение любого произведения искусства, более того, если кто-то осмелится утверждать, что нет ничего более неясного, чем происхождение Альгамбры, конец, однако, так же неизбежен, как смерть: после Мухаммеда V и его долгого правления, закончившегося в 1391 году, не может быть никаких сомнений относительно конца; затем следует около ста лет, в течение которых султанат Гранады, среди прочих, поглотил еще семь Мухаммедов и еще четырех Юсуфов, но этот период в сто лет представляет собой одну единую хаотическую трагическую драму, где по отношению к Альгамбре —

кроме строительства Торре де лас Инфантас —

ничего существенного даже не происходит, так что когда последний правитель Насридов, Мухаммед XII, известный так же часто как Боабдиль, «Несчастный», в 1492 году, после падения его Гранады и его Альгамбры — отсюда видно завершение великой Реконкисты — сетовал, по слухам, что это был конец, и больше ничего, он должен покинуть все это

красота, католические короли вступают в Альгамбру, короли, которые, конечно, видят великолепное очарование, но не понимают его, но, что еще важнее, даже не желают ничего понимать; однако они не разрушают его

— как мило с их стороны — что неиспаноязычные исторические записи действительно признают как их единственный нерациональный, хотя и полезный поступок; Короче говоря, судьба Альгамбры была предрешена, и с победой Реконкисты она была занята иностранцами, и в последующие века они возводили вокруг неё то одно, то другое, по большей части незначительные сооружения, так что главное, если смотреть на неё с точки зрения Альгамбры, заключалось в том, что арабы окончательно исчезли со сцены, и таким образом Альгамбра оказалась в самом пугающем из всех мыслимых состояний, ибо если и был кто-то, кто её понимал, так это были арабы, но они исчезли отсюда навсегда, что означает в нашем случае, что с этого момента не осталось никого, кто мог бы приблизиться к её смыслу, это абсолютно верно, потому что до сих пор нет никого, кто был бы в состоянии понять Альгамбру, она стоит там бесцельно и непостижимо, и никто не может понять даже сегодня, почему она там стоит, так что нет никого, кто мог бы помочь в этой ситуации, не хватает не толкований, а интерпретационного кода, с помощью которого её можно было бы расшифровать, и так будет продолжаться и впредь, потому что не стоит даже продолжать идти в этом направлении, а стоит повернуть назад, немного вернуться к вероятным создателям и с самой обоснованной неуверенностью сказать, что да, после 1391 года — не считая интерьера Торре-де-лас-Инфантас в середине пятнадцатого века — никто больше ничего не добавлял к Альгамбре, она возникла при Юсуфе I и его сыне Мухаммеде V, и с ними же она и закончилась, словом, стоит нерешительно объявить их наиболее вероятными заказчиками Альгамбры; возвращаясь назад, мы не можем говорить менее осторожно, чем это

и, возможно, то, что мы сказали о Юсуфе I и Мухаммеде V, можно позволить, если действовать осторожно, предостеречь, что ни один крошечный момент этой истории ни в малейшей степени не является лишним, особенно если мы достигнем — как мы достигаем прямо здесь и сейчас — того момента, когда станет ясно, что, оставив в стороне тот факт, что мы не знаем, как называлась Альгамбра, и было ли у нее вообще название, и что это даже не является чем-то беспрецедентным, и поэтому это терпимо, мы не можем найти ясного ответа на вопрос, когда она была построена, и, наконец, даже на вопрос, кто ее построил; но теперь наступает момент, когда должно быть раскрыто следующее, чего мы не знаем; а именно, что мы не знаем, что такое Альгамбра, то есть мы не знаем, зачем она была построена, какова была ее функция — если мы не рассматриваем ее как резиденцию, частный дворец или крепость, потому что мы не рассматриваем ее так, тогда, ну, как мы должны ее рассматривать?

вообще-то мы не знаем, понятия не имеем, и это трудно объяснить, трудно, потому что теперь, кажется, все в порядке, человек поднимается и едет в Гранаду, поднимается по левому берегу Дарро, затем поворачивает направо и пересекает его над кипящей пеной Дарро, достигает дороги, ведущей в Альгамбру, тащится наверх по жаре — ибо, скажем, сейчас лето и стоит ужасная, сухая, палящая жара, а у него нет зонтика — и он покупает дорогой входной билет, затем его ждет большой сюрприз, точнее, неприятный сюрприз, когда наконец, с трудом бродя туда-сюда наверху, вот тут-то наверху и оказываются всевозможные строения, от различных ворот до холодного, ледяного, недостроенного, якобы ренессансного дворца Карла V, но чувствуется, что ни одно из них не то; затем он находит его, потому что в конце концов он наконец понимает, что именно там, у этой маленькой калитки, куда он должен войти, и затем он обнаруживает, что не может войти внутрь, что он должен ждать, потому что посетители допускаются только в определенные промежутки времени, а он посетитель, он должен следовать правилам, ждать в нечеловеческой палящей жаре, здесь нет киоска с закусками, поэтому

соответственно он удаляется в более тенистый угол, и если ему повезет, а предположим, что повезет, то ему придется подождать всего двадцать минут, затем он войдет, и у него отвиснет челюсть, потому что чего-то подобного, но подобного, говорит он себе, совершенно ошеломленный, он действительно не видел, а на самом деле даже никогда не видел, это, говорит себе человек, превосходит всякое воображение, но при этом ему даже в голову не приходит, что что-то не так; он думает, что это королевский дворец, ну да, он читает краткую пояснительную записку, которая прилагается к билету, или слышит рев экскурсоводов, что Юсуф I, не так ли, и его сын Мухаммед V, они были теми, кто создал этот дивный шедевр, это непревзойденное чудо мусульманских мавров, он слышит это и читает одно и то же, и ему даже в голову не приходит вопрос, дворец ли это, или крепость, или, может быть, частная резиденция, или все это вместе — почему, что еще это может быть? — ну, султан жил здесь или нет? и здесь, живя по соседству с ним, было море придворных и женщин гарема, придворная жизнь, одним словом, продолжалась, были огромные пиры, великолепные концерты, блестящие приемы, знаменитые бани, лучезарные празднества и, ну, конечно, потому что это тоже известно, были тысячи отвратительных интриг и махинаций, тайных союзов и заговоров, и опасности и убийства, и хаос, и кровь, и крах, за которым всегда приходил следующий султан из династии Насридов, одним словом, все шло так, как и должно быть в таком султанате, думаешь про себя, или, может быть, даже не думаешь, так как образы уже предшествуют мыслям, когда то, о чем человек думает, рождает всего один вопрос, но вопрос этот остается невысказанным, потому что, ну, кто его задаст, разве что гид с ручным мегафоном? — нет, право же, нет, у него даже не возникает подозрения, что он сейчас в таком месте, впервые в жизни, — потому что в мире есть только одно такое место, как это, Альгамбра, где бесчисленное множество

знаки указывают на то, что все здесь, называемое только своими испанскими именами — от Патио-де-лос-Аррайанес до Сала-де-ла-Барка, Патио-де-Комарес до Патио-де-лос-Леонес, Сала-де-лас-Дос-Эрманас до Мирадор-де-ла-Даракса — все здесь представляет собой не дворец, а нечто иное; Бесчисленные знаки указывают посетителю, приобщающемуся к бессмертной красоте Альгамбры, что нет, это не крепость и не дворец, даже не частная резиденция, а снова и снова — что-то иное, и что ж, здесь мы начнем со стен, о которых прежде всего следует знать, что изначально они были побелены известью, так что снизу, из сегодняшней Гранады, или, конкретнее, из квартала Дарро или Альбасин, который когда-то снабжал Альгамбру водой, предшественница Альгамбры была белой, а не красной, и на этом хватит о названии в последний раз, но что гораздо важнее, так это то, что эти стены, по большей части башни, соединенные друг с другом хаотично — какой бы благонамеренный эксперт ни принялся за их исследование — они были пригодны для многих целей, но становится все более очевидным, что они не защищали по-настоящему того, кем бы ни был правитель Альгамбры, так для чего же тогда были стены, что они защищали: Альгамбру, хорошо, но от чего, потому что в военном смысле они были на самом деле не способны ничего защищать; их значение, однако, так же очевидно, как и все остальное в Альгамбре или в отношении к Альгамбре, так что тогда здесь, в вопросе о стенах, на самом деле невозможно прийти к какому-либо иному решению, кроме того, что стены Альгамбры — речь, конечно, идет о внешних стенах — не обеспечивали никакой функции обороны, но что их возведение... возможно... было задумано как своего рода проявление, а именно, чтобы продемонстрировать, что эти стены, с одной стороны, были подобны стенам крепости, соответственно высокие и похожие на стены, поэтому они могли безусловно защищать что-то, что-то находилось за ними, но, с другой стороны, люди, которые

по заказу эти стены хотели показать, что жизнь внутри неуязвима, что сюда невозможно войти, невозможно пробить эти стены, и это даже не было разрешено, возможно, такого рода намерение лежало в глубине желаний тех, кто заказал это, кто знает, никто никогда не видел их конкретных планов, ни Юсуф I, ни Мухаммед V

оставили ли они какой-либо след, о чем думали, когда строили эти стены здесь, в таком состоянии, мы можем только догадываться, так же как мы догадывались и о том, почему вообще не осталось никаких письменных следов относительно строительства Альгамбры, потому что ничего не сохранилось, и это все еще не беспрецедентно, ибо на огромных территориях Исламской империи документы о том или ином здании не слишком часто доступны; однако беспрецедентно, что в случае с Альгамброй не появилось ни единого крошечного фрагмента данных о самом строительстве, как будто для ее заказчиков имело особое значение, чтобы их работа — как бы это даже выразиться, чтобы не затемнять вещи без необходимости —

останется скрытым, скрытым в своей сути, но благодаря своему внешнему виду будет раскрыт, таков более или менее вывод, к которому приходит тот, кто задерживается над этими дилеммами, и это только начало, на самом деле, потому что по мере продвижения в этом исследовании Альгамбры будет все более очевидно, что то, что раньше казалось само собой разумеющимся, здесь совсем не так, то есть, что вряд ли можно считать исключением то, что в случае очень старого здания письменные источники не сохранились, или что сегодня найдется очень мало экспертов, которые могут привести, несмотря на всю их компетентность, доказательства, касающиеся того, как, например, проводились дни в Альгамбре или в любом другом здании, скажем, похожем на Альгамбру; просто эта сложность, это совершенство, по-видимому, проявляются также в сокрытии любого знания, относящегося к Альгамбре вообще; внимание, простирающееся на все вещи, что даже из самых маленьких, самых незначительных фактов вообще ничего не должно остаться; это тем не менее вызывает

стоит поразмыслить, потому что, ну, тогда неизбежно возникает вопрос, а не так ли это, ведь никаких следов никогда не было, просто кажется, что они были спрятаны, профессор Грабарь, выходец из школы Марсе и намного превосходящий других исследователей Альгамбры, поскольку он единственный, кто замечает, что в этом чудесном шедевре слишком много неясности, короче говоря, он, преподаватель Мичиганского и Гарвардского университетов, сын Андре Грабаря, написал совершенно серьезную монографию о том, что история Альгамбры на самом деле не что иное, как история великого заговора, а сама Альгамбра, по его мнению, является уникальной попыткой искусства маскировки, и, очевидно, причина, по которой он так думает, будучи знающим экспертом, заключается в том, что он не может смириться с отсутствием объяснения; просто очевидно, как читаешь дальше в книге Грабаря, что этот исключительно одаренный ученый едва ли способен представить себе, что нечто может существовать без истории, обстоятельств, причины или цели; он даже не может постичь, что его формирование, его происхождение не имело бы никакой логической последовательности, выражаясь более решительно, этот профессор Грабарь не считает возможным и не способен принять, что следствие может появиться без того, чтобы быть вызванным какой-либо причиной, следовательно, что рябь появилась бы на спокойной поверхности озера без того, чтобы мы бросили в него камешек, а именно, в случае с Альгамброй, что она, Альгамбра, могла возникнуть без какого-либо реального заказа, и, кроме того, что те, кто заказал ее, не имели ощутимого намерения и так далее, но в конце концов профессор Грабарь не может, ни в Гарварде, ни в Мичигане, не может противостоять тому, что, поскольку все это существует, что в конечном счете все это не может быть в конечном счете отнесено к чему-то логическому, в этом случае, тогда, возможно, в этом уникальном случае, мы должны столкнуться с тревожной возможностью того, что Альгамбра — уже далеко за пределами того, что она действительно является ни крепостью, ни дворцом, ни частной резиденцией —

стоит там без объяснения, он полностью сохранился,

Внешние стены сохранились, вход сохранился, внутренние пространства, в конечном счете проходимые, хотя и с некоторыми трудностями, сохранились, предполагаемая функция каждого отдельного пространственного элемента сохранилась, они указывают, например, что вот здесь был трон, а здесь были бани, а вон там была башня плененной инфанты и тому подобное, они анализируют исключительное мастерство орнаментации, они ищут взаимосвязи и находят их в универсальной регулярности исламской архитектуры, и они не приходят в замешательство, когда менее проницательный, по их мнению, наблюдатель действительно приходит в замешательство; они не таковы; мы, однако, есть; ибо наш взгляд не скользит так легко по самоочевидным вещам, ну, потому что мы делаем еще один шаг вперед и замечаем, что никто не озадачен — только профессор Грабарь со своей теорией заговора, но это идет в другом направлении — соответственно, тогда нет никого, хотя, очевидно, это должно было быть очевидно, или очевидно каждому знатоку: никого искренне не тревожат внешне очень сдержанные, почти пустынные, безликие, отвлекающие внимание стены Альгамбры, ничтожный раствор этих стен, построенных из ничтожных материалов, словом, Альгамбра делает большой акцент на том, чтобы ничего внешне не показывать из того почти нечеловеческого очарования, которым все ослепляет там изнутри, словно звездное небо летней ночи над Гранадой; иными словами, что Альгамбра снаружи не выдает ничего из того, что находится внутри, и в то же время изнутри она не выдает того, что ожидает человека снаружи, то есть что Альгамбра ничего не выдает о себе, и вообще то или иное качество никогда не показывается в том или ином направлении, она никогда не указывает здесь, что там последует то или иное; а именно, что Альгамбра всегда одна и та же и всегда в каждой точке тождественна только себе самой, этим утверждением не хотят выразить, с другой стороны, что знают, что это значит, но как раз этого не знают, просто стоят и признают это, и он

признает это, говоря: «О Боже, как необычна Альгамбра снаружи, это совершенно иное здание, чем внутри, и совершенно иная внутри, чем снаружи, и так продолжается поистине шаг за шагом, когда входишь через маленькие ворота; так что его собственная история Альгамбры может начаться в действительно незначительном месте в большем целом, у входа, назовем его так, но мы не думаем о нем как о таковом, поскольку мы очень хорошо знаем, что этот вход — всего лишь нынешний вход, когда-то он не был здесь расположен, это решительно утверждают некоторые, хотя уже не так решительно, где именно он был „в древности“, короче говоря, вход скрыт, говорит профессор Грабарь из Бостона или из Мичигана, потому что кто мог бы представить, что путь в дворец чудес не будет проходить через врата чудес, хотя, нет, в Альгамбре это не так, исследуя ни предположительно более ранние, ни нынешние входы, как будто вход не хочет никого приглашать или вести куда-то, он просто позволяет войти внутрь, отверстие, точка, где человек может получить доступ к внутренним помещениям, если он того пожелает, произвольно выбранное место, которое просто случайно появилось с течением времени и которое ничего не предлагает, просто открыто и всегда открыто, следовательно, возможно перешагнуть через него; ну, а после, конечно, другой вопрос, что делать после того, как перешагнул через него, потому что, возьмем самый простой сценарий: прошло двадцать минут, пот стекает ручьем в ужасающей палящей жаре, он платит грабительски высокую плату за вход, бросает взгляд на краткое описание, прилагаемое к билету, и отправляется в одном направлении, которое, казалось бы, должно быть правильным — только такого не существует, Альгамбра не признает в себе понятия правильного направления, в этом быстро убеждаешься, когда понимаешь, что хорошо, он направился во двор Куарто Дорадо, а если он впервые оказывается внутри произведения исламской архитектуры, то наверняка пройдет несколько минут, может быть, даже больше, пока

он приходит в себя, потому что первая встреча с пространством, определяемым исламским орнаментом — где бы то ни было в мире, но особенно здесь, во дворе Кварто Дорадо — полностью подавляет: но, предположим, он приходит в себя и устанавливает, что, скорее всего, он приблизился к внутренним чудесам Альгамбры с неправильной стороны, сам двор Кварто Дорадо говорит ему это, как будто он говорит, указывая каждым своим отдельным элементом, что вот двор Кварто Дорадо, и тропа не ведет сюда, и отсюда она не ведет дальше, двор Кварто Дорадо предлагает только себя, и снова совершенно случайно он «выводит» из конструкции здания, что возможности войти сюда и выйти оттуда также существуют, с одной стороны, внутрь, к Кварто Дорадо, с другой стороны, отсюда, наконец, от Мешуара, есть два тех же направления и потенциала, но к тому времени человек настолько ошеломлен красотой, эта красота, которая так, но так невероятно прекрасна, что он думает, что у него кружится голова, и поэтому он просто ходит туда-сюда, потому что чувствует, что стены и колонны, полы и потолки, орнамент, вырезанный с захватывающей дух изысканностью, ошеломили его, невыносимая, неизмеримая бесконечность изразцов, поверхности стен, мавританские арки и сталактитовые своды обрушиваются на него; Вот почему он действует в полном замешательстве, потому что только гораздо позже он осознает, что нет, его головокружение и его оцепенение не являются причиной того, что он не находит правильного пути внутри Альгамбры, и не из-за этого он постоянно чувствует, что не входит в ту или иную комнату или двор с нужной стороны, следовательно, он осознает, что его облакоподобное очарование не является объяснением, а то, что в Альгамбре нет правильного пути, более того, через некоторое время он внезапно осознает, что в Альгамбре вообще нет путей, комнаты и дворы не были сформированы таким образом

способ как бы соединяться друг с другом, перетекать друг в друга, вообще соприкасаться друг с другом, а именно, что спустя некоторое время, при небольшой удаче и большом духовном усилии, человек также понимает, что здесь каждая отдельная комната и каждый отдельный двор существуют сами по себе, комнаты и дворы не имеют ничего общего друг с другом, что не означает, что они отворачиваются друг от друга или закрываются друг от друга, это совсем не так, каждый двор и комната просто представляют себя, внутри себя, и в то же время внутри себя представляют целое, целостность Альгамбры, и эта Альгамбра существует одновременно в частях и одновременно как одно единое целое, и каждая из ее частей тождественна целому, так же как верно и обратное, а именно, вся Альгамбра представляет собой в каждый момент неизменную вселенную каждой из своих частей, это проносится в уме человека с безумной скоростью даже в здешнем сияющем свете, хотя он едва ли даже вошел в Альгамбру, он все еще только в Куарто Дорадо, он почти ничего не видел, и все же он уже все видел, просто, возможно, это не дошло до его сознания, однако по-настоящему он только сейчас начинает с Мешуара, затем оттуда, словно возвращаясь из тупика в лабиринте, затем тревожный визит в Сала-де-ла-Барка с ее сводящим с ума деревянным потолком — визит в Альгамбру — где каждый визит тревожен, поскольку Альгамбра предлагает каждому понимание того, что она никогда не будет понята, она предлагает непостижимое в Сала-де-ла-Барка, и она предлагает то же самое в длинном зеркале воды Патио-де-лос-Аррайанес, в мраморно-кружевной неосязаемости, эфирно нисходящей на стройные колонны в Банях или, наконец, достигая фонтана во Дворике Льва, Патио-де-лос-Леонес, уже подозреваешь, что он здесь не гость, а жертва, жертва Альгамбре, но в то же время он почитаем сияние Альгамбры, а также жертва, потому что

все заставляет его участвовать в сне, который ему самому не снится, а бодрствовать в чужом сне — самое ужасающее бремя — но в то же время он является избранным существом, поскольку он может видеть нечто, для зрения чего существует лишь отдаленный мандат, или его вообще нет, это не может быть известно, он может видеть, во всяком случае, момент сотворения мира, конечно, при этом ничего не понимая, как он может вообще что-либо понять, ибо если мы ничего не знаем об истории Альгамбры, кажется неоспоримым, что ее создатели, назовем их Юсуфом I и Мухаммедом V, даже не знали, только через своих гениальных каменщиков они познали это знание, сформированное греческой, еврейской, индуистской, персидской, китайской, христианской, сирийской и египетской культурами, в огромном единстве пронизывающими эмираты и халифаты и создающими в высшей степени утонченную цивилизацию арабов; и может быть, как уже упоминалось, что это были они двое, хотя также возможно — и это не упоминалось ранее — что строительство Альгамбры берет свое начало исключительно с Юсуфа I, в любом случае это не имеет значения, несомненно то, что если создатель Альгамбры был одинок, у него было на что опереться, если же они оба принимали равное участие, то они также не были одиноки много раз, потому что прежде чем эта мысль, мысль об Альгамбре, смогла достичь Гранады, она должна была проложить свой путь через огромное культурное пространство, охватывающее континенты, страны и эпохи, где жили и творили Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми и Якуб ибн Исхак аль-Кинди и Абу Али аль-Хусейн ибн Абдулла ибн Сина и Омар аль-Хайям и Абул Валид Мухаммед ибн Рушд; Нужна была Байт аль-Хикма, знаменитая академия Багдада во времена правления процветающего халифата Абдаллаха аль-Мамуна ибн Харуна ар-Рашида; также нужен был соседний халифат Кордовы и дух Аль-Хакама II, тот философский дух, который передал

созерцатели

из

то

воображаемый

Альгамбра,

через

Вдохновения, которые были такими греческими и все же не греческими, еврейскими и все же не еврейскими, суфийскими и все же не суфийскими, великолепные захватывающие аргументы и объяснения мира Абу Исхака Ибрахима ибн Яхьи аз-Заркали, Абу Бакра Мухаммада ибн Абд аль-Малика ибн Мухаммеда ибн Туфайля аль-Кайси аль-Андалуси, Абу Мухаммеда Али ибн Ахмада ибн Саида ибн Хазна и Абу Бекра Мухаммеда ибн Яхьи ибн Бадшры, этих ученых мужей, столь чувствительных к мистическим и универсальным жилам мысли, хотя в первую очередь необходимо упомянуть исключительно великую фигуру арабской культуры, Абу Зайда Абду ар-Рахмана бин Мухаммеда бин Халдуна, то есть Ибн Халдуна следует упомянуть и назвать еще раз, и даже тогда все равно будет невозможно сделать ощутимым как велико было его значение в генезисе Альгамбры, даже если мы произносим его имя снова и снова, а именно, что первоначально он родился в Тунисе, но, в важный период своей жизни, этот гений, вернувшийся как один из последователей Мухаммеда V, стал в аль-Андалусе, то есть в его центре, Гранаде, советником султана, и весьма вероятно, хотя и не доказуемо, что он оказал роковое влияние на Мухаммеда V, который, возможно, продолжал строить, или начал строить Альгамбру на основе этих вдохновений; если бы не было так, что это был один Юсуф I, а не они вдвоем, и если бы только Мухаммед V

сам был единственным создателем Альгамбры, то Ибн-Хальдуна как льва арабского духа было действительно достаточно, или могло быть достаточно, чтобы убедить султана построить такой вселенский шедевр, такой памятник созерцанию вселенского мистицизма, каким является Альгамбра, и не просто убедить его, но и предоставить самую необходимую информацию и духовную помощь, необходимые для создания такого сооружения, так что, ну, это нельзя исключать — гипотетически, но не демонстративно, потому что ничто здесь не указывает на то, что роль Ибн-Хальдуна в создании Альгамбры была намного больше, чем мы думаем

было сегодня, но к тому времени он уже вышел за пределы Зала Двух Эрманас, Мирадора-де-ла-Даракса и Зала Абенсеррахес с их бессловесным очарованием, и его внимание начинает концентрироваться на одном единственном аспекте Альгамбры, то есть он начинает рассматривать поверхности стен, арок, оконных рам, молдингов, колонн и их капителей, тротуаров, колодцев и куполов, поверхностей: соответственно, глубокая глубина Альгамбры, которая, начиная снизу, от уровня пола до высоты груди, написана на плитках разного цвета, и оттуда вверх на штукатурке или соответственно лепнине, потому что да, вся Альгамбра была написана здесь полностью, в безупречном алфавите, рассказывающем безупречную историю; здесь, как будто с нечеловеческой подробностью и почти ужасающей заботливостью, как будто в тысяче, десяти тысячах, ста тысячах форм что-то писалось, непрерывно, до самого конца, на материале этих изразцов и лепнины; никто не думает о настоящих стихах, начертанных на исламских зданиях, которые привлекли большое внимание исследователей —

будь то цитаты из Корана в разных комнатах Альгамбры, или посредственные гимны, происходящие от работы некоего Ибн Замрака, или другие поэтические отрывки аналогичной ценности, взятые из работы раннего поэта, известного как Ибн аль-Яййаб, — нет, речь идет вовсе не об этих конкретных произведениях, а о языке, организованном из так называемого мотива гирих, основанного на пятиугольнике, но в любом случае, о недоступном языке, переданном из священно задуманной геометрии; который поначалу воспринимается как чистое украшение и рассматривается как форма орнамента, собранного из плиток или выгравированного или вдавленного в штукатурку, и поначалу действительно можно удовлетвориться впечатлением, что это украшение и орнамент, потому что головокружительные симметрии, многозначительные цвета — не только многочисленные, но и просто неизмеримые

сверкающие формы-идеи — не оставляют после себя никаких вопросов или неопределенности; однако мало тех, кто вошел, прошел через все комнаты, башни и дворы Альгамбры, у кого возникло осознание, что эти украшения — даже не украшения, а бесконечности языка; их мало, но они есть, и все они бродят между комнатами, башнями и дворами, и у них нет ни малейшего представления о том, где они и почему они именно здесь, а не где-то ещё, есть те, чьё внимание со временем начинает обращаться на эти чарующие поверхности, они всё чаще останавливаются, чтобы рассмотреть узоры, всё чаще они полностью поглощаются той или иной безумной симметрией на стене, всё чаще с ними случается, что под тем или иным куполом, например, в Торре-де-лас-Инфантас, они просто теряют способность двигаться, у них сводит шею, когда их головы полностью запрокидываются назад, чтобы посмотреть, они смотрят в высоту и пытаются рационально постичь, как всё это вообще возможно, ну, кем же могли быть эти люди — мысль мелькает в этих онемевших головах —

Кто был способен на столь чудесные усилия, может быть, ангелы?

но ведь даже Рая нет, не говоря уже об ангелах! эти головы думают, или, может быть, две из них так думают, во всяком случае, одна из них думает, и мы, по правде говоря, ничего не знаем об ангелах, но зато знаем о каменщиках, так что почти наверняка —

поскольку можно говорить о такой грубой уверенности в этом божественном или адском комплексе, — что были каменщики, и это интересно, — это мелькает в оцепеневшей голове на шее, которая уже требует массажа, в голове хотя бы того одного человека, когда он снова и снова смотрит в высоту купола, — как странно, что у нас нет, а во всем богоданном мире нет абсолютно никаких знаний о том, кем они могли быть, эти каменщики, эти гении резьбы, эти гениальные плиточники, эти модельщики и арх-строители и

Строители колодцев и гидротехники, сколько сотен из них могли быть здесь, и откуда? Из Гранады? Из Феса? Из Эль-Карауина? С Небес?

— которых не существует?! — поистине поразительно, какое невероятное мастерство, опыт, знания и техническое мастерство сплавлялись здесь на протяжении десятилетий, и всё же что-то ещё, думаешь ты, возвращаясь к внимательному рассмотрению поверхностей стен, этих бесчисленных фигур, этих бесчисленных образований, этих бесчисленных очертаний... как будто их и не было так много, как будто было всего несколько фигур, несколько образований и несколько извилистых очертаний на поверхностях стен, просто повторяющихся, повторяющихся сто и тысячу раз, но как? здесь нужно задать вопрос, с удивлением, но на него невозможно ответить, то есть поскольку эти фигуры, образования и линии повторяются, возникают и повторяются, это так ужасно сложно, как вся Альгамбра, они тем не менее повторяются, человек наклоняется ближе к тому или иному узору на стене, это действительно так сложно, он немного отступает назад, чтобы рассмотреть его с нужного расстояния; но, теперь, просто это или сложно, спрашивает он себя, ну, это как раз то, что трудно решить, хотя это даже не трудно, а фактически решить невозможно, а именно этот вопрос занимал каждого серьезного геометра, в особенности с начала восьмидесятых годов прошлого века, когда в 1982 году в журнале Science в статье под названием «Декагональные и квазикристаллические мозаики в средневековой исламской архитектуре», написанной неким Питером Дж.

Лу и его коллега Пол Дж. Стейнхардт, два исследователя, обнаружили, что пятьсот лет назад исламская архитектура, вдохновленная арабскими геометрами, уже была знакома (как же иначе?) с этим своеобразным —

потому что запрещено — пример симметрии, который остальное человечество, за исключением средневековых арабов, обнаружило только в двадцатом веке, где-то в семидесятых, благодаря открытиям исследователя Пенроуза, суть которого

состоит в том, что в пятикратной вращательной симметрии существует определенный геометрический и, следовательно, математический узор, который, однако, в кристаллографии невозможен; мы можем преобразовать каждую точку узора, то есть мы можем сдвинуть, перевернуть, отразить ее бесчисленное количество раз, как в кристалле, но не узор в целом; чтобы объяснить это по-другому, в математическом кристалле существует такой расходящийся, просто мельчайший расходящийся случай, когда, в отличие от реального кристалла, невозможно преобразовать вообще ни одну точку в какую-либо другую, так что для достижения данного узора мы его не достигаем, мы не называем такую фигуру кристаллом, но, с тех пор как Роджер Пенроуз открыл квазикристалл, ну, эти запрещенные симметрии появляются в арабской архитектуре, сказал этот Лу из Гарварда и этот Стейнхардт из Принстона, затем другие также подтвердили, что в этом исламском архитектурном искусстве основная фигура — это то, что известно как персидский гирих, который состоит в общей сложности из пяти различных геометрических форм: правильный десятиугольник, где каждый угол составляет 144 градуса; правильный пятиугольник, где каждый угол равен 108 градусам; неправильный шестиугольник с углами 72 или 144 градуса; затем ромб, где углы равны 72 и 108 градусов; и, наконец, неправильный шестиугольник, где углы равны 72 градусам

и 216 градусов; ну, и с помощью этих пяти форм можно собрать любую поверхностную плоскость, то есть ее можно собрать безупречно, без какого-либо зазора, это будет соответственно гирих, и именно эту геометрию, а также математическое знание, которое к ней относится, мы открываем, если наклонимся ближе — в воображении или в реальности — к поверхностям стен, арок, тротуаров, потолков, колонн и парапетов Альгамбры, и мы увидим эти своеобразно ведущие себя образования, вдавленные в свежую штукатурку или выгравированные в затвердевшем материале, вырезанные в мраморных колоннах, арочных сводах, куполах, выложенные или нарисованные на полах, потолках и облицованных плиткой стенах — если выражаться точнее, как это имеет место здесь —

кружится голова в лабиринте Альгамбры; многое

что еще более важно, мы открываем эти своеобразные симметрии, узнаем их и тотчас же теряемся в них, потому что это квазисимметричное пространство есть на каждой орнаментированной поверхности Альгамбры, здесь орнаментирован каждый, каждый отдельный квадратный миллиметр, он приковывает наш взгляд к лицу бесконечности; наш взгляд не привык к этому принуждению к бесконечности, не привык смотреть в эту бесконечность; и не просто этот взгляд смотрит в бесконечность, но он смотрит в две бесконечности одновременно: не просто монументальная, обширная бесконечность, воспринимаемая этим взглядом, как, например, в случае уже упомянутой Башни Инфантас, но и ее совершенно мельчайшие элементы, миниатюрная бесконечность, если, например, повернуться к Залу Баньос и вблизи одной из лестниц, ведущих сюда рядом с галереей, попытаться найти под левой капителью элементы обрамления одного из узоров, где один узкий параллельный мотив следует по пути линии, ведущей вверх, пока не теряется полностью; снова у него просто кружится голова, и он не понимает, как эти линии, построенные из звездообразных точек, могут вести в бесконечность, все отведенное им пространство так мало, и именно это наводит на мысль, что в Альгамбре раскрывается истина, никогда ранее не проявлявшаяся, то есть что нечто бесконечное может существовать в конечном, разграниченном пространстве; ну, но это, как это может быть? потому что здесь все эти маленькие бесконечност и независимы от всех остальных, и в то же время связаны, просто отдельные комнаты были вначале, как и было его первое впечатление, это можно определить; но тогда лучше, если он остановится и найдет место, где, учитывая обстоятельства, он может обрести минуту относительного покоя, ноги, спина, шея болят, голова гудит, веки, особенно правое, подергиваются — действительно, это момент для небольшого временного покоя, иначе время, изначально выделенное вместе с скандально дорогим билетом тому или иному посетителю для осмотра Альгамбры, скорее всего, истекло, это

лучше бы он задержался немного в Альгамбре, в подходящем для этого месте; все равно сесть невозможно; прикасаться здесь к любому пространству, которое могло бы быть использовано для этой цели, — явное наглое осквернение, но остановиться на мгновение и закрыть глаза, и попытаться дышать размеренно, насколько это возможно, быть спокойным, уже одно намерение исцеляет, такое чудовище уже тяготит тебя, и это чудовище — Альгамбра; по крайней мере внутри него есть потребность в небольшой тишине, во внутреннем расслаблении, чтобы мысли, и предположения, и рефлексы, и выводы, и узнавания, и образы — образы! — не вибрировали так ужасно под его дрожащими веками, и через некоторое время уже ясно, что это намерение действительно было полезным, но недостаточным; необходимо постепенно отступить отсюда еще на несколько шагов в те комнаты, которые влекут назад с особенной силой, еще раз вернуться к Мирадос-де-ла-Даракса, и на этом достаточно; однако чувствуется, что его привело сюда неверное решение, ибо он останется и не отступит постепенно: он смотрит на комнаты

сталактиты, плавающие в золоте, готовые отколоться, но так и не отколовшиеся, он ослеплен сиянием сводчатого проема, когда свет льется извне, он снова позволяет этому неземному орнаменту узоров стен и потолка опуститься на него, и мысль уже здесь, в его голове, что ах, суть исламского узора следует искать не в том, чем он кажется в начале, не в гениальном применении геометрии, а скорее в том, как она используется в качестве инструмента: этот сверкающий, тонко прожитый узор указывает на единство природы различных переживаний, единство, держащее все как единое в сети, потому что геометрическая композиция, используемая этим арабским духом в греческой, индуистской, китайской и персидской культурах, актуализирует концепцию, а именно: вместо зловещего хаоса распадающегося мира, давайте выберем более высокий, в котором все держится вместе, гигантский

единство, это то, что мы можем выбирать, и Альгамбра представляет это единство в равной степени как в своих мельчайших, так и в своих самых монументальных элементах, однако Альгамбра не делает этого понятным, даже только в этот раз, она не требует понимания, а скорее непрерывно требует, чтобы ее постигали, но тогда мы уже стоим печально среди великолепия Мирадор-де-ла-Даракса и действительно начинаем медленно уходить; он стоит в незнании, его еще ждет сад, небесный Хенералифе, что неподалеку отсюда, холм, известный как Эль-Соль, примет его, очаровывая посетителя своими небесными панорамами, — он стоит в незнании, и, несмотря на всю эту ослепительность, в нем есть что-то от разочарования, как будто мягкий, нежеланный легкий ветерок узнавания касается его, когда он уходит, как будто он уже подозревает, что Альгамбра не дает знания, что мы ничего не знаем об Альгамбре, что она сама ничего не знает об этом незнании, потому что незнания даже не существует.

Потому что не знать чего-то — сложный процесс, история которого происходит под сенью истины. Ибо есть истина. Есть Альгамбра. Это и есть истина.

144

ЧТО-НИБУДЬ

СНАРУЖИ ГОРИТ

Озеро Сфынта-Ана — это мёртвое озеро, образовавшееся внутри кратера на высоте около 950 метров и имеющее удивительно правильную круглую форму. Оно заполнено дождевой водой: единственная рыба, обитающая в нём, — это бычий сом. Медведи, если приходят на водопой, используют другие тропы, чем люди, спускаясь из сосновых лесов. На дальней стороне есть участок, посещаемый реже, представляющий собой плоское болотистое болото, известное как Моссленд: сегодня через болото петляет тропинка из деревянных досок.

Что касается воды, то, по слухам, она никогда не замерзает; в середине она всегда тёплая. Кратер, как и озеро, уже тысячелетиями мёртв. Большую часть времени над землей царит глубокая тишина.

Это идеально, как заметил один из организаторов прибывшим в первый день, показывая им окрестности, — идеально для размышлений, а также для освежающих прогулок, о которых никто не забывал, пользуясь близостью лагеря к самой высокой горе, предположительно тысячеметровой высоты; таким образом, в обоих направлениях — вверх к вершине, вниз с вершины! — пешеходное движение было довольно плотным: плотным, но это никоим образом не означало, что в то же время внизу в лагере не происходило еще более лихорадочных усилий; время, как оно и было свойственно, тянулось, и все более лихорадочно тянулись творческие идеи, изначально задуманные для этого места, они обретали форму и в воображении достигали своей окончательной формы; к тому времени все уже обосновались в отведенном им пространстве, которое они сами обустроили и организовали, большинство получили отдельную комнату в главном здании, хотя были и те, кто удалился в избу или заброшенный сарай; Трое перебрались на огромный чердак главного дома, который служил центром лагеря, каждый из них отделил для себя отдельное пространство, и это,

Кстати, у всех была одна большая потребность: побыть в одиночестве во время работы; все требовали спокойствия, безмятежности и покоя, и именно так они принимались за работу, и именно так проходили дни: в основном в работе, с меньшей частью прогулок, приятного купания в озере, еды и пения под фруктовый бренди по вечерам вокруг тлеющего костра.

Однако использование общей темы для этого повествования оказалось обманчивым, поскольку медленно, но верно стал очевидным факт — это показалось самым зорким глазам в первый рабочий день; для большинства же это в основном считалось решенным вопросом к третьему утру — что среди них действительно был один, один из двенадцати, кто был совершенно не похож на остальных. Само его прибытие было чрезвычайно таинственным или, по крайней мере, произошло совсем иначе, чем у остальных, ведь он не приехал поездом, а потом автобусом; ибо как бы это ни казалось невероятным, днем в день его прибытия, возможно, около шести или половины седьмого, он просто свернул в ворота кемпинга, как человек, только что пришедший пешком; лишь коротко кивнув, когда организаторы вежливо и с особым почтением поинтересовались его именем, а затем стали более настойчиво расспрашивать его о том, как он прибыл, он ответил лишь, что кто-то привез его к повороту дороги на машине; но так как в всеобъемлющей тишине никто не слышал звука ни одной машины, которая могла бы высадить его на каком-нибудь «повороте дороги», то мысль о том, что он приехал на машине, но не до конца, а только до определенного поворота дороги, только для того, чтобы там его высадили, звучала совершенно невероятно, так что никто толком ему не поверил, или, вернее, никто не знал, как истолковать его слова, так что оставалась, уже в тот самый первый день, единственно возможная, единственно рациональная — хотя все же и самая абсурдная — версия: что он путешествовал исключительно пешком; что он встал в Бухаресте и отправился в путь: вместо того, чтобы сесть в поезд и впоследствии

автобус, который приехал сюда, он просто проделал долгий-долгий путь до озера Сфынта Ана пешком — и кто знает, сколько недель уже! — зайдя в ворота кемпинга в шесть или шесть тридцать вечера, и когда ему задали вопрос, имеет ли организационный комитет честь приветствовать Иона Григореску, он отделался ответом одним коротким кивком.

Если достоверность рассказа зависела от его обуви, то ни у кого не могло возникнуть никаких сомнений: возможно, изначально коричневого цвета, это были лёгкие летние мокасины из искусственной кожи с небольшим орнаментом, пришитым к носку, а теперь полностью разваливающиеся на ногах. Обе подошвы разошлись, каблуки были совершенно растоптаны, а у правого носка что-то наискосок разорвало кожу, обнажив носок. Но дело было не только в обуви, и это оставалось загадкой до самого конца: в любом случае, многие из его нарядов выделялись на фоне западной или западной одежды остальных тем, что, казалось, принадлежали человеку, только что перенесшемуся из конца восьмидесятых эпохи Чаушеску, из её глубочайшего упадка в настоящее. Просторные брюки были сшиты из толстой, похожей на фланель, ткани неопределенного оттенка, вяло хлопающей на щиколотках, но еще более мучительным был кардиган, безнадежно болотно-зеленого цвета и свободного плетения, надетый поверх клетчатой рубашки и, несмотря на летнюю жару, застегнутый до самого подбородка.

Он был худ, как водоплавающая птица, плечи его ссутулились, лысый, на его пугающе худом лице горели два чистых темно-карих глаза — два чистых горящих глаза, но глаза, горящие не внутренним огнем, а лишь отражающие, как два неподвижных зеркала, что-то горит снаружи.

На третий день все поняли, что для него лагерь — не лагерь, работа — не работа, лето — не лето, что для него нет ни купания, ни чего-либо еще.

приятной, спокойной радости праздника, которая, как правило, преобладает на таких встречах. Он попросил у организаторов и получил новую обувь (они нашли для него пару ботинок, висящих на гвозде в сарае), которую он носил весь день, ходя вверх и вниз по лагерю, но ни разу не покидая его пределов, не поднимаясь на вершину, не спускаясь с вершины, не гуляя вокруг озера, даже не выходя на прогулку по деревянным настилам через Моховую страну; он оставался там, внутри, и когда он случайно появлялся здесь или там, он ходил туда-сюда, глядя, что делают другие, проходя через все комнаты в главном здании, останавливаясь, чтобы помедлить за спинами художников, граверов, скульпторов, и глубоко поглощенный, наблюдая, как данная работа меняется изо дня в день; он поднялся на чердак, зашёл в сарай и в деревянную хижину, но ни с кем не разговаривал и ни разу не ответил ни одним словом ни на один из вопросов, как будто он был глухонемым или как будто не понимал, чего от него хотят; совершенно бессловесный, равнодушный, бесчувственный, как призрак; и когда они, все одиннадцать, стали наблюдать за ним, как Григореску наблюдал за ними, — они пришли к осознанию того, что они обсуждали между собой тем вечером у костра (где Григореску никогда не видели следовавшим за своими товарищами, так как он всегда рано ложился спать)

— осознание того, что да, возможно, его прибытие было странным, его туфли были странными, как и его кардиган, его осунувшееся лицо, его худоба, его глаза, все это было совершенно таким —

но самым странным из всего, как они установили, было то, чего они до сих пор даже не замечали, и это было самым странным из всего: что эта выдающаяся творческая личность, всегда деятельная, находилась здесь, где все остальные работали, и в то же время бездельничала, совершенно и абсолютно бездельничала.

Он ничего не делал: они были поражены своим осознанием, но еще больше тем фактом, что они не заметили этого в самом начале лагеря; уже, если вы

если посчитать, то приближался шестой, седьмой, восьмой день; да и некоторые уже собирались нанести последние штрихи на свои произведения искусства, и только теперь они увидели перед собой всю картину целиком.

Что он на самом деле делал?

Ничего, вообще ничего.

С этого момента они начали невольно наблюдать за ним, и однажды, возможно, на десятый день, они заметили, что на рассвете и в течение утра, когда большинство остальных спали, был довольно длительный промежуток времени, в течение которого Григореску, хотя, как известно, он был ранним пташкой, нигде не появлялся; период времени, когда Григореску никуда не ходил; его не было ни у избы, ни у сарая, ни внутри, ни снаружи: его просто не было видно, как будто он на какое-то время потерялся.

Движимые любопытством, вечером двенадцатого дня несколько участников решили встать на рассвете следующего дня и попытаться разобраться в этом вопросе. Один из художников, венгр по национальности, взял на себя обязанность разбудить остальных.

Было ещё темно, когда, убедившись, что Григореску нет в комнате, они обошли главное здание, вышли через главные ворота, вернулись, снова заглянули в деревянную хижину и сарай, но нигде не нашли его следов. Озадаченные, они переглянулись. С озера подул лёгкий ветерок, рассвет начал заниматься, и постепенно они смогли разглядеть друг друга; тишина была полной.

И тут они услышали звук, едва слышный и неразличимый с того места, где они стояли. Он доносился издалека, с самой дальней части лагеря, точнее, с другой стороны той невидимой границы, где стояли два отхожих места, которые сами по себе обозначали границу лагеря. Потому что с этого момента, хотя она и не была обозначена, местность перестала быть...

открытый двор; природа, из чьей власти он был вырван, все еще не отвоевала территорию обратно, однако никто не проявлял к ней никакого интереса: своего рода заброшенная, нецивилизованная и довольно жуткая ничейная земля, на которую владельцы кемпинга не предъявляли никаких видимых претензий, кроме использования ее в качестве свалки для отходов, от полуразрушенных холодильников до повседневных кухонных отходов, всего, что только можно себе представить, так что с течением времени цепкие, дикие сорняки, почти непроходимые и почти высотой с голову, покрыли всю территорию; колючая, темная и враждебная растительность, бесполезная и неистребимая.

Откуда-то издалека, из какой-то точки в зарослях, они услышали звук, доносившийся до них.

Они недолго колебались относительно предстоящей задачи: не произнеся ни слова, они просто посмотрели друг на друга, молча кивнули, бросились в чащу, прорываясь сквозь нее вперед, к чему-то.

Они зашли очень глубоко, на приличное расстояние от построек кемпинга, когда смогли распознать звук и установить, что кто-то копает.

Возможно, они были где-то рядом, поскольку теперь им было ясно слышно, как инструмент вдавливался в землю, а земля подбрасывалась вверх, с глухим стуком ударяясь о хвощ и разлетаясь в разные стороны.

Им пришлось повернуть направо, а затем сделать десять-пятнадцать шагов вперёд, но они добрались туда так быстро, что, потеряв равновесие, чуть не рухнули вниз: они стояли на краю огромной ямы, примерно трёх метров шириной и пяти длиной, на дне которой они мельком увидели Григореску, работавшего, как ему вздумается. Вся яма была настолько глубокой, что его головы едва было видно, и, несмотря на размеренную работу, он совершенно не слышал их приближения, поскольку они просто стояли на краю гигантской ямы, просто глядя на то, что там внизу.

Там внизу, посреди ямы, они увидели лошадь —

в натуральную величину, вылепленные из земли — и сначала они видели только

что лошадь, сделанная из земли; затем эта лошадь в натуральную величину, высеченная из земли, держала голову вверх, набок, скаля зубы и пуская пену изо рта; она скакала с ужасающей силой, мчалась, куда-то убегая; так что только в самом конце они поняли, что Григореску вырвал сорняки с большой площади и выкопал этот огромный ров, но таким образом, что в средней части он снял землю с лошади, бегущей в ее пенящемся ужасном страхе; как будто он выкопал ее, освободил, сделал видимым это животное в натуральную величину, когда оно бежало в ужасном ужасе, убегая от чего-то под землей.

В ужасе они стояли и смотрели на Григореску, который продолжал работать, совершенно не подозревая об их присутствии.

«Он копает уже десять дней», — подумали они у ямы.

Всё это время он копал на рассвете и утром.

Земля ушла у кого-то из-под ног, и Григореску поднял взгляд. Он на мгновение остановился, склонил голову и продолжил работу.

Художники почувствовали себя неловко. «Кто-то должен что-то сказать», — подумали они.

— Это великолепно, Ион, — тихо произнес французский художник.

Григореску снова остановился, вылез из ямы по лестнице, очистил лопату от прилипшей к ней земли приготовленной для этой цели мотыгой, вытер вспотевший лоб платком и затем подошел к ним; медленным, широким движением руки он указал на весь пейзаж.

«Их все еще так много», — произнес он слабым голосом.

Затем он поднял лопату, спустился по лестнице на дно ямы и продолжил копать.

Остальные художники постояли немного, кивая, а затем молча направились обратно в главное здание.

Оставалось только прощание. Директора устроили большой пир, а затем наступил последний вечер; следующий

Утром ворота лагеря были заперты; прибыл заказный автобус, и некоторые из тех, кто приехал из Бухареста или из Венгрии на машине, также покинули лагерь.

Григореску вернул ботинки организаторам, снова надел свои и какое-то время был с ними. Затем, в нескольких километрах от лагеря, на повороте дороги возле деревни, он внезапно попросил водителя автобуса остановиться, сказав что-то вроде того, что отсюда ему лучше ехать одному. Но никто толком не понял, что он сказал, настолько неслышно было его голоса.

Автобус скрылся за поворотом, Григореску свернул к переходу дороги и внезапно исчез из серпантина, ведущего вниз. Осталась только земля, безмолвный порядок гор, земля, покрытая опавшими листьями, в огромном пространстве, бескрайняя гладь —

маскируя, скрывая, укрывая, покрывая все, что лежит под горящей землей.

233

ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ

Где угодно, только не в «Венере Милосской» — это было написано у них на лицах, он мог бы это сказать, это было так недвусмысленно написано на лицах его коллег, что ему почти было забавно сидеть среди них во время еженедельных или ежемесячных совещаний по распределению обязанностей, сидеть там среди них и отчасти ждать без смеха, потому что никто не хотел быть назначенным туда, отчасти потому, что он, наоборот, только и ждал, что директор департамента посмотрит на него и скажет снова и снова, ну что ж, господин Шевань, вы останетесь на своем привычном месте, знаете ли, LXXIV, а затем XXXV, XXXVI, XXXVII и XXXVIII на первом этаже Сюлли в почасовой ротации, когда, конечно, акцент делался на LXXIV, Зале семи кабинетов, и в такие моменты, когда он слышал, что его назначили туда, он не только наполнялся безмерным удовлетворением, но и был благодарным как в каждом случае он всегда чувствовал в голосе директора департамента некое соучастное признание, приятную похвалу, некое предоставление отличия, не поддающееся словам, что в отношении LXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII и XXXVIII, поскольку он был достоин доверия, господин Шейвань был тем человеком,

— голос директора департамента дрожал вот уже семь лет, с тех пор как он, господин Бруно Кордо, был назначен директором, — он был человеком, которому можно было доверить Зал семи шахт, нынешнее место работы, со всеми обезумевшими туристами; и он делал все это — за что Шейвань был особенно благодарен — нисколько не насмехаясь над тем, что, конечно, знал каждый старый смотритель музея и что все считали вопросом индивидуального темперамента, а именно, что у него, Шейваня, было особое отношение к Венере Милосской, и из-за этого для него, как он сам выражался неоднократно в первые годы,

Ежедневная восьмичасовая работа была не работой, а благословением, таким даром, который никогда не будет возмещен, и ради которого он бы сделал все, если бы он не упал к нему в руки сам собой, будучи нанятым в то время — тридцать два года назад —

и признан подходящим для задачи тактичной, но решительной защиты в течение восьми часов в день, с десяти утра до шести вечера, которые были определены как часы работы музея; он был признан подходящим для задачи охраны его от беспечных, сумасшедших, невоспитанных и невоспитанных, поскольку это были по большей части четыре категории, которые Шейвань был обязан выделить среди определенного процента посетителей музея, определенного процента, но не всех посетителей музея, потому что в отличие от большинства своих коллег он не объединял проблемные фигуры в одну кучу с просто любопытными, последние как раз никогда не делали того, чего он сам, окажись он в подобных обстоятельствах, никогда бы не сделал, потому что, ну как можно не почувствовать себя немного подтолкнутым или не протолкнутым вперед, если ты уже забрел в нужную комнату и теперь находишься перед великим произведением искусства, он, Шейвань, считал это даже очень терпимой слабостью и даже никогда не вмешивался; в общем, он не очень-то хотел привлекать внимание к своему присутствию, в конце концов он был не военным часовым, а музейным охранником; не тюремный надзиратель, а хранитель работы, так что соответственно он старался оставаться настолько невидимым, насколько позволяли эти конкретные обстоятельства, потому что в течение дня — в особых всплесках, совершенно случайных, но на основе трех десятилетий опыта Шейваня, все еще приходящих через определенные предсказуемые временные интервалы — всегда было определенного рода «событие», как они называли это между собой на профессиональном жаргоне, когда нужно было вмешаться, не заметно, хотя и решительно, не нарушая общего, хотя и

весьма

шумный,

восхищение,

но

с

ан

однозначность, не терпящая инакомыслия, и это не было

здесь вопрос о том, кто-то касается кордона, окружающего работу, и вам нужно немедленно бежать туда —

он махнул рукой молодым коллегам, в основном женщинам, зорким и готовым броситься в бой, которые были более склонны ждать того момента, когда они наконец смогут наброситься на непослушного ребенка или взрослого, — нет, дело было не в этом, но когда вы чувствуете, что кто-то, возможно, турист, который забылся, собирается пересечь эту символическую границу совершенно случайно, ну тогда, в этом случае данного человека следует безоговорочно выпроводить, не говоря уже о тех случаях, когда кто-то не просто прокрадывается за оцепление, но когда вы чувствуете, что он направляется к работе, ну, это моменты, которые нужно уметь чувствовать, объяснил Шейвань новичкам и менее опытным, сумасшедшим, одержимым, психам, растерянным, разрушителям, одним словом, те фигуры, которые представляют реальную опасность для работы, должны немедленно — Шейвань, который не был особенно строг, строго поднял указательный палец в сторону молодых коллег или женщин, — эти фигуры должны быть немедленно удален не только из зала, но и из музея, есть способы справиться с этим; система безопасности адекватна, в последние несколько лет, в частности, она значительно развилась, но в то же время, по его мнению, опасности не следует преувеличивать, и по этой причине он с решительным отвращением относился к тем музеям, где охранникам разрешено стоять, так сказать, между работой и посетителем; здесь, конечно, в Лувре, который вообще не прошел проверку, это было недопустимо, и по этой причине никто никогда не должен забывать, что нормальность имеет свои пределы, и Лувр функционирует в этих пределах, поэтому его следует рассматривать в первую очередь как самый важный музей в мире, который открыт для всех, и где для каждого посетителя это опыт всей жизни — увидеть немыслимые сокровища Лувра лицом к лицу;

Наплыв туристов, давка и давка — это просто необходимо терпеть, это неотъемлемая часть нашего века, таков мир, нас слишком много — Шейвань излагал свое простое мнение о мире старшим коллегам, — и в этом мире каждый может быть туристом; так что он не считал себя одним из тех музейных охранников, которые ненавидят туристов, это было бы как если бы он ненавидел себя, нет, это была не его точка зрения, то, что они приходят, бегают, щелкают своими камерами, все это нужно терпеть, ну, боже мой, есть камеры, и есть обстоятельства, которые превращают человека в туриста, и в этой ситуации человек бессилен, разве он тогда не может даже взглянуть на Венеру Милосскую? — не так ли? это и без того сложный вопрос; Шейвань оглянулся на своих коллег в такие моменты, ну, что, Лувр закрывать?! — и тогда ни один смертный вообще, никто никогда не увидит, всё это здесь, только здесь — от классической греции до эллинистической скульптуры — да, это было его мнение, Шейвань кивнул, подтверждая свои слова, его мнение формировалось годами, и именно поэтому те, кто его знал, считали его кротким, как ягнёнок, таким кротким перед лицом волчьего натиска туристов, который уже сам по себе был опасен, ну, только Шейваня это не могло ни повредить, ни побудить к более здравому смыслу, например, признавая, что иногда полезно пнуть японского туриста в толпе у кордона, когда никто не смотрит, но нет, Шейвань даже не реагировал на такие провокации, он просто улыбался — конечно, он всегда улыбался чуть-чуть, коллеги каждое утро узнавали его издалека по этой маленькой неизгладимой улыбке на лице, а не по тому, как он аккуратно пробором посередине расчесывал свои седые волосы влажной расчёской, плотно прижимая их к голове, или по его неизменно выглаженный костюм, но эта легкая улыбка была знаком его защиты, о которой они только подозревали — потому что Шейвань не раскрыл всего —

они подозревали, что это произошло из-за радости пребывания здесь

опять же, что все равно казалось чистым абсурдом коллегам, которые, как и все остальные парижане, ненавидели приходить на работу, но причина не могла быть ни в чем ином, они были обязаны заявить, что этот человек очень рад, что он здесь, очень рад, что может начать работу утром и занять свое место, так что он идиот, заметили один или два наиболее болтливых охранника музея, и на этом они закрыли обсуждение этого вопроса в тот же день, потому что было скучно, о Шейване нельзя было толком говорить — старые охранники вообще даже не говорили о нем — потому что Шейвань был таким же каждый день, каждую неделю, и тридцать лет назад он был точно таким же, как сегодня, вчера, и он будет таким же послезавтра, Шейвань не изменился, они просто отмахнулись от этого вопроса, и в этом тоже что-то было; Шейвань тоже только кивал, улыбаясь, если над ним иронично поддразнивали, говоря: «Ты, Феликс, на самом деле не меняешься», как будто этой своей лёгкой улыбкой он хотел показать, что чувствует то же самое: но причина была в том, что то, что он охранял, Венера Милосская, тоже не менялось, просто, ну, они никогда об этом не говорили, так что это могло бы приобрести известность и стать центральной темой, если бы они когда-нибудь это обсуждали, но, ну, они говорили об этом очень редко, а именно, что Шейвань и Венера Милосская, эти двое, жили как будто в каком-то симбиозе вместе, но здесь, уже в этот момент, они ошибались и выдавали, что на самом деле ничего не знали, совсем ничего о сути Шейваня, потому что ситуация была такова, Шейвань смотрел на них с этой своей лёгкой улыбкой, что есть Венера Милосская, и кроме неё нет вообще ничего другого, это было его, Шейваня, мнение, как кто-то мог даже думать, что между ними может быть какая-то связь, но даже если и была, то это была просто такая односторонняя связь, то есть изумление, опьяняющее чувство осознания того, что он может быть здесь все восемь часов

дня, если среди коллег было решено, что для него не будет двухчасовых смен, здесь, внутри, потому что он принадлежал к внутреннему миру Венеры Милосской, а именно он был одним из избранных внутренней безопасности Венеры Милосской, это было воодушевляющим чувством, когда бы оно ни приходило ему в голову — а оно часто приходило ему в голову на протяжении более тридцати лет — в его голове постоянно мелькало то, что может чувствовать такой человек, как он, в такой исключительной ситуации, и ну, конечно, он ни с кем об этом не говорил, и ни один коллега никогда по-настоящему не пытался обсудить с ним эту тему, так как они так это не видели, для них это была просто работа, от которой у них своды стопы будут проваливаться, их спины будут сгорбливаться, вследствие чего через некоторое время у них вошло в привычку постоянно бессознательно массировать шею, так как она изнашивается больше всего, ну и, конечно, стопу, не только подошву, но и всю пятку, лодыжку, и икру, и талия, весь позвоночник и так далее, быть музейным охранником трудно, и среди этих трудностей, если и есть поначалу какая-то чувствительность к одному из произведений искусства, она обычно быстро рассеивается усталостью, связанной с работой, за исключением Шейваня; в его случае просто невозможно было выяснить, был ли он особенно измотан всем тем, что происходит с человеком стоя — подошвой ноги, лодыжкой, позвоночником и мышцами шеи — нельзя было сказать, что у него не болело тело, просто он как-то не заморачивался этим, болело ли, ну да, болело, конечно, болело, человек, если он музейный охранник, на ногах почти восемь часов подряд, перерывы измеряются минутами, и этого никогда не может быть достаточно для полного восстановления, восемь часов на ногах, да, это правда, улыбнулся Шейвань, но в то же время это были восемь часов во внутреннем мире Венеры Милосской; если кто-то спрашивал, он всегда отвечал именно это, но не более того, хотя что касается

почему именно это произведение искусства так наполнило его жизнь, а не Мона Лиза, или Тутанхамон и т. д., он никогда никому не говорил ни слова, потому что ответ был слишком прост, и никто бы не смог его понять, потому что с одной стороны была Венера Милосская, с другой — Шейвань, который вообще мог бы сказать в качестве объяснения, что это потому, что это было величайшее очарование, которое он когда-либо видел и мог видеть, потому что среди всех сокровищ Лувра это восхищало его больше всего, и это было все: это было из-за ауры Венеры Милосской; даже если бы он захотел, он не смог бы сказать ничего большего, тот факт, что это было величайшим из чудес, по крайней мере для него, вряд ли мог бы объяснить его странную жизнь, которая была всецело подчинена изумлению Венеры Милосской, это звучало бы слишком просто, вопиющей банальностью, если бы он попытался объяснить свои необычные отношения с Венерой Милосской таким образом, поэтому он даже ничего не сказал, он предпочел вместо этого молчать и продолжать улыбаться, как бы прося прощения за то, что он не может знать о себе больше, чем это, ибо если бы он рассказал, что случилось с ним, когда он был юношей, во время его первого проблеска, даже это ни к чему бы не привело, так как он не мог бы сказать ничего большего, чем то, что он видел ее, и его ноги были прикованы к земле, и Венера Милосская заворожила его; с тех пор ничего не изменилось, без всяких объяснений; они просто приехали из провинции, из маленькой деревни рядом с Лиллем, где он жил с отцом, и отец привез его в Лувр, а затем, через пару лет, он переехал в Париж, подал заявление о приеме на работу и был принят на работу, его биография, по сути, состояла только из этого, а именно, это не привлекло бы внимания его коллег, возможно, они даже не поверили бы, что все это так просто, или что он настолько неспособен дать объяснение, что, ну, он молчал; если время от времени кто-то пытался

чтобы приставать к нему по поводу этой странной преданности Венере Милосской, он только улыбался, но ничего не говорил, предпочитая пройти немного дальше, и за отсутствием ответа тайна оставалась таковой, тогда как он, Шавань, прекрасно знал, что тайна была не в нем, потому что внутри него — он признавался в этом в такие моменты, когда был дома —

если он размышлял об этом, то не было абсолютно ничего, он был совершенно пуст; Венера Милосская, однако, была сама завершенность, поскольку музейному смотрителю уже можно было позволить, время от времени, бросаться такими громкими словами, так что секрет был только в Венере Милосской, но почему именно с Венерой Милосской — спросил однажды господина Брынковяну один особенно дружелюбный и очень утонченный коллега — вы находитесь в самых доверительных отношениях, почему не с Венецией Медичи или одной из бесчисленных Афродит Книдских, а есть еще Афродита Людовичи, или Венера Капуанская, или Афродита Капитолийская, или Венера Барберини, или Венера Бельведерская, или голова Кауфмана, в мире бесчисленное множество Афродит и Венеры, одна прекраснее другой, но для вас — господин Брынковяну вопросительно посмотрел на него — для вас эта Венера скандально дурной репутации стоит выше всего остального, вы не можете всерьез так думать; но да, он мягко кивнул, он действительно так думал, самым серьезным образом, хотя было бы трудно утверждать, что Венера Милосская стоит выше всего вышеупомянутого, по его мнению, это не было соревнованием, здесь даже не одно стоит выше другого, но все же и все же, что он мог сделать, для него лично это, красота Венеры Милосской значила больше всего, он знал — он наклонился ближе к своему коллеге, — трудно оправдать такие вещи, может быть, это даже невозможно, однажды его сердце было поражено, и это все, не нужно было искать здесь ничего другого (по крайней мере, он не привык так делать), более того, он даже признался бы, что размышление не было его сильной стороной, потому что как только он принялся за это, одна мысль

немедленно выскочил, а другой уже выталкивал первого, но его голова не могла долго задерживаться даже на этом, появлялась другая, потом ещё одна, и так далее, различные мысли, не имея абсолютно ничего общего, буквально преследовали друг друга, и вот улыбка, которая всегда играла на его лице, на мгновение исчезла, нет, об этом невозможно было думать, он был настолько признателен господину Брынковяну, но, с другой стороны, они больше никогда не говорили на такие конфиденциальные темы, а господин Брынковяну уже добрых десять лет как уехал отсюда, так что не с кем было тогда продолжить разговор, в остальном же он никогда ни до, ни после не оказывался ни с кем в таких близких отношениях, что, конечно, не означало, что он чувствовал себя одиноким среди коллег — ведь он всё ещё был здесь, отметил он про себя, если он время от времени задумывался над этим вопросом по выходным, когда от скуки у него было слишком много времени, чтобы поразмыслить, — коллеги, по большей части, были дружелюбны, если изредка в них мелькала хоть какая-то так называемая непристойность, но, что ж, в этом, на таком рабочем месте, где приходилось подчиняться таким торжественным требованиям и где сама работа подразумевала физическую нагрузку, не было ничего удивительного, людям нужно как-то выпустить пар, он пытался таким образом разрешить в себе вопрос об этих непристойностях, как когда, например, именно он был мишенью; и он ехал домой на первом маршруте до Шатле, а оттуда на переполненный Гар де л'Эст, оттуда, наконец, на седьмом до Обервилье, и он никак не мог выбросить из головы то, что произошло сегодня, он все время повторял себе, что ему нужно как-то избавиться от напряжения, но почему-то вопрос не решался так просто; он немного подержал свои ноющие ноги в тазу, наполненном холодной водой, а затем просто сел в своей полосатой пижаме на кровать, разглядывая бесчисленные репродукции Венеры Милосской на стенах, в красивых рамах, все пропорционально расположенные в ровный ряд, так в чем же проблема, если я нахожу

что прекрасно быть прекрасным, задал он вопрос и покачал головой непонимающе, и ему все еще было больно, хотя и гораздо тупее, это последнее оскорбление все еще причиняло боль, потому что, конечно, один или двое из них только что приставали к нему по поводу его привязанности к Венере Милосской, но пар, подумал он, действительно нужно как-то выпустить —

Он сидел на кровати, сгорбившись, в своей полосатой пижаме, положив руки на колени, и только смотрел, смотрел на бесчисленные репродукции, и в таких случаях, как этот, долго не мог заснуть.

Пракситель, он здесь в центре всего, или, если угодно, сказал он, всё возвращается к нему, и если кто-то отвернётся, то есть отвернётся от этого факта, всё является ошибкой или немедленно станет ошибкой — так он обычно начинал, если кто-то из толпы поворачивался к нему или если какая-то группа без ориентира случайно окружала его, чтобы как-то сориентироваться в том, что происходит в этой комнате, Пракситель, ответил он, и его не волновало, в чём заключался вопрос — такие вопросы, как, например, из чего сделана статуя, или сколько ей лет, почему она не на своём месте на первом этаже, и почему она так известна во всём мире, и не знает ли он её христианского имени и так далее — его не раздражали такие вопросы, он, однако, немедленно отмахивался от них, или, точнее, он даже не слышал их, он не замечал их, но если мог, он просто говорил «Пракситель», и поскольку казалось, что человек или группа, о которых идёт речь, не поворачиваются от него, но проявляя интерес к тому, что он имеет в виду с этим Праксителем, затем он просто вышел вперед с центром и со всем здесь, возвращаясь к нему, именно в этом случае он пытался объяснить — иногда более кратко, иногда более подробно — настолько, насколько он мог, что Пракситель, этот необыкновенный гений из поздней классической греческой античности, что Пракситель, этот гениальный творец из четырех веков до Христа, этот неподражаемый художник десятилетий после Фида, создал своей статуей Афродиты

предназначенный для острова Книдос, высшая форма, высший смысл и высшее воплощение Афродиты как необычайного архаичного культа, и так же, как Книдос, столица дорического Гексаполиса, частично построенного на острове, стал отправной точкой культа Афродиты, так же и Книдская Апродита — ее название произошло от этого места —

стать отправной точкой всех последующих статуй Афродиты, так он это понимал, он оглядывался на членов группы или с улыбкой смотрел на человека, задавшего вопрос; поэтому имя Праксителя должно было быть знакомо всем, всем, кто хотел узнать хотя бы немного о том, что такое Венера Милосская, и поскольку тот или те, кто к нему обращался, были обычно из таких, они решили, что будут продолжать слушать болтовню музейного сторожа; в этом месте он всегда без исключения останавливался всего на две короткие секунды, и если интерес оказывался искренним и более устойчивым, он затем продолжал, говоря, что ну, конечно, когда говорят о культе Афродиты, то нужно сразу же добавить, что на самом деле мы не имеем никаких определенных знаний о том, что это был за культ Афродиты, как и приходится сразу же признать, что на самом деле, конечно, ни одной работы Праксителя, ни одной, да что там, вообще ни одной статуи не сохранилось, только римские копии — и тут Шейвань поднял указательный палец — или, самое большее, копии, созданные в эллинистический период, от Александра Македонского до начала золотого века Римской империи, более того, вот в чем суть дела — это произведения искусства, выросшие из наследия Праксителя, до сих пор сохранившегося, и одним словом, мы ничего не знаем об оригинале, как и во многих случаях, все, что мы можем сделать, это попытаться проследить вещи до этого утраченного прошлого, или — и тут Шейвань снова поднял указательный палец — мы вообще не оглядываемся назад, но говорим, что вот Венера Милосская, эта статуя, возникшая, скорее всего, во втором веке до нашей эры, которая была

обнаруженный по частям крестьянином по имени Йоргос Кентротас в девятнадцатом веке, по крайней мере в двух частях и поврежденный, с отсутствующими частями; он нашел его на греческом острове Мелос, и хотя он, предположительно, также нашел руку с яблоком, или яблоко само по себе, а также, предположительно, нашел постамент с именем скульптора, к сожалению, с этого момента мы не можем быть уверены в том, что является правдой в этой истории, и мы — говоря здесь как один из сотрудников Лувра, Шявань сочувственно подмигнул своим слушателям — мы не можем сказать ничего большего, будучи связанными в данном случае самоочевидной преданностью; но довольно об этом, потому что, кроме того, если человек смотрит на это чудесное произведение искусства, то интересна даже не вся история, а то, как путь вел от Афродиты Книдской Праксителя к Венере Мелосской, или, вернее, как он ведет в обратном направлении, поскольку нужно было также осознавать, что гипотетически, с копиями Афродиты Книдской Праксителя, с многочисленными Афродитами, порождёнными её устоявшейся традицией, богиня изображена в определённом месте, определённом состоянии и определённом моменте, а именно таким образом — Шевань вежливо и дружелюбно наклонился ближе к своим слушателям или к тому, кто случайно там оказался, — она прикрывает свою скромность правой рукой, а левой обычно придерживает свои одежды, ниспадающие складками, или поднимает их с кувшина, который, возможно, был добавлен ранее, что контрастирует, не правда ли, с этим вот этим

— Шявань указал на Венеру, воздвигнутую на высоком подиуме посреди комнаты, — из-за отсутствия рук мы не можем знать, что она делает, но, по всей вероятности, это не одно и то же; хотя можно представить, что правой рукой она тянется к одеянию, которое вот-вот упадет, никто этого знать не может, по крайней мере, не будем строить догадок, догадок и так было предостаточно, ведь можно себе представить, что произошло, когда мы, французы, — в лице некоего Оливье Вотье и некоего Жюля Себастьена-Сезара Дюмона д’Юрвиля, — когда мы

Французы завладели «Венерей Милосской» на Мелосе и с помощью авантюрных средств и разных людей перевезли ее обратно отвратительному Людовику XVII в Париж в качестве своего рода подарка. Смешно, не правда ли, произведение искусства Праксителя в подарок; были те, кто говорил это, и те, кто говорил то, вспыхивали самые разнообразные мечты, более того, конечно, были и те, кто создавал макеты, например, месье Равессон, который изобразил ее с Аресом, затем появился Адольф Фуртвенглер, у которого она была с правой рукой, как я сам только что описал, тянущейся к ее одеянию, а левой рукой опирающейся на колонну, я не буду перечислять их всех, потому что уже очевидно, что в том смысле, в котором мы обычно что-то знаем о произведении искусства, когда речь идет об этом произведении искусства, по сути, мы не знаем ничего существенного, даже личность скульптора сомнительна, поскольку надпись на поврежденном постаменте, который позже таинственно исчез — если он вообще действительно принадлежал статуе — позволяет нам полагать, что художником был Александрос, но она также позволяет нам полагать, что это мог быть любой человек с именем, заканчивающимся на «... andros», приехавший из Антиохии, но, знаете ли, Шавань сказал более сдержанно своему слушателю — если таковой был в тот момент, и, конечно, оставшись, пожелал услышать больше — вы знаете, сказал Шавань, если я смотрю на эту великолепную богиню, а именно если я — поверьте мне, почти каждый благословенный день, это было давно, уже очень давно — если я смотрю на нее, то наименее болезненная часть для меня — это не знать имени скульптора, который, возможно, приехал из Антиохии, и который, возможно, на самом деле был сыном Менида, как его увековечил постамент, кто знает; потому что тогда наименее тревожным для меня будет то, что я не знаю, что делала правая рука в какой-то момент, а что делала левая, потому что я чувствую, что вместо этого важна связующая нить, которая возвращает Венеру Милосскую к ее собственному оригиналу, к некогда Афродите, созданной Праксителем на Книде, вот что важно для

меня; если я посмотрю на нее, — и здесь Шейвань, чувствуя, что он не может больше лишать своих слушателей времени, понизил голос, как бы давая понять, что здесь он намерен закончить, и отступил на шаг назад, — знаете, если я посмотрю на нее, — тихо сказал он, — все, что есть во мне — и, может быть, это действительно форма боли, — это то, что эта Афродита так чарующе, так восхитительно, так невыразимо прекрасна.

Он сказал «очаровательная», он сказал «восхитительная», он сказал «невыразимая», но он умолчал, однако, о том, как в последние годы он все больше ощущал красоту Венеры Милосской как бунт, он умолчал об этом в Лувре; только дома — добираясь туда часом, потом четырьмя, и пересаживаясь на Восточном вокзале, а затем семь до Обервилье, возвращаясь домой в конце того или иного дня, и быстро наполняя умывальник холодной водой, и быстро снимая ботинки и носки, и ставя умывальник возле кресла, медленно опуская в него ноги, и вот так и сидя спокойно — ему вспомнилось то, что он рассказал в тот день группе пожилых американок или молодому японцу в хаотической толпе, и ему стало стыдно, стыдно за себя, что он не сказал всей правды, потому что вся правда заключалась в том, что секрет красоты Венеры Милосской заключался в ее мятежной силе, если секрет ее красоты вообще можно было назвать, то это было в основном то соответствие, к которому он пришел в связи с Венерой Милосской в прошлые годы, ибо было бесполезно говорить ему, как это сделал тогда господин Брынковяну, что вся оценка «Венера Милосская» была сильно преувеличена, именно французы сделали ее всемирно известной, когда распространяли идею, что это работа Праксителя, и вообще, заметил господин Брынковяну, скривив губы, как такое произведение искусства, как это —

банальная, фальсифицированная, изможденная, изгрызенная, чрезмерно превознесенная, чрезмерно преувеличенная и, следовательно, таким образом ставшая совершенно обыденной — заслуживала всеобъемлющего внимания, которое он ей оказывал; он — а именно,

Брынковяну — не мог понять этого в таком информированном человеке, как месье Шовань, но тот лишь улыбнулся, покачал головой и сказал, что нужно быть отстраненным от обстоятельств, мы не можем позволить себе оказаться под давлением, заставив поверить, что если человечество по какой-то причине поставило произведение искусства на высочайший пьедестал, то оно уже на пути к тому, чтобы стать обыденностью, месье Брынковяну должен ему поверить, заявил он; он смотрел на статую почти не отрываясь: можно было отстраниться от толпы, отстраниться от неприятной — насколько это касалось их, французов, — ранней истории статуи, можно было проигнорировать всякую манипулятивную, меркантильную, а значит, ложную преданность, тяготеющую над ней, и можно было просто смотреть на саму статую и Афродиту в ней, бога в Афродите, и тогда можно было увидеть, каким непревзойденным шедевром была Венера Милосская; но вы на самом деле не думаете — его коллега, гораздо более страстный, чем он, затем повысил голос, — что когда вы смотрите на саму Венеру Милосскую, вы также видите всех Афродит, созданных ранее античными, а затем позднеантичными и затем всеми другими эллинистическими художниками, вы, конечно же, так не думаете?! — но, конечно, Шейвань улыбнулся ему, как он мог не подумать, что, ну, в этом-то и заключался смысл, в «Венере Милосской» была и Афродита Книдская, и была Афродита Бельведерская, и была голова Кауфмана, все было там, Шейвань сделал широкое движение рукой, все, что было от Праксителя, от предполагаемого оригинала четвертого века и далее до Александра или Агесандра — затем он указал на Венеру, все еще на ее старом месте, то есть на уровне земли в Галерее Мельпомены, и сказал: но в то же время скульптор Венеры Милосской наделил свою собственную Венеру такой силой, что чуть не позволил одеждам упасть на нее, силой, которая исходит не от этой Венеры

земной чувственности, не от ее соблазнительной наготы, не от

ее хитрого эротизма, но с более высокого места, откуда эта Венера действительно приходит, и в тот момент — даже сегодня он хорошо это помнил — он не продолжил ход своих мыслей, отчасти потому, что не был к этому готов, отчасти потому, что испугался того, о чем думал, ибо уже тогда, во времена господина Брынковяну, он уже осознавал, что существование Венеры Милосской, то есть ее нахождение там, в Лувре, и то, как она стояла там в гордой святости — напротив нее выстраивались, толкались, накатывали толпы со своими камерами и своим полным невежеством и вульгарностью, — в этом месте этого Лувра, именно там, где стояла она, Венера Милосская, разразился своего рода огорчительный скандал, просто Шевань какое-то время не решался высказать его даже самому себе или даже сформулировать мысль о том, что именно Венера Милосская в Лувре была... ...невыносимо, даже самому себе признаться, он долго даже гнал это слово из головы, стараясь поскорее подумать о чём-нибудь другом, например, о том, что он музейный охранник и больше ничего, и не ему этим заниматься, а только тем, что относится к музейной работе, но что ж делать, он стал таким музейным охранником, и вот, ну, эта мысль всё больше и больше складывалась, пока он смотрел, смотрел на статую, как, например, когда её переместили, из-за реконструкции, этажом выше и временно поставили здесь, в Зале семи шахт, и поставили статую на высокий — и, в особенности, по вкусу Шейваня, не совсем подходящий — постамент, и тогда скандал как-то только становился ещё очевиднее, потому что статуя всё ещё возвышалась над людьми, но она была здесь не очень уместна, потому что ей, Венере Милосской, по мнению Шейваня, здесь не место, точнее, ей не место ни здесь, ни где-либо ещё на земля, все, что она, Венера Милосская, имела в виду, что бы это ни было, произошло из небесного царства, которое больше не существует

существовала, которая была измельчена временем, истлевающая, уничтоженная вселенная, которая исчезла навеки из этого высшего мира, потому что высшее царство само исчезло из человеческого мира, и все же она осталась здесь, эта Венера из этого высшего мира осталась здесь, оставленная заброшенной, и это, как он объяснил себе вечером — отмокнув свои ноющие ноги, он сел в кресло и включил новости на France 1 — он понял эту заброшенность как то, что она потеряла свое значение, и что все равно она стоит здесь, потому что Йоргос выкопал ее, и что Д'Юрвиль велел привезти ее сюда, и что Равессон собрал ее и выставил, и все же она не имела никакого значения, мир изменился за последние две тысячи лет; та часть человечества, благодаря которой не напрасно Венера Милосская стояла где-то и символизировала существование высшего мира, исчезла; потому что это царство рассеялось, исчезло без следа, невозможно было понять, что могут означать один или два оставшихся фрагмента или кусочка, выкопанные сегодня, Шявань вздохнул — и он пошевелил пальцами ног в холодной воде, — не было ничего выше и ничего ниже, был только один мир здесь, посередине, где мы живем, где бегают один, четыре и семь, и где стоит Лувр, и внутри него Венера, глядящая в невыразимую, таинственную, далекую точку, она просто стоит там, ее ставят здесь или ставят здесь там, и она просто стоит там, гордо подняв голову в этом таинственном направлении, и ее красота исходит, она исходит в небытие, и никто не понимает, и никто не чувствует, какое это прискорбное зрелище, бог, потерявший свой мир, такой огромный, неизмеримо огромный — и все же у нее совсем ничего нет.

И все же у нее не было вообще ничего, даже никакого смысла —

Это была очень грустная мысль; Шейвань даже старался постоянно выбросить ее из головы, он не хотел думать об этом, он пытался убедить себя, ну почему же это не так

достаточно ли того, что он каждое утро мог встать и тотчас же снова оказаться в ее присутствии? — конечно, этого было достаточно; В такие моменты он расслаблялся, и сон действительно выгонял эти мысли из головы, и на следующее утро он снова появлялся на своем рабочем месте с той же легкой улыбкой на лице и занимал отведенное ему место в отведенной ему комнате, тактично удаляясь в один из внутренних углов — откуда он мог следить за посетителями, но одновременно мог видеть и восходящую фигуру Венеры — так прошел еще год, и снова наступила осень, и в городе часто шли дожди, хотя он этого почти не замечал, потому что не двигался с места, и Венера Милосская тоже не двигалась, там внизу все еще шла реконструкция, и никто не мог даже предсказать, когда статуя окажется на своем старом месте, и ни он не менялся, ни Венера не менялась — как и та длинная трещина в паросском мраморе, которая шла от задней части статуи по заднему контуру правого бедра и за которой, конечно же, строго следили реставраторы, но нет, ничего не происходило — и, в сущности, даже с ним ничего не происходило, ничего, дни приходили и уходили, толпы прибывали каждое утро и убывали каждый вечер, он стоял во внутреннем правом углу, наблюдая за глазами и лицом Венеры высоко в вышине, но никогда туда, куда смотрели глаза и лицо, он наблюдал за толпой, как они топтали друг друга, затем снова поднимал взгляд к статуе, и он просто смотрел и смотрел от одной осени к другой осени, он старательно смачивал ноги, он входил с семью, четырьмя, затем с одним, затем он уходил домой с одним, четырьмя и семью, он тщательно расчесывал волосы посередине головы по утрам влажной расческой, он стоял и стоял, всегда сцепив руки за спиной во внутреннем правом углу, он всегда слегка улыбался, так что к нему постоянно приближались, то группа без гида, то

одинокий посетитель, и он всегда начинал с того, что говорил — и никогда не говорил ничего другого, кроме — Пракситель, всегда просто Пракситель.

377

ЛИЧНАЯ СТРАСТЬ

Музыка — это печаль одного

который потерял свой Небесный дом.

Ибн аль-Фараз

Конец настал, и нет ничего, сказал он, и даже если есть что-то, то это лишь жалкое осуществление того процесса, скрытого вначале, который сделал случайность, все более вопиющую, а затем, наконец, наглую пошлость — посрамляющую даже самые ужасные предчувствия — совершенно победившей; потому что был век, когда нечто достигло своей собственной кульминации, высоты своих собственных безграничных возможностей, ибо это не так — нет, вовсе нет — что каждому веку дан свой собственный артикуляционный мир, мир, несравнимый с другими, и что искусство каждой отдельной эпохи, для каждого данного жанра, доводит внутреннюю гипотезу своей собственной внутренней структуры до совершенства; нет, решительно нет; все же это правда, ну; Я, добавил он, говорю о другом, а именно о том, что перед нами, после туманного звериного нуля, лежит длинный континуум, возникающий из всех шумов и ритмов, имеющих отношение к музыке, которая затем достигает — как она действительно достигла совершенства, более не поддающегося совершенству — свода кажущегося бесконечным небесного свода, особой границы Небес, близкой к божественным сферам, так что что-то — в данном случае музыка — возникает, рождается, раскрывается, но затем все заканчивается, больше ничего, то, что должно было прийти, пришло; царство умирает, и все же живет в этой божественной форме, и на всю вечность остается его эхо, ибо мы можем вызвать его, как мы вызываем его по сей день и будем вызывать его так долго, как сможем, пусть даже как все более слабое отражение оригинала, усталое и все более неуверенное эхо, недоразумение, все более отчаянное из года в год, из десятилетия в десятилетие, в распадающейся памяти

что больше нет мира, что больше не разбивает сердца людей; больше не возносит их в это место такого мучительно сладкого совершенства, потому что вот что произошло, сказал он и поправил подтяжки, возникла такая музыка, которая разбивала сердца людей, если я слушаю её, я всё ещё чувствую, в какой-то момент, после неожиданного удара, я чувствую, если не что моё сердце разбивается, то, по крайней мере, что оно распадается на части, когда я падаю от этой сладкой боли, потому что эта музыка даёт мне всё таким образом, что она также уничтожает меня, потому что как кто-то может подумать, что он может уйти, не заплатив за всё это, ну, как мы можем даже представить, что возможно преодолеть то расстояние, где существует эта музыка, и не быть уничтоженным сто, тысячу раз — если я слушаю их, я распадаюсь на тысячу мелких кусочков, потому что нельзя просто бродить в компании гениев необъяснимого музыкального наполнения и в то же время, скажем, уметь заполнять декларацию о подоходном налоге или составлять технический план для здание, пока эта музыка проникает в глубины вашего сердца, ну, это не работает, либо этот человек, заполняющий налоговые декларации или выполняющий технические чертежи, будет уничтожен, либо никогда не поймет, куда он попал, если эта музыка ударит его сверху, она определенно придет сверху, в этом нет никаких сомнений, и я — он указал на себя на трибуне обеими руками — я говорю только и исключительно о музыке, ни о чем другом; здесь нельзя обобщать дискуссию, невозможно распространить ход моей мысли на все виды искусств и болтать о подобных абсолютных обобщениях; то, о чем идет речь, что хотят сказать, должно быть сказано точно, и я тоже говорю сейчас, что я просто размышляю о музыке и что считаю свои высказывания верными только в отношении ее, так что я не могу начать с заявления, дамы и господа, сегодня вечером, в рамках этой широко разрекламированной лекции, которую вы услышите, посредством анализа сущности музыки, о сущности так называемого искусства как такового,

когда предметом моей лекции, предметом этой широко разрекламированной лекции, является только музыка; то есть во время прочтения этой лекции я как будто стою здесь с дымящейся бомбой в руках и говорю вам, что она взорвется через минуту; попробуйте представить себе, что я начал бы со слов: дамы и господа, и так далее, с этой бомбой в моих руках вы бы все бросились опрометью за дверь, не так ли? —

что было бы неплохой идеей, ну, может быть, в какой-то момент я превращусь в настоящую бомбу; в любом случае, пока просто представьте себе дымящуюся бомбу в моих руках, поскольку я попытаюсь этим вечером поделиться с вами своими мыслями о том моменте времени, когда возникла вершина музыки в мировой истории музыки, так что вы услышите от меня сегодня вечером такие вещи, которые вы никогда не слышали от других, и никогда не услышите, потому что я сам представляю — поистине, как анархист, держащий бомбу

— мой собственный тезис, и, как это ни странно, именно из-за этого тезиса я даже из нашего собственного вырождающегося общества исключен, сослан, изгнан; так что я являюсь объектом презрения, даже, говоря грубее, надо мной насмехаются; возможно, что среди вас есть те, кто думает, но, что ж, вы архитектор, который прочтет лекцию о своей личной страсти, о музыке, и как архитектор может быть исключен из общества, когда он находится в самом центре общества, в таком случае, может быть, кто-то из вас думает, что он, архитектор, настолько глубок, насколько это вообще возможно, только что в моем случае этот человек ошибается; Я архитектор, который никогда не видел ни одного построенного проекта, я не знаю, сколько зданий я уже спроектировал в своей жизни, мне сейчас шестьдесят четыре, так что вы можете себе представить, сколько я спланировал, спланировал и спланировал, сколько макетов и чертежей и кто знает, что еще возникло под моими руками, просто ни один из них так и не был построен, вот в чем дело, вы видите здесь сегодня лектора, который также является архитектором, но который ничего не построил, который сам по себе полный архитектор-фиаско, который, к тому же, даже не имеет отношения к архитектуре

в свободное время, и даже не торгует архитектурой здесь из деревни в деревню, благодаря программе районной библиотеки Килер «Дни культуры деревни», и который даже не будет говорить об архитектуре, но о чем-то, возможно, неожиданном для архитектора: о музыке, об одном из ее весьма своеобразных воплощений, потому что то, о чем я собираюсь говорить, поистине уникально, священный факт, потому что я буду этим пальцем

— и он поднял указательный палец, — обратите ваше внимание на определенную эпоху музыкальной истории, на необычайный, несравненный, неповторимый момент того, что мы называем музыкой, или, проще говоря, вы услышите о сути музыки высочайшего порядка, музыки, время которой пришло, так что с самого начала семнадцатого века до середины восемнадцатого века она шла, пусть этого будет достаточно для начала, вместо более точного обозначения, так как вы не можете ожидать от меня дат, я вообще не верю в даты, вещи перетекают друг в друга и вырастают друг из друга, все это движется как-то подобно щупальцам, так что нет никаких определенных эпох или других подобных глупостей, мир слишком сложен для этого, потому что только подумайте, где начинается случайность и где она кончается, вот и все, нет смысла искать даты или границы эпох, оставим все это экспертам, тем, кто либо слабоумный, либо упрямый всезнайка —

те, кто благодаря своему положению, вместо того чтобы просто сказать, что произошло, что в значительной степени произошло между этими двумя обозначениями времени, — могли бы трубить на весь мир, что музыка, история музыки действительно имеет вершину, от которой она не идет дальше, или, вернее, идет, но это только и исключительно так называемое печальное падение, потому что затем не происходит ничего другого, кроме медленной деградации формы, так что, может быть, правильнее выразиться так, что все это даже не грустно, а жалко, насмешка, долгая, затянувшаяся вульгарная церемония, но нет, те, кто принимает участие в этом вечно крикливом, фальшивом, низком

пропаганда, вдалбливая нам, что музыка, как и искусство вообще, есть наука, и вообще, что культура и цивилизация только таким образом продвигаются вперед, начиная с какой-то смутно обозначенной причины, и притом снова и снова превосходит себя, то есть развивается и, по их представлениям, достигает все более и более высоких уровней; смотрите на них как на людей, которые, одним словом, существуют для того, чтобы вводить вас в заблуждение своим престижем, и которые не только молчат, но и пытаются явно пре-кратить, ан-ни-цировать тот факт, что история музыки имеет свою вершину, после чего вся история музыки, summa summarum, начинает приходить в упадок, в конце концов она просто бросается в пошлость, замаскированную под кризис, и тонет в каком-то грязном липком потоке, но довольно об этом, давайте лучше поговорим о том, как я оказался во всем этом; может быть, было бы интересно, если бы мы на мгновение остановились на небольшом анекдоте, ведь я, конечно, тоже в курсе — хотя я и не профессиональный лектор, если не считать этих выступлений, организованных районной библиотекой, посредством которых, строго между нами, я просто пытаюсь пополнить свой скудный доход, — я прекрасно понимаю, что время от времени требуется небольшое облегчение, небольшой личный штрих, как говорится: удачно подобранная шуточная фраза, немного материала, почерпнутого из опыта, и в данном случае я предложу лишь краткий отчет об одном дне в офисе, куда я иногда захожу как досрочно вышедший на пенсию пенсионер, то есть о том дне, когда, вместе с, может быть, тридцатью такими же архитекторами, я совершенно бессмысленно занимался своим делом, склоняясь над бессмысленным архитектурным чертежом бог знает сколько раз, и коллега, сидевший рядом со мной, возился с маленьким карманным радиоприемником, лежащим на столе, наконец остановился на одной определенной станции и оставил там ручку настройки, и это, это случайное движение, которым палец моего коллеги остановил ручку настройки именно на этом момент, был роковым, я не преувеличиваю, он оказал на меня роковое воздействие, потому что оттуда начали раздаваться звуки, конечно, в ужасном качестве и не

впервые в жизни, но слышимая мной впервые в жизни, безупречная, красноречивая мелодия, произведенная на струнах, вместе со второй безупречной, красноречивой мелодией, а затем с еще одной, и эта мелодия-архитектура, став удивительно сложной, создана с ведущей партией высоко наверху, такая душераздирающая гармония, вызывающая во мне такую радость, в этом большом, бездушном, мрачном архитектурном ангаре, под флуоресцентными лампами, что я просто затаил дыхание; ну, я остановлюсь здесь, хотя я помню с точностью каждое мгновение того дня, и, конечно, также, какая музыка дрожала, трещала, скулила прямо рядом со мной: Оратория Кальдары, одна из арий для Санта Франчески Романы, это была Si Piangete Pupille Dolente, и таким образом я теперь попутно выдал, что вошел в барокко через маленькую боковую калитку, если можно так выразиться; сказал он и затем снова поправил подтяжки правой рукой, и это ему удалось лишь с трудом, потому что брюки его, несмотря на подтяжки, то и дело норовили сползти под живот, свернувшись толстыми складками, а другой рукой он потянулся за стаканом воды, поставленным на стол позади него, куда он, придя, бросил и пальто, во время чего восемь человек — шесть старух и два старика, составлявшие здесь, в сельской библиотеке, мужественную аудиторию этой совершенно непонятной лекции под названием «Полтора века неба», — получили еще один случай рассмотреть пожилого джентльмена, приехавшего из столицы, и определить, что у него, естественно, было много странных черт: невысокое, полное, податливое телосложение, несколько прядей волос, зачесанных на правую сторону лысеющей макушки, мягкий дряблый двойной подбородок, свисающий на грудь, или его голос, звучавший так, словно кто-то пытался выскребать остатки рагу из кастрюли металлическая щетка и старомодные очки с черной пластиковой оправой, которые могли оказаться на нем только по ошибке, потому что они были

настолько большой, что скрывал всю верхнюю часть лица, словно очки для подводного плавания, но на самом деле внимание местных жителей привлекал его живот, потому что этот живот с тремя колоссальными складками недвусмысленно посылал всем сообщение о том, что у него много проблем, неудивительно, что он постоянно поправлял резинки на брюках, как человек, который сам им не доверял, или как человек, чье доверие к ремням постепенно и осторожно росло, но снова и снова терялось, так что почти хотелось ему помочь, потому что все чувствовали, как эти брюки непрерывно, беспрестанно сползали вниз по этим трём толстым складкам жира, к бёдрам, сомнительно, что какие-либо брюки могут быть полезны с таким животом, и чтобы этот живот вообще мог быть полезен каким-либо брюкам, так что одним словом, слушающая публика, состоящая из восьми человек, была без исключения озабочена этими брюками, этими подтяжками и этим животом, ибо они не поняли ни единого слова из того, о чем говорил владелец кишки, и, более того, этот человек говорил без пауз, ни разу не понизив голос и не повысив его, не смягчив и не усилив его, и не было ни пауз, ни остановок, ни отдыха, ни терпения, он просто говорил, говорил и говорил, он поставил стакан с водой обратно на кафедру, взятую в соседней школе, и сказал: ну что ж, давайте перейдем к делу и возьмем один из шедевров Иоганна Себастьяна Баха, Quia Respexit Humilitatem из Magnificat, в которой величайший музыкальный гений всех времен в арии для альта создал своего рода соединение боли и смирения, скорби и мольбы, явно вызванное небесным увещеванием, которое само по себе может служить здесь достаточным примером, было бы достаточно упомянуть только об этих небольших отдельных композициях, чтобы мы пришли к мгновенному пониманию сущности барокко, всей этой эпохи, поскольку это наша сегодняшняя тема,

Барокко, и это то, о чем я говорил до сих пор, и это то, о чем я буду продолжать говорить, ибо я утверждаю и могу доказать, что именно через барокко музыка достигла той божественной возвышенности, о которой я упоминал ранее, откуда не было пути дальше; и все же, поскольку ее можно было поддерживать лишь краткое время — то есть, поддерживать ее было невозможно — ибо та звезда внутри нас, которая могла бы ее поддерживать, неизбежно угасла, эта звезда погасла, ее гении канули в лету, те, кто пришел после, превзошли их, превзошли так называемый музыкальный мир барокко, потому что именно эту фразу используют эксперты, они «превзошли» их, что само по себе является скандальным выражением и идеально выдает, с кем мы здесь имеем дело, что за персонажи используют такие обороты речи, потому что что это значит, превзойти их — превзойти Монтеверди, может быть?! превзойти Перселла?!

превзойти Баха?! — и все же, чтобы превзойти их, нам следовало бы превзойти их, не слушая их, — но этот проклятый XVIII век, эти проклятые последние десятилетия, все отравили и все разрушили, и заставили всех сомневаться, следует ли им слушать слова души — или разума, как они выражаются, разума, — теперь кричал лектор, и не было никого в зале, кто не чувствовал бы, что великий гнев дрожит в его голосе, даже если они все еще не имели ни малейшего понятия о смысле этого гнева, — и разума, кричал он снова, и превзойти — он повышал голос все больше и больше, так что наиболее робкие из слушателей начали украдкой поглядывать на выход, ибо все это — говорить в таком ключе — не просто низость, а беззаконие, ибо они, знатоки, прекрасно знали, кого они могут почтить в этом Монтеверди, этом Перселле и этом Бахе, они точно знали, и все же они все еще говорили о том, как время прошло мимо них, они объявили это в унисон, как будто время могло пройти за пределы чего-то, для чего посредником является вечность — Высочайший Бог на Небесах — лектор поднял обе руки к

потолок, свежевыбеленный не так давно, он поднял руки и яростно начал их трясти, так что, значит, после Монтеверди, после Пёрселла, после Баха, появится кто-то, кто будет большим гением в музыке? — или как?! — так кто же пришел после них?! — Я вас спрашиваю, — спросил лектор, теперь уже опуская руки, и публика действительно почувствовала себя неловко, потому что казалось, раз он смотрит на них, что это они и есть причина этой проблемы, что это на них он сердится, говоря: может быть, вы думаете о Моцарте?! об этом вундеркинде?! который был способен на все, равно как и на свою противоположность, вы думаете об этом гении приятности?!

— обаяние этого, несомненно, потрясающего шоумена?! —

этот поистине ослепительный артист развлечений?! — в этот момент один или два человека из аудитории попытались неуверенно показать «нет» своими головами, кто они?! — никогда они не подумали бы ни о чём таком, никогда бы это даже не пришло им в голову, они могли бы осторожно показать это своими головами, лектор уже был охвачен рвением и продолжал говорить нет, это не его обязанность, и особенно не здесь, в контексте такой лекции, — высказывать свои мнения и анализировать тех, кто пришел после этого Монтеверди, этого Пёрселла, этого Баха в классическую эпоху, в его задачу вообще не входило клеветать на них —

хотя он мог бы оклеветать классическую эпоху или пуститься в нападение, хотя он мог бы нападать на романтиков и так далее; вместо этого его задачей здесь, по его мнению, было хвалить то, что можно хвалить, и музыка барокко безоговорочно попадала в эту категорию; именно, только она и принадлежала к этой категории; потому что только это было достойно похвалы, к чему ему теперь было важно добавить, сказал он, что он, прежде всего, хотел бы поделиться своими восприятиями относительно вокальной музыки барокко; он не в каждой своей лекции говорил только об этом, но сегодня да, может быть, потому, что в центре анекдота, который он выбрал для этой лекции, была вокальная пьеса,

ария, которую Кальдара написал для некоего меццо-сопрано, возможно, именно здесь он мог выдать, что хотя он не всегда говорил о вокальной музыке барокко, когда он говорил о ней, как сегодня, он делал это с величайшим удовольствием, потому что было что-то в человеческом голосе, что он любил больше всего остального, если мелодия звучала на этом, человеческом голосе; и если ему приходилось выбирать между этим или тем, если он слышал мелодию на определенном инструменте, он вместо этого в одно мгновение выбирал человеческий голос, было что-то в нем, человеческом голосе, в культурном человеческом голосе, выражение которого было для него таким могущественным очарованием, незаменимым никаким изумительным инструментом, будь то клавесин, скрипка, альт, гобой, валторна, церковный орган или даже все они вместе взятые; ничто, но ничто не могло достичь того же уровня, что и культурный человеческий голос, и если бы они остановились здесь, то ему пришлось бы сделать личное замечание, что в этом жанре именно культурный женский голос произвел на него наибольшее впечатление, драматическое сопрано, темный альт, всегда обладали, так сказать, внутренней силой, которую трудно объяснить; в любом случае, ситуация была именно такой, так что рай для него был, когда этот орган, этот клавесин, эти скрипки, альты, гобои, валторны и так далее звучали одновременно, возвышая над собой этот определенный изысканный женский альт, ну, когда они были все вместе, вот так, он наполнялся невыразимым счастьем, в такие моменты он чувствовал что-то вроде старообрядцев Православной Церкви, когда они целуют икону Девы Марии с Младенцем, или как японский монах дзен в кюдо дзё, когда он выпускает стрелу из своего лука в цель, в самом деле и по-настоящему, он не преувеличивал, не думал образно: никогда он не чувствовал непосредственной близости присутствия Бога из какого-либо другого вида искусства, он никогда не получал этого, никогда не находил этого ни в каком другом виде музыки, ни в музыке, которая была до, ни в музыке, которая была после, только, только из

Барокко; представьте себе теперь фантастически пестрый музыкальный мир Европы того времени: сущность музыки звучала сотней способов, и с нашей точки зрения она звучала одновременно, потому что сущность музыки — это барокко; и вот он перечисляет, кто и когда, произнося имена одно за другим: Рейнкен, Порпора, Фукс, затем Шарпантье, Паизиелло, Бём и Шютц, затем Букстехуде, Конти, а величайшие — Вивальди, затем Гендель, затем Пёрселл, затем Джезуальдо, затем Иоганн Себастьян Бах?! — но только представьте себе рядом с ними бесконечную вереницу музыкальных лакеев, поистине сотни, возможно, тысячи, которые жили и поддерживали барокко своими произведениями, от английского двора до вилл итальянских князей, от замков Франции до замков Венгрии, потому что это было так, музыка барокко заполнила те приблизительно сто пятьдесят лет, которые ей были отведены, вы можете услышать одно непрерывно звучащее произведение музыкального искусства — чудесные интонации, чудесные гармонии, чудесные композиции и мелодии — если я вспоминаю об этом, сказал он, если я представляю себя во времена барокко и слышу первые несколько тактов «Страстей по Матфею», когда оркестр становится слышен, я задыхаюсь от слез, и я могу понять, я действительно понимаю, как даже один композитор более поздней эпохи, который на исполнении «Страстей по Матфею» не смог сдержать слез и жил в течение нескольких дней в мучительном экстаз, да, я могу понять, потому что я тоже переживал это каждый раз, когда, например, я слышу спокойное исполнение «Королевы Индии» или великого Мессии; спокойно, я говорю, сказал лектор, и эта формулировка здесь не случайна, потому что я ужасно, невыразимо страдаю, когда один из этих Карлов Рихтеров, один из этих грубых дилетантов сует свою уродливую морду в барокко, потому что эти люди уничтожают все, что есть барокко, потому что они так мало понимают, что унижают все, что есть барокко, это ужасно, когда они портят произведение искусства

это служит им добычей, но что еще ужаснее, так это то, как они ее портят, тут у меня нет слов, потому что они играют Баха, как если бы играли Бетховена, что в конечном счете и есть настоящий скандал, таких персонажей следовало бы изгнать из оркестрового мира барочного исполнения, или их следовало бы просто запереть в тюрьме, это было бы самое подходящее, потому что тогда они в принципе не смогли бы добраться ни до какой музыки, не говоря уже о том, чтобы бичевать барокко своими грязными руками и бесчувственными душами; исполнение, одним словом, должно быть спокойным, нет сомнения, что дух барокко присутствует только в случае спокойного исполнения; затем оно появляется, затем оно звучит, затем оно покоряет, разбивает сердце вдребезги, сбивает с ног, и это значит, что в выборе дирижера не может быть допущена ошибка, так что — если принять во внимание обстоятельства сегодняшнего дня — то грубоватый Арнонкур НЕТ, а Кристи ДА, воздушная Бартоли НЕТ, но Киркби ДА; затем ослабленная Магдалена Кожена НЕТ, но Дон Апшоу ДА, так называемый Барокко Камерный оркестр Цугдорфа НЕТ, но Les Arts Florissants ДА; Одним словом, при безупречном выборе мы можем достичь уровня, на котором барокко начинает звучать, настолько, насколько сегодня барокко может заставить себя услышать, потому что даже это не так самоочевидно, ведь только подумайте, если вы послушаете Scherza Infida из «Ариоданта» Генделя с Дэвидом Дэниелсом под управлением сэра Роджера Норрингтона, записанную в студии EMI Abbey Road, или даже нет, давайте оставим это, это недостаточно очевидно

— потому что это на самом деле слишком — но предположим, что вместо этого вы пошли бы на представление Ариоданта, где барокко появляется, без своего собственного мира — поскольку мира барокко больше нет, потому что в хаосе и распаде этого ужасного восемнадцатого века, как уже упоминалось, он пришел в упадок — вот вы сидите в зале и перед вами, скажем, Ариодант с Лоррейн Хант в Штадтхалле во Фрайбурге, но напрасно Лоррейн Хант та самая, напрасно

Барочный оркестр Фрайбурга — вот он, тот самый, ни Генделя, ни Ариоданта там нет, только память о них, ибо барокко там нет, весь мир уже стал антибарочным, театр антибарочный, занавес антибарочный, сцена, театральные ложи, публика, сам Фрайбург антибарочный с его бесчисленным количеством вонючего пива и со всеми этими бесчисленными вонючими туристами, и вся Европа антибарочная, нет ни одного уголка во всей Европе, где бы эта антибарочность не ощущалась, только уничтожение чего-то, чего уже даже не существует, продолжается и продолжается, ибо так называемые барочные музыкальные представления продолжают появляться одно за другим, и они не вызывают, а вместо этого разрушают суть барокко, записанную в партитурах, едва оно началось, как все уже разрушено, так что человеку действительно нужно огромная способность читать в вещах, невероятное воображение, нечеловеческая выносливость, беспримерное терпение, и я чуть не забыл, сказал лектор, что сверх всего этого ему нужна невероятная удача, чтобы время от времени ловить случай, когда при всех этих дарованиях барокко может коснуться его время от времени; и все же эта сосредоточенность, это терпение, эта настойчивость того стоят, если на таком исполнении музыки барокко — как, например, с Лоррейн Хант в Штадтхалле во Фрайбурге — человек может уловить в себе хотя бы тень, ибо ничего большего невозможно, сущности барокко; тогда этот человек примет участие в таком опыте, в такой встрече, которая дарует ему истинную силу, если можно так сказать — лектор, казалось, на мгновение задумался — истинную силу жить, потому что тогда жизнь без барокко не будет столь мучительной, после одной-двух встреч с тенью сущности барокко, произошедших благодаря огромной удаче — благодаря бесчеловечным усилиям Лоррейн Хант и Фрайбургского барочного оркестра — человек, шатаясь, выходит из театра, зажимает нос

липкий запах пива и туристов, он может быть уверен, что божественная сфера по крайней мере существует, он может быть уверен —

с глубокой и искренней благодарностью Лоррейн Хант и Фрайбургскому барочному оркестру — за то, что барокко существовало по крайней мере когда-то как живая реальность, записанная для нас и исполняемая, но в то же время это реальность настолько хрупкая, что ее слишком легко исполнить, и мы исполняем ее при первой же возможности, как только можем, и постоянно, мы играли все это целиком, как если бы ставки были в покере, и мы можем считать это нашим величайшим счастьем, если — и на этот раз с благодарностью и признательностью Лоррейн Хант и Фрайбургскому барочному оркестру!

— мы можем, шатаясь, выйти из концертного зала и бродить среди зловония пива и туристов, однако с тенью барокко в наших сердцах, о которой я просто не могу не повторять, что именно в барокко музыка, созданная людьми, достигла своей вершины, и если в начале я обещал, что не буду просто читать лекции вслух, не буду просто болтать без умолку, а действительно подтвержу, что это правда, то теперь пришло время мне это сделать, ибо вы уже достаточно услышали подробностей, я коснулся того и этого, но настоящее подтверждение ждет, которого вам, конечно, не следует ждать, сказал гость, снова дергая за зажим для подтяжек с левой стороны, чтобы проверить, держится ли он еще, так как только что он почувствовал, что эта сторона немного неуверенна, вам не следует ждать, повторил он, какой-то сложной, сногсшибательной демонстрации музыкальных элементов, я, если вы позволите, пропущу это и вместо этого попытаюсь сделать свои мысли более краткими, которые затем будут содержать это подтверждение, а именно, они привлекут ваше внимание к тому, что происходит в самые первые мгновения звучания данного произведения; я прошу вас тогда очень любезно, пожалуйста, закройте глаза, позвольте себе войти в дух, как, скажем, вы слышите первые такты Страстей по Матфею, первые тридцать два такта, когда два оркестра — как вы

знаете, есть два оркестра, два хора, две стороны, вступающие в темный, закручивающийся, трагедию, боль, окончательность — первые тридцать два такта, я вас спрашиваю, — обратился лектор к своей публике, подняв обе руки, словно благословляя их, он высоко поднял голову, закрыл глаза и ждал, но тщетно, потому что, когда он проверил, делают ли они то, о чем он их просил, лишь прищурившись между веками, чтобы они не заметили, он посмотрел на них и увидел, что тем временем его слушатели, состоящие из восьми человек, совершенно измотались, даже не думали больше о его подтяжках, ничто их больше не интересовало, и поэтому они отказали ему в просьбе, по крайней мере, он так думал, что они отказали, они просто не обращали внимания, потому что уже давно стали неспособны ни на что подобное, то есть вести себя как люди, которые наблюдают за тем, что здесь накапливается, так что они не смогли закрыть свои глаза, и поэтому они сделали это только тогда, когда приглашенный оратор, на мгновение прервав поток своей речи, бросил на них такой дикий взгляд, что они немедленно поняли, чего он от них хочет, и все быстро закрыли глаза; там сидели восемь человек из аудитории, и они совершенно не понимали, почему, но они ждали с закрытыми глазами, что будет дальше; после долгого молчания — потому что лектору тоже нужно было немного времени, чтобы вернуться к своему ходу мыслей — он заговорил снова, и все вздохнули с облегчением, потому что оратор продолжил именно с того места, на котором остановился всего мгновение назад, спрашивая: вы слышите? вы слышите эту темную силу? эту ужасающую красоту? эту угрожающую спираль, когда отдельные мелодии, кружась друг над другом, обрушиваются на весь оркестр, словно бурные морские волны?! да — он повысил голос — как непостижимое, бездонное, таинственное море с его волнами, вздымающимися вверх, все здесь, начало, это очевидно сразу, совершенная, сложная, ослепительная гармония, интенсивность музыкального

резонанс, никогда не достигавшийся до этого и никогда больше после, тот, кто слышит это, не нуждается ни в каких доказательствах, что это музыка высочайшего порядка, потому что сама музыка и есть доказательство, тот, кто слышит это, услышит гармонию голосов, как никогда прежде, собранных в таком богатстве, услышит в этой гармонии загадочную свободную красоту ведущей партии, и так говорит сердце — оратор ударил свое сердце правой рукой — так называемое доказательство; сердце говорит это, ибо это нечто, чего никогда не чувствовалось больше нигде, ни до Страстей по Матфею, ни после Страстей по Матфею, и вы должны понимать это так, конечно, не до барокко, ни после барокко, но если вы хотите, сказал он и снова немного повысил голос, это можно выразить и так: что ни в каком другом случае мы не можем говорить о таком виртуозном знании искусства музыкальной композиции, о виртуозности этой радужной многогранности, о таком необыкновенном виртуозном единстве музыкального языка, о таких ясных мелодических контурах, о таком беспримерном искусстве контрапункта, как исполнение музыкальной лаконичности, усвоенной у Вивальди, о ткани, сотканной таким непревзойденным образом внутренних частей, и вообще о такой утонченности гармоний, не выведенной ни у одного предшественника, как в случае с Бахом; точно так же, как мы никогда не можем даже говорить о законченном произведении его, а только о своего рода постоянно разрастающейся музыке, которая будет исправляться, обогащаться, редактироваться, выстраиваться, улучшаться снова и снова, музыке, которая только указывает путь к совершенству, но не тождественна ему, так что когда речь идет о Бахе — и так будет до конца этой лекции, сказал он, — ибо если сущность музыки есть барокко, то сущность барокко есть Бах, в нем воплощено в одном все, что присутствует, в рассеянном виде, в Вивальди, Зеленке, Рамо, Шютце, Генделе, Пёрселле, но также присутствует частично в Кампаре, Чимарозе, Альбинони, Порпоре, Бёме, Рейнкене, но в целом и целиком, только и исключительно присутствует в единственном гении барокко,

и таким образом, музыки, и в целом, Иоганн Себастьян Бах

— непостижимо, как все то, что представляет собой Иоганн Себастьян Бах, могло возникнуть, необъяснимо, если мы слышим эти первые такты из «Страстей по Матфею», когда хор звучит с широкой, бурной силой, все сметая по мере своего подъема, становясь все более запутанным, все более богато сплетенным, а именно, как чудо —

этот Иоганн Себастьян Бах прямо перед нашими глазами, в каждом отдельном произведении, и в этом случае — в «Страстях по Матфею» —

также звучит, рождается и снова рождается, потому что мы слышим, мы должны верить, и это то, что так невероятно, но мы слышим это, да? мы слышим небесную тяжесть этих голосов, падающих в бесконечной плотности, падающих вниз оттуда сверху, как снег, и вот мы там, в этом пейзаже, и мы изумлены, и у нас нет слов, и наши сердца болят от чудесной красоты всего этого, ибо барокко — это произведение искусства боли, ибо в глубине барокко есть глубокая боль, точнее, в каждом аккорде каждого отдельного музыкального произведения, созданного барокко, в каждой отдельной арии, каждом отдельном речитативе, каждом хорале и мадригале, каждой фуге и каноне и мотете и в каждом отдельном голосе скрипок, альтов, фаготов и виолончелей, гобоев и валторн, эта боль там, и она там также, если на поверхности предлагается своего рода триумф, спокойствие, возвышенность, радость или хвала, каждый отдельный голос говорит о боли, о той боли, которая отделяет его, Иоганна Себастьяна Баха, от совершенства, от Бога, от божественного, и которая отделяет нас от него; а именно, барокко — это форма искусства смерти, форма искусства, которая говорит нам, что мы должны умереть; и как мы должны умереть: это должно быть в тот самый момент, когда барокко звучит в музыке, потому что мы должны были бы закончить там, на вершине, а не позволить всему случиться так, как оно могло бы быть, и затем лгать, выпаливать эту болезненную ложь и учиться тому, как восхищаться такой музыкой, как этот Моцарт или тот Бетховен, или чем бы это ни было, всеми этими всё более скромными талантами, теми всё более

заурядные фигуры, были способны выдумать что есть мочи, воздавать наши восторженные приветствия сочинению Волшебной флейты, или той ужасной Пятой или Девятой, или изумляться тому, что можно услышать ужасного Фауста, эту безвкусную Фантастику, не говоря уже о самом отвратительном из всех, об этом императорском преступнике по имени Вагнер и его ревностных сторонниках, давайте даже не упоминать об этом, потому что, если я только подумаю об этом, — лектор покачал головой, выражая свое недоверие, — меня одолевает не стыд, не сознание унижения, а скорее темное желание убийства, потому что этот больной мегаломаньяк беспрецедентной некомпетентности обеднил музыку именно в той стране, где действовало барокко и великая фигура барокко, Бах; темное желание, если подумать, повторил он и посмотрел на аудиторию, и было очевидно, что он уже давно не занимался с ними и не смотрел на них, потому что, казалось, был потрясен этой публикой: публикой, то есть той, которая просто сидела в комнате, сгорбившись, совершенно опустошенная, не смея убежать, чьи надежды на то, что когда-нибудь эта лекция может закончиться нормально, давно угасли, и, более того, эти восемь человек — шесть старушек и два старика — дошли до такого состояния полнейшего изнеможения и отречения, как те, кто сдался, кто больше даже не предлагает, даже не предполагает никакого возможного конца, они просто ждали того, что должно произойти, потому что после этого придет и надежда — и это было написано на их лицах — надежда, что наступит момент, когда все в сельском Доме культуры получат сигнал о том, что их гость, этот гость из столицы, закончил свою лекцию о музыке; и когда спустя добрых десять минут, что, мягко говоря, было равносильно тому, что прошло два часа, наступил этот момент, никто не сдвинулся с места, потому что никто не мог в это поверить, ибо надежда, будучи бесполезной, пробуждается лишь медленно, однако то, что могло бы дать им повод для надежды, уже здесь, пусть даже только в последние десять

минут они уделили больше внимания: ведь лектор как раз сейчас грозится вернуться к анализу отдельных произведений, а именно, сейчас самое время вызвать, быстро, но немного беспорядочно выбирая из самого возвышенного: арию для альта, начинающуюся с «Bereite dich, Zion», из Рождественской оратории; арию для сопрано из Magnificat, «Quia respexit humilitatem»,

BWV 243; а также из часто упоминаемых Страстей по Матфею, ария, также для альта, «Erbarme dich, mein Gott», но затем он поджимает губы, он мог бы это сделать, но не собирается, поэтому соответственно он отказывается от вызывания

«Bereite dich, Zion» и «Quia respexit humilitatem», а также «Erbarme dich, mein Gott» и, видя и осознавая, что он немного зашел слишком далеко, и призывая свою аудиторию слушать только музыку барокко, теперь он прощается с ними самыми подходящими для этого времени и места словами, то есть теперь он цитирует величайший шедевр собора боли, наиболее близкого его сердцу, говоря так:

O selige Gebeine,

Seht, wie ich euch mit Buß und Reu beweine, Daß euch mein Fall in solche Not gebracht!

Mein Jesu, gute Nacht!

он цитирует его; гость слегка наклонил голову, так сказать, на прощание: он цитирует его и оставляет его дух здесь; затем он потянулся к своему пальто, брошенному на стул, поднял его, и так же медленно, как он начал застегивать его, он добрался до двери комнаты, и, к величайшему изумлению все еще недоверчивой, вытянутой публики, он оглянулся со слезами на глазах, затем он помахал один раз, поправил свои огромные очки, вышел, закрыв за собой дверь, и наконец они все еще слышали снаружи, когда он уходил, как он еще несколько раз кричит им в ответ, говоря mein Jesu, gute Nacht! Mein Jesu, gute Nacht!

610

ПРОСТО СУХАЯ ПОЛОСА НА СИНЕМ НЕБЕ

Он стоит в очереди: перед ним ещё пять человек, но не это его нервирует; он успеет на свой поезд, не поэтому, и, собственно, сказать, что он нервничает, — это даже не совсем точно передать его состояние, потому что он производит впечатление человека, потерявшего рассудок: глаза его горят, они безумно блестят и в то же время совершенно неподвижны, как у дикого зверя, готового прыгнуть в последний момент перед атакой, гораздо лучше, если никто в них не смотрит, и никто в них не смотрит, и кто бы ни встретился по несчастью со взглядом прославленного художника —

те, кто стоит перед ним, не смеют даже обернуться, а те, кто позади, стараются отвернуться — этот взгляд невозможно выдержать, так как совершенно очевидно, что господин Кинцль вне себя, очевидно, что совсем немного безобидного — ничего не будет достаточно, и господин Кинцль немедленно взорвется, набросится на кого угодно, поистине как бесконечно разгоряченный зверь, как дикий зверь, окруженный явно более сильной силой, когда любое сопротивление безнадежно, вот почему он такой, какой он есть, и это то, что все видят в нем этим ранним утром 17 ноября 1909 года, все, кто стоит в очереди за билетом на экспресс номер один.

•

Он понятия не имеет, почему они так на него смотрят, он был бы только рад сбить их всех с ног, разбить все эти любопытные фигуры на множество кусков одним ударом кулака, как они могли даже вообразить, что они могут сделать это, что они могут напасть на него вот так, с этим агрессивным идиотским взглядом снова и снова, о чем они только думают, он стискивает зубы, как долго он сможет выдерживать такое грубое вторжение в его траур, потому что никто не может утверждать, что он не знает,

со вчерашнего дня весь город только об этом и говорит —

от последней булочной до первого салона, от О-Вив до Рю де Гран — весть разнеслась повсюду, и вот эта наглость, он сжимает кулак в ладони, перед лицом своего траура, совершенно непростительное, нестерпимое, предательское вторжение, и эта проклятая очередь движется так медленно, какого черта этот кассир так долго возится с этими проклятыми билетами, а перед ним ещё пять человек, чтоб им небо над головой, сколько же ему тут стоять, поезд скоро отходит, и вообще он даже не уверен, стоит ли ему идти, в самом деле, не лучше ли свернуть с этой проклятой очереди и пойти домой, и оставить всё как есть?! — потому что тогда ему, по крайней мере, не пришлось бы видеть эти скользящие лица, потому что тогда ему, по крайней мере, не пришлось бы постоянно бояться, что в конце концов какой-нибудь идиот, обдумав все, сочтет себя обязанным подойти к нему и, повернувшись к нему, выразит свои соболезнования, ну, нет, не то, говорит себе Кинцль, если кто-то здесь, среди этих людей, осмелится даже попытаться это сделать, то он не задумается ни на мгновение, а схватит его и, не сказав ни слова, убьет насмерть; любого, кто даст хотя бы малейший намек на что-то подобное, одним ударом, он не задумается ни на секунду — в самом деле.

Гектор принёс весть в сентябре, но тогда уже ничего нельзя было сделать: ничего нельзя было сделать во всём мире, данном Богом, потому что нет от этого лекарства; все умирают: умер его отец, умерла его мать, умерли все его братья, сёстры и родственники, а теперь умер и Августин, и теперь у него нет никого из прошлого, только Гектор из Августина, потому что Августин умер, и с этим прошлым умерло, она тоже лежала лежа, со вчерашнего дня; все лежали лежа, все ложились однажды, и ничего от них не оставалось, только сухая полоска на синем; тот, кто оставался, не хотел с этим мириться, даже не мог этого сделать, всё устроено так, что тот, кто оставался, не мог этого вынести, он знал, он сознавал,

что, ну, Августина умерла, его старая возлюбленная, которая всё знала, которая знала, кем он был когда-то, и которая в конце концов подарила ему дорогого Гектора, и эту Августину, его бывшую Августину уже изъедают черви, её больше нет, и она уже стала лишь горизонтальной полосой на синем небе, и так же были здесь все они, в сущности, все те, кто здесь с ним, — он огляделся вокруг, — все мертвы, вот стоит куча мертвецов на синем небе, думает про себя Кинцль, но что ещё хуже, так это то, что эти пять человек всё стоят перед ним, а там, за билетной кассой, стоит эта дряхлая какашка, которая не способна выдать ни одного билета, это уже очевидно, билетов здесь не будет, поезд уходит, а они останутся здесь, эта куча мертвецов, здесь, на Женевском вокзале, окончательно погибнув в деле, которое казалось простым, 17 ноября 1909 года, когда уже в самые первые минуты они оказались в безвыходном положении, пожелав купить билет на поезд из Женевы в Лозанну.

Пейзажист сталкивается не с пейзажем, а с чистым холстом, а именно с тем, что писать ему нужно не пейзаж, а картину, и он уже много раз это заявлял, он начинает грызть усы от ярости, но что ж, он уже много раз это заявлял, совершенно напрасно, однако; люди думают, что он пишет так много пейзажей, потому что это благодатная тема для холста, они думают, что то, что они видят, прекрасно, но они просто слепы и не видят, что это не прекрасно, а что это — всё, но он повторяет это снова и снова напрасно, и, главным образом, он пишет напрасно, никто, глядя на одну из его картин, не видит, что он не просто художник, а нечто гораздо большее: пейзажист, из тех, кто не может делать ничего другого, кроме как писать пейзажи: то есть это так, если на холсте есть какой-то пейзаж, но также — и в той же степени — если есть фигура, так что, ну, то, что может написать пейзажист, всегда, в этом смысле,

пейзаж, и ничего больше, исключительно пейзаж, даже если есть фигура, он никогда не мог этого достаточно повторить, и он никогда не мог достаточно нарисовать, но теперь он ничего не говорит, он просто пишет, потому что зачем что-то говорить, все равно никто не понимает, лучше молчать и писать, не ожидая, что богатые клиенты последуют за ним, как они никогда этого не делали раньше — только в Париже и Вене, может быть, да, может быть, там; здесь же нет, и это даже не удивительно, если человек оглянется вокруг — этот мир никогда не меняется — в Женеве и Берне, и Золотурне, и Цюрихе вся эта духовная оцепенение раз и навсегда доказало, что оно вообще ничего не способно понять, потому что они никогда не давали себе труда думать вообще ни о чем, и никогда не могли, по крайней мере, здесь; он мог бы хорошо писать среди этих фигур все более внушающие благоговение полотна к последнему, великому, космическому концу, здесь же это было совершенно безнадежно; прежде, до сих пор, они не понимали и не покупали картин, теперь они всё ещё не понимают и покупают картины, так что, ну, изменилось только это: теперь он не беден, а богат; неизменно и в полной мере он, однако, был — один, именно тогда, когда мог бы поверить, что этому бесплодному заблуждению пришёл конец, потому что нет, конца не будет, они никогда не поймут даже, что значит писать пейзаж, стоять перед сценой, и тогда неважно, будет ли это сцена Граммона или Августина на смертном одре, стоять там, смотреть на эту жизнь, уходящую навечно в смерть в человеческом и природном пейзаже, и изображать то, что перед ним, когда он поднимает взгляд от чистого холста: вот и всё — кому он должен это объяснить?! может быть, этим людям на вокзале, которые только и способны, что растоптать его траур?! снова оскорбить его?! ибо если есть кто-то вообще, ну, он действительно не может рассчитывать на то, что они проявят хоть какое-то уважение, теперь в этом трауре он должен молчать, он должен молчать и

продолжайте рисовать все, чем был Августин, и чем он будет, и что от Августина останется.

Она лежала, откинувшись на спину, и он сдернул с нее простыню, чтобы увидеть, во что превратился Августин, когда сердце его, разбитое болью, почти остановилось в груди; он сдернул простыню, потому что привык делать это и в других случаях: когда он сидит на склоне Граммона или в Шебре, на высотах Сен-Пре, и его мозг, его душа совершенно напряглись, он сдергивает простыню с пейзажа и принимается смотреть поверх чистого холста, затем равномерно, слева направо, толстой кистью или, все чаще, самим мастихином, брать синий, фиолетовый, зеленый и желтый, а именно, когда начинает работать на холсте или чтобы сделать его еще более плоским; уже много лет он пишет одну и ту же картину, где меняется только холст, но картина почти всегда одна и та же, где и цвета, и параллельные плоскости, и пропорции неба, воды и земли на картине, по сути, одни и те же

— он сдернул простыню и увидел то, что осталось, то, что было, и это продолжалось долго, пока он наблюдал своим напряженным мозгом; пока он не смог разгладить простыню обратно; и он чувствует, как не только его сердце, но и его разум разбивается от потери, потому что он должен думать, и его разум почти разбился в размышлениях за весь предыдущий вечер, который он провел рядом с мертвой женщиной, и он снова разобьется, решает он своим грохочущим мозгом здесь, перед билетной кассой, ибо насколько он знает, что он действительно находится в непосредственной близости от того, что видит, он все еще не видит этого в его окончательном виде на этой картине — его сущность, сконструированная согласно уже незыблемым принципам — он знает, что ему еще нужно что-то изменить, может быть, желтый должен быть немного грязнее, может быть, синий немного резче, что-то каким-то образом должно быть изменено по сравнению с тем, что было до сих пор, с Женевским озером он движется в правильном направлении, но знать точно, куда

Теперь, что ему делать дальше, для этого ему нужны мозги в голове, и ему уже нужен билет, который он не может получить, так как он все еще стоит здесь перед билетной кассой, а перед ним все еще четыре человека.

Валентин тоже умрёт, эта мысль внезапно пронзает его, когда он стоит в очереди, Валентин тоже будет лежать, страшная мысль пронзает его, и он не сможет вынести и этого, значит, так тому и быть, Валентину тоже, этой непостижимо прекрасной, неизмеримо манящей, сводящей с ума, изысканной женщине, его нынешней возлюбленной, к которой он мчится с этой потерей и с разумом, скованным болью; она тоже кончит, как все и вся, лежа в синей полоске, падая в постель, становясь исхудавшей, ее кожа высыхает, ее лицо впадает, ее грудь впадает, и эта чудесная плоть сойдет с нее до костей, точно так же, как это было с Августином, точно так же, как с его матерью, и его отцом, и его братьями, и его родственниками в его любимом Берне, точно так же, точно так же, как с каждым мертвецом здесь, там и повсюду, но сначала придет новость, если это действительно произойдет, и застанет кого-то посреди этой ужасной жизни, и он начнет ездить к ней снова и снова, может быть, с экспрессом номер один каждый день после полудня, точно так же, как он делал с Августиной с сентября, чтобы всегда быть рядом, чтобы быть рядом с ее кроватью, изо дня в день, просто чтобы ей не пришлось умирать в одиночестве; если придет время, может быть, все будет точно так же, как с Августином — он просто стоит в очереди, перед ним все еще четыре человека, и он пытается отмахнуться от этой мысли, но это не получается — Августин и Валентин — она пульсирует в его мозгу, и он уже видит их, двоих мертвых, один на другом, вытянутых в длину, как полосы цвета на его холстах, как начало и конец бытия в Космическом Целом, два тела, истощенные до скелетов, с запавшими глазами, сужающимися носами, лежащие

вытянутые друг над другом, как вода над землей, могучее небо лежит над водой, плавая в синеве смерти.

Может быть, всё действительно происходит точно так же — Кинцль наконец-то делает шаг вперёд в очереди —

потому что каждая история повторяется, жизнь в жизнь, и в конце, конечно: смерть в смерть, думает он с омраченным лицом, ну он не художник смерти, говорит он, а жизни, и теперь он даже произносит слова вслух, почти понятно для тех, кто стоит рядом с ним, он не знает, и ему даже не интересно, слышат ли они, что он бормочет, художник жизни, он повторяет это несколько раз, жизни, которую он несказанно любит, он любил ее в Августине, и он любит ее в Валентине, вот почему он рисовал даже ее мельчайшие вибрации в течение этих долгих лет, вот почему так важно, в конечном счете, вопрос жизни и смерти, сделать самый решительный акцент на этой вибрации, в Августине и в Женевском озере, придать ей акцент, если он видит ее в местной смерти, это его задача, и поэтому он это делает, потому что это правильно, он не может поступить иначе, он должен быть художником единства, таким образом, ну, он должен предаться смерти, но ничто не может заставить его не найти места для этого простого обрывка факта, присутствия жизни, ее вечного возрождения, в зелени и золоте, — не поместить его туда, где он сверкает, он будет искать для него место, и он поместит его туда, думает Кинцль, и вот в его ужасно напряженном мозгу возникает картина из женевской ткани, написанная недавно, в которой серо-голубой цвет воды простирается к сильной, землисто-желтой полосе внизу, слоями цвета, которые следуют и отдаляются друг от друга, придавая глубину и величие сцене; затем есть противоположный берег озера, изображенный тонкой зеленой, бледно-фиолетовой и более ядовитой зеленой: все это внизу, заключено в нижней трети холста, так что затем он может написать небо в гигантском пространстве, в двух третях холста

простираясь над ним, над горизонтом дальнего берега, какой-то слабый, бледнее бледного солнечного света, падающий в золоте вместе с его клубящимся туманом, затем высоко вверху, просто чистая синева чистого неба, повторяющиеся скопления белых облаков, следующих друг за другом, соответственно, тогда, примерно двенадцать слоев, расположенных друг над другом: и с этими примерно двенадцатью слоями, расположенными друг над другом, с этими грубыми двенадцатью мертвенными параллелями, брошено туда вниз, как можно грубее: Это твой Космос, это Полное, Целое, примерно в двенадцати цветах: ВСЕ, от Кинцля — и вот — он стоит, переступая с одной ноги на другую в ряду, — это твое.

Перед ним трое, и теперь он просто не верит своим глазам, такой медлительности не может быть, старик, железнодорожный чиновник, продающий билеты за окном, отсюда он прекрасно видит, замедляет процесс всеми мыслимыми способами, после того как пункт назначения был объявлен, он неоднократно переспрашивает для подтверждения, Морж, в самом деле? Нион, да? Что ж, это замечательно, желаю вам всего наилучшего, это действительно обещает быть приятной поездкой, так что вам нужен билет до Селиньи, верно? Могу я спросить, в каком классе вагона желает ехать господин? Первый класс, это просто чудесно, демонстрация поистине превосходного вкуса, и я могу заверить вас, что это будет исключительно удобно, так что, Морж? Нион? Селиньи? Лозанна? словом, так продолжается до самого верха очереди, самыми окольными путями, снова и снова приводя к полной остановке каким-нибудь осторожным вопросом или излиянием глупостей, вдобавок к этому, как теперь понимает Кинцль, краснея от ярости, люди, стоящие перед ним, даже явно наслаждаются и ценят это, какой милый старичок, замечает кто-то с билетом в руке, отворачиваясь от стойки, проходя мимо Кинцля — этого болтливого болвана, он качает головой в недоумении, да, Морж, громко бормочет он себе под нос, да, Нион, да, да, Селиньи и Лозанна, разве вы не слышите, любезный, что они говорят? — Морж,

Ньон, Селиньи, да отдайте им уже билеты, это должно быть вашей заботой, к чёрту всё это, и он бросает всё это в благоразумную тишину, никто не реагирует, все стараются сделать вид, будто ничего не слышали, и как будто они даже не понимают, почему месье Кинцль так нетерпелив, ведь до отправления поезда наверняка ещё много времени, и уж точно не прошло и трёх минут с тех пор, как он встал в очередь, они не понимают, но они даже не осмеливаются по-настоящему задуматься об этом, чтобы что-нибудь не отразилось на их лицах, потому что месье Кинцль кажется неизменно и невыразимо опасным, взгляды отведены, глаза опущены, потом лёгкий кашель или два, потом даже этого нет, только тишина, и терпеливое ожидание, и какое-то общее согласие и прощение —

что просто бесит его, Кинцля, еще больше — за всех

знает

что

случилось

вчера,

что

Мадемуазель Огюстин Дюпен, бывшая натурщица господина Кинцля из трущоб, умерла, и они знают, что могла выстрадать эта бедная дама, и что, должно быть, страдал сам господин Кинцль, и как великодушно он вел себя с этой бедной изгоем, он, знаменитый художник города, который за какие-то пару лет стал миллионером, обеспечивая ее всем самым лучшим, сидя каждый день — и по целым часам! — у постели умирающей, тем самым доказав свою сильную, верную натуру, ибо он, конечно, ни в коем случае не покидал ее, ту, которая в его былой нищете была не только его образцом, но и в самом интимном смысле этого слова его спутницей, более того, матерью их маленького мальчика, словом, город знал все, но все о событиях вчерашних и о событиях, которые вчера происходили, и, конечно, здесь, среди людей, ожидающих билет, ситуация не была иной, они, однако, также осознавали и хорошо знали, что лучше не противостоять его неистовой натуре, а именно, что он все больше давал знать о своей неспособности справиться со своей болью, и одного неподходящего слова было бы достаточно, и

он может просто броситься на одного из них, и в конце концов из нынешнего господина — богатого и достойного художника — вырвется прежний невоспитанный, неряшливый бродяга из Берна, столь же знакомый всем.

Августин и Валентин, эхом отзывается это в его голове, и он не может выбросить из головы ту картину Женевского озера, которая возникла раньше, картину, еще не имеющую названия, но законченную на днях: навязчиво преследуемая последовательность, он не может выбросить из головы эти двенадцать навязчивых параллелей, и во внезапном ужасе от смежности он говорит себе, что позже... позже, вместо желтого, внизу будет гореть металлический матовый сине-зеленый, затем брызнуть УЖАСНЫМ количеством охры, коричневого и багряного, и на небо тоже, так что оно будет пылать и охрой, и мертвым багряно-коричневым, только наверху останется какая-то сероватая зловещая синева; затем горный хребет на противоположном берегу должен ярко гореть темным мертвенно-голубым, окончательно синим цветом, потому что в конце концов эта картина должна засиять, должна пылать, должна гореть, и затем внезапно во вспышке он видит себя в поезде, который везет его в Веве: где-то между Нионом и Роллем он вдруг замечает там внизу, из окна хорошо натопленного вагона, оборванную фигуру, борющуюся с сильным ветром, его самого в 1880 году, идущего со всеми завершенными им картинами на спине и под мышкой в Морж, чтобы продать их, и вот в буре появляется побитая, лохматая собака; ветер дует ему навстречу, все еще в основном с озера, и он обрушивается на них снова и снова; и до Моржа пешком еще очень далеко, на дворе 1880 год, и он голоден, а рядом с ними бежит поезд из 1909 года, собака бежит за грохочущими колесами и лает, поезд исчезает из виду, как недостижимый сон, в котором он через мгновение займет свое место в одном из купе второго класса, и исключительно с правой стороны у окна, потому что хочет видеть озеро, ничего

только не озеро, ибо, право же, как никогда прежде, он хочет только видеть это озеро, как это озеро наполняет свое огромное пространство, с довольно узким берегом здесь внизу, и довольно узким берегом там, по ту сторону, а наверху, все это огромное небо, — если бы только ему удалось выгнать из головы эту гнилую паршивую собаку, бормочет он себе под нос, но на этот раз так громко, что все стоящие вокруг него ясно понимают его слова, хотя и не знают, что думать о господине Кинцле, который теперь хочет избавиться от какой-то собаки, которая не двигается с места, он напрасно пинает ее, она никак не оставляет его в покое, она все идет и идет, раздраженно говорит Кинцль, просто тащась рядом с ним, как будто во всей этой преданности есть какой-то смысл.

Он холоден, говорят они, отвратителен и бесчувствен, он слышал это сотни и сотни раз, что он суров, и беспощаден, и жесток, и бесчувствен, и развратен, однако этим они только выдают — он делает шаг вперед, — что они боятся его, потому что это действительно ужасно, когда им приходится сталкиваться с тем фактом, что он здесь, тот, кто посреди вечной смерти и в величайшей нужде должен был вырваться в действительно суровый, беспощадный, бесчувственный и развратный мир, с этим действительно неопровержимым желанием в нем, чтобы наконец кто-то мог сказать что-то об истине, но что это за утверждение — он холоден, и отвратителен, и бесчувствен!

и его разум снова наполняется яростью, и теперь он тот, кого назвали бы отвратительным и бесчувственным! именно его, которого можно было бы назвать фанатиком реальности, если вообще можно назвать; но не холодным и бесчувственным, нет, не это; в гневе он начинает нетерпеливо дергать себя за бороду перед окошком билетной кассы, никто никогда туда не доберется, никогда не доберется до того, чтобы понять, понимает только Валентин, никто — только Валентин, и только Валентин

— понимает, что он так одержимо ищет, и никто не может сказать, что он бесчувственный, потому что это было

именно то, что было так невыносимо в его ужасной жизни, что он не был жестоким, но все было — от Женевы через Берн и вплоть до Цюриха — именно он преодолевал все с величайшей чувствительностью, потому что он один имел сердце, и этим сердцем он смотрел на пейзаж, и он смотрит на него также и сейчас, и именно этим сердцем он видит сейчас, что все сплетено воедино: земля с водой, вода с небом, и в землю и воду и небо, в этот неописуемый Космос вплетено и наше хрупкое существование, но только на одно мгновение, которое невозможно проследить, затем, уже, его больше нет, оно исчезает навечно, безвозвратно, как Августин и все, чем был Августин вчера, ничего больше не остается, только и исключительно пейзаж; в его случае, затем звучит гудок локомотива со стороны путей, и с этим эта линия, где перед ним только женщина в шляпе, внезапно ускоряется; он снова говорит вслух сам с собой, в его случае остается Женевское озеро, лежащие монументальные полосы в мертвом синем пространстве, Великое Простор, эти два слова начинают стучать в его голове, точно так же, как, через мгновение, колеса под вагоном, отъезжающим от Женевского вокзала: монументальное, непостижимое, Великое Простор, которое включает в себя все, высшая картина которого, конечно же, прямо здесь перед ним, и он напишет ее, он наконец подойдет к билетной кассе — он зайдет так далеко, он бросает, с двумя безумно горящими глазами, явно испуганному пожилому железнодорожному чиновнику, что он хочет билет второго класса до Веве; он уже знает, какое название он даст картине с изображением озера, законченной не так давно, он уже знает, что как только он вернется от Валентина, его первым делом будет пойти в мастерскую, снять картину с мольберта и записать на листке бумаги, и, наконец, прикрепить к обороту картины те несколько слов, которые он не может выразить точнее, чем сказать, что он, Освальд Кинцль, находится в путешествии, путешествии в

правильное направление, всего несколько слов, а именно «Fomenrytmus der Landschaft», отсюда и самое подходящее возможное выражение для картины, чтобы она не просто имела название, но и в свойственной ему лаконичной форме давала миру знать, поскольку это может быть любопытно, давала миру знать, кем он был, что он за личность, на чьем надгробии однажды будут написаны слова: Освальд Кинцль, швейцарец.

987

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СВЯТИЛИЩА ИСЭ

Он не сказал: «Я Кохори Кунио», он даже не поклонился в ответ и не принял рукопожатия, предложенного одним из них, он довольно долго молчал, просто слушал, точнее, слушал с едва скрываемым нежеланием до конца их рассказа о том, почему они здесь, в Дзингу Сити, кто они и чего хотят; затем он сообщил им, что относительно упомянутого ими имени, госпожи Бернард, хотя он и знает, кто она, отсюда и из Гарварда, в отношении их просьбы он не может сказать ни «да», ни «нет», поскольку этот вопрос не входит в его компетенцию; он уже давно — и здесь он повторил эти слова очень многозначительно, подчеркнув «очень давно» — не работал в Департаменте по связям с общественностью; затем, с недружелюбной гримасой, он дал им понять, что он ни в малейшей степени не желает обсуждать свое теперешнее положение с двумя незваными гостями, более того, он вообще не желает ни о чем с ними говорить, и не желает иметь с ними никаких дел, он нисколько не желает вмешиваться в разговор с двумя иностранцами, он уже даже жалел, что ему пришлось спуститься из кабинета Дзингу сюда, в общественную часть Найку, словом, он намеренно вел себя недружелюбно, чтобы унизить их, и немного угрожающе также, как будто хотел дать им понять, что будет лучше, если они откажутся от своего плана; Если бы они продолжали свою просьбу, они бы везде встретили отказ, даже если бы они подали официальное заявление, скупую рекомендацию, которой он хотел бы завершить этот унизительный для него разговор, они бы получили от Департамента по связям с общественностью Дзингу Ситио исключительно один и только один ответ: отказ в самых решительных выражениях, и они

не стоило даже рассчитывать на что-то иное, Дзингу Ситио и эти двое просто не подходили друг другу, им следовало бы оставить даже попытки, им следовало бы покинуть Найку, и в особенности им следовало бы перестать пытаться представить своё присутствие, столь неуместное здесь, во всё новом и новом свете, так что, право же, он опустил уголки губ и посмотрел куда-то в высоты над лесами Найку, как они могли вообразить, что могут просто так появиться здесь, приставать к нему, доставлять ему неудобства, спускаясь из его кабинета и спрашивая разрешения, в районе парковки перед зданием Ситио, принять участие в 71-й перестройке святилища Исэ, в церемонии, известной как Мисома-Хадзимэ-сай, и во всём остальном, как могло прийти в голову европейскому начинающему архитектору и японскому дизайнеру тканей Но, как они себя называли, что они вообще могут ступить на самое священное место во всей стране, он прекрасно видел, его презрительный взгляд предложил, оглядываясь вокруг со все возрастающим раздражением, что же это за люди такие: люди, которые ни одеждой, ни осанкой, ни манерой говорить, ни манерами не подходили, ни по своему социальному положению не были приемлемы, и, в особенности, способ, которым они передали свою просьбу, возмутил его, так что, пока они пытались со все более подобострастным поведением и все более смиренными словами обратить вспять направление своей случайной аудиенции, теперь уже совершенно безнадежной, Кохори Кунио просто оставил двух просителей там; они стояли довольно долго, совершенно ошпаренные, не в силах даже пошевелиться, этот прием так застал их врасплох, потому что, хотя они и подозревали — главным образом японский друг, — насколько сложно будет получить генеральный мандат от Дзингу Ситио, хотя они подозревали, что возникнут серьезные препятствия, они — по крайней мере гость из Европы —

не подозревали, что их первая попытка закончится таким фиаско, не говоря уже о том, что так называемый разговор, который

произошло с Кохори-саном, который исключил даже возможность того, что он когда-либо снова будет общаться с ними, ни лично, ни письменно, так что они покинули общественное место Найку, опустив головы и со скоростью бегущих людей, и им даже не хотелось искать самое важное для них место в Найку, в этом священном лесу, они просто бродили там снаружи, по улицам Исэ, они повесили головы и по разным причинам не произносили друг другу ни единого слова, таким образом прошел час, прежде чем они смогли вернуться к главному входу, чтобы на этот раз пойти по тенистой грунтовой тропинке, ведущей между величественными деревьями, по крайней мере, до центра главного святилища, чтобы взглянуть на хондэн — точнее, на то, что их больше всего интересовало — так называемый кодэнчи, огороженное пустое пространство в непосредственной близости от хондэна, которое двадцать лет назад служило местом расположения старого хондэна, но с момента сноса и полного удаления хондэн двадцать лет назад, теперь, следуя условиям, был усеян и полностью выровнен, как и другие второстепенные святилища в этом священном лесу, грубо отесанными кусками белого известняка; они все равно хотели увидеть место, которое — как японец сформулировал это своему западному другу — было отражением хондэна, но без самого хондэна, потому что в Исэ, в двух святилищах этого небольшого города, то есть в лесах Найку и Гэку, в непосредственной близости от каждого значительного комплекса зданий, как бы прижимаясь к существующей группе зданий, находится пустое пространство точно такого же размера, как и в существующей группе зданий, пустые участки стоят рядом с комплексами зданий, покрытые белыми камнями, нарезанными на куски размером с кулак, и они буквально сияют в чистом лунном свете двадцать лет: группа зданий, пустое место, пустое место, группа зданий, так все и происходило здесь, в Исэ, со времен указа Тэмму,

потому что, согласно легенде, именно он, император Тэмму в седьмом веке, первым повелел в шестьсот с чем-то лет, чтобы каждые двадцать лет вся структура святилищ как в Найку, так и в Гэку, то есть как внутреннее святилище Аматэрасу Омиками, так и внешнее святилище Тоёоке Охоками — снова и снова перестраивалась, а именно, что на соседних участках земли, оставшихся пустыми и соответствующих с полной точностью основному плану нынешних зданий, отдельные здания будут построены заново, а старые будут снесены, хотя указ Тэмму гласит, что не просто копии всех этих зданий должны быть перестроены заново, но что те же самые здания должны быть перестроены еще раз, и все — каждая балка, кусок кладки, штифт, карниз, накладка — действительно, с точностью до волоска, должно быть перестроено таким же образом, в то же время и в том же месте, чтобы это можно было обновить, чтобы это могло поддерживаться в свежесть рождения, и если мы говорим о Найку — а мы говорим об этом из-за двух посетителей — то это для того, чтобы Аматэрасу Омиками, божество солнца, не покинуло нас и осталось среди нас, и тогда — наслаждаясь сияющей силой свежести — она не покидает нас и остается среди нас до тех пор, пока это обновление действительно поддерживает два великих святилища во времени: поддерживает хондэны Найку и Гэку, т. е. сёдэн внутри хондэнов, которые служат местом жительства божеств; три сокровища, а также ограда, окружающая их, все как будто только что появились на свет сегодня, в истинной яркости творения, в сфере поистине вечного настоящего, потому что таким образом вся древесина хиноки всегда свежая, потому что таким образом позолоченные балки всегда свежи, крыши и ступени свежи, все соединения и строгания свежи, всегда можно почувствовать, что плотник только что закончил свою работу, что он только что поднял свою стамеску с деревянной доски, и поэтому каждый отдельный кусок хиноки всегда имеет

сладкий аромат хиноки; святилище Исэ, соответственно, сияет свежестью с шестисотого года, так же как и главное святилище Найку

светит также и там, куда сейчас смотрят они двое, но они уже отводят свой взор, сюда, на кодэнчи, на эту пустоту, на эту незастроенность, на эту чистую возможность с ее белыми камнями, где всю эту пустоту нарушает только маленькая хижина, служащая основой для будущей работы и защищающая священную колонну, син-но михасира, в середине задней части площади; они смотрят на это пространство, которое горит, так сказать, в предвкушении, на это пространство, которое станет местом проведения 71-го Сикинен Сэнгу, места 71-й перестройки, то есть немедленной, так как сейчас март, а 71-й Сикинен Сэнгу начнется в мае, то есть осталось восемь лет до того, как в 2013 году произойдет смена, которая происходит каждые двадцать лет. Дзингу Ситио получает восемь лет от императора Тэмму, пока не истечет двадцатилетний срок, и для того, чтобы новые, то есть нынешние собранные здания святилища Исэ, были восстановлены; Вот что они писали друг другу, вот что они анализировали в своих письмах между Японией и Европой, когда впервые возникла идея, как было бы замечательно для студента-архитектора и местного жителя, интересующегося японской культурой, проследить во всей полноте, как проходит Сикинэн Сэнгу, подобный этому, в своих бесчисленных церемониях, более того, не просто проследить за ним, но и понять кое-что из него, западный друг написал невинно, да, японцы отреагировали с некоторым беспокойством, возможно, подозревая что-то в этом сложном процессе, о котором никто не мог знать заранее, настолько закрытым для всего мира был этот процесс, никто ничего не мог знать о нем, только Император и родственник Императора, представлявший императорскую семью, как это случилось со старшей сестрой Императора — затем, конечно, дайгудзи, верховный жрец, сам тесно связанный с императорской семьей,

жрецы Исэ и, наконец, мия-дайку, настоящие инструменты в руках непрерывного божественного творения, или, проще говоря, плотники храма, и только в этом случае, случае Исэ, необходимо сразу же добавить, что мы говорим о плотниках святилища Исэ, потому что их обучал сам Дзингу Ситио, он их назначал, нанимал, использовал, заботился о них и хоронил их, и они не могли заниматься никакой другой работой, кроме этой; они не могли заниматься никакой другой работой, кроме этой; Работа, в самом строгом смысле, продолжалась до конца их жизни, поскольку они были не просто плотниками, а ритуальными плотниками, которые работали в ходе операции по восстановлению святилища, используя особые инструменты, особые материалы, особые методы, одним словом, с особым сознанием, полностью уединившись от публики, так сказать, тайно, точно так же, как все участники Исэ Сикинэн Сэнгу работали тайно, от плотников до верховных жрецов, тайна, которая в первую очередь могла быть объяснена кажущейся наибольшей вероятностью того, что чистота процесса — одна из важнейших целей синтоизма — могла быть сохранена с самого начала до его завершения и что, ну, тогда именно это, эта открытость, эта так называемая современная Япония, и не в последнюю очередь полная секуляризация системы покровительства, заставляли или вынуждали из года в год конфиденциальный внутренний круг Сикинэн Сэнгу отказываться от чего-то из этой великой тайны, с Императорская семья в авангарде, по имени Куниаки Куни, нынешний верховный жрец святилища, старший брат принцессы Кодзюн, сын принца Асаакиры Куни, который считал, что святилище Исэ должно быть открыто для мира, и это означало, что уже предыдущий Сикинен Сэнгу во время семидесятой перестройки допускал журналистов и телевизионных репортеров на некоторые церемонии; более того, под покровительством Дзингу

О самом Сичо был снят документальный фильм

Процесс Сикинен Сэнгу, который, хотя и не раскрывал почти ничего о нем, все же давал своего рода поверхностный отчет, по крайней мере привлекая внимание, причем внимание широкой публики, к тому факту, что есть нечто под названием Сикинен Сэнгу; однако верховный жрец считал — и ранее упомянутый доверенный внутренний круг Сикинен Сэнгу с ним согласился — что было бы все же лучше, если бы Дзингу Ситио твердо держался за то, что разглашается, а что нет, тем не менее здесь случилось так, что фильм был снят таким образом, что он, казалось бы, что-то раскрывает, в то же время скрывая суть вещей обычным образом; одним словом, с точки зрения инициаторов большей открытости, это оказалось верхом успеха; однако в истории знания Сикинен Сэнгу он оказался абсолютной мешаниной, более того, напрямую вводящей в заблуждение, все в Японии это знали, но мало кто что-либо говорил об этом, даже кто-либо из близких к императорской семье; люди относились к делам императорской семьи с глубочайшим сочувствием, тактом, вниманием и терпением, и с благодарностью за все, чем Кунаитё — то есть Управление императорского двора, представлявшее императорскую семью, — оказало Японии честь, доведя это до сведения общественности, так что, очевидно, стало возможным то, что ранее немыслимо, что неяпонцы, но так называемые ученые-исследователи, имеющие тесные связи с Японией и синтоизмом, — например, недавно скончавшаяся Фелиция Гресситт Бок или г-жа Розмари Бернар, антрополог из Гарвардского университета, —

получила разрешение от Дзингу Ситио наблюдать за определенными церемониями на 70-м Сикинэн Сэнгу, более того, признавая, например, ясность внимательного исследования последнего ученого, а также ее доказанную чуткость в подходе к этому вопросу, ей были предоставлены дальнейшие разрешения, фактически она была принята на работу в качестве консультанта в Отделе по связям с общественностью Дзингу Ситио на один год, так что, помимо работы, которую ей поручили,

она могла бы и дальше углубить свои исследования, связанные с Сикинэн Сэнгу, что впоследствии подтвердилось приглашением в Гарвард, по инициативе профессора Бернарда, одного из самых уважаемых персонажей Дзингу

администрации, Кохори-сан, который уже очень давно не работал директором Департамента по связям с общественностью, и его участие в тамошнем симпозиуме, ну, именно на этом и строился план западного друга, что они должны попытаться, опираясь на косвенную поддержку Розмари Бернар, получить разрешение присутствовать на церемонии, следить за ходом перестройки, в чем ему даже удалось завоевать осторожную... хм...

поддержка его японского друга, и этот план, как только что казалось, обернулся катастрофой, поскольку они смотрели в спину западного друга Кохори Кунио, когда он уходил после их вступительного разговора, а затем исчез в главном входе здания Дзингу Ситио, катастрофа, которая сделала их обоих одинаково горькими, поскольку они чувствовали, что не может быть никаких сомнений относительно ясности его сообщения, они даже не начали представляться, оценка того, соответствуют ли они требованиям Дзингу

Внимание Ситио не успело даже начать действовать, как оно тут же вернулось им в лицо: они не были квалифицированы, мир этого дела, настолько далекий от них, просто сокрушил их, этот мир был таким неприступным и таким непрозрачным, и, очевидно, таким и останется, они были озлоблены и сбиты, хотя каждый по разным причинам и с разными последствиями, поскольку в то время как одна из них, европейская половина, была ранена до костей в этом деле, которое еще позже будет таить в себе большие сюрпризы

— снова и снова повторял он себе в поезде по пути обратно, как это вообще возможно, и почему, ради всего святого, какую ошибку они совершили, и какой грубый, высокомерный, отвратительный тип этот Кохори, они действительно сильно разбились о то, насколько это было свято...

в то время как то, что крутилось в голове другого,

Японская сторона этих якобы дружеских отношений заключалась в том, что они этого заслуживали, он чувствовал это с самого начала, ничего хорошего из этого не выйдет, то, что произошло, было совершенно естественно, они должны были на это рассчитывать, по крайней мере, он, Кавамото, должен был на это рассчитывать, хорошо зная, что нельзя вот так, как они сделали — как его друг с его европейским менталитетом считал совершенно естественным — нельзя было просто так послать за высокопоставленным чиновником из Дзингу Ситио, Япония есть Япония, а Дзингу Ситио — особенно, и он, особенно он, не должен был обещать поддержку своему западному другу, не должен был принимать общее первое лицо множественного числа и позволять себе быть охваченным энтузиазмом другого, когда великий план начинался — сначала в их письмах, а затем и лично после прибытия его друга

— оформился бы, но надо было бы самым решительным образом отговорить его от его безумной идеи и как-нибудь объяснить, что это невозможно, это совершенно исключено; ему следовало ясно заявить, что обращение к человеку столь высокого положения требует исключительной осмотрительности, просто невозможно, чтобы мы просто так пошли к нему, чтобы мы просто так вызвали его вниз через носильщик, нет, Кавамото-сан покачал головой, как он вообще мог ввязаться в это безумие, почему он не предупредил своего друга, что подобные предложения обречены на провал, позже, через восемь лет, они могли бы пойти в конце Сикинэн Сэнгу на освящение святилища — это возможно, это открыто для публики, ну конечно, именно это он должен был трезво порекомендовать, думал теперь Кавамото, его друг рано или поздно понял бы, и он бы не вляпался в такую ужасную историю, потому что что они потом скажут дома, если узнают, что они поехали в Исэ, волновалась японская сторона, спеша домой по междугороднему маршруту JR, хотя это, беспокойство по этому вопросу, по крайней мере

оказались ненужными, так как позже дома, в Но-текстильной мастерской, к счастью, никто их ни о чем не спрашивал, не засыпали вопросами типа: ну как все прошло, что случилось; потому что те, кто был дома, члены семьи Кавамото — мать, старший сын и две младшие сестры — ни в коем случае не занимались повседневными делами другого сына в семье, довольно неудачливого, безвольного, громоздившего одну неудачу на другую и таким образом продолжавшего жить дома, ибо по возвращении домой они видели на своих лицах, что всё прошло не так, что всё кончилось ничем, что это было фиаско, так зачем же задавать вопросы такому сборнику несчастий, как Акио, поэтому никто об этом не проронил ни слова, они даже не разговаривали, просто молча поужинали и легли спать, и хотя на следующий день оказалось, что эта неудачная инициатива с Кохори-сан сделала их положение безвыходным, они всё равно писали, то есть западный друг диктовал, Кавамото-сан переводил, оттачивая каждую фразу до совершенства, на японский язык, и таким образом, поскольку другой настаивал на этом, хотя он, Кавамото, сказал себе, что теперь позор будет окончательно свершен, в тот же день они отправили по почте прошение в Дзингу Ситио, затем просто сидели дома в Киото, то есть в текстильной мастерской Но семьи Кавамото Акио, слушали стук ткацких станков, который длился веками, и сидели там очень удрученные и ничего не делали; гость теперь уже не интересовался ни Кинкаку-дзи, ни Гинкаку-дзи, ни Кацура Рикю, ни Сандзюсангэн-до, вообще; все же, пояснил он, отвечая на вопрос главы семьи, который отважился иногда упомянуть, что им, возможно, стоило бы немного выбраться, все же, друг-архитектор решительно покачал головой, что они могли искать где-либо в этом, несомненно, прекрасном городе — что угодно, кроме как стоять там, как десятитысячный посетитель, погруженный в уединенное размышление в саду Рёан-дзи, или тащиться вдоль

коридоры замка Нидзё, глаза их непременно ослеплены в каждой комнате золотыми картинами Кано — когда их план, ради которого их западный друг приехал сюда в качестве гостя, их план, выстроенный за эти месяцы, внезапно и несправедливо рухнул так ужасно, но так ужасно?.

.. Когда однажды из Дзингу Ситио пришло письмо, сообщающее, что им разрешено наблюдать за церемонией Мисома-Хадзимэ-сай, что они должны быть там в такое-то время в таком-то месте и что они могут участвовать в церемонии вместе с журналистами, всю остальную информацию, говорилось в письме, можно получить у Мивы-сана, с которым можно связаться по такому-то номеру, у Мивы-сана, назначенного отделом по связям с общественностью Дзингу Ситио, и затем они позвонили ему и уже договорились о времени, месте и о том, как туда добраться, одним словом, они сделали так называемые приготовления, затем они достали соответствующую карту и стали искать Агэмаку и лес Акасава, где должно было быть место встречи, куда должен был приехать микроавтобус, чтобы отвезти их на место, ибо там, подчеркнул Мива-сан, когда разговор перешел на детали, никаким другим видам транспорта не разрешался въезд, это была частная собственность Дзингу, где единственным возможным видом транспорта были исключительно те транспортные средства предоставлено Jingū

Ситио, невозможно просто так разъезжать на собственной машине, это густой лес, объяснил Мива-сан, очень густой, непроходимый лес, где нет никаких тропинок, и, кроме того, Акасава принадлежал к Дзингу Ситио, и деревья там, которым несколько сотен лет, представляют собой огромное сокровище, так что, одним словом, нет, только и исключительно на своей машине до Агэмаку, а там, через маленький безымянный мостик слева, потом направо по лесной тропе до специальной стоянки, построенной исключительно для этой церемонии — и там конец, там они должны довериться ему, Мива-сану, потому что он, Мива-сан, будет там, и он

проведет их, и они увидят, сказал он более авторитетно, что он обо всем позаботится, им нужно только добраться до парковки в лесу Акасава, а остальное зависит от него, на этом они попрощались, положили трубку и снова взяли карту, но Кавамото-сан, хотя с одной стороны и испытал облегчение от того, что, возможно, благодаря каким-то успехам в чем-то, его положение в семье станет немного менее обременительным, с другой стороны, помимо дела Кохори, он чувствовал, в отличие от своего друга, что сейчас не время для радости, а скорее для страха, потому что он был решительно напуган, как человек, который точно знает, что его ждет, что именно с этого момента череда ужасающих ситуаций будет следовать одна за другой с его западным другом, совершенно не осведомленным о принятых здесь правилах поведения, и чьи оплошности ему придется как-то сглаживать, о нет, подумал Кавамото Акио, но затем даже не поднял эту тему, он даже не упомянул несколько правил относительно того, как можно... ну... было бы более удачно вести себя согласно принятым в Японии правилам, но вместо этого в великом замешательстве он начал говорить среди грохота ткацких станков, что его гостю наверняка понравится регион, куда они направляются, потому что это, и он указал на пятнышко около Агэмаку, само Кисо, это регион Кисо, где почтовый путь древних времен проходил из Эдо в Киото, между Сёгуном и императорским двором, и некоторые из небольших городов, принадлежащих этому пути, можно найти и по сей день, ах, почтовые станции долины Кисо, о, это действительно красивое место, сказал западный друг Кавамото-сан, затем быстро добавил: по крайней мере, я так думаю — но западный друг никак не показал, что его особенно воодушевили новости, или что они могли бы просто воспринять все это как какую-то туристическую экскурсию, он только кивнул, сказав: замечательно, замечательно, но с тех пор он просто зарылся в книги и записки, он спускался к семье только во время еды

и провел остаток дня наверху, в комнате над грохочущими ткацкими станками, листая книги и заметки о сути синтоизма и божествах синтоизма, церемониях синтоизма и иерархиях синтоизма, истории синтоизма

и мифы о его происхождении, это были темы его исследований, не подозревая, что в дальнейшем эти знания не понадобятся, но, ну откуда он мог это знать —

откуда, из чего: вместо этого были обработка древесины и измерение балок, система кронштейнов и соединение, инструменты мия-дайку и жизнь кипарисов хиноки и средства их обработки, соответственно, это были темы, которые он должен был исследовать, хотя до Мисана Хадзимэ-сай он все еще не мог ничего подозревать, когда он все еще желал знать, если бы он только мог разузнать, что такое дай-гудзи, а что такое сайсю: и дай-гудзи, это то же самое, что и сайсю, или где находятся Три Сокровища Императора, Ята-но Кагами, Кусанаги-но Цуруги и Ясаками-но Магатама, находятся ли они все сегодня в Исэ, ибо это главное святилище, самое священное из всех святилищ, и ну, в каждом святилище должны быть три сокровища: зеркало, Меч и драгоценность, ведь они хранятся в сёдэне, не так ли? — он размышлял над такими вещами, но уже сидел в машине, Кавамото вёл машину.

— руль справа был бы для него тяжелым — он сидел рядом с молчаливым и, насколько он понимал, непостижимо грустным Кавамото; три сокровища, Сансю-но Сики, проносились в его голове, была полночь, они как раз выезжали из Киото на плотное движение скоростной автомагистрали Мэйсин, дорога была полностью забита, полосы казались узкими, но, несмотря на это, ограничение скорости было сто километров в час, так что они двигались как единая масса среди бесчисленных автобусов, грузовиков и машин, гость даже не смел никуда посмотреть, он только время от времени задавал своему другу вопросы о Синто, что это такое и

каково это, но Кавамото и так был осторожен, и каждый ответ начинался со слов, которых он не знал, и только если его друг продолжал развивать заданную тему, он говорил что-то относительно собственных знаний со многими оговорками, но если мог, он вместо этого старался отвлечь внимание другого, поднимая конкретные вопросы, например, когда они будут на месте встречи, уже было за полночь, так что будет три часа ночи, а это значит, что у них будет всего три часа на сон, на рассвете, в шесть утра, Кавамото-сан напомнил своему другу, они должны быть там, у палатки, ожидая Миву-сан, чтобы он мог их записать; и если возникали новые вопросы, он пытался уклониться от них такими вещами, и делал это некоторое время, пока не уставал, и с тех пор он либо давал краткие ответы, либо вообще не отвечал, как будто не слышал последнего вопроса, он нажимал на газ в темной ночи; впереди, позади, справа и слева все делали одно и то же, словно нажимали на одну и ту же педаль, сто километров в час, так они направлялись в сторону Нагои в плотном дисциплинированном потоке по шоссе Мэйсин, так что спустя добрый час они прибыли к повороту над Нагоей с шоссе Томэй и выехали на дорогу № 19 в направлении Кисо-Фукусима, но там только Кавамото определял, куда ехать, потому что его друг внезапно заснул, поэтому ему пришлось самому держать карту, чтобы сориентироваться в пустом районе, но он безошибочно нашел после Агэмаку маленький безымянный мост на маршруте, указанном Дзингу Ситио, затем направо и вверх по лесной тропе, так что когда гость открыл глаза — он вздрогнул, так как начал чувствовать себя странно, но странным было то, что машина остановилась — мы приехали, сказал его хозяин, и он указал через лобовое стекло, они остановились на специально построенной стоянке, недавно сколоченной и обнесенной балками; вокруг был лес,

мрачно ныряя в небо, на стоянке никого не было, но Кавамото-сан был совершенно уверен, что они прибыли в нужное место, хотя окончательно успокоился он только тогда, когда после нескольких часов сна его разбудил дорожный будильник, который он взял с собой; и что действительно и точно разбудило их в 5:45, на улице занимался рассвет, и парковка была заполнена, среди немногих грузовиков, в основном легковые, выстроившиеся вплотную друг к другу, из Токио и Осаки, Нагасаки и Аомори, Ниигаты и Мацуэ, журналисты, репортёры, телевизионщики и радиосъёмочные группы, они уже молча готовились, даже если и не было ясно к чему, вероятно, они запланировали своё прибытие сюда примерно на пять или половину утра, и они прибыли, и они готовились, это было ясно, но было неясно, знали ли они вообще, что должно было произойти, вокруг них в их как бы предварительном кружении занимался свет, долгое время ничего не происходило, затем дальше, под парковкой, на краю лесной тропы, молодые люди с сонными глазами внезапно водрузили палатку, потом рядом с ней поставили ещё одну, но больше ничего не несли и не устанавливали, ничего не нагромождали внутри, и у каждой палатки была только крыша, ни один из них не имел никаких сторон, в общем, откуда-то появился один стол, вернее, тот, который они поставили, не внутри какой-либо из палаток, а перед одной из них, появился еще один молодой человек в костюме: судя по серьезности его выражения, его послали сюда для более серьезных заданий, оказалось, что это был Мива-сан, когда они подошли к нему и спросили, где они могут найти Мива-сана, я Мива Китамура, последовал ответ, затем он оглядел их с ног до головы и спросил — хотя, казалось, он знал ответ, как он мог не знать? — так вы архитектор из Европы и его друг из Киото, да?

и его взгляд не выражал ни доброй, ни злой воли, да, это мы, — почтительно ответил Кавамото-сан, он вручил небольшой подарок и поклонился, хорошо, тогда встаньте здесь в стороне и

подождите, вас заберет микроавтобус, и так и случилось, они ждали долго и терпеливо, перед пустыми палатками посреди леса с бейджами, которые им дал Мива-сан, висящими у них на груди, когда наконец час спустя появились автобусы, репортеры быстро выстроились в очередь и бросились к сиденьям, двух друзей постоянно оттесняли все дальше и дальше в конец очереди, которая быстро выстраивалась и устремлялась вперед к сиденьям, но в конце концов они тоже получили место в последнем автобусе, и машина уже везла эту последнюю группу, ведя с большой осторожностью по ухабистой местности по дороге, которая казалась совершенно новой, потому что дорога была новой, как и парковка, она была настолько новой, что, казалось, ее построили за тот короткий час, пока им пришлось ждать перед палатками, и никто не мог сказать, что это не так, в любом случае не могло быть никаких сомнений, что они решительно направлялись в Мисома-Хадзимэ-сай среди деревьев леса, где они медленно продвигались вперед, то покачиваясь из стороны в сторону, то в какой-то момент микроавтобус просто остановился, и между ними они действительно, но на самом деле не имели ни малейшего представления о том, где они могут быть, вы знаете, где мы, спросил Европеец, Понятия не имею, ответил его спутник, где-то в глубине леса долины Кисо, среди сосен и кипарисов хиноки, принадлежащих Дзингу Ситио; Кавамото, улыбаясь, сказал только это, потому что только это было достоверно, и им нужно было перейти через небольшой мостик, который вел их между деревьями по извилистой тропинке, усыпанной стружкой, автобусы соответственно остановились, собравшиеся двинулись пешком, и наконец, после одного поворота, они внезапно увидели вдали огромное деревянное сооружение, все оно тянулось к небу из-за деревьев, как будто им это снилось, потому что все в целом, рассматриваемое отсюда, решительно создавало впечатление огромной сцены, не только издалека, но и вблизи, то есть абсурда, построенного из свежего

строганные балки, что же, черт возьми, делает такая огромная невозможность в таинственных глубинах долины Кисо, они смотрели друг на друга непонимающе, но это был не сон, даже если это оставалось невозможным, в таинственных глубинах очаровательно красивой долины Кисо, которая простиралась между префектурами Нагано и Гифу, на них сверху вниз смотрела огромная сцена, они не были к этому готовы, каким-то образом они представляли себе, что в лесу будут два дерева, окруженные священниками, посетители на заднем плане, что-то в этом роде — а вместо этого была эта огромная сцена, возвышающаяся на несколько метров над землей и спускающаяся вниз, и это удивление охватило их в первом изумлении, когда они приблизились, потому что они увидели перед сценой два необычайно высоких, широкоствольных живых кипариса хиноки, к которым сцена как бы спускалась, простиралась, и они увидели на двух широких стволах деревьев шнуры, означающие выбор — это были шимэнавас, а затем шидес

— маленькие кусочки белоснежной бумаги, разрезанные на зигзаги и сложенные под ними, защитное покрытие из какого-то материала на основе риса, также прикрепленное к деревьям веревкой, и одна или две планки: довольно высоко над уровнем головы человека, это могло быть знаком того, что под этими планками позже будет происходить священная работа, одним словом, они все это заметили, и они это увидели, и не могло быть никаких сомнений, что это были те два дерева, которые сегодня — в Мисома-Хадзимэ-сай — будут срублены, и тем самым как бы сообщат ками, что Сикинен Сэнгу

началось; все же именно сцена снова и снова притягивала их взгляды, они смотрели налево, они смотрели направо, но они никак не могли с ней ознакомиться, хотя также казалось очевидным, что спереди и снизу две стороны U-образной сцены окружали двух выбранных хиноки, так что все это, соответственно, было для этих двух деревьев, эта сцена, соответственно — заключая острый угол с поднимающейся лесной почвой — от последних рядов до первых, от

задняя часть сцены, обшитая бревнами, спускалась в высоту к двум церемониальным стволам деревьев: это было частью того, что должно было здесь произойти, было тесно связано с последующей церемонией и так далее, единственная проблема заключалась в том, что они — по крайней мере, они двое — совершенно не могли почувствовать смысла этого, потому что не могли с этим смириться, с какой бы стороны они на нее ни смотрели, эта сцена здесь не была, кроме того, то, что сделали те, кто прокладывал пешеходные дорожки, и те, кто построил эту огромную сцену, не ускользнуло от их внимания, потому что они крушили, рубили и рубили все, что попадалось на их пути, они выбирали деревья, они строили сцену, они прокладывали дорожки, которые к ней вели, но не с должной степенью осмотрительности, аккуратно поддерживая порядок, а грубо, с почти варварской небрежностью, что было немного огорчительно, потому что церемония, помимо прочего, проводилась, как они читали в письменных рекламных материалах, предоставленных им Мива-сан, для того, чтобы вымолить прощение у деревьев и заверить их, что если в одном смысле им суждено потерять свою жизнь, то в другом смысле жизнь, а именно новая и благородная жизнь, будет им дарована; Среди стольких преданности, почтения и уважения было, однако, непостижимо, почему этих преданности, почтения и уважения было так мало, а именно, что они опустошили и отбросили в сторону все, что не было нужно, по обеим сторонам тропы в беспорядке валялись ветки, щепки, клочки коры, стружка и гниющие стволы деревьев, которые можно было бы убрать хотя бы отсюда, с двух сторон тропы, подумали двое гостей, которые теперь действительно начали чувствовать себя неуверенно, столкнувшись с теми же условиями, оказавшись прямо под сценой, и им захотелось исполнить также, после других, темидзу, то есть когда они прополощут рот и вымоют руки, и здесь тоже, даже поблизости от водопоя, который был построен

довольно поспешно, поистине небрежно, и в которую священная вода, прибывающая из неизвестного места, сочилась из резинового шланга, они столкнулись с тем же беспорядком, что и на тропе, ведущей сюда, что действительно заставило их усомниться в том, почему это не важно в таком священном синтоистском ритуале, но у них не осталось много времени, чтобы поразмыслить над этим, потому что они уже были наверху, на задней части сцены, поднимающейся в высоту, а именно, несмотря на свое здравомыслие, Кавамото-сан тоже поднялся вслед за своим товарищем, который, не сказав ни слова, только что взбежал по лестнице сразу же, и уже стоял там у балюстрады на сцене, как будто его лично пригласили; кроме него и Кавамото-сана, шедших за ним в великой суматохе, только организаторы в нарукавных повязках поднимались и спускались, и организаторы тоже смотрели на них в великой суматохе, задаваясь вопросом, ну что эти двое здесь делают, откуда однако эти двое могли довольно хорошо видеть, для чего хороша эта гигантская сцена, которая здесь не была, то есть они могли видеть, что здесь было место для них, что там было место для многочисленных привилегированных гостей, для которых уже было приготовлено около двухсот стульев, конечно, кто знал точно, сколько их было, в любом случае, огромное количество стульев было аккуратно расставлено рядами на досках, наклоненных вниз к двум избранным деревьям хиноки, которые разделяли надвое многолюдный лагерь привилегированных гостей; они уже толпились вокруг, одна группа лицом к одному дереву, вторая группа лицом к другому, в этом, по сути, и заключался принцип расположения, но тут уже суетливым организаторам стало ясно, что они не были привилегированными гостями, они больше не могли, соответственно, здесь оставаться, этот европеец и этот японец не могли оставаться среди занимающих стулья, то есть им не было никакого дела здесь, на сцене, и не будет, и в долю секунды их вышвырнули, и таким образом — к величайшему облегчению Кавамото — они были

вынуждены были, как и другие непривилегированные гости, подняться обратно на опустошенную землю, обойти сцену, выйти на поляну, куда им было приказано идти, и где плотной группой уже собирались люди Мивы-сан, то есть уже знакомые лица обезумевших колонн телевизионных репортеров, фотографов и журналистов, и это означало, что их можно было разместить вместе наискосок лицом к сцене, точнее, лицом к постоянно растущему числу собирающихся там гостей, наискосок лицом к предполагаемому присутствию жрецов, и, таким образом, наискосок лицом к двум жертвенным деревьям, потому что как еще их назвать, как не жертвенными, как и те другие деревья, числом восемнадцать, на которых оттачивали свое мастерство лесники Акасавы, поскольку эта спецоперация проводилась лишь раз в двадцать лет, и по этой причине требовала от рабочих в белых одеждах, которые со временем утратили часть свежести своего ремесла, переподготовки в последние несколько дней — по крайней мере восемнадцать, таково было число, названное одним из рабочих, который, казалось, был кем-то вроде руководителя среднего звена, которому было поручено наблюдение за железным тросом, натягивавшим каждое из двух деревьев с трех сторон, удерживая их на месте, и который, в дополнение к этой надзорной роли, естественно, имел достаточно времени, чтобы с готовностью отвечать на вопросы любопытных журналистов, а также на вопросы двух друзей среди них, восемнадцать огромных деревьев хиноки были срублены, повторил руководитель троса, все равно им здесь нужно было практиковаться, сказал он, ошибок быть не может, и, конечно, все они были довольно нервными относительно того, действительно ли рубка пройдет без ошибок, поскольку, конечно, каждый участник прекрасно знал, что не может быть и речи о какой-либо ошибке, здесь все должно было быть сделано идеально, как он выразился, что означало, как он рассказал, что стволы двух деревьев в конечном итоге должны были пересечься друг с другом ровно в пяти метрах от верхней части ствола, так сказать, два дерева должны были лежать друг на друге после рубки,

Один должен был упасть на другого, объяснил он, но этот контакт, это пересечение, должно было произойти на точно заданной высоте, иначе церемония не состоится, и Мисома-Хадзимэ-сай придется повторить, так что неудивительно, вздохнул кабельный супервайзер, если — восемнадцать деревьев здесь, восемнадцать деревьев там — две бригады лесорубов, специально обученных, но, по понятным причинам, потерявших практику в течение двадцати лет, все еще довольно нервничали, и это было видно по его лицу, он и сам был достаточно нервным, пот стекал по его лбу, и он растерянно смотрел по сторонам, так что наконец журналисты начали его успокаивать, не бойтесь, все будет хорошо, если вы так много тренировались, никаких проблем не будет, и этот человек посмотрел на них с такой благодарностью, что им захотелось утешить его еще больше, но времени на это не было, потому что что-то, казалось, происходило в направлении мест на сцене, поэтому репортеры все больше и больше осматривали места на сцене, они оба а также начали наблюдать за таинственно однородной массой эксклюзивных высокопоставленных гостей, собравшихся на сцене, где сидели около двухсот мужчин в одинаковых темно-синих, несколько простоватых на вид костюмах, казалось, что эта одежда могла быть обязательной, поскольку все были одеты в нее, костюмы и обувь 1970-х годов, они смотрели на эти костюмы и обувь, затем они смотрели на лица, и они пытались обнаружить более известную знаменитость — владельца фабрики, банкира, известного политика — но отсюда было не очень возможно разглядеть необходимые детали лица, как на церемониальной сцене в лесу Акасава во время Мисома-Хадзимэ-сай, затем они заметили, что со стороны входа молодые синтоистские священники несли свежесделанные ящики к лестнице, ведущей на сцену, затем за ними на тропинке вереницей появилась немая и суровая группа священников, которые должны были возглавить церемонию, но они тоже были явно чем-то взволнованы, потому что теперь

и затем один или другой спотыкался на шаткой поверхности усыпанной стружкой дорожки, в своих высоких тяжелых черных лакированных туфлях священника, и поэтому в общем можно было сказать, что все выглядели серьезными и взволнованными, если не охваченными страхом сцены, даже мужское собрание эксклюзивных гостей было таким, как будто вся Мисома-Хадзимэ-сай сама намекала, что никто не может быть уверен в том, как пройдет мероприятие, есть правила, и этим правилам нужно следовать неукоснительно, без ошибок, как будто на этот счет были всеобщие сомнения; что-то из этого ощущалось в атмосфере отсюда спереди, с поляны, где они сидели среди журналистов на земле; затем появилась более короткая очередь, новая группа священнослужителей, которые теперь явно могли быть только самым высшим руководством, хотя никто здесь не знал, кто такие гудзи, нэги, кудзё, или кто такие дзё, или мэй, сэй, и кто такие тёки, и получили ли все здесь мандат на участие, что было маловероятно, среди журналистов царила полная неуверенность, они продолжали спрашивать друг друга, хотя, кого бы ни спрашивали, только со смехом качали головой, одним словом, никто ничего не знал, и каким-то образом складывалось ощущение, что то же недоумение ощущалось и среди стульев ниже них на сцене, когда наконец во главе небольшой группы священников появилась главная персона, все узнали ее черты и осанку, а именно появилась пожилая сестра императора, сайсю святилища Исэ; она медленно двинулась по тропинке, завершила обряд очищения у корыта с водой, затем с заметным напряжением, обусловленным ее возрастом, она поднялась по лестнице и вышла на середину первого ряда на сцене, заняв там свое место, что было, так сказать, знаком того, что Мисома-Хадзимэ-сай может начаться, священники самого высокого ранга уже стояли на коленях, держа свои сяку перед собой перед хиноки слева, затем пересекались, перед хиноки справа, так что первая часть

церемонии Мисома-Хадзимэ-сай должна была быть завершена в обоих местах, из которых, однако, было невозможно понять или услышать что-либо, хотя на церемонии была тишина, а именно, что здесь не было музыки — высокий визг хитирики и за ним звуки рютэки, и сё, протяжные и плачущие, присутствующие почти на каждой церемонии синто, не могли быть слышны — лес был окутан полной тишиной, жрец, возглавляющий церемонию, Куниаки Куни, молча совершал ритуал со своей свитой за ним, и только иногда был слышен шелест одежд, когда жрец поворачивался, вставал, затем опускался на колени, снова кланяясь до земли, потому что с того места, откуда они наблюдали, они в основном видели это, и это было в основном понятно из церемонии: жрец, стоящий на коленях перед деревом, кланяющийся, встающий, снова кланяющийся с сяку в руках, позади него свита неподвижно стояла на коленях, затем они тоже временами кланялись и вставали, и снова сидели с прямой спиной и неподвижно, это в основном то, что происходило перед одним деревом, и в основном также перед другим, они переходили от одного к другому, после чего священник, ведущий церемонию, вынимал из деревянных сундуков, относил на сцену и медленно, с некоторой нерешительностью, ставил на столики подношения еды: синсэн, рис и сакэ, рыбу и овощи, фрукты и сладости, соль и воду, их ставили в качестве подношений на столики, а затем это повторялось и перед другим деревом, и тогда уже можно было видеть, как внизу лестницы готовились дровосеки в белых одеждах, которые по данному знаку проследовали на сцену и, разделившись на две группы, расположились вокруг двух деревьев, но сначала начала свою работу только группа слева, в то время как другая группа неподвижно стояла и ждала своей очереди, и двое из них, западный гость и японский ведущий, оба чувствовали, что с этим вся Мисома-Хадзимэ-сай

был спасен, потому что вплоть до появления дровосеков просто невозможно было воспринимать всерьез всю эту Мисому-Хадзимэ-сай, какой бы святотатственной ни казалась им эта мысль, они придерживались мнения, и даже обсуждали это между собой вполголоса, что дело было в полном отсутствии святости или в подавлении святости усопшего, происходящем на сцене, потому что все это было настолько неправдой, и не было никакой достоверности ни к чему, ни одно движение, ни один жест главного жреца, дайгудзи, или коленопреклоненных жрецов за ним, не выдавали ничего, кроме напряженной нерешительности, чтобы все прошло хорошо, чтобы не было никаких ошибок; чистое напряжение, вот что было видно в каждом движении и ритуальном жесте, но не сам обряд, и эта атмосфера была свойственна и зрителям, привилегированным приглашенным, тем сторонникам, которые явно прибыли с щедрыми финансовыми пожертвованиями: напряженная нерешительность, поэтому движения и жесты были не движениями и жестами веры и преданности, а страхом; страхом, что каким-то образом станет видно, что здесь нет ничего истинного, ложного, неискреннего, не открытого и не естественного: что ж, не хватало именно того, что было самой сутью Синто, так они думали, и это то, что они оба обсуждали, спрятавшись среди журналистов, когда работа началась, и чем все вдруг спаслось, потому что с этого момента все собравшиеся почти два часа, затаив дыхание, наблюдали за операцией, они смотрели и не могли поверить своим глазам, потому что то, что делали эти простые лесорубы, специально обученные работники лесного заповедника Акасава, было правдой и чистым, и достоверным, и естественным; В их движениях было явлено искусство, если уж на то пошло, в их движениях было очень древнее искусство, и происходило это таким образом, что они не просто падали на деревья своими топорами, но применяли особый метод, в котором из группы девяти,

Всего трое рабочих одновременно использовали свои топоры, они всегда работали в этой группе по трое, окружая дерево, когда они стояли на сцене, и они не просто начинали рубить по кругу, скажем, с одной стороны, но все трое вместе начинали рубить топорами три отверстия, в общей сложности три отверстия на трех равномерно расположенных точках равновесия окружности дерева, и они не расширяли эти разрезы, а углубляли их, так что соответственно они врезались в дерево с трех направлений, местоположение которых определялось руководителем группы, и, в частности, таким образом, чтобы дерево стояло в направлении желаемого наклона, руководитель прислонялся спиной к стволу дерева, он отмерял руками расстояние на этом стволе, а тем самым точку; затем еще один и еще один, затем он показал эти три точки, где должны были быть ямы, остальным, и они уже подняли топоры, и когда группа из трех рабочих устала от ударов топоров, они отошли в сторону, а на их место встали трое отдохнувших рабочих и продолжили работу так, что три группы чередовались друг с другом, и три ямы становились глубже; и пока они вдвоем наблюдали в великой тишине, где единственным звуком была мелодия эхом ударов топора, пока они наблюдали за ними из круга журналистов, оба начали чувствовать — и они говорили об этом снова и снова, — что эти рабочие выполняют работу, которую они научились делать с точностью до волоска, но они не знали, у них не было ни малейшего представления, почему то, что они делают, было именно так, а не иначе, и, главное, они не знали, что с каждым движением, когда они поднимали топор, когда он падал назад и затем ударял вниз, когда они соответственно углубляли три отверстия, пока они не встретились и не стали смежными друг с другом в одной точке во внутренней части ствола, а именно, что они повторяли — и с точностью до волоска — импульс, направление, силу движений своих предков, одним словом, порядок, точно так же, как эти предки только что повторили

движения их собственных предшественников, так что теперь, — шепнул западный друг своему спутнику, — то есть каждое движение каждого рабочего и каждая составляющая каждого движения — его импульс, его дуга, его удар вниз — имеют тысячу триста лет, они художники, Кавамото-сан тоже восторженно кивнул, и только его сверкающие глаза выдавали, что он тоже понял, о чем думает другой, и он тоже, как и другой, был вдохновлен этой мыслью; они наблюдали, как срезы на деревьях углублялись от глухого ритма ударов топора, они увидели, как все они затем встретились в внутренней точке, лидер группы лесорубов-художников, сделал жест, остальные отступили, послышалось несколько криков, и как будто этот лидер произнес короткую молитву, наконец, он сам ударил дерево несколько раз в одно место на стволе, но двое посетителей не могли этого видеть, так как отсюда фигура главного жреца находилась перед фигурой лесоруба-художника, в этот момент дерево издало трескучий стон, затем оно медленно начало наклоняться вниз, а затем оно уже было внизу на земле, его вершина немного повернулась к другому дереву; затем кто-то начал рассказывать, Кавамото также переводил, что истинный смысл этого древнего способа рубки дерева заключался в том, что таким образом можно было точно определить положение срубленного дерева, можно было направить его с точностью, измеряемой в сантиметрах; Кавамото перевел слова пожилого журналиста своему другу, но тот просто наблюдал за всем этим, остолбенев, главным образом, когда около другого дерева, где прошли лесорубы, произошло то же самое, и дерево упало точно туда, куда ему и было нужно, то есть на пять метров ниже вершины другого, лежавшего на земле, так что там лежали выбранные деревья хиноки, и тогда Куниаки Куни подошел ближе к одному из них, а затем к стволу другого срубленного дерева, и, если это было возможно, тишина только стала глубже, чем прежде; Куниаки Куни поднял широкий лист бумаги с почерком на высоте своей головы, и наступила еще более глубокая тишина, и никто

Растрогавшись, сестра императора — сайсю святилища Исэ — склонила голову, и в этот момент все привилегированные приглашенные гости сделали то же самое, и когда они склонили головы, то же сделали и журналисты на поляне перед сценой, Кавамото смог лишь прошептать своему другу: «норито» в знак увещевания, и он последовал за остальными, и западный друг сделал то же самое, но он, конечно, не знал, что произошло и что происходит, конечно, он не знал почему, он стоял, склонив голову, и он не знал, так же как он никогда не узнает, что он мог бы услышать, если бы понял, но как он мог понять, ведь то, что было слышно из уст священника, было, кроме него, не понято многими даже среди японцев, потому что эти слова, произнесенные впервые по крайней мере полторы тысячи лет назад и с тех пор без каких-либо изменений были такаамахара ни ками цумари масу, камуроги камуроми но микото во мотите, сумемиоя каму изанаги но микото, цукуси но химука но татихана но одо но, ахаги хара ни мисоги хааи тамау токи ни, наримасеру хараидоно оками тати, мороморо но магагото цуми кегаре во, хараи тамаэ киёме тамаэ то мусу кото но йоши во, тамацу ками куницу ками яойорозу но камитачи томоми, амэно хучикома но мими фуритатете кикосимэсе то, кашикоми кашикоми мо маосу и так далее, они слушали, почти ничего не слыша, как будто дай-гудзи декламировал почти беззвучно, затем сложил лист бумаги, отступил назад, помолился перед срубленным деревом, затем преклонил колени, пали ниц, затем все подняли головы, священники повторили норито также перед другими поваленными хиноки, затем священники по порядку покинули сцену, и их все еще можно было увидеть, когда они шли перед корытом с водой, наконец, они исчезли на первом повороте тропы, но затем родственница императора встала и сама покинула сцену со своей свитой, за которой последовали приглашенные, и это было знаком, потому что не только другие остались там,

но все проталкивались вперед к сцене, чтобы попытаться быть как можно ближе к дровосекам, которые теперь подходили, чтобы пожать протянутые им руки, и они были счастливы, все они улыбались, и они были тронуты, и радость не хотела покидать их, они дали каждому немного древесной стружек со священных деревьев, два друга также подошли к ним, пожали руку одному из дровосеков и получили пригоршню древесной стружек, вжатую в их ладони, и именно тогда они заметили, только тогда они ощутили, какой удивительно сильный аромат был повсюду, особый аромат двух срубленных деревьев хиноки буквально ворвался в этот участок леса, как облако, он потянул их, какой необыкновенно сладкий, чудесный аромат, воспевал западный друг, вот это да, кивнул Кавамото-сан, потому что он был счастлив, что его друг не просто снова переживает разочарование, и они не вернутся домой побежденными, хотя это действительно тоже случалось; они ехали обратно в Кисо-Фукусиму в явно раскрепощённом настроении, энтузиазм западного друга — по крайней мере, на какое-то время — несколько передался Кавамото-сану, хотя он был больше благодарен судьбе за то, что не случилось более серьёзных несчастий, они не ввязались ни в какие неприятности, на что, однако, всё ещё можно было рассчитывать, поскольку был всего лишь день; они в основном обсуждали норито, скользя в потоке машин на скоростной автомагистрали Мэйсин, норито, синтоистскую молитву, произносимую верующими в полной тишине, от декламации которой всецело зависят благосклонность и восприимчивость ками, к которому обращена молитва, — если, конечно, она произносится безупречно в каждом случае, когда её читают —

Это все, что он, Кавамото, знал, сказал он, извиняясь еще в машине, потому что норито — самая священная из молитв японцев, пояснил он далее, когда увидел на лице своего друга, что ему хотелось бы узнать больше, или, как он выразился, узнать как можно больше

известно, и хотя Кавамото-сан некоторое время распространялся об этом, насколько он мог вспомнить из своих школьных заданий: норито связано с верой в то, что произнесенное слово имеет силу, но только слово, произнесенное правильно, безупречно, красиво, имеет силу приносить добро; Каждый раз, когда происходит обратное, слово будет означать что-то плохое для общества, вот и всё, что сказал Кавамото-сан: затем в странном замешательстве, внезапно на него навалилось подавленное настроение, он замолчал, и ему не хотелось говорить ни об этом, ни о чём другом, время незаметно пролетело, и они уже были в Киото, было много движения, но они всё равно шли, Кавамото, однако, видел, что из-за их раннего прибытия его друг очень не хотел возвращаться домой, и поэтому он предложил показать ему некоторые из более незнакомых внутренних районов города, но затем они вместо этого сели в рёкане и хорошо поели, наконец, они сели на террасе одного из баров на реке Камо, они смотрели на реку, на пары, прогуливающиеся по мостам, и Кавамото Акио слушал со всё возрастающей тоской, как его друг уже некоторое время говорил о том, как он хотел бы продолжить свои исследования, как он хотел бы ещё раз вернуться в Исэ, потому что он хотел бы поговорить с плотниками из Найку, он хотел бы, а именно, узнать больше, узнать все о том, как бригада плотников готовится к каждому Сикинен Сэнгу, как туда попадают срубленные кипарисы хиноки, как проходит операция, как они подготавливают хиноки и как возводятся ослепительно простые, чистые здания святилища, а именно, объяснил он, он чувствовал, что, возможно, здесь, на этом пути, он должен сделать еще один шаг, потому что было очевидно, что церемонии веры синто были совершенно неинтересны и пришли в плачевное состояние, хотя все же, возможно, что синто все еще где-то там, скрытый в невидимом мире повседневности, потому что, конечно, если этот синто все еще можно было найти

В древнем движении, которое они пережили сегодня, древнем движении, которое сохранялось веками, здесь тоже могут быть другие сюрпризы, о нет, подумал Кавамото-сан, сюрпризы, скорее всего, будут, он кивнул на террасе бара на берегу реки Камо и глубоко задумался, глядя на людей, идущих от Сидзё, впадающей в Гион, всё время убеждаясь, что нет, этого уже достаточно, они смогли увидеть Мисома-Хадзимэ-сай, они получили на это разрешение, но Дзингу Ситиё не даст им никакого разрешения ни на что другое, и всё же поговорить с мия-дайку, и всё же узнать о торё, мия-дайку, а через них обо всём руководстве строительством Сикинен Сэнгу, боже мой, как он может объяснить, размышлял Кавамото, что всё это уже невозможно, невозможно было поставить Дзингу Ситио оказался в неловком положении с очередной просьбой, даже первая уже вышла за рамки желаемых норм, но Дзингу Ситио был великодушен, он дал им разрешение наблюдать за Мисома-Хадзимэ-сай; Однако ничего сверх этого, кроме выражения благодарности в письме в офис Дзингу Сити, к которому — Кавамото попытался объяснить другу, какова здесь правильная процедура, они могли бы даже добавить подарок, например — ну, ничего сверх этого было немыслимо, но его спутник, словно это была просто тема для спора, сразу же отверг мысль о том, что ему, в этот момент — как он выразился — следует сдаться, давай уже, не бойся, все невежливые вещи можешь потом на меня свалить, — сказал он и рассмеялся, но Кавамото не очень хотелось смеяться над этим, так как его гость уже говорил, что завтра они попытаются связаться по телефону с Мива-сан и доберутся до плотницкой мастерской в Найку, местонахождение которой, благодаря заранее хорошо изученной карте святилища, им было известно, мы войдем, — гость ободряюще посмотрел на Кавамото: но не

только нельзя было его ободрить, по его натянутой улыбке и по тому, как он вдруг переменил тему, становилось ясно, что даже план этой последней «акции», как выразился его друг, угнетал его, и вообще его начинала утомлять — конечно, с точки зрения друга, совершенно естественная — дерзость его западного друга, он знал, что никогда не сможет объяснить ему, что здесь это невозможно, и не только по отношению к Дзингу Ситио, но... и по отношению к себе самому, нельзя так себя вести по отношению к хозяину, это было очень неприятно, иметь такого друга, которому это явно ни разу не приходило в голову, потому что, глядя на это с его точки зрения, ему вряд ли придет в голову подумать, насколько все это дело тяжело для него, Кавамото

— что он был обязан, с одной стороны, попытаться удовлетворить требования своего гостя, а в данном случае — требования Дзингу

Ситио; с одной стороны был гость, чьи нужды нужно было удовлетворить, с другой стороны — предписанные обязательные формы, которые нельзя было нарушать, это было невозможно выполнить, и что теперь? Кавамото размышлял на террасе рядом с рекой Камо, что же ему делать: он размышлял напрасно, однако, он беспокоился бессмысленно, и было напрасно он показывал хоть что-то из этой задумчивости и этого беспокойства, как бы невежливо это ни было, гость ничего не заметил, он не мог ничего заметить, и поэтому Кавамото ничего другого не оставалось, как набрать номер Мивы-сан в Исэ, он сделал это рано утром следующего дня по настойчивой просьбе своего друга, затем он набрал его снова через час, потому что получил ответ, что человек, которого он искал, отсутствует, он набрал, затем час и он набрал снова, и еще один, и еще один, его друг сидел рядом с ним со все возрастающей решимостью и все растущим нетерпением, так что, ну, на самом деле он был облегчен, когда наконец дозвонился до Мивы-сан, потому что, по крайней мере, он освободился от этой решимости и этого нетерпения, хотя, правда, с Мива-сан, однако, другая форма пытки

началась та, в которой ему пришлось объяснить ему, что нет, того, что Дзингу Ситио показал им о своих добрых намерениях и великодушии, им было недостаточно, они хотели бы также познакомиться с мастерскими Найку, они хотели бы увидеть, как заготавливают деревья, как они пилят и строгают древесину, а затем, на основе каких планов они строят здания святилища, Мива-сан, конечно, выразил удивление, и его голос внезапно отозвался издалека, он посмотрит, что он может сделать, и они должны еще раз подать запрос, рекомендовал он заметно напряженным тоном, и Дзингу Ситио решит, будет ли дано разрешение, и на этом разговор подошел к концу, и Кавамото-сан почувствовал, что его рука вот-вот отвалится, она стала такой тяжелой, пока он говорил по телефону, так как он вытерпел весь этот процесс непрерывных поклонов и шарканий, в то время как его друг, когда он сообщил ему, что сказал Мива-сан, пришел в почти лихорадочное возбуждение, и сказал, подожди, вот увидишь, мы попадём в Найку

мастерской плотников, и Кавамото-сан в конце концов даже не понял, что происходит в этом всё более запутанном деле, потому что его гость оказался прав, и уже на второй неделе после подачи заявления, последовавшего сразу за телефонным разговором,

Мива-сан

позвонил

его, с

информация о том, что они должны быть в такое-то время у главного входа в Найку, некий Иида-сан будет сопровождать их в мастерскую плотников, они смогут встретиться с двумя мия-дайку, более того, им будет предоставлена возможность беседы с торё, они смогут делать фотографии, но не смогут использовать записывающие устройства во время разговоров, и он извинился за это от своего имени и от имени Дзингу Ситио, но это было решение, он пожелал им очень приятно провести время в Найку, Мива-сан попрощался, и он уже положил трубку, и они уже были в поезде до Исэ; нет, Кавамото Акио

Он явно этого не понимал, однако его ещё больше беспокоило то, что произойдёт сейчас. Было два часа дня, они стояли у главного входа в Найку, солнце палило, температура могла быть не ниже сорока градусов по Цельсию, и ровно в два часа за ними действительно пришёл невысокий, толстый молодой человек, Иида Сато, и, хотя пот ручьём лился с него в чёрном костюме под палящим солнцем, он отвёл их к закрытому входу в северной части территории Найку. Это был вход в плотницкие мастерские Найку, но — как несколько театрально выразился Иида-сан — это был также символический вход в Сикинен Сэнгу, и каждая подобная банальность в отношении Сикинен Сэнгу просто начала из него литься: к тому времени, как они добрались до офиса мастерской, Иида-сан процитировал почти слово в слово каждое предложение, которое было в рекламном брошюру, которую Дзингу Ситио напечатал для популяризации Сикинэн Сэнгу, и они настолько привыкли к Ииде-сану как к человеку, который всегда говорит без перерыва, что даже не обращали на него внимания, они только вежливо кивали, но он — с энтузиазмом и с серьезным видом эксперта — все говорил и говорил, а они тем временем заметили, что слева от дороги, ведущей к офисному зданию, в некоем водоеме, похожем на канал, расширяющемся в озеро, плавали многочисленные стволы деревьев хиноки, но, конечно, Иида-сан не знал причины этого, они получат ответ, когда войдут внутрь, и они сели за стол в одной из комнат офисного здания, где их ждали два мия-дайку, один средних лет, и юноша со свежим лицом, казалось, что старший был учителем младшего, в любом случае каким-то образом они принадлежали друг другу, это было очевидно, хотя в то же время не было никаких признаков Между ними были отношения мастера и ученика, молодой человек с таким же решительным и гордым лицом сидел в своем кресле и отвечал на вопросы, как и его старший товарищ, оба они были в

белые рабочие комбинезоны Дзингу, и они смотрели на них с довольно подозрительным и в то же время несколько любопытным взглядом в своих глазах, и поначалу они, казалось, не очень понимали, чего эта странная пара хочет от них, этот гайдзин и этот суетливый японец из Киото, поэтому они даже не отвечали на заданные им вопросы, вместо этого они просто отводили вопросы, как будто избегали их, и пытались давать как можно более бессмысленные ответы, особенно старший мия-дайку, он, как будто посмеиваясь над ними, становился все более отчужденным и наблюдал за двумя посетителями с несколько насмешливой улыбкой, он наблюдал за ними и произносил свои ответы со все большего расстояния, при этом непрерывно поглядывая на часы на стене, так что, ну, молодой человек со свежим лицом был тем, кто время от времени что-то говорил, например, что кипарисы хиноки плавают в том канале, куда естественным образом впадает вода из священной реки Дзингу, из реки Идзусу, потому что они там высыхают два года, это происходит первым делом, продолжил младший плотник, они привозят стволы хиноки, обрезанные и очищенные от коры и веток, и их, добавил он, доставляют непрерывно каждый день, уже с начала Мисома-Хадзимэ-сай, их немедленно помещают в канал, и они, по сути, плавают там, их замачивают в течение двух лет, но что касается вопроса посетителей, как можно сушить древесину в воде, он ничем не выдал, потому что старший подхватил нить разговора, он объявил, что каждая отдельная деталь для Сикинэн Сэнгу была изготовлена здесь, в этой мастерской, для Найку и для Гэку, и с этим он замолчал, скрестил руки на груди, взглянул на часы, затем посмотрел на Ииду-сана, и, по-видимому, он хотел в любом случае показать работнику Ситио, насколько у него нет времени на пустую болтовню здесь, он был надменный, он был не склонен к сотрудничеству и все больше уклонялся от ответов на вопросы, как только западный друг начинал их формулировать, потому что, конечно, он был

Задавая вопросы, Кавамото-сан, как всегда, лишь взял на себя роль переводчика, он всеми возможными способами, своим телом и позой, пытался дать понять другу: этот разговор должен быть немедленно закончен, и тогда он не затянулся слишком долго, через некоторое время его друг тоже устал от тщетных вопросов, он не получал никаких вразумительных ответов ни на что, так что наконец встал из-за стола, после чего все остальные тоже вскочили, два плотника приняли принесенные дары, но даже не взглянули на них, и они уже ушли, так что если так и будет продолжаться, то они пришли сюда зря, заметил западный друг приглушенным голосом, но Иида-сан услышал, и чтобы успокоить их, он сообщил им, что человек, которого они собираются встретить, это тот, кого, как он выразился, мирские существа почти никогда не видели, потому что он был священной персоной Сикинен Сэнгу, они даже не называли его руководителем строительства. Здесь, в его случае, они использовали старое выражение и называли его торё:, все обращались к нему так, и он пользовался поистине огромным уважением, хотя, конечно, как и для всех остальных здесь, Дзингу Ситио был господином над ним, хотя что касается этого, нынешний торё был тем типом человека, который на самом деле никого не признавал выше себя, только своих ками Небес и Земли, и в первую очередь, Аматэрасу Омиками, богиня солнца, объяснил Иида-сан, Аматэрасу Омиками, обитательница святилища в Найку, чей внук, как он умело продолжил, Ниниги-но Микото, спустился на Землю, чтобы вынести суд враждующим людям и удержать их от дальнейших ссор, он ударил своим трезубцем в Южном Кюсю, где он приземлился, в вершину горы под названием Такатихо, чтобы люди помнили его, и с тех пор трезубец все еще там, объяснил он и не стал продолжать говорить о первом императоре, хотя, казалось, он был бы рад это сделать, однако посетители не стали спрашивать,

и поскольку он, казалось, ждал этого, он слегка обиженно откинулся на спинку стула, поджал губы и погрузился в краткое переходное молчание, и так проходило время в офисе столярной мастерской Найку; Иида-сан чесал голову, выходил, возвращался, смотрел на часы, тут же, твердил он гостям, и садился только для того, чтобы встать и снова выйти, и хотя эти долгие минуты ожидания были для Ииды-сана тяжелыми, особенно без разговоров, он снова и снова возвращался к описанию характера торё, который, по мнению двух друзей, — в этом нетрудно было разобраться —

Иида-сан не знал ни малейшего понятия, только понаслышке, и он передавал это им, фактически возводя эту прославленную личность в ранг полубога, таким образом, им сообщили, что эта встреча была совершенно необыкновенным даром — и он очень подчеркнул слово purezento, то есть дар — отдела по связям с общественностью Дзингу Ситио, необыкновенным, потому что, во-первых, он лепетал, у торё была работа, работа началась, и он, неся полную ответственность за все операции в своем едином лице, должен был быть везде одновременно, весь рабочий процесс был сосредоточен в его руках, без него ни один строгальный станок не мог быть включен, ни один рез не мог быть сделан никем, но нужно понимать

— Иида-сан понизил голос, и здесь, даже в этой кое-как кондиционированной комнате, он снова промокнул вспотевший лоб белым платком, после чего аккуратно сложил его — надо понимать, что его задача, первоочередная, или как бы это сказать, сказал Иида-сан, его непосредственная задача — разделить стволы деревьев, которые обрабатываются в соответствии с точным порядком, потому что микоси был построен из одного вида материала — это было очевидно, не так ли — из чудесного семейства хиноки, а здания — из других материалов, и для строительства стен использовался другой материал, чем для колонн — это тоже было понятно, не так ли? — но не только это, Иида-

Сан жадно хватал ртом воздух — мысли вылетали из его головы одна за другой с такой скоростью, и ему хотелось поделиться ими с гостями с такой же скоростью, что он едва мог дышать — мало того, он повысил голос, и тут ему пришлось снова заявить, что самым первым занятием торё было рисование, кроме него никто не умел рисовать, это было самое священное и исключительное знание торё, и он, нынешний, был особенно, необычайно одарен в знании того, что набрасывать на нижнюю и верхнюю части ровно отпиленного ствола дерева, как затем должна действовать пила, обрезая колонны или доски от стволов хиноки, насколько тонко должны проходить по ним механические или ручные рубанки, потому что его рисунок решает, как колонна выйдет из ствола дерева, более того, он также решает, какие отдельные колонны будут служить какой части здания, и затем в какой функции они будут служить высшим интересам святилища; Иида-сан был так увлечен, что почти выразил себя в стихах, и кто знает, откуда взялась эта восторженная страсть к торё

остановился бы, если бы упомянутый человек не вмешался сам, правда, не полубог, а пожилой человек с белоснежными волосами, худощавого, высокого телосложения и огромными темно-карими глазами, сам одетый в одежду остальных, то есть в белый комбинезон: милый, дружелюбный старичок с улыбающимся взглядом, на одежде которого все еще были опилки, которые он начал сам отряхивать; когда после его входа, обычного вручения подарков, взаимных представлений и обмена визитными карточками — он сказал, смеясь, что у него не было ничего подобного во время работы — Иида-сан предложил ему место, чтобы сесть, и знаками того, какую честь он считает для себя находиться здесь и иметь возможность встретиться с такими авторитетными заинтересованными лицами, присланными Дзингу

Сичо, торё, сел осторожно, чтобы не слишком запачкать стул, а затем, со временем забыв обо всем этом, он тут же расслабился, сидя, опираясь локтями на стол, а именно, что он узнал от Ииды-сана, что

Эти двое не были посетителями, посланными Дзингу.

Ситио, но им разрешили, и они просто хотели, чтобы он рассказал им о Сикинэн Сэнгу, о приготовлениях, деревьях, рабочем процессе — его глаза весело сверкали, когда он начал говорить, слова вырывались у него быстро, как у человека, живущего в страстной тени великих вещей и вышедшего из нее лишь на короткое время, чтобы поговорить об этих вещах; но затем ему придется вернуться, вернуться к своей страсти, эта его сторона характеризовала весь разговор: он горел сейчас каким-то поистине великим делом и не мог думать ни о чем другом с тех пор, как был назначен; только об этом, о 71-м Сикинэн Сэнгу; и в первую очередь он сделал все возможное, чтобы увести разговор от своей персоны, о которой они спросили в первую очередь, потому что все равно, что он мог сказать, он был простым плотником, мия-дайку, и он остается им, объяснил он гостям, только Дзингу Ситио оказал ему честь, назвав его торё, и как торё он теперь стал плотником, который несет большую, очень большую ответственность перед Дзингу Ситио, перед Найку и перед Гэку, но, прежде всего, перед Аматэрасу Омиками; Я простой человек, заявил этот простой человек, и он смеялся над ними и отвечал на все, что они спрашивали, очень серьезно, и давал им ответы, которые попадали прямо в суть дела, и если он чувствовал, что, возможно, они что-то не понимают, или если он чувствовал, что тема, о которой идет речь, имеет особое значение, он повторял свои предложения, даже по нескольку раз, и в такие моменты его лоб хмурился, он пристально смотрел то в глаза первому, то второму гостю, и только когда он убеждался, что они понимают, что он говорит, он снова смеялся и ждал следующего вопроса, и следующего, но через некоторое время он отвлекался, чтобы поговорить о том, что он считал важным, хотя они не спрашивали его об этом, потому что начали с того, почему

Сикинен Сэнгу происходит каждые двадцать лет, на что он ответил, что хорошо, потому что Дзингу нужно омолаживать, и, по словам старейшин, время для этого наступает ровно каждые двадцать лет, ведь Дзингу движется вперёд во времени вместе с человеком, и боги тоже не стареют, поэтому в вечно юном Дзингу есть место для вечно юных богов, вот что он мог сказать в целом по поводу причины, он улыбнулся им, и ну, как кто-то становится торё: неважно, что вы говорите, неважно, насколько красиво вы говорите, единственное, что имеет значение, это как вы работаете, и, конечно, возраст и практический опыт играют свою роль, не только профессиональный, но и человеческий практический опыт, и так далее — он жестом руки показал, как это происходит оттуда — но главное, он поднял указательный палец и очень серьёзно посмотрел на них своими огромными тёмно-карими глазами, главное — это то, что в вашем сердце, божество смотрит и видит и знает всё в точности, бог, он взглянул на них с озорным взглядом, и Дзингу Ситиё тоже: после последнего замечания присутствующие, под посмеивающимся руководством Ииды-сана, ответили сообщническим понимающим смехом, а что касается того, как кто-то становится хорошим мия-дайку, это тоже, сказал торё, очень легко понять, потому что здесь, в их родной Японии, но особенно здесь, в Дзингу, обычай таков, что мастер не учит, а ученик наблюдает за мастером, и так он поступал и со своим мастером, он наблюдал, как его мастер, его ояката, выполнял свою работу, он пристально всматривался в каждое движение, он следил за тем, что он делает и как он это делает, и он подражал ему, мы называем это, пояснил он,

«me de manabu» — это способ, если кто-то учит, то, безусловно, никогда не будет возможности чему-либо научиться у этого человека, вот как это происходит, он кивнул в знак подтверждения, и его аудитория кивнула тоже, поскольку с этого момента все трое превратились в внимательных слушателей, личность, прямота, дружелюбная натура торё, его откровенность

и открытость быстро сбили их с ног, даже Иида-сана, который вначале, стремясь обеспечить, чтобы авторитет Дзингу Ситио не оставался бездейственным ни на мгновение в этой ситуации, сам, с серьезным выражением лица, засыпал торё вопросами, в напряжении своей великой задачи промокая его толстую голову от черепа до шеи; но затем даже он забыл обо всем этом и, подобно двум другим, действительно с энтузиазмом слушал слова торё, например, когда тот начал говорить о том самом процессе рисования, а именно о том, что именно здесь все начинается и определяется, что в этом суть всей деятельности торё, а именно, что только он умеет рисовать, и он узнал это только после того, как полжизни изучал чертежи в Ситио, из которых, то есть чертежи, было всего три вида, действительно старые, старые и более новые — например, «кирикуму дзуси», следовать этому и рисовать это на дереве — частое решение, человек, он показывал что-то широкими жестами в воздухе, смотрит на старые чертежи и сохраняет их в своей голове, вот что он делал также, что касается самих книг, которых было бесчисленное множество в Ситио — он сделал забавную, кривую мину — ну, книги никогда не помогают, потому что книги — это кто-то чужой опыт, к сожалению, никогда не сможет помочь торё, ему может помочь только его собственный опыт, он всегда должен попробовать всё сам, конечно, прежде чем он действительно станет торё, потому что тогда он больше ничего не сможет попробовать, просто подумайте об этом, торё не может ошибаться, если рисунок на стволе дерева выполнен неправильно, возникнут огромные проблемы, потому что тогда можно было бы просто выбросить всё дерево, но нельзя просто так выбросить хиноки, они уже видели в Мисома-Хадзимэ-сай, через что проходит дерево, пока оно сюда не попадает, нельзя просто так их выбрасывать, каждый отдельный хиноки — это душа, и с этой душой нужно обращаться очень осторожно, твёрдо, очень осторожно, и потому

о том, что торё не может ошибиться, точнее, он никогда не может ошибиться, он снова посмотрел им в глаза, затем после короткой паузы заговорил о том, что в первую очередь все должно быть у него в голове и в сердце, затем он должен очень точно все измерять, постоянно смотреть на чертежи и только после этого выполнять свой сумидзукэ, то есть рисунок на стволе дерева; тушь, каждый торё использует особую тушь, конечно, он тоже, и всё же, несмотря на всё это, нельзя быть уверенным, что всё будет хорошо, потому что может случиться, что дайку не будет резать по рисунку, то есть, объяснил он, он может не резать с точностью до волоска по линии, тогда проблема столь же огромна, и это может случиться в принципе, но на самом деле этого никогда не случается, потому что дайку никогда не ошибается, все здесь, каждый из его коллег прошёл самую выдающуюся подготовку, все они, почти все они могли бы стать торё, по крайней мере, все старшие могли бы, безоговорочно, все здесь понимали каждый отдельный этап работы до такой степени, но нет никакого бегства, он засмеялся, чтобы они не подумали, что перед дверью, где происходит отбор торё, будет какая-то крупная драка, быть торё — это большая, очень большая ответственность, ты не только торё

днем, но и ночью, когда он спит, даже тогда у него нет семьи, нет развлечений, нет отдыха, нет болезней, нет праздников, вплоть до того момента, когда Сикинен Сэнгу

полностью закончен, сказал он; затем он снова вернулся к объяснению рисунка, чтобы они непременно поняли его слова, соответственно рисунок, я смотрю на рисунок, я смотрю на него непрерывно, и я рисую только на основе этого, но я не рисую без плана чертежа сразу, потому что тогда я могу сделать ошибку, и если я сделаю ошибку, это будет невозможно исправить, смотреть на план чертежа, точно измерять, а рисовать точно, это возможно только так, и именно это он и сделал, и то, что он еще не упомянул, он поднял указательный палец

палец снова был глазом, потому что глаз играет огромную роль при использовании инструмента, чтобы увидеть, все ли идет хорошо, и если результат хороший, это должно быть проверено глазом, это не было похоже на Европу, где для этого использовался какой-то инструмент; но глаз, а затем — он наклонился над столом в сторону гостей — инструменты, торё

всегда делает свои собственные инструменты, например, он осматривает дерево и делает инструменты для этого дерева, да, он также делает свои собственные инструменты, каждый сам, даже если он работает над чем-то дома, он все равно всегда это делает, то для Сикинэн Сэнгу это будет особенно так, потому что стоит работать только с такими инструментами, которые действительно предназначены для данной необработанной древесины, ясно, когда есть необработанная древесина, вам просто нужно посмотреть, и человек видит, что это за дерево, и затем, как он может сделать для него инструменты, но станки также используются, он говорит, потому что они не смотрят, новый ли инструмент или старый, а вместо этого смотрят, какой из них лучше всего подходит для работы, он покажет им позже — он жестом указал куда-то за спину — как все это работает; конечно, механические инструменты, они используются только в фазе арабори, то есть с необработанной древесиной, не для тонкой работы; затем пришло время ручных инструментов, и, ну, никаких изменений, никаких вообще изменений, они делают всё точно так же, как и для 70-го Сикинен Сэнгу, и это было точно так же, как и 69-го, говорят старые торё и так далее, возвращаясь к очень давним временам, а что касается того, похоже ли новое святилище на старое или то же самое? он повторил вопрос, ну, это кажется сложным вопросом, но это не сложно, потому что ответ прост, то есть новое здание такое же, как старое, а что касается того, почему это так, то это потому, что божество, которое там обитает, Аматэрасу Омиками, то же самое, это так просто, и именно так вы должны это воспринимать, потому что даже если всё это заново отстраивается, и Три Сокровища воссоздаются для каждого Сикинен Сэнгу, ничто никогда не меняется, всё остаётся прежним, вы знаете — торё наклонился

снова к ним над столом, с веселым выражением

— если я иду в тот или иной храм, чтобы помолиться, я уже по запаху хиноки чувствую, что все одинаково, и так же происходит со мной в жизни, торё

кивнул, его аудитория кивнула в знак согласия, я думаю об этом, и я чувствую, что все то же самое, ну вот так оно и есть, так я думаю, и так думал также мой учитель, и торё до него, но теперь, — перебил его западный друг, — давайте поговорим о последнем дне, что произойдет потом; ну, это тоже очень просто, торё

развел руки, потому что это происходит так, когда все материалы готовы и прекрасны, и сушка древесины идет как положено, тогда строится весь храм, все, но все строится, собирается вместе, чтобы посмотреть, подходит ли это, точно ли это, правильно ли это, но все это, конечно, происходит в мастерской, и непрерывно, в мастерской, да, потому что там может происходить только человеческая работа; снаружи в кодэнти, в великий день Сикинен Сэнгу, когда они собирают все это, там происходит работа божеств, после этого все стоит пустым в течение месяца, затем это убирается в последний раз и украшается, однако это работа священников, как и заключительная церемония, перед сэнгё, когда они приносят божество из старого святилища, и затем приходят люди, бесчисленное множество людей приходит со всей Японии, и все молятся, ну, это так, но если вы хотите, сказал торё, я могу снова перечислить все это с самого начала, что все начинается снаружи в священном лесу Дзингу Ситио, но вы видели это в Акасаве: там мы выбираем деревья, это сэйдзай, затем идет первый рисунок, черновой набросок, это суми-каки, за этим следует процесс сушки, за которым следует каннабай, то есть механическая строгка, затем есть еще один суми-каки, затем они забирают, — терпеливо объяснил он, — все деревья целиком в мастерскую, то есть отдельные стволы деревьев распределяются между различными

кладовые — здесь, на территории мастерской, есть восемь таких кладовых, четыре из них для Найку, четыре из них для Гэку — так вот, там, в отдельных кладовых торё, то есть я, он указал на себя, рисует сумидзуке на стволе дерева, чтобы я мог сказать, говорит он, что я их сумидзукизирую, затем идет сушка, а затем дайку пытаются собрать отдельные святилища в мастерской, и они хранят их все там, построенными, затем приходит следующий, и они строят его, они сохраняют его, затем приходит следующий, и так далее, но затем Дзингу

Ситио устанавливает срок, поэтому они разбирают их все и вывозят на территорию Найку и Гэку, и там их собирают в последний раз, всё происходит таким прекрасным и упорядоченным образом во время Сикинен Сэнгу, торё понизил голос, затем он посмотрел на настенные часы, прошёл ровно час, и он сказал, что нельзя работать без доброго сердца, это богоугодное дело, которое он делает, поэтому главным наказом для него было то, что он не должен быть занят ничем другим, только работой, не должен думать ни о чём другом, только о работе, соответственно он должен думать правильно, он должен работать правильно, когда гости ещё спросили его, сокрыты ли знания торё в его душе, он немного поразмыслил над этим последним вопросом, затем — как тот, кто забыл, о чём его спрашивали — он сказал, хорошее дерево, это главное, и с этим он встал из-за стола, он поклонился гостям, показывая, что разговор подошёл к концу, и он предложил отвести их в отдельные кладовые, что затем и произошло, Иида-сан шел впереди, внезапно осознав к концу, что он должен был представлять Дзингу Ситио здесь более настойчивым образом, то есть он осознал, что его несколько отодвинули на задний план, поскольку события происходили там, внутри офиса, тогда как он, как представитель Дзингу Ситио, не мог этого допустить из-за своего ранга и иерархии, из-за того, что Иида-сан был

теперь, не отставая от торё: с его быстрой походкой, с его собственной маленькой толстенькой фигуркой, его короткие округлые ноги едва поспевали, но он старался делать это своей круглой фигурой в палящий зной, и он поспевал, и он выдержал это, и они пошли вперед так, они впереди, а двое гостей позади них, торё: соответственно, время от времени оборачивались к ним, чтобы объяснить, что они видели, он прошел с ними по всем восьми кладовым, затем он показал им, как тонко может резать строгальный станок, которому была поручена необработанная древесина, и он подготовил лист хиноки два метра шириной, он провел станком по нему, и получилась тонкая полоска дерева, толщиной с волос, которая извивалась у них на глазах, нигде не обрываясь, он смотрел на своих гостей с гордым удовлетворением, потому что они, конечно же, были в изумлении, и они трогали дерево, как будто не могли поверить, что это возможно, и они водили пальцами и бежали их снова по обструганному куску дерева, они похвалили, насколько, но как удивительно, насколько невероятно гладкой была поверхность, затем после того, как эта небольшая демонстрация закончилась, каждый получил в подарок кусочек от тончайшей, как волос, полоски дерева, наконец, остались только прощания, два гостя поклонились, торё поклонился, затем, подняв его, он снова и снова благодарил их за пурэдзэнто, который он нес под мышкой во время всей прогулки, наконец он низко поклонился и Иида-сану, Иида-сан только кивнул торё, и уже направился к двери, со своими характерными движениями уже переваливаясь к выходу, как человек, который очень спешит, затем, когда гости догнали его — было ровно два часа — он, к их удивлению, предложил, может быть, им что-нибудь поесть, он, как он заметил, не смог сегодня пообедать по понятным причинам, и поскольку они видели, что их согласие было бы ему очень приятно, и что отрицательный ответ оставит его глубоко озлобленные, они сказали «да» и пошли в ближайший ресторан

По совету Ииды-сана, они заказали всё, что посоветовал Иида-сан, как местный специалист, и тут же, когда последнее блюдо исчезло со стола, Иида-сан, словно по мановению волшебной палочки, совершенно преобразился, из сурового, серьёзного и надменного бюрократа превратившись в милого, приветливого и добродушного молодого человека. Он заговорил о своей работе, о том, скольким, скольким важным гостям уже доверили показывать святыни, здесь даже был — с ним! — актёр из Шотландии, заявил он многозначительным тоном, и чуть не вцепился в руки своих гостей.

реакции, посмотреть, что они на это скажут, и когда они похвалили его выдающиеся достижения и предсказали ему великое будущее, он наконец успокоился и вдруг начал говорить о своей семье, и тут тоже слова слетали с его языка так быстро; а затем он передумал и заказал еще два местных деликатеса, Кавамото-сан едва успевал переводить его слова: у него была старшая сестра и младшая сестра, он перечислил, что старшая сестра уже вышла замуж, и пара живет в Кавасаки, младшая сестра все еще дома, где жил и он, не так уж далеко, кстати, Иида-сан указал куда-то за спину палочками, кто-то должен был остаться дома, его родители были старыми и больными, в доме должен был быть мужчина, вы понимаете, не так ли, спросил он, ну, конечно, гости кивнули, семья не могла оставить больных родителей совсем одних, он тоже так думал, одобрительно сказал Иида-сан, и затем два гостя расплатились и вышли из ресторана на улицу, он уже вел себя так, как будто они стали добрыми друзьями, и он попрощался с ними, милый мальчик, сказал западный друг и с улыбкой наблюдал, как пухляш Иида-сан на этих двух Его округлые ноги, покачиваясь из стороны в сторону, удалялись, направляясь к Дзингу Сити по улице, мерцающей в жаре, но его спутник не сказал

ничего подобного, но вместо этого начал говорить о том, как ему стыдно, что он может показать только такое Дзингу

Ситио своему гостю; Конечно, встреча с торё, как он надеялся, доставила ему радость, но он, Кавамото-сан, просил прощения за события в Дзингу, с которыми его друг, конечно же, понятия не имел, что делать, он просто не знал, что делать с этой резкой переменой настроения своего хозяина, потому что тот, не обращавший на него никакого внимания, был настолько всецело захвачен всем существом торё, что уже несколько часов его хозяин практически не существовал, он был просто переводчиком, который был рядом и действовал невидимо и самоочевидно, но не имел собственного существования, но теперь он внезапно выступил из этого небытия, и даже не просто как-то по-старому, а именно как будто что-то вырвалось из него, он говорил без пауз, как тот, кто готовился к этому долго, может быть, уже несколько дней, и было уже довольно странно, что Кавамото говорил не перебиваясь до сих пор, что то есть, он не произносил больше двух-трех предложений за раз, а скорее слушал другого, однако теперь он анализировал отдельные повороты судьбы, которые произошли с ними с Дзингу Ситио, и делал это даже тогда, когда, прибыв на станцию, они купили билеты в Киото и сели на платформу, и не только это, но он даже начал с Кохори-сан, и попросил прощения за него, и за то, что им пришлось спать в машине в Акасаве, ему было очень стыдно, что все так обернулось, и ему было стыдно, что церемония в Акасаве прошла именно так, он был уверен, продолжал он в ужасной жаре вокзала, что его друг надеялся на что-то другое, и он, конечно, должен быть теперь разочарован, и он, Кавамото, сожалел об этом так сильно, что просто не знал, как это исправить, но другой просто смотрел, и ничего не говорил, и смотрел на него, так как не мог понять ничего из того, что происходит на, возможно, самое лучшее, его друг

продолжил, было бы, если бы они вернулись в Киото, и если бы он позволил ему, в качестве прощания, поскольку осталось всего два дня, куда-нибудь съездить, отвезти его в место, которое, возможно, придется ему по душе, это было не такое уж зрелище, просто маленькое ничто, но, возможно, другой был бы рад этому, а этот другой просто смотрел на него, и теперь он был в замешательстве, потому что все еще не мог понять, что случилось с его другом, в чем все это дело, так что, конечно, он согласился, и он поблагодарил его за предложение, и всю дорогу в поезде он анализировал, чтобы сменить тему, великую красоту синтоистского святилища, какая ослепительно чистая конструкция, сколько изящества заключалось в его простоте, в отсутствии украшений и бесконечной заботе, с которой были обработаны материалы, хотя уже было очевидно, что ничто не могло изменить настроение Кавамото, он просто сидел у окна и все время поглядывал наружу, как будто ему было очень трудно говорить Прямо сейчас его друг почувствовал, что чем больше он начинал что-то хвалить, тем мрачнее становился его хозяин, он был совершенно растерян, так что в замешательстве своем прекратил разговор и так последние километры обратно до Киото прошли в молчании, и даже после этого они толком не знали, что сказать друг другу, так как, добравшись до станции, они сели в автобус номер 208, отправлявшийся домой, что стало тогда положительно неприятно, замешательство внутри них становилось все глубже и глубже, они шатались взад и вперед в автобусе, который к тому же был битком набит группой шумных американских туристов, и не сказали друг другу ни слова, цвет лица Кавамото даже изменился, а именно он был бледен, как полотно, — испуганно констатировал его друг; Мы выходим здесь, сказал Кавамото, и гость оказался на станции знаменитого Серебряного Храма: но они не пошли к Храму, а внезапно свернули влево на одну из дорог, ведущих к нему, и в другой, столь же скрытой точке начали двигаться куда-то по несколько заброшенной тропе вверх, к Даймондзи

гора, как сразу стало ясно, и всё это было странно, Кавамото за всё время не проронил ни слова, а его друг не хотел задавать никаких вопросов, должно быть, это и есть тот маленький сюрприз, так вот о чём он говорил в Исэ, думал он сейчас, карабкаясь вслед за ним, за унылым, странным хозяином, который шёл впереди, указывая ему, так сказать, дорогу, а порой и показывая, куда ступать, потому что тропа становилась всё круче и неровнее, и в сумерках он даже почти не видел, куда ступать, но Кавамото поднимался вверх с такой решимостью, и благодаря этой решимости он даже изредка не просил его о помощи, чтобы подтянуть его изредка на каком-нибудь более трудном участке, он только чувствовал спину Кавамото вверху, перед собой, и всё его внимание было полностью сосредоточено на тропе, чтобы не поскользнуться, не упасть, не откатиться назад, ломая себе каждую косточку, потому что это уже была не приятная вечерняя прогулка, а настоящая горная взбираясь, надо было ухватиться тут за это, там за то, за торчащую здесь ветку, за более крупный край скалы там, и карабкаться и карабкаться вверх, и всё это время сумерки спускались с огромной скоростью, словно на них набрасывали сеть, может быть, Кавамото торопится, чтобы мы успели туда, пока ещё что-то видно, подумал он, но ничего не понял, даже в этом он ошибался, Кавамото вовсе не торопился, потому что хотел достичь вершины горы до наступления темноты, должен быть какой-то монастырь или место паломничества синтоистов, подумал его спутник, но Кавамото хотел показать ему не какой-то монастырь или место паломничества синтоистов, а весь Киото; западный друг понял это, когда они наконец достигли вершины горы Даймондзи, и Кавамото-сан стоял в стороне, и он мог смотреть вниз с высоты, а там, внизу —

полностью охватывая горизонт — на самом деле это был весь город, тьма к этому моменту почти полностью

упал, огни уже горели внизу вдали, и они ничего не говорили; он, потому что это зрелище лишило его дара речи, а Кавамото, потому что боялся, что показывает это напрасно, что его друг, который помог ему установить связь между его уединенной жизнью и миром, за что он был ему вечно благодарен, не понимает, и объяснить это было невозможно: здесь, на вершине Даймондзи, это был не мир слов; эта гигантская вечерняя картина города, окруженного горами, сказала без единого слова все, что он хотел сказать своему другу перед прощанием: вечерняя картина, когда мерцание сумерек исчезало в небытии, и наконец спускалась тьма, внизу был огромный город, с крошечными огоньками его звезд, образующими огромную поверхность для себя, а здесь, наверху, были они двое, Кавамото Акио и его друг, который, хотя и был доволен, что его друг не разговаривал и только смотрел вниз ослепленными глазами здесь, с высоты, он также понимал, что все напрасно, этот друг ничего не видел, западный глаз видел только светлячковое мерцание вечернего города, но ничего из того, что он хотел ему сказать, о чем эта безнадежная, одинокая, дрожащая земля сигнализировала человеку оттуда, снизу, конечно, это место просто означало для него чудесные сады, чудесные монастыри и чудесные горы вокруг, так что Кавамото уже повернулся и отправился по тропинке, ведущей вниз, когда этот друг, с глазами, полными удивления, венчавшими уже непоправимое недоразумение, и как бы благодаря за этот очаровательный подарок, заговорил с ним и, уверенный в утвердительном ответе, задал следующий вопрос: Акио-сан, ты действительно любишь Киото, не так ли? Это в одно мгновение вызвало у Кавамото полный упадок сил, и он смог только сказать хриплым голосом, направляясь вниз в густой

темнота пути, настолько глубокая, возвращаясь назад, что нет, нисколько, я ненавижу этот город.

1597

ЗЕАМИ УХОДИТ

Все говорят, что он совсем не был печален, что жестокое изгнание не ослабило его, напротив, что он понял суд Садогашимы как своего рода завершение, как своего рода милосердный суд, высшее божественное противоречие «желания зла, но творения добра», и это мнение мисс Матисофф и Эрики де Поортер, Кунио Компару и Акиры Оомотэ, доктора Бенла и профессора Амано.

— нет смысла перечислять их — ибо именно Стэнфорд и Лейден, Токио и Токио, Гамбург и Осака наиболее решительно утверждают, и в унисон, что он родился Юсаки Сабуро Мотокиё, носил имя Фудзивака в юности, затем Сио Дзэмпоо в монашестве, широко известный как Дзэами Мотокиё — то есть, осужденный, который отправился в ссылку в 1434 году в почти счастливом состоянии, и там, на острове Садо, традиционном месте ссылки для самых высокопоставленных преступников, он почувствовал, что Судьба прямо вознесла его в Рай: так они все пишут, так они подразумевают, они распространяют эту ложь, как будто они — японцы и не японцы — все заранее сговорились об этом: что позор, чудовищный и беспримерный, даже убить одну из величайших деятелей искусства в истории мира, этого крошечного, хрупкого и в остальном уже сломленного старика семидесятидвух лет лет от роду, в опасное путешествие, а затем, в довершение всего, к нашему еще большему позору, если не к прямому кретинизму нашего невежественного нынешнего века, заставив нас поверить, что он чувствовал себя прекрасно, он совершил путешествие и провел на далеком острове период времени, не указанный, в соответствии с обычаем, который поэтому мог бы быть целой вечностью, в гармоничном, уравновешенном состоянии духа; у нас нет источников, которые бы указывали на обратное, они все широко развели руками в унисон, мы можем положиться, провозглашают они, только и исключительно на очаровательно прекрасного Кинтушо, имея в виду его

Короткий шедевр, написанный в 1436 году и, таким образом, несомненно, доверенный бумаге в период изгнания с острова Садо; несомненно, эта прощальная жемчужина его эстетического творчества, этот изысканный орнаментальный камень, эта восхитительная каденция не может быть прочитана иначе, не может быть истолкована ни как иное, кроме торжественной лебединой песни души, погруженной в молчание, существа, преодолевшего непостоянную судьбу, способного созерцать мирское существование лишь наряду с существованием небесным; но все это — намеренная интрига и ложь, мистификация и заговор, потому что он, конечно, был печален, бесконечно, безутешно печален; они ранили его, точнее, они ранили того художника, в котором уже почти не было сил вынести приговор, который был совершенно несправедлив как по отношению к нему, так и к зачинщикам этого приказа; он уже очень устал, он был слаб, и жизнь истощила его; и в бессильном дворе и в резиденции сумасшедшего сёгуна все знали, что даже одного тона поверхностного, бесчувственного, бесчувственного замечания было достаточно, чтобы Зеами почувствовал себя навеки уязвленным; ну что ж, после такого приговора, после всего, что было прежде —

его карьера, с ее блестящим началом, решительно пошатнулась в 1408 году со смертью сегуна Ёсимицу, ну, и еще после этого его карьера приближалась к завершению, прерванная смертью в 1428 году сегуна Ёсимоти, и все же после этого последний удар, сокрушивший гения, столь беззащитного — да он и без того был восприимчив даже к малейшим ударам судьбы — потеря его всецело обожаемого сына, его наследника и воплощения будущего Ассоциации Юдзаки, а следовательно, и самого Но, Дзюро Мотомаса, которого он, Дзэами, считал более талантливым, чем он сам и его собственный отец; и все же, как мог кто-либо, японец или неяпонец, поверить, что после всего этого, что это совершенно мегаломаниакальное, подлое, идиотское и высокомерное решение отправить такого пожилого человека на верную смерть, сделает этого человека, предмета этого решения, счастливым, и что в его глазах Садо

было бы действительно идентично тому, что описано в Кинтусё, идентично центру Осы и Алмазной Мандалы, Космическому Единству, Бесконечному Ходу Возрождения Богов и Людей — нет, это не Садо, так же как ни одно место в Кинтусё не идентично хотя бы одному месту истории его изгнания; какой бесстыдный обман, какая развратная фальсификация; ибо в действительности — а не в Кинтусё — именно печальный, раненый, сломленный старик должен был покинуть Киото в 1434 году, впоследствии добравшись на лодке до префектуры Вакаса, а оттуда — до места своего изгнания; это все равно, как если бы мы должны были поверить, что когда Дзэами получил приказ отправиться в изгнание из Муромати Дэндо, резиденции сегуна, он был исполнен величайшей радости, о, наконец-то я могу добраться до Садо, о, его сердце наполнилось теплом, наконец-то у меня появилась возможность достичь в этом мире, в награду за всю мою жизнь, того, что не мирское, Царства Осы и Алмазных Мандал — разве мы должны представлять это так?! в самом деле?! — нет! тысячу раз нет! на самом деле все произошло совершенно иначе, ибо у него были все основания чувствовать, что злая судьба, олицетворенная сегуном Ёсинори, не просто хочет прогнать его, но хочет, как кувалда, раздавить его вдребезги, уничтожить его, уничтожить его, убрать со своего пути этого непослушного его желаниям; Зеами прекрасно знал, что если он покинет Киото, исполняя приказ об изгнании, приказ, который он, тем не менее, должен был исполнить, то он больше никогда в жизни не увидит Киото, так в какой иной атмосфере это могло произойти, как не в атмосфере прощания на всю вечность; все в доме плакали, слуги свиты от самых молодых до самых закалённых старейшин — все плакали; он мягко заверял их, что всё будет хорошо, но он прекрасно знал, что с этого момента ничего не будет хорошо, он кланялся всем членам своей семьи, он кланялся своей любимой жене, но всё это время он прощался и с домом: с вещами,

лучи света, тонкий аромат благовоний; и настал час, и они отправились в путь по улицам Киото, и затем он попрощался с улицами Киото, попрощался с Гошей, с мостом Арасияма, затем попрощался и с рекой Камо; это был четвертый день пятого месяца, шестого года Эйкё, когда они в тишине покинули город, в то время, со свитой, указанной в приказе, и только на следующий день прибыли в порт Обама в префектуре Вакаса, там стояла лодка; Зеами пытался вызвать в памяти воспоминания об этом месте, потому что был уверен, что уже бывал здесь раньше, но не мог вспомнить, что привело его сюда, когда это могло произойти и в чьей компании он мог побывать, он почти ничего не помнил, может быть, он даже не был уверен, что был здесь раньше, может быть, ему просто так казалось, груз более чем семидесяти лет давил на его воспоминания, и эти воспоминания функционировали особым образом, а именно: все кружилось в совершенном беспорядке в его разбитом сердце и разуме, картины воспоминаний приходили, текли, накатывали, непрерывно плывя одна за другой, и, извлеченные из всего, с чем он сталкивался в реальности, какие-то старые образы вплывали в его разум; не было важных, существенных воспоминаний, потому что теперь каждое воспоминание было важным, существенным; хотя одно и то же лицо возвращалось снова и снова, одно лицо постоянно всплывало в этих мимолетных воспоминаниях: дорогое лицо его любимого сына, которого он потерял и которого он знал — до того дня, как тот покинул эту землю и с самой беспощадной внезапностью оставил его позади — как своего достойного преемника; он видел теперь и Мотомасу-сан, пока картина не побледнела, а горы, окружающие берег, и нежные облака над волнами не вызвали в его воображении известное китайское произведение «Восемь видов Сяо и Сян», тогда он подумал об этой картине, и внутри него начало складываться стихотворение, было еще

времени для этого было более чем достаточно, так как, сев на лодку, они были вынуждены ждать, и долго, в мертвом штиле и полной тишине; ветер не дул всю ночь, только утром и то в неправильном направлении, не с того направления, которого им приходилось ждать, но затем появился и этот ветер, ветер, дующий в нужном направлении; они подняли якорь, они отплыли, по волнам; и он оглянулся и увидел, что они удаляются всё дальше и дальше, от земли, которую он так любил, он уже был очень далеко от города, который он должен был теперь покинуть раз и навсегда, он действительно должен был проститься с ним сейчас, и хотя он надеялся до самой последней минуты, что, возможно, этого всё-таки не произойдёт, теперь, когда уверенность была неопровержимой, он не мог совладать со своими чувствами, и даже не было никого рядом, кто понял бы, почему у него текли слёзы, когда парусник — хотя и следовал всё время вдоль береговой линии — отчалил так далеко от берега, что можно было только знать, но не видеть, что он остался там, где-то в тумане: они оставили его одного на палубе, и он стоял там, прислонившись к поручням, и довольно долго не мог даже заставить себя сесть обратно в кресло, которое они привязали для старика; ибо душа его прощалась со всем, что было его жизнью, которая теперь заканчивалась, потому что что же может произойти теперь, спрашивал он себя, но он видел только волны, когда лодка рассекала их, волны, это был ответ на его вопрос о том, что может произойти, потому что — ну, что же может произойти; волны, волны, одна за другой, тысячи и тысячи, миллионы и миллионы волн, он уже знал, что это произойдет — это и таким образом; однажды, когда он был совсем молодым, где-то между детством и юностью, он страстно влюбился в сёгуна Ёсимицу,

от

кому

после

—

полностью

независимо от их чувств друг к другу, и исключительно благодаря исключительной эстетической чувствительности Сёгуна —

он и его труппа — а вместе с ней и весь «Саругаки но Но», как они тогда называли его, — были удостоены самого высокого покровительства; уже тогда он знал это, уже находясь в окружении этой бесконечно чистой любви, известной как вакасюдо; и часто он стоял у окна в спальне сёгуна, из которого открывался вид на изысканный сад; он стоял там; в тот момент рассвет еще не начал заниматься, все еще было темно, но что-то уже начало смягчаться в этой тьме, обещая, что позже тьма медленно, крайне медленно будет рассеяна, словно тонкое дуновение, светом; уже тогда ему много раз приходило в голову, что когда-нибудь этому придет конец, и что судьба не будет к нему благосклонна, и поистине судьба не была к нему благосклонна, безжалостно исполняя свои приговоры над ним, один за другим, так что теперь появился последний и отправил его на ветхом судне; ни перед ним, ни позади него, ни где-либо вообще ничего не было видно, только вода и бесконечная вода, как далеко до Садогашимы, спросил он капитана, который ответил после, как ему показалось, удивительно долгого молчания, что о, почтенный господин, это все еще очень, очень долгое путешествие; вот что он ответил ветру, который поднялся до шторма, или, скорее, он выкрикнул это из-за штурвала, выкрикнул это сквозь два более мелких порыва ветра, это все еще долгое, долгое путешествие; и так оно и было, они шли вперед, следуя береговой линии, кругом только вода и вода: иногда на них проливался дождь, и не было никаких признаков лета, и можно было смутно почувствовать гору Сираяма вдали, и Хакусан с горным святилищем и его снежной вершиной, затем рядом, паломнические гавани Ното и Судзу и Семь островов, и, может быть, солнце садилось один раз, и солнце садилось два раза, и, может быть, все еще временами нежные искорки светлячков можно было увидеть над водой у берега, или, может быть, это были всего лишь последние угольки заходящего солнца, кто знает, подумал Дзеами, и он уже с трудом мог решить, видит ли он

реальность или просто механизмы его воображения, во всяком случае, позже он отчётливо вспомнил рыбацкие лодки: это не было делом его не слишком живого воображения, они определённо встречались с рыбацкими лодками, и наступали дни, и наступали ночи, и порой ему казалось, что лодка вообще не движется, а просто покачивается, и вот рядом с ним покачивается знаменитый паломнический храм на Татэяме, а потом, однажды, вершина горы Тонами, и они просто покачиваются на ветру, в то время как префектуры Этидзэн, Эттю и Этиго исчезают; был лунный свет и случались также небольшие штормы, дни и ночи сменяют друг друга; он наблюдал за этим, но мелькающие картинки между Сираямой и Этиго не были картинками, стимулирующими его мысли, потому что эти его мысли снова и снова возвращались в Киото, занимая улицы одну за другой, Сузаку-Одзи, идущую прямо между Расёмон и Сузакумон, затем выше Госё и дальше на севере дворец Сёгуна; он шел в одном направлении, словно во сне, он свернул за угол, потом прошел еще немного, и он увидел одну за другой самые важные фигуры своей жизни, и наконец неожиданно оказался перед собственным домом: и он уже открыл бы дверь, потянул за дверь входные ворота, когда волна качнула корабль, и ему пришлось держаться за борт, потому что волна иначе смыла бы его за борт, матросы закричали, они убрали парус, лодка вернулась на прежнее место, и по лицу капитана было видно, что ничего не произошло, они продолжали плыть по волнам, и только вода и вода повсюду, и воспоминания и воспоминания, куда бы он ни посмотрел, и печаль, боль в его сердце, теперь почти беспредметном, и вода и вода, и волны и волны, он был усталым, одиноким и очень старым, и вдруг что-то его вздрогнуло; он крикнул капитану: где мы? На что капитан ответил: вот он, он уже там, и он указал в какую-то сторону,

гримасничая, но с почтительным выражением лица, вот остров Садо, мой господин, это, несомненно, Садогашима, почтенный господин.

Оота — название залива, где традиционно швартовались такие суда, перевозившие изгнанников; именно здесь им приходилось спускать якорь, в заливе Оота, где, согласно приказу, они должны были высадиться на острове Садо, и здесь они высадились; день уже переходил в ночь, и после утомительного путешествия, длившегося по крайней мере целую неделю, хотя эта целая неделя казалась ему гораздо длиннее, они скорее походили на неделю вечности, простирающуюся в какое-то безвременье; они, конечно, не остались на палубе, а сошли на берег, следуя условию путешествовать только днем, и провели первый вечер, ввиду ограниченности возможностей, в маленькой рыбацкой хижине; Ночью он не спал, путешествие его измотало, все конечности болели, к тому же под головой у него лежал кусок камня, но даже это не привлекло его внимания, когда они легли на кухне отдохнуть, а вместо этого он подумал о своих детях, жене и любимом зяте Компару Дзенчику, которому он доверил тех, кого любил; позже в его мыслях всплыло несколько строк из стихотворения Аривары Мотокаты из «Кокинсю» о том, как приближается осень и защитит ли гора, формой напоминающая дождевую шляпу, клены от разрушительного воздействия погоды или что-то в этом роде; было странно, что именно эта гора, Касатори, имеющая форму дождевой шляпы, Касатори из Ямасиро, пришла ему на ум из того стихотворения, это Касатори, возникшее из полного небытия; он не мог связать это ни с чем; почему, он не мог объяснить никакими словами, что именно заставило этот стих всплыть в его памяти среди ночи —

Касатори, он ощутил вкус этого слова во рту, и он вызвал в своем сознании образ горы, вспомнил чудесные цвета кленов земли, погруженной в осень, Касатори, Касатори, и вдруг все это

Он выпал из головы, посмотрел на незнакомые, холодные, простые предметы в мрачной темноте хижины; он поправил положение головы на камне, поворачиваясь то влево, то вправо, но нигде на камне, служившем ему подголовником на эту ночь, не было удобно, и хотя рассвет наступал с трудом, с огромным трудом, в конце концов он даже не мог сказать, что слишком устал, ожидая этого рассвета, в его возрасте обычно проводишь время именно так, в великом ожидании, даже в Киото это было почти всегда так, долгие часы в тишине после краткого сна, рассвет Киото — Киото, священный, бессмертный, вечно сияющий Будда, всё это было так далеко, словно раз и навсегда стерлось из реальности, чтобы существовать отныне только в себе, о Киото, вздохнул он, выходя из двери хижины, вдыхая резкий морской воздух, Киото, как же ты уже ужасно далек, — но тут ему помогли сесть на одну из стоявших там лошадей здесь, как и было указано Синпо, процессия начала подниматься по горной тропе, его воображение уже переносило его в осенний рассвет давным-давно; он не только видел непревзойденную силу его багрянца, но даже чувствовал в глубине кленов тот безошибочный аромат, который так кружил ему голову в такие моменты, например, осенью в Ариваре, на склоне горы, воспетом в песне; они с трудом поднимались по тропе, он искал клены, но здесь их нигде не было видно, путешествие изнуряло лошадей, узкая тропинка была извилистой и крутой; Проводник, которому было поручено вести его верхом, по временам поскальзывался в своих пеньковых сандалиях — стоптанных вараджи — на каменистой земле, и в такие моменты поводья хватали его, а не он сам хватался за поводья, так продолжалось долго, и что отрицать, он едва мог это выносить, он даже не мог назвать год, когда он в последний раз сидел на коне, и теперь на этой опасной земле; их единственное счастье было то, что не было дождя, он

Он был полон решимости, и напрасно пытался он отыскать красивую поляну в лесу вдоль тропы, или поймать песню соловья или бюльбюля, он постоянно был вынужден сосредоточиться на том, чтобы не упасть с лошади, не сползти с седла на опасном размытом участке пути, у него не оставалось сил ни на что другое, так что, когда они наконец достигли перевала Касакари, и он обратился к крестьянину, ведущему его лошадь, говоря: разве это не Касатори? — Нет, крестьянин покачал головой, но ведь и здесь есть что-то общее с этим словом; осужденный нажимал еще сильнее, с Касатори в Ямасиро, нет, не так, ответил крестьянин в замешательстве, это Касакари, так что ничего, задумался всадник, и был ли он полностью уверен в этом?

спросил он, но даже не стал дожидаться ответа, почти одновременно со своим вопросом он дал понять, что путешествие его немного утомило, и он попросил остановиться на отдых, всего на короткий отдых, что тоже пошло ему на пользу, и они провели всего полчаса под густой листвой дикой шелковицы, но силы вернулись к нему, он заговорил, сказав, что теперь они могут ехать дальше, ему снова помогли сесть на лошадь, процессия двинулась дальше, и они быстро достигли храма Хасэдэра, который, как он знал от крестьянина, принадлежал секте Сингон, но кому же еще он мог принадлежать; он бы улыбнулся про себя, если бы это имя не вызвало в нем воспоминаний о доме Хасадэра в Наре, которые, однако, были настолько мучительны, что он ничего не сказал крестьянину, только кивнул, хорошо, что это принадлежит к секте Сингон, и хотя великолепные цветы внезапно показались рядом с храмом — оттуда, где он находился, на мгновение показалось, что это были ухоженные азалии — он не крикнул, чтобы остановить лошадь, потому что не хотел, не хотел, чтобы воспоминание о Наре больше мучило его, потому что прямо сейчас его бы еще больше мучили дорогое лицо его дочери, дорогое лицо его зятя и образ Фугандзи, их семейного храма, воспоминание о важной молитве

произнесенные там слова измучили бы его; ну что ж, лучше уж мучиться в пути, тогда поедем дальше, — махнул он рукой, но крестьянин, не поняв его или полагая, что рассказ доставит радость почтенному господину из Киото, заговорил с ним по дороге, и поэтому крестьянин все время показывал назад, в сторону Хасадэры, где перед главным алтарем находилась статуя Одиннадцатиглавой Каннон, но господин из Киото ничего не говорил, поэтому крестьянин даже не стал подробно перечислять, что это за знаменитая Каннон в Хасадэре; он просто брел вверх по перевалу, держась за поводья лошади, и даже не смел говорить, пока они не достигли Синпо, когда уже стемнело, и поэтому регент округа, полностью настаивая на соблюдении строжайших формальностей, уже назначил для изгнанника место в ближайшем храме, Манпуку-дзи, который не мог ничего сказать Дзеами о себе в тот день, так как Дзеами был настолько измотан, что его уложили на приготовленное для него место, он уже закрыл глаза, лежа на спине, как всегда, он поправил одеяло и тут же погрузился в глубокий сон и проспал почти четыре часа подряд, так что храм показался ему, не тогда, а только на следующий день, только тогда осужденный из Кёто увидел, в каком месте он оказался, он откинул одеяло, надел одежду и вышел в храмовый сад, который позже, пока он не сменил место жительства, принес ему столько радости, особенно одну сосну, которую он обнаружил на краю высокая скала, и которая росла и цеплялась за эту скалу, как будто крепко держалась за нее, и это зрелище часто было для него душераздирающим, и в такие моменты, чтобы снова не быть охваченным глубоким чувством, перед лицом которого он оказался в этот период таким слабым, он слушал горные ветры, как они ласкали листву на деревьях, или в тени дерева он смотрел, как вода стекает по тонким прожилкам моховой клочья, он смотрел и слушал, он ничего не просил

никто, и никто ничего у него не спрашивал, тишина внутри него стала непреложной и эта тишина вокруг него тоже стала невозвратимой; он смотрел на воду в маленьких ручейках во мху, он слушал журчание горных ветров наверху, и отовсюду его переполняли воспоминания, куда бы он ни смотрел, древнее воспоминание, смутное и далекое, нападало на образ или звук, и он начал проводить дни таким образом, что больше не мог ощущать, что наступило одно утро, а затем следующее, потому что первое утро было в точности таким же, как и следующее за ним, так что он начал чувствовать, что не только они идут одно за другим, но что в общем и целом есть только один-единственный день — одно-единственное утро и один-единственный вечер — он выходил из времени и возвращался в него лишь изредка, и даже тогда ненадолго, и в этих случаях он как будто видел Манпуку-дзи с большой высоты или Золотой Чертог посреди сада, с Буддой Якуси внутри него на главном алтаре, все с большой высоты, с высоты медленно кружащего ястреба; ну, в такие моменты иногда случалось, что он возвращался ненадолго и, сидя под прекрасным кипарисом в моховом саду, он говорил вслух сам себе: так, это моя могила, могила невинных, это моя могила, здесь, это временное жилище в Манпуку-дзи, затем он погрузился в эту особую внутреннюю тишину, и это не было благосклонно воспринято в офисе регента Синпо, он должен был что-то сделать, ему посоветовали однажды, когда он, регент округа, сам приехал с визитом, после чего Дзеами, чтобы предотвратить дальнейшие увещевания такого рода, попросил кусок кипариса хиноки и инструменты, и он принялся вырезать так называемую маску для вызывания дождя о-бэсими, которая использовалась не в Но, как можно было бы ожидать, а в бугаку, знаменитом танце поклонения: он проработал лоб и брови в совершенно детальной манере, а глаза и гребень

нос изящно и трогательно, но на остальное у него не хватало внимания: спинка носа, ухо, рот и подбородок оставались в грубом состоянии, как будто по ходу дела он терял интерес или как будто его мысли беспрестанно блуждали где-то между спинкой и нижним краем носа, и к тому же он работал медленно, в противоречие со своей натурой, которая была быстрой; Он создал эту маску множеством медленных движений, и вот он выбрал подходящий, точно необходимый резец с большой тщательностью, даже с излишней осторожностью, затем он вонзил резец в мягкий материал так осторожно, так неторопливо, что любой, кто знал его, мог бы легко поверить, что он работает над поистине необычайной задачей, но здесь, конечно, никто его не знал, ни о какой необычной задаче не могло быть и речи, поскольку среди высших чиновников никто даже не интересовался тем, что он делает, просто пока он что-то делает, главное была его личность и чтобы он не бездействовал, а значит, не умер раньше времени, что для высших чиновников и даже самого регента означало бы только неприятные вопросы и трудно формулируемые ответы, риски и обязательства, так что, ну, даже блоха не заинтересовалась этой маской, просто с молчаливого согласия в кабинете регента Синпо и его окрестностях узнали новость о том, что крошечный изгнанный старик не просто сидит в саду и бездельничал весь день, как они выражались, а работал над чем-то, он вырезает маску, повторяли они друг другу, что затем быстро распространилось среди населения Садо, потому что новость распространилась не столько среди высших чиновников, сколько среди низших, так что в общей сложности 208 лет после смерти великого императора и 154 года после смерти основателя веры, если не брать в расчет поэта-министра, жители острова отметили между собой, что следующее известное изгнание из Киото — это

уже здесь — но он хотел перенести свою резиденцию в Сёхо-дзи, тем не менее он сообщил регенту, что в будущем, как он чувствовал, храм Сёхо-дзи будет для него лучшим местом, предполагая, что это не будет представлять никаких проблем для Его Превосходительства Регента, — сказал однажды старик слабым голосом; Сёхо-дзи, регент отшатнулся в изумлении, и он действительно не мог скрыть, как он был потрясён просьбой осуждённого из Киото, не то чтобы это имело какое-либо значение, жил ли он в Манпуку-дзи или в Сёхо-дзи, само по себе это не вызывало никаких проблем, но скорее то, — регент нервно пробормотал среди своей свиты, — ну, чем Сёхо-дзи лучше, а чем Манпуку-дзи нехорош, и люди в свите переглянулись и были озадачены, потому что, как они сказали, это ничего не значит, первое это или второе, но почему первое и почему второе, вот в чём был вопрос, и на этот вопрос должен был быть ответ, они с энтузиазмом закивали, но затем Дзэами получил разрешение и сменил место жительства, и никто больше никогда не спрашивал его, почему первое, а почему не второе, это было так несущественно, просто вопрос не был несущественно и каким-то образом — никто не помнит, как это произошло — проблема разрешилась сама собой, регент издал приказ, чтобы человек, сосланный сёгуном Ёсинори, был переведен из Манпуку-дзи в Сёхо-дзи, поскольку, как записал регент в необходимых документах, это не будет обременением для почтенного господина, и таким образом Сёхо-дзи немедленно стал резиденцией Дзэами, он взял с собой маску, над которой работал, и иногда продолжал работать над ней, но так и не продвинулся дальше переносицы, он нашел огромный валун и приписал ему какое-то огромное значение, потому что с этого момента каждый день, если не шел дождь, он выходил на свою скалу — невозможно было сказать, что он там делал, люди покрывали все

возможности: он декламировал стихи, пел, бормотал молитвы, но на самом деле никто никогда толком не знал, потому что никто никогда не осмеливался приблизиться к нему, он никогда не мог объясниться, если время от времени возникал какой-то нечастый разговор, он даже не мог заставить их перестать называть его Ваша Честь, Достопочтенный Господин, напрасно он говорил им, что он всего лишь обычный монах по имени Шио Цзэмпу, Ваши Чести и Достопочтенные Господа оставались, но было также правдой и то, что они действительно не осмеливались приблизиться к нему, не потому, что он был страшным, он не был нисколько страшным, скорее он был просто маленьким, истощенным, хрупким, нежным созданием, его руки дрожали, готовые быть унесенными первым сильным порывом ветра; единственная проблема была в том, что он был настолько другим, что они просто не знали, как к нему подойти, его мир и их мир были так далеки друг от друга, как звезды на небесах от комка земли в земле, его движения казались здесь такими необычными, он поднимал свою дрожащую руку совсем по-другому, и то, как он держал свои пальцы, тоже было другим, его глаза, когда он медленно смотрел на кого-то, были такими, как будто он смотрел сквозь этого кого-то, как будто он видел сквозь них их прапрадеда, и им казалось странным, что его лицо, несмотря на его преклонный возраст, было похоже на лицо молодого мальчика, и притом очень красивого мальчика; гладкая белая кожа, высокий гладкий лоб, узкий сужающийся нос, изящно очерченный подбородок — они приходили в замешательство, глядя на него, потому что он был красив, очень красив, и никто не мог объяснить это здесь, на Садо, где все, включая самого регента, были скроены как из одного теста, у всех лица с одинаковой темно-коричневой кожей, и эта кожа была ряба от вечно дующих ветров, и женщины из более высоких семей были одеты едва ли лучше, чем женщины из более низких семей, лодки прибывали редко, и еще реже на этих лодках прибывало что-то, чем эти женщины могли бы принарядиться: изгнание было поистине, одним словом,

посланник далекого государства, и иногда он тревожил местную знать и ее подчиненных, говоря бегло стихами, если у него было к этому желание, и он путал свои слова, невозможно было понять, говорит ли он о вчерашнем сне или воспоминании двадцатилетней давности; Одно было несомненно: он никогда не говорил о том, что было здесь, на Садо, или всегда менял тему, говоря о том, что произошло двадцать или тридцать лет назад, или давал уклончивый ответ, говоря на вопрос, всё ли ему по душе, что да, всё по душе, на самом деле его слишком много нагружают, ему не нужно так много еды, в течение дня он ел только один раз, утром, и совсем немного, немного вареных овощей, рыбы, бобов, что-то в этом роде, он был всем доволен, он ни разу не жаловался на свои обстоятельства, он одобрительно кивал на всё, он хвалил людей, которые приносили ему еду и служили ему, он казался спокойным и умиротворённым или бесстрастным, и только когда он был около своего валуна, он плакал, иногда они видели это, группа детей среди слуг рассказывала об этом, они осмеливались приближаться к нему и шпионили за ним, и самые простые, и самые высокопоставленные жители острова даже ничего не говорили, услышав эту новость, по крайней мере эту они могли понять, он думает о доме, сказали они друг другу и кивнули, как те, кто полностью способен понять, они очень хорошо поняли дело, и не было никакой необходимости в объяснениях относительно того, кто этот человек и что он чувствует; тем не менее, это было именно то, что они ничего не поняли, абсолютно ничего в этом во всем этом мире, данном богом, потому что, конечно, как они могли бы понять, как они могли даже заподозрить, что именно в этот раз они не только не поняли — этого в конце концов следовало ожидать здесь, на Садо, в этом богом забытом месте — нет — но и не было ни одного человека во всем мире, который мог бы по-настоящему понять его, ни в Киото, ни в Камакуре, ни в

ни в Императорском дворце, ни в Муромати Дэндо, никто, ничто, никогда и ни в малейшей степени, даже бесконечно образованный советник Сёгуна, Нидзё Ёсимото, и даже не сам Асикага Ёсимицу, что Дзэами не был одним из многих, не просто исполнителем саругаку, чья звезда взошла и затем закатилась, нет, совсем нет, он создал Но, он вызвал к жизни и определил новую форму существования: он не создал театр, потому что Но — это не театр, а более высокая, если не самая высшая форма существования, когда человек, посредством развитой чувствительности, уникальной интуиции и гениальной интроспекции, компетентности глубокого взаимодействия с традицией высшего порядка, создает революционные формы, никогда ранее не испытанные, и тем самым возвышает все человеческое существование, возвышает целое на очень высокий уровень; и вот эта ситуация, этот смертный приговор: потому что человеческое существование держит свои собственные потребности на очень низком уровне, они всегда были на очень низком уровне и будут держаться на очень низком уровне во веки веков, ибо человеку просто не нужно ничего, кроме полного желудка и полной копилки, он хочет быть животным, и нет силы, которая могла бы переубедить его или порекомендовать что-либо другое, и так хитер человек, что он инстинктивно чувствует, когда что-то или кто-то хочет вытеснить его с того места, где желудок и копилка — единственное, что имеет значение; не нужно, отвечает он на более высокие вызовы, можешь взять свой совет и засунуть его себе в грязную задницу, если он должен выражаться грубо, и в таких случаях он выражается грубо, дворянин он или простолюдин, все одно и то же, пусть ходят и жеманятся, важничают в любое время и по любому поводу, но он все равно не встанет из-за обеденного стола, и никто не сможет оторвать его от чудес копилки, если желудок и копилка полны, то ему больше ничего не нужно, оставьте его уже в покое,

более того, он не понял бы, даже если бы у него были добрые намерения, он все равно никогда не смог бы понять то, что велико, то, что превосходит его до такой степени, что у него нет ни малейшей надежды на понимание, а значит, и почтения, так что Зеами должен был уйти, думал Зеами, сидя на валуне, и любой мог бы казнить его, размышлял он, перекатывая ногой туда и сюда небольшой камешек; затем однажды он попросил у слуги разрешения пойти на прогулку по острову, особого разрешения не требуется, был ответ, в соответствии с приказом регента, что он может ходить, где пожелает на острове, поэтому он немедленно отправился в путь, поскольку погода была хорошей, и он разыскал Куроки Госё Ато, местопребывание изгнанного великого императора; он склонил голову перед памятью своего предшественника, он возложил цветы у первой колонны, с правой стороны входа в остатки здания; затем в другой день солнце снова светило приятно, не слишком жарко, но свет проникал именно так, птицы были особенно оживлены, он отправился верхом со своим эскортом в святилище Хатиман, где Кёгоку Тамэканэ, великий поэт и министр, жил во время своего изгнания, и хотя он почитал его и считал творчество Тамэканэ поистине великим, в то же время он очень заинтересовался, услышав легенду, которая ходила среди жителей острова, согласно которой хототогису, кукушка, которую можно было услышать отовсюду, была здесь, и только здесь, молчаливая, он не хотел больше слышать эту легенду, хотя в его свите было много тех, кто, добравшись до этого места, немедленно хотел рассказать ее снова, так что он позволил некоторым из них сделать это, но он хотел услышать не саму историю, а то, как хототогису не поет в этом месте; и на самом деле это было так, он стоял перед святилищем, он молился, затем он отошел в сторону, чтобы послушать, как хототогис не поет, и это было так, хототогис молчал вокруг святилища, не было слышно ни одного звука от кукушки, и что касается

увидев кукушку, он увидел только одну, за которой, однако, наблюдал очень долго, и люди, сопровождавшие его, не могли понять, что он делает с этой птицей так долго, птица на ветке не двигалась, также как и Зеами, когда процессия к лошадям замерла, он смотрел, он действительно смотрел долго, затем птица наконец полетела в гущу деревьев, почтенный господин кое-как — с посторонней помощью — мучительно забрался в седло, и они быстро вернулись домой, и в ту ночь он не спал ни единого мгновения, он пытался заставить себя, но это совсем не работало, сон не приходил к нему, он смотрел в темноту, он слушал ночные звуки, шелест деревьев и скользящий звук, когда стая летучих мышей возвращалась или отправлялась в ночь, ты кричишь, ему на ум пришло стихотворение Тамеканэ, и я слышу тебя, я слышу твою тоску по столице, о хототогису из горы, улетай отсюда, и он произнес эти строки вслух, возможно, два раза, затем он сам не знал, цитирует ли он что-то, или это его собственные слова, он добавил что-то еще о падающих цветах, о первой песне кукушки, о лунном свете с его обещанием осени, затем ему снова пришло на ум слово, хототогизу, и он поиграл с основными значениями, скрытыми в этом слове, ибо, рассматривая его с другой точки зрения, хототогизу буквально означает птица времени, он попробовал слово в этом смысле, почти вывернув его наизнанку —

кукушка обозначена составным словом, птицей времени, — чтобы увидеть, с какой стороны уместно будет придать форму самым глубоким скорбям его души; наконец он нашел путь, и мелодия начала складываться в нем сама собой — он просто думал о ней, не называя ее по имени, — и стих как-то сам собой сложился таким образом: просто пой, пой мне, чтобы не только ты скорбел; и я буду скорбеть, старый старик, покинутый и одинокий, вдали от мира, я оплакиваю свой дом, свою жизнь, потерянную, потерянную навсегда.

Никто даже не знал, ни регент, ни ближайшие слуги, что Зеами пишет; однако в этом не составило бы большого труда убедиться, поскольку он просил бумагу, просто чтобы сделать некоторые заметки, — повторял он несколько раз и с большим нажимом, обращая внимание регента — одновременно посылая ему в подарок полуготовую маску — на тот факт, что то, что он получает лишь изредка, является всего лишь второсортной имитацией настоящей бумаги; пожалуйста, постарайся, — умолял его изгнанник, — найти где-нибудь на острове что-нибудь лучшего качества, а если это невозможно, то — и это была его единственная просьба —

привезти что-нибудь с материка, но регент считал, что Дзеами — просто избалованный придворный баловень и жалуется на пустяки, он может быть счастлив, — гремел его голос в кабинете, — что он вообще что-то получает, но, честно говоря, он даже не знал, на какой бумаге настаивает Дзеами, так как за всю свою жизнь никогда ничего подобного не видел, одним словом, он не мог иметь ни малейшего представления о том, какую бумагу имел в виду временный обитатель Сёхо-дзи и какого качества она, о которой он постоянно говорил, он даже не мог начать понимать, что Дзеами едва не испытал физическую боль, увидев в посылке, отправленной ему по прибытии гонца из Синпо, эти грубые материалы, спрессованные из волокон неизвестно какого растения, ужасные, необработанные, зловонные, с другой стороны, он ничего не мог с этим поделать, его просьба явно не нашла понимания в Синпо, так что, что ж, он начал свою работу с тем качеством материалов, которое было в его распоряжении, хотя он сам никогда не назвал бы то, что он делал, работой, потому что это не было просто самоуничижением, когда во время подачи своего заявления он обозначил деятельность, для которой требовалась бумага, как ведение записей: в нем очень медленно формировалась мысль, что он, возможно, со временем сможет привести фрагменты цитат и фрагменты собственных стихов в некий порядок, который тогда порой

в конечном итоге он оказался на своего рода, как он позже назовет это, грубой бумаге — ну, ну, он начал однажды утром с попытки расположить в последовательности все, что он сочинил до сих пор, но все это вышло слишком надуманным, он не хотел писать драму, никогда больше не писать еще одну пьесу для Но, тем не менее, мысль о том, чтобы сложить эти разрозненные фрагменты в некое подобие связности, в конце концов привела бы его к чему-то, чего он не хотел, это не было его намерением — почему? — он покачал головой и неодобрительно поджал губы, сидя в приготовленной для него келье Сёхо-дзи, в свете, падающем через крошечное окно; озадаченный, бесстрастный он смотрел на бумагу, на написанные там строки, и он действительно понятия не имел, что, черт возьми, ему с ними делать, и он даже отодвинул их в сторону на некоторое время, и просто сидел в саду, когда позволяла погода, бормоча молитвы, пытаясь сориентироваться среди своих воспоминаний, или его внимание на долгие минуты привлекала ящерица, греющаяся на солнце у основания дерева, затем в другое утро он решил расположить все, что он написал до сих пор, в хронологическом порядке, но именно тогда возникла проблема, что он не мог вспомнить, когда возникла та или иная часть, тем не менее идея казалась хорошей, расположить все это здесь в хронологическом порядке среди обстоятельств его плена, втиснутым между немой птицей времени и сморщенной непрерывностью одного-единственного дня; На ум пришел Обама, название порта в Вакасе, в голову пришло путешествие по морю, залив в Оота, рыбацкая хижина, затем путешествие в Синпо — и вот, как-то само собой, кисть в его руке начала двигаться, как будто сама по себе, и он начал по-настоящему рассказывать историю своего изгнания, в хронологическом порядке, как оно и происходило; он не хотел думать об этом и не мог даже подумать об этом как о чем-то для будущей драмы, как о чем-то для церемоний в Касуга или Кофуку-дзи; нет, вовсе нет, зачем, он снова покачал головой, это не имело бы никакого смысла

браться за такое дело, я больше не хочу браться ни за какое дело, достаточно того, что я еще жив, сказал он себе вслух, это просто бремя, так что он не сделал ничего другого, как начал описывать, как все это произошло — от Вакасы до Синпо — но, конечно, он также использовал все, что уже изложил на бумаге, чернила были подходящими, кисти он принес с собой из дома, времени было достаточно, в этом одном длинном дне он казался бесконечным, и его даже не беспокоило, что все это оказывалось немного прерывистым, отрывки стихов следовали один за другим, по мере того как они приходили ему на ум, с прозаическими описаниями, отрывками стихов, о которых он часто вообще не имел представления, он ли был автором или кто-то другой, иногда он не имел ни малейшего представления о том, кто написал эти строки, это казалось таким, таким неважным; в определенный момент он почувствовал, что строки в самый раз, и он играл, как он делал так много раз прежде, с различными слоями значений слов, так что они гармонировали, и различные места, или люди, или события вступали во внезапную неожиданную связь друг с другом, то есть он делал то, что делал на протяжении всей своей жизни, когда писал пьесы, более того, когда в своих самых загадочных произведениях, даже в своих изложениях всего необходимого для того, чтобы школа Канзе знала, он не мог освободиться от этого, от игры этого китайского композиционного способа, от роста значений, согласования значений, обмена значениями, одним словом, от поиска радости смысловых ритмов, так что это не беспокоило его, когда позднее утром того одного долгого, такого долгого, неподвижного дня он уже видел, что его произведение, подобное которому он никогда прежде не переносил на бумагу, менялось, трансформировалось из свободно сплетенной истории его изгнания в песнопение его религиозных чувств; Над следующей главой он написал слова «Десять святилищ», а затем над следующей — «Северные горы», и он посмотрел в свое крошечное окно, он

Из своей кельи он увидел маленький согретый солнцем участок сада и подумал о бесконечном расстоянии, простирающемся от Садогашимы до Киото, и о том, что всегда будет существовать между ними, и поскольку его сердце наполнилось горькой печалью, он написал на бумаге следующие слова: любимые боги, любимый остров, любимый правитель, любимая страна.

В конце «Кинтоосё» он написал, что оно было создано во втором месяце восьмого года Эйкё, и подписался как «Послушник Земпоо». Его смерть была такой же безмолвной, как годы изгнания. Однажды утром его нашли лежащим на земле, когда он шёл от окна к своему тюфяку, и к тому времени он был настолько крошечным, что даже самого маленького костра, как для ребёнка, хватило для его кремации во время погребальной церемонии. И он был настолько лёгким, что один человек нёс тело и клал его на деревянные брёвна.

Камера была пуста; они нашли рукопись Кинтоошо на полу и уже направлялись к двери, когда заметили, что на столе что-то лежит. Но это был всего лишь маленький клочок бумаги с надписью: «Зеами уходит». Они скомкали его и выбросили.

2584

КРИЧА

ПОД ЗЕМЛЕЙ

Мы ничего не просим у драконов, и драконы ничего не просят у нас.

Цзы Чан

Они кричат в темноте, их рты раскрыты, их выпученные глаза покрыты катарактой, и они кричат, но об этом крике, об этой темноте, об их ртах и об их глазах сейчас нельзя говорить, их можно только обойти словами, как нищего с протянутой ладонью, ибо эту темноту и этот крик, эти рты и эти глаза нельзя сравнить ни с чем, ибо у них нет ничего общего ни с чем, что можно выразить словами, так что не только невозможно описать или передать на языке людей их тайные жилища, это место, где господин всего — эта темнота и этот крик; можно только идти выше этого или, что более убедительно, бродить там наверху, это возможно, не имея ни малейшего представления о том, где находится то, что хочется обсудить, — где-то там внизу, это все, что мы можем сказать, так что, может быть, было бы мудрее всего просто взять все это и забыть, взять это и больше не форсировать события; но мы не забываем, потому что забыть невозможно, и мы заставляем это, ибо этот крик не прекращается сам собой, что бы мы ни делали, если мы услышали его однажды, например — между Давэнькоу и Паньлунчэном, после Луншаня и Аньяна и Эрлитоу — так и случилось: увидев склеенные из черепков статуи, зеленые бронзовые плиты с рисунками, достаточно увидеть эти артефакты, хотя бы один раз, чтобы этот нечеловеческий голос навсегда засел в мозгу, так что начинаешь потом блуждать: знание того, что они там, нестерпимо, невыносимо, как и желание увидеть их ужасные

красота по крайней мере один раз, короче говоря, то есть, вообще говоря, как мы отправляемся, мы отталкиваемся в нашем путешествии по областям некогда династии Шан из точки, выбранной совершенно случайно, неважно, откуда или в какое время, один выбор так же хорош, как и другой, потому что мы даже не знаем, где они находятся, ни уверенно, ни смутно, да, говорим мы, где-то между 1600 и 1100 годами до Христа, откуда мы должны отправиться в наше путешествие, идя где-то вдоль берега реки Хуанхэ на восток, следуя по течению реки к дельте и морю и никогда не удаляясь слишком далеко от берега реки, где были знаменитые столицы, вот куда вам нужно идти; Примерно с 1600 по 1100 год до нашей эры, место рассеянной памяти о городах императоров Шан, Бо и Ао, Чаоге и Даи Шан, Сян и Гэн, императорских городах, теперь исчезнувших по крайней мере на 2800 лет, где мы говорим Китай, но думаем о чем-то другом — если мы не хотим обманывать себя и вводить в заблуждение других, как они, китайцы, делали сами в течение нескольких тысяч лет — потому что только со времен династии Цинь это стало называться Китаем: как будто Китай, Чжунго, Срединное царство, или, другими словами, Мир, были одним единым целым, как будто это была одна Страна, которой на самом деле она никогда не была, ибо на самом деле было много царств и много народов, много наций и много князей, много племен и много языков, много традиций и много границ, много верований и много мечтаний, это был Чжунго, Мир, со столькими мирами внутри него, что перечислить их, проследить их, распознать их или понять это невозможно с одним мозгом — то есть, если человек не Сын Неба — и даже сегодня это невозможно, можно только плести измышления, болтать и нести чушь, как это будет делать каждый, отправившись на нижние берега Хуанхэ примерно между 1600 и 1100 годами до нашей эры, вдоль так называемых «излучин» Хуанхэ, говоря себе: вот я в империи Шан, вот я иду на Восток, это Чаогэ здесь, или

возможно, Даи Шан, здесь, под моими ногами, и единственная правда в этом утверждении заключается в том, что они действительно где-то там под землей, несмотря на все случайные открытия Давэнкоу, Аньянов и Эрлитоу, неисследованные и невидимые, они скрыты глубоко под землей во тьме, и с широко открытыми ртами они кричат, могилы, которым они должны были служить, рухнули на них давным-давно; и, обрушиваясь слоями, полностью погребли их, так что они стали замурованными в земле, среди столонов, инфузорий, коловраток, тихоходок, клещей, червей, улиток, равноногих раков, бесчисленных видов личинок, а также минеральных отложений и смертоносных подземных оврагов, — замурованные, осужденные на эту окончательную неподвижность, даже если они не всегда были такими, теперь они неподвижны в своем крике, так как их раскрытые рты уже забиты землей, и перед их затуманенными катарактой выпученными глазами нет даже одного сантиметра пространства, даже четверти сантиметра, даже части этой четверти, в которую могли бы смотреть эти затуманенные катарактой выпученные глаза, ибо земля так толста и так тяжела, что со всех сторон есть только она, повсюду земля и земля, и все вокруг них — эта непроницаемая, непроницаемая, тяжкая тьма, которая длится поистине во все времена, окружающая каждое живое существо, ибо и мы будем ходить здесь, каждый из нас, когда придет время, мы, кто бродит здесь среди неизмеримых просторов китайских тысячелетий, думаем мы про себя, так вот была их империя, вот династия Шан, и мы бродим вдоль огромных, предполагаемых пятен их некогда столиц, рисуя себе то, что находится под землей, где все, что было Шан, погребено внизу; мы не можем ничего вообразить, так же как невозможно ничего уловить словами, невозможно извлечь их из глубин воображением, ибо те глубины под нами неприступны, как и глубины времени с его воем; их нельзя достичь никакими средствами

воображение, маршрут заблокирован уже в начальной точке, ибо земля под династией Шан настолько плотная —

примерно с 1600 по 1100 г. до н. э., за изгибами Хуанхэ, у самых нижних участков реки, когда она течет к дельте и морю, — это воображение заблокировано и не может добраться до того места, где они стоят, раздробленные, наклоненные на одну сторону, разъеденные кислотами, почти неузнаваемые, ибо только те, кто мог видеть что-то во время опасных осквернений гробниц, известных как «раскопки» в Давэнькоу, Паньлунчэне, Луншане, Аньяне и Эрлитоу, знают, как устрашающи они были, когда еще целы, как они были самим страхом и как те, кто их создал, не осознавали, с какой ужасающей силой они выразили то, что было даровано им за пределами вечности, под землей, каково это, если все в этой плотной земле сокрушено в полной и окончательной темноте; они, ремесленники династии Шан, возможно, тогда только хотели, когда создавали гигантские разинутые рты, выпученные затуманенные глаза, чтобы эти статуи и бронзовые предметы были помещены у входов или во внутренних покоях, чтобы сохранить гробницы своих мертвецов, защитить их, отпугнув злые силы, чтобы сдержать Демона Земли, ибо люди династии Шан, возможно, думали, что могилы должны оставаться неприкосновенными; они могли думать, что должна быть связь между мертвыми и империей смерти, но они не могли подумать о том, что время продолжается даже дальше своей обещанной вечности — они не могли подумать о том, как время также ужасающе простирается от их собственного века в необъятность вечностей, одну за другой, где даже возможность вспомнить, кто лежит здесь с их душами хунь, угаснет; они не могли подумать о том, что почти ничего не останется от могил, мертвых, душ хунь, от них самих, их империи или даже памяти об их империи; в разрушительном времени из ничего почти ничего не осталось, все, что когда-то было,

исчезает; Шан исчезает, и могилы исчезают вместе с ними, здесь, у нижнего течения Хуанхэ, вдоль изгибов к дельте и морю, и ничего больше не остается, только крик и тьма под тяжелым давлением земли, ибо крик, который остается; они стоят там внизу в своих разрушенных могилах, стоят крошечными кусочками, наклонившись набок, изъеденные кислотами, втиснутые в землю, но в их широко раскрытых ртах крик не утихает, он каким-то образом остается там, разорванный на куски, и все же сквозь тысячелетия, этот крик ужаса, единственный смысл которого тем не менее простирается до сегодняшнего дня, говоря нам, что вселенная под землей, средоточие смерти, под Миром — это колоссальное переполненное пространство, что то место, где мы все придем к концу, несомненно, существует; что Мир, жизнь и люди придут к концу, и именно там они и закончатся, внизу, на этот раз здесь внизу, под снами Шан, в разбитых на куски могилах и под крики отлитых в бронзе животных, ибо под землей есть животные, возможно, в неизмеримом количестве, свиньи и собаки, буйволы и драконы, козы и коровы, тигры и слоны, химеры, змеи и драконы, и все они кричат, и не только в их выпученных глазах катаракта, но все они слепы, они стоят, наклонившись набок, куски и разъеденные кислотами вокруг обрушившихся могил, и слепо кричат в темноте, кричат, что это их ждет, это ждало Шан, но что там, наверху, та же участь ждет и нас, она ждет нас, кто сейчас размышляет о Шан, об ужасе, который есть не просто остаток какого-то дешевого страха: ибо есть область, область смерти, ужасная тяжесть земли, давящая со всех сторон, которая погребла их и которая со временем поглотит и нас, замкнется в себе, похоронит, поглотит даже наши воспоминания, за пределами всего вечного.

Оглавление

Структура документа

• Камо-Хантер

• Изгнанная королева

• Сохранение Будды

• Христо Морто

• На Акрополе

• Он встает на рассвете

• Убийца родился

• Жизнь и творчество мастера Иноуэ Казуюки

• Il Ritorno in Perugia

• Дистанционный мандат

• Что-то горит снаружи

• Где вы будете искать

• Частная страсть

• Просто сухая полоска в синем небе

• Восстановление святилища Исэ

• Зеами уходит • Крики под землей